84Р6
П30

Б. Петров

Военная проза

Б.Н. Петров

Военная проза

Роман
Повести
Рассказы

г. Петропавловск
2011 г.

УДК 821 (574)
ББК 84 Р6
П 30

П 30 **Петров, Б.Н. Военная проза**: Избранное/Б.Н. Петров; сост. В. Петрова, В. Петров. - Петропавловск: Издательство «Северный Казахстан», 2010. - 384 с.

ISBN 978-601-7247-23-2

Компьютерный набор: В. Петров
Дизайн и верстка: Е. Горковенко

Наш земляк писатель Борис Петров – участник Великой Отечественной войны. Прошел ее дорогами от Сталинграда до Кенигсберга в составе За-падного, Сталинградского и 3-го Белорусского фронтов, затем в августе 1945 г. участвовал в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии. Неизменными спутниками Бориса Петрова были фронтовые наброски и дневники - объемные, взволнованные, наполненные впечатлениями о происходящих событиях, размышлениями о смысле жизни, героизме, патриотизме. Вершиной этого стал «Маньчжурский дневник», созданный в 1945 году непосредственно по следам событий в августе-сентябре 1945 года – разгрома милитаристской Японии, участником которого был автор. Личные впечатления послужили материалом для создания первого произведения о войне «Голубая падь», опубликованного в 1948 г. в журнале «Сибирские огни» и сразу привлекшего внимание читателей. Повесть дважды переиздавалась: в сборниках «Первый рейс» (Новосибирск) и в книге «Утро» (Алма-Ата, «Жазушы», 1975 г.). Военная тема проходила через все творчество писателя. В 1970 г. в издательстве «Жазушы» вышел роман «Воскресный наряд» с посвящением «Моим сверстникам - живым и павшим». Многие однополчане автора стали прототипами романа, в их образы он вложил и свои черты. Отличительной особенностью героев военных рассказов Петрова, опубликованных в его сборниках и периодических изданиях республики, таких как «Соловейко», «Подарок с тигровой сопки», «Трофеи старшины Барабанова», «Нерешительность капитана Калашникова», «Боцман Немо» и др., является пристальное внимание автора к внутреннему миру героев, их душевным качествам. Жестокие испытания, выпавшие на долю воина-освободителя, не ожесточили его, не заглушили душевную чуткость, доброту и миролюбие. Этими качествами пронизаны все произведения Бориса Петрова, объединенные в сборник «Военная проза: Избранное», который подготовлен дочерью и сыном писателя к 90-летию со дня рождения и 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Думается, что он подарит радость встречи с творчеством писателя поклонникам его таланта и найдет нового читателя среди молодого поколения.

538581

ISBN 978-601-7247-23-2

УДК 821 (574)
ББК 84 Р6

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. МУКАНОВА
г. Петропавловск

© Петров Б.Н., 2011
Издательство «Северный Казахстан», 2011

"...Я все время хотел писать о войне."

Известный казахстанский писатель, член Союза писателей СССР Борис Николаевич Петров относится к поколению, прошедшему суровыми дорогами Великой Отечественной войны. Символично: 65-летие окончания Великой Отечественной войны совпало с 90-летним юбилеем писателя.

Б.Н. Петров родился 6 августа 1920 года в станице Щучинской Кокчетавской области (ныне город Щучинск Акмолинской области) в крестьянской семье.

В январе 1940 года во время финской войны со 2 курса исторического факультета Омского педагогического института был призван в армию. Будучи в кадровой армии с начала Великой Отечественной войны - участник боевых действий в составе Западного, Сталинградского, 3-го Белорусского фронтов. За взятие г. Кенигсберга - главного города Восточной Пруссии - приказом Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В. Сталина объявлена благодарность. Но для гвардии лейтенанта, начальника химслужбы 1277 зенитного артиллерийского имени ордена Александра Невского полка, а затем командира этого же полка, Петрова, Великая Отечественная война еще не закончится в мае 1945 г.: военные эшелоны повезут закаленные в жестоких боях с немецкими захватчиками действующие полки и дивизии на Дальний Восток - на разгром империалистической Японии. Борис Николаевич участвовал в боевых действиях в составе Первого Дальневосточного фронта за освобождение городов Мулина, Харбина, Мукдена и других городов Маньчжурии. 23 августа 1945 за отличные боевые действия в боях с японцами Петрову объявлена благодарность приказом Верховного Главнокомандующего, а в октябре 1945 года он был награжден орденом Красной Звезды.

В действующей армии на Дальнем Востоке старший лейтенант Петров прослужил еще до сентября 1946 года. В 1946 году получил награды: медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Имел ранение и контузию.

Неизменным спутником лейтенанта Бориса Петрова были фронтовые наброски и дневники. Еще будучи студентом, а затем в армии, печатался в армейских газетах.

Фронтовые дневники - самые объемные, взволнованные, наполненные впечатлениями о происходящих событиях, размышлениями о смысле жизни, героизме, патриотизме. Здесь и фронтовые зарисовки, рассказы, наброски к будущим произведениям. Вершиной этого жанра у Бориса Петрова стал «Маньчжурский дневник», созданный в 1945 году непосредственно по следам военных событий в августе-сентябре 1945 года - разгрома милитаристской Японии. Автор являлся непосредственным участником боевых операций по разгрому Квантунской армии в Маньчжурии. 7 сентября Борис Петров сделает запись в дневнике: «По аналогии с Вересаевым задумал написать дневник и рассказы на тему японской войны». (К сведению читателей: русский писатель Викентий Вересаев - участник русско-японской войны 1904-1905 гг. в качестве врача создал «Рассказы о войне», «Записки о войне», где показал героизм солдат и офицеров). Черновые наброски дневника послужили основой для создания окончательного варианта «Маньчжурского дневника». Работа начата 18 сентября, а 20-го уже было написано 40 страниц. Автор писал: «Начал писать «Маньчжурский дневник». Тяжело было взяться, а взялся - пишется легко. Может быть, оттого, что я пишу и переживаю сначала все то, что привело меня в Муданьцзян, где, между прочим, стоим по сию пору, и обещают продержать нас еще месяц». Но служба на Дальнем Востоке продлилась еще год. Здесь был завершен «Маньчжурский дневник», где с документальной и энциклопедической точностью запечатлены события августа-сентября 1945 года в Маньчжурии.

Занимаясь подготовкой произведения к печати, мы обращались к многотомнику «История Великой Отечественной войны советского народа 1941-1945 гг.», энциклопедиям и справочникам, картам того времени, которые хранились в архивах писателя, и убедились в исторической достоверности произведения.

В 1948 году вышло первое крупное произведение из серии рассказов о Маньчжурии «Голубая падь», напечатанная в «Сибирских огнях», затем в 1950 году в сборнике молодых авторов «Первый рейс» в Новосибирске, получившее высокую оценку сибирских писателей. «Дорогой товарищ Петров, - писал член редакционной коллегии журнала Савва Кожевников, - рад сообщить Вам, что рассказ «Голубая падь» напечатали в «Сибирских огнях». Хороший рассказ. Поздравляю Вас с удачным началом литературного пути. Что пишите нового?

Если не пишите, - это ошибка. Вы можете писать, значит, не имеете право не писать. Мы ждем от Вас новых произведений».

Это была путевка в большую литературу. Сергей Залыгин, Савва Кожевников, Борис Рясенцев стали его первыми литературными учителями. Журнал напечатал первые повести «Пятая ферма», «Светлый край», рассказ «У реки» и др.

После демобилизации в 1946 году Борис Николаевич приезжает в Петропавловск по месту жительства супруги Марии Яковлевны и отдает ему четверть века своей короткой жизни, оставив навсегда здесь, по его словам, «частичку моего труда, а, стало быть, и души».

В трудные послевоенные годы он находится на переднем крае: в 1946 году работает в областной газете «Ленинское знамя» литературным сотрудником, исполняет обязанности главного редактора, затем - в областном комитете партии лектором, заведующим лекторской группой, одновременно заканчивает учебу на историческом факультете Омского педагогического института. С самого начала партийную работу совмещает с писательской. С 1956 года в Казахстане одно за другим выходят его произведения: сборник рассказов «Вьюжная неделя», сборник очерков «Живое слово», повесть о покорителях целины «Огни Аксуата», затем в 1964 году - повесть «Листопад», сборник рассказов «Березовые острова».

Он внес неоценимый творческий вклад в дело художественного отражения целинной эпопеи в Казахстане. Его герои - это люди, живущие среди нас. Он много ездит по области, встречается с тружениками целины. Сам Петров так писал об этом: «Это мой край, исхоженный и изъезженный вдоль и поперек, и который я люблю». Им написаны десятки очерков и рассказов, печатавшихся в центральных, республиканских, краевых и областных газетах и журналах. Если их собрать все вместе, то будет не один том истории нашей области, так как герои их - люди Северного Казахстана. Многие из них еще живы и помнят Бориса Николаевича.

В 60-е годы Петров был уже известным и признанным писателем в республике. В 1958 году был принят в члены Союза писателей СССР, получив рекомендации от Габита Мусрепова, Ивана Шухова, Сергея Мартьянова. В этом же году был участником Декады казахской литературы и искусства в Москве, в числе именитых писателей СССР находился в президиуме пленарного заседания, принимал участие в работе секции

русской и казахской литературы. В 1964 году вновь становится участником Декады русской литературы в Алма-Ате. На V съезде писателей Казахстана был избран членом правления писательской организации Казахстана. Высок авторитет Петрова в области как лектора-международника и писателя - он неоднократно избирался членом Петропавловского горкома и Северо-Казахстанского обкома партии, делегатом городских, областных и краевых партийных конференций. Награжден медалью «За трудовую доблесть», юбилейными медалями Великой Отечественной войны, медалями «За доблестный труд. В ознаменование к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение целинных и залежных земель», настольной медалью «40 лет Казахской ССР», Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, Министерства обороны СССР, обкома партии Северо-Казахстанской области и др.

В 1959 году наступил звездный час для Бориса Николаевича: он был назначен ответственным секретарем межобластного отделения Союза писателей Казахстана, функционирующего в Петропавловске в составе трех областей, - Северо-Казахстанской, Кустанайской и Кокчетавской. В этой работе проявился его организаторский талант: много времени и сил отдавал он воспитанию молодых писателей и поэтов, выезжал в творческие командировки в районы нашей области, Кустанайской, Кокчетавской и Целиноградской областей, где были созданы с его участием литературные объединения, постоянным явлением стали литературные страницы в областных газетах. Отделение Союза писателей в 1960 году издало два сборника произведений молодых авторов: «Зори над степью» в Петропавловске и «Земля в цвету» в Кустанае под редакцией Б. Петрова. В сборники вошли произведения 23 авторов, которым он помог заявить о себе. Среди них: Ю.Гусинский, С.Шевченко, А. Хамидуллин, В. Шестериков, А. Пряников, Ю. Поляков, М. Аверин и др.

Б.Н. Петров являлся составителем первого сборника статей по истории области «Северо-Казахстанская область в 1917-1957 гг.». В 1965 году межобластное отделение Союза писателей преобразовано в краевое и переведено в Целиноград. Петров остается в родном городе и возвращается на партийно-пропагандистскую работу. За бурной общественной деятельностью и творческой работой, отражающих современные будни, он не забывает сокровенную тему - тему недавно прошедшей войны - Великой Отечественной. Периодически

он создает короткие, но яркие произведения о войне, в центре которых советский солдат, вынесший на своих плечах ее тяготы. Жестокие испытания, выпавшие на долю воина-освободителя, не ожесточили его сердце, не заглушили душевную чуткость, доброту и миролюбие. Таковы герои рассказов «Нерешительность капитана Калашникова», «Трофеи старшины Барабанова», «Подарок с тигровой сопки», «Боцман Немо», «Соловейко», «Даша и генерал» и др. Но главные произведения Петрова о войне были еще впереди. В конце 60-х годов он начинает работу над романом «Воскресный наряд», который выходит в издательстве «Жазушы» в 1970 году в год 25-летия Победы и 50-летия автора. Это было самое дорогое произведение для писателя. Он в значительной степени автобиографичен, многие современники Петрова узнавали в главном герое самого писателя, он же посвятил его своим сверстникам: «Моим сверстникам - живым и павшим» - так сказано в эпиграфе к роману. Прообразом главного героя по замыслу автора стал сослуживец и друг по действующей армии в Иркутске Борис Утробин, погибший в первые дни Великой Отечественной на приграничной территории. Это была первая и тяжелая потеря на войне. Через всю жизнь Борис Николаевич пронес светлый образ друга и в романе «Воскресный наряд» главному герою дал имя Андрея Утробина, включив в его характер и свои черты. По прихоти редактора фамилия Утробин была заменена на фамилию Трубин, что больно ранило писателя. Но произошло чудо: через несколько лет, когда автора уже не было в живых, семья получила письмо от участника войны Мальцева Ивана Матвеевича из Алма-Аты, в котором он пишет, что узнал в Андрее Трубине своего однополчанина Андрея Кузьмича Трубина, проживавшего ранее в Северо-Казахстанской области. Ветеран просил сообщить, жив ли его друг, а если погиб, где похоронен. Этот случай подтверждает тот факт, что отличительная особенность военной прозы Петрова - достоверность - за образами его произведений стоят конкретные люди: однополчане писателя, друзья, а их поступки основываются на фактическом материале.

Роман «Воскресный наряд» имел большой успех и до сих пор востребован читателями разных возрастов, хотя и становится библиографической редкостью.

Писатель и дальше планировал разработку военной тематики, но напряженная двойная работа - сочетание партийной деятельности и творчества, военные ранения подорвали здо-

ровье Петрова. К 50-летнему юбилею он был уже тяжело болен, но продолжал плодотворно трудиться, завершая роман «Затмение» о крестьянском восстании 1921 года в Казахстане. Закончил его в рукописном варианте, но, к сожалению, полностью в свет он еще не вышел. Отрывки печатались в областных газетах и в книге «Я, конечно, вернусь...», изданной семьей в 2001 году. Борис Николаевич ушел из жизни 3 ноября 1971 года, в 51 год, на взлете своего таланта...

Посмертно вышли три книги, включающие опубликованные произведения из литературного наследия. Воспоминания о писателе, его произведения включены в коллективные сборники: «Золотая книга целины» (2004 год), «Североказахстанцы в годы Великой Отечественной войны» (2005 год), «Тернистый путь к победе» (1995 год), «Петропавловск: Время. События. Люди» (2004 год). Произведения Петрова публикуются на страницах журналов «Нива», «Магжан», «Провинция» и в областных газетах.

Имя писателя-земляка присвоено одной из улиц Петропавловска, в областном историко-краеведческом музее представлено в экспозиции, в областном государственном архиве создан специальный фонд Бориса Петрова.

Продолжается работа над литературным наследием дочерью и сыном писателя: членом Союза журналистов Казахстана Валентиной Борисовной Петровой и кандидатом технических наук Владимиром Борисовичем Петровым. Ими и подготовлен представляемый настоящий том избранных произведений Бориса Петрова о войне, в который вошли роман «Воскресный наряд», повесть «Голубая падь», полная версия «Маньчжурского дневника» (в 2001 году в сборнике «Я, конечно, вернусь...» публиковались отрывки) и лучшие рассказы о Великой Отечественной войне.

Думается, читатели по достоинству оценят произведения земляка, фронтовика-писателя Бориса Петрова.

Валентина Петрова,
дочь, член Союза журналистов РК

ВОСКРЕСНЫЙ НАРЯД
Роман

Моим сверстникам -
живым и павшим.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Даже самое обыденное, надоевшее может показаться хорошим, когда оно минуло.

Все последнее время, с тех пор как пришел вызов в военно-политическое училище, Андрей Трубин не мог отделаться от ощущения странной перемены. Давно ли он с нетерпением ждал эту весть, заранее радовался и едва не пустился в пляс прямо в штабе части, где ему вручили пакет с официальным уведомлением, а теперь к чувству радости примешивается сожаление и легкая грусть.

Мог ли он думать, что эта тесная, надоевшая казарма караульного взвода станет вдруг дорогой сердцу частицей прошлого, как школа, как институт, как запасный полк, в котором он полтора года назад начинал свою службу.

Каких-нибудь два дня - и его здесь не будет, он уедет. Все останется позади: товарищи, наскучившая своим однообразием караульная служба - день в караул, день обычные занятия, - старшина Барабанов с его неумолимой требовательностью, со шнуром, по которому он выравнивал после заправки кровати. Все это сохранится только в воспоминаниях, и, быть может, с трудом будет вериться, что все это было. Так уже порой не верится в то, что совсем недавно были в институте лекции по древней истории, шумное студенческое общежитие, где можно когда угодно завалиться спать, побездельничать. А еще раньше, дома, в школьную пору - многодневные походы с приятелями по горам, ночевки у костров, плаванье по бурному озеру на жюльверновском «Дункане» - отцовской лодке-долбленке, с парусом из мешковины.

Он не говорил никому об этой своей появившейся где-то в глубине души смутной грусти. Да и зачем? Все ведь знали, что он уже давно собирается в училище. Вася Коржов - сосед по койке и друг - не поверит первый, потому что вместе они сочиняли рапорты, вместе мечтали о политруковских звездах на рукавах. Но Васе отказали в приеме, а ему, Трубину, прислали

вызов для сдачи вступительных экзаменов. Он не сомневался в том, что их выдержит.

Андрей заранее знал, что ответит ему приятель, если он поделится с ним своими чувствами.

«Ты брось, - скажет он, - хочешь утешить. А я уже успокоился. Отказали и ладно. На училище свет клином не сошелся». - И махнет своей большущей ручищей. У него это манера выражать свое несогласие. Отмахнется и уйдет, как бы подчеркивая бесполезность дальнейших объяснений.

Вася - человек железных убеждений, несмотря на мягкость своего характера. С ним Андрей с первых дней службы. Как угодили рядом на койки в запасном полку, еще в гражданской одежде, с торбами, в которых хранились остатки домашних харчей, так до сих пор вместе. Поэтому и успел убедиться: доказывать Васе что-либо, с чем он не согласен, - бесполезно. Он может изменить мнение, но не вдруг, а когда дойдет до истины своим умом.

Андрею по-настоящему жаль друга, тоскливо от мысли, что расстаются они надолго, а быть может, и навсегда. Столько времени спали рядом, здесь, в дальнем углу казармы, возле окна, столько переговорили, перемечтали, лежа ночью с открытыми глазами и разговаривая шепотом, чтобы не услышал дежурный. Вместе перебирали свое, не ахти какое большое, прошлое, строили планы на будущее. И вот койку его займет кто-то другой. Он представлял, как будет хмуро сводить белесые брови Вася, глядя на нового соседа, пока привыкнет, а привыкает он долго, Андрей это знал.

Андрей чувствовал себя виноватым перед товарищем потому, что ему повезло, а тому нет, хотя и понимал, от него тут совершенно ничего не зависело.

Мысли о друге, о предстоящем отъезде отвлекали Андрея от писем, которым он решил посвятить целиком предвечерние часы. Предстояло написать их не меньше пяти. В первую очередь домой, отдельно сестренке десятикласснице Лине, ее подруге Верочке Бутенко, с которой у него вот уже с год ведется товарищеская, по крайней мере с его стороны, переписка. Он отвечал на ее длинные, порой наивные, письма не менее длинными своими с искренним желанием поделиться жизненным опытом, что-то подсказать. Да и просто приятно было получить из рук почтальона, всегда улыбавшегося ефрейтора-азербайджанца Рагимова конверт, надписанный ломким ученическим почерком Верочки.

Предстояло черкнуть и кое-кому из товарищей детства, тоже «трубивших» срочную службу в разных концах страны. Шуточное ли дело - ехать учиться, и не куда-нибудь, а в Москву. У него уже было распланировано, кому из родных и знакомых, в каком духе преподнести эту весть. Матери и отцу объяснить, что, мол, два года военного училища - это военная профессия, это военная служба на всю жизнь; Лине - два года - это военная форма, комсоставский широкий ремень со звездой на пряжке, кубики на петлицах, которые так ей нравятся. А Вере - о Москве. Ведь она так хотела побывать там.

Работа, одним словом, предстояла основательная. Но сколько ни сидит он за тумбочкой, положив перед собой стопку почтовой бумаги и пристроив с краешку чернильницу-непроливашку, сколько ни подгоняет себя, а дело не двигается. Уже кончился «мертвый час», уже ребята, те, что идут в наряд, заправляют койки и слышится зычный голос дневального, поторапливающего их, а он, как написал несколько строчек, так на этом и застрял. Мысли, мысли... А тут еще этот георгин. Как его ни положи - бьет в глаза огненным полыханием. С тумбочки Андрей переложил его на подушку, все равно горит, отвлекает внимание.

Что значит все-таки этот цветок? Полчаса назад его забросили с улицы в окно. Трубин успел заметить, как мелькнул за палисадником кто-то в белом, как всплеснулся озорной смешок, но пока вставал из-за тумбочки, пробирался к окну - неизвестных и след простыл. Понял, что девчата. Но кто? Одна из тех, что ходят каждый вечер мимо военного городка с работы на кирпичном заводе? А может быть, из тех, кого видел на танцах в клубе?

Он все поглядывал на цветок и никак не мог от него отвлечься. Торопливо отодвинул бумагу, стараясь не упустить возникшую в голове рифму, достал из-под подушки толстую самодельную записную книжку, открыл на середине. На голубоватом в клетку листке появились строчки, набросанные в спешке вкривь и вкось.

Я не знаю, она ли это,
Я пока что узнать не мог,
Для меня отыскала где-то
Алый, как кровь, цветок...

Но только успел записать, мысленно подбирая следующую строфу, как по казарме, покрывая шум, разнесся басовитый голос дневального:

- Старшего сержанта Трубина к старшине!

Подготовка к наряду для старшины - самое деятельное время, тут он требует к себе то одного, то другого. Зачем ему понадобился Трубин? К наряду он отношения не имеет. Да и что для него теперь старшина вообще?

Андрей махнул рукой: «Допишу, приду. Не пожар там». Но привычка к дисциплине оказалась сильнее. Подавив досаду, спрятал в карман записную книжку, сунул в тумбочку начатое письмо и встал. Рослый, по-юношески тонкий в талии, он привычно одернул гимнастерку, пальцами пробежал по пуговицам на воротнике, слегка коснулся ладонью короткой прически, глянул на сапоги: в порядке ли? К старшине неряхой не заявишься. Хотя и без пяти минут курсант, старшина на это не посмотрит, встанет и скомандует: «Кругом». С него станется.

У старшины в каптерке сидел старший сержант Якутов - кладовщик вещевого склада. Одетый в отлично подогнанную диагоналевую комсоставовскую гимнастерку и такие же бриджи с алыми прожилками канта Якутов выглядел щеголем. Сам старшина Барабанов был хотя и в будничной форме, но, как всегда, чистый, аккуратный. Сидя на корточках, он доставал из железного ящика патроны и складывал их на разостланную мешковину - готовил для выдачи наряду. Он вслух считал тускло поблескивающие, лоснившиеся смазкой обоймы и с ухмылкой слушал Якутова, слывшего ловеласом и любившего в узком кругу прихвастнуть успехами в сердечных делах. Старшина мог одновременно заниматься двумя-тремя делами, и из-за этой его особенности нередко горели новички. Полагая, что старшина отвлекся и не замечает, они пробовали делать что-нибудь по-своему, не так, как он требовал. Возмездие наступало тут же, в виде безобидного на первый взгляд и даже дружеского замечания.

- Так-так, значит, сам себе хозяин? В одно ухо влетело, в другое вылетело. Молодец. - И вдруг резкий переход, повергавший новичка в совершенное замешательство: - Выполнять, что приказано! Ясно?

И после этого наивное предположение, что от старшины можно что-то скрыть, как ветром выдувало у парня из головы.

Трудно было представить двух людей, более непохожих друг на друга, чем эти: смуглый, смахивающий на цыгана, длинный, как жердь, Якутов и маленький, с виду почти подросток, белобрысый старшина Барабанов. И в поведении: Яку-

тов - сдержанный до медлительности, неулыбчивый, знающий себе цену, а старшина, наоборот, - подвижный, как ртуть, непоседливый, вездесущий, громкоголосый.

Положение у них тоже разное. Якутов дослуживал действительную и осенью собирался домой; Барабанов - сверхсрочник и подал - о чем в караульном взводе знали все - рапорт об оставлении его в армии на второй срок. И еще одно: старший сержант в своей должности завскладом наверняка винтовку в руках не держал, старшина же Барабанов участвовал в боях на Халхин-Голе, был ранен, и на гимнастерке у него, над левым кармашком, на кумачевой розетке поблескивал багровой эмалью орден Красной Звезды, награда, какая во всей части была у трех-четырех человек.

И тем не менее, несмотря на все эти несоответствия, они дружили. Один Якутов мог сколько угодно сидеть у старшины в каптерке, где тот хранил взводное имущество и где стояла его идеально заправленная койка, и даже курить здесь. Остальных Барабанов выпроваживал немедленно. Спросит, что надо, и кругом марш, ни минуты задержки. Одному Якутову прощал старшина пустую болтовню. От всех других требовал в разговоре деловитости, краткости и точности. Любил повторять: «Для военного многословие вредно».

Видимо, даже и разговору с кладовщиком Барабанов не отдавал всего себя целиком. Слушая, продолжал отсчитывать патроны. Среагировал он тут же и на появление Трубина.

- А, поэт? Проходи... Восемнадцать, девятнадцать... Собрался? Небось уже на колесах? Вагон покачивает. Голова на подушке. Напротив - молодая попутчица. Красота... Двадцать, двадцать один... Укатишь и назад не оглянешься. Конечно, доволен? - говорил он, доставая из ящика обоймы и складывая их в кучки по четыре штуки.

Андрей покосился на спокойно дымившего папиросой Якутова, которого откровенно не переносил. Старший сержант был из числа тех младших командиров, писарей, кладовщиков и прочих нестроевых, которые в каждой части были на привилегированном положении. Они лучше одевались, не знали, как следует, ни нарядов, ни ползания по-пластунски на тактических занятиях. Якутов - кладовщик вещевого склада. С ним никто не станет портить отношений, у каждого бывает нужда что-нибудь обменять, получить. В общем, человек необходимый. И со многими средними командирами, особенно с молодыми лейтенантами, недавно прибывшими из училищ,

Якутов был на «ты». Да что там лейтенанты! С самим начхозом, интендантом третьего ранга, вечно торопившимся куда-то, пожилым, грузным человеком держался запросто, называя его по имени-отчеству. Начхоз начхозом, а ключи-то от складов у него, Якутова, и хозяин на складах - он.

А уж младшим командирам и тем более красноармейцам этот смуглолицый долговязый старший сержант умел пустить пыль в глаза. Трубин сам две недели ходил к нему за сапогами (как участнику художественной самодеятельности ему разрешили кирзовые сапоги обменять на яловые). И с тех пор невзлюбил его и не мог понять, что может быть общего с ним у старшины Барабанова, в общем-то неплохого и уж во всяком случае, неплохого человека.

Ему не хотелось при кладовщике распространяться о своем отъезде в училище, хотя и можно было поддеть этим вредного «тряпичника», как называли старшего сержанта за глаза многие обиженные им. Он знал - уж кому-кому, а Якутову до училища как до луны: высокомерный кладовщик имел за душой всего четыре или пять классов образования. И Трубин не ответил на вопрос старшины, как будто не слышал, хотя и прекрасно знал, что сам старшина вопросы свои без ответа не оставляет. Но странно, тот изменил своему правилу, не сказал: «Значит, и ты туг на ухо? Новость». Старшина досчитал патроны, поднялся с корточек и непривычно долго вытирал руки куском ветоши, потом стряхивал невидимые соринки с колен.

Андрей понимал, что если старшина допускает медлительность, как бы выбирая, с какой стороны начать, то это значит - разговор предстоит серьезный, и насторожился.

- Знаешь, поэт, какой сегодня день?
- Суббота.
- А завтра?
- Воскресенье.
- Просто воскресенье?
- Воскресенье, как обычно...
- А для нашего подразделения?
- Соревнование по волейболу.

Андрей спокойно отвечал старшине, зная, что тут не только его привычка лишний раз, даже в мелочах, проверять подчиненного, но и то, что старшина обычно так подходит к главному.

- Значит, в курсе дел, - продолжал с оттенком удовлетворения Барабанов. - А то, что противник серьезный и от результатов игры зависит честь взвода и всей части, - тоже знаешь?

- Представляю.

- И желал бы помочь своему подразделению, несмотря на то, что в одной руке уже чемодан?

- Безусловно. Только каким образом? - в свою очередь не удержался от вопроса Андрей, уже начиная досадовать на столь длинное предисловие.

- Так вот, товарищ Трубин! - старшина вдруг круто свернул на официальный тон и подобрался, приняв положение «смирно». - Собирайтесь в наряд! Вы назначаетесь в караул вместо сержанта Аветисяна. Причина: Аветисян включен в состав команды, для замены заболевшего красноармейца Воронина. Вопросы?.. Между прочим, это просьба лейтенанта Султаева. Учти.

Нет, не зря старшина набирал разбег. В наряд на воскресенье. И это в то время, когда он, Трубин, мысленно уже отрешился от всего, что связывало его с частью. Он даже требование на железнодорожный литер успел получить с утра, и теперь оно лежало в кармане.

Андрей стоял растерянный. Первой мыслью его было отказаться. Тем более что, как сказал старшина, это просьба командира взвода. Просьба, а не приказ. Значит, на его усмотрение. Лейтенант Султаев понимает - не очень-то удобно назначать в наряд человека, почти выбывшего из подразделения.

Старшина хитро подъехал. Не пойдешь в наряд - не хватит игрока, и всей команде минус. Да и при Якутове объясняться... Вон с каким видом наблюдает за ним завскладом. Помалкивает, покуривает, а на лице ухмылка. Думает небось: «Попался, курсант, поглядим, как ты станешь выкручиваться». Нет, он такого удовольствия не дождется!

Андрей подтянулся, вскинул ладонь к пилотке, четко произнес:

- Есть заступить в наряд!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Через полчаса личный состав караула был во дворе, при полной боевой выкладке: винтовки со штыками в положении «к ноге», скатки, противогазы.

538581

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. МУКАНОВА
г. Петропавловск

Перед строем прохаживался старшина Барабанов. Маленький, быстрый, он придирчиво, с выражением особой какой-то торжественности на лице, оглядывал, ощупывал глазами каждого. Старшина любил развод караула и по ходу его весь преображался. Прищуренные серые с рыжинкой глаза его из-под козырька фуражки, слегка сдвинутой к бровям, цепко выхватывали малейшие отклонения от требований устава во внешнем виде караульных. Слышались его короткие замечания:

«Подворотничок пришит косо». «Сапоги вычищены для себя, а надо и для других» (это значит - задники грязные). «Застегните подсумок: не за грибами...».

- Ефрейтор, - это дневальному, который вышел на крылечко глянуть на развод, а заодно и покурить, - бросьте папиросу и марш на свое место! Поправьте ремень.

Сам он имел неукоснительное право делать замечания. Форма на нем всегда была в идеальном порядке, хромовые сапоги надраены до зеркального блеска, шею туго облегал ослепительной белизны и абсолютной симметрии подворотничок. Эмалевые зубчики «старшинской пилы» на петлицах один к одному, ровнехонько - не придерешься. Розетка под орденом разглажена, как будто только что приколота, и сам орден в косых лучах солнца, успевшего склониться к вершинам тополей, окружавших военный городок, выглядит новеньким.

Идя рядом со старшиной, Андрей Трубин невольно оглядывал себя: все ли у него на месте, достаточно ли туго заправлена гимнастерка, не вылезли ли из сапог брюки. Если есть в форме непорядок, то так прямо ему об этом старшина не скажет, чтобы не подрывать командирского авторитета перед подчиненными, но обязательно найдет такой же непорядок в форме у кого-нибудь другого и будет о нем говорить до тех пор, пока не поймешь, что говорит для тебя. Да еще потом наедине сделает внушение.

Впрочем, оглядывал и проверял себя Андрей в этот раз больше по привычке. Слова старшины уже как-то не доходили до него. Ему-то что? Еще день, один наряд, и все останется для него воспоминанием. А вспоминать о чем будет.

Не забыть Андрею здесь ничего. Он окинул взглядом двор городка.

Часть выбыла в летние лагеря (на месте остался лишь караульный взвод), и квадратный, довольно обширный, запорошенный пухом цветущих тополей двор выглядел непривычно большим и пустынным. Двухэтажное бревенчатое здание

главной казармы необитаемо. На широком крылечке никого. По скамейкам курилки, вокруг врытой в землю бочки с водой прыгают безбоязненно воробьи. Нет шумных курильщиков, в кругу которых обычно раздавались то взрывы веселого хохота, то закипал спор. Помещение столовой тоже пусто: не мелькает в высоких окнах белый колпак хлебореза, не стучат мисками дежурные по кухне. Вещевой склад Якутова - и тот на замке.

Андрей не удержался, глянул на примостившийся в дальнем углу двора домик санчасти, на окна, наглухо задернутые белыми занавесками, и в груди у него что-то защемило, и опять вернулась грусть, которая одолевала, когда он писал письма. «Прощай все, прощай!» - мысленно расставался он с большим плацем, где утоптанная до твердости асфальта подошвами солдатских сапог земля хранит следы и его ног, и этими старинными казармами, где прожит целый год. Легко ли, тяжело ли, но прожит.

Но что обо всем этом думать? Сейчас развод караула, и посторонних мыслей быть не должно. Обо всем можно поразмыслить потом, в карауле - в распоряжении целые сутки. Он обязательно должен «добить» письма и закончить стихотворение.

Андрей принял сосредоточенный вид, поправил оттягивавшую ремень кобуру с пистолетом и так же, как старшина, стал внимательно оглядывать строй. Из его отделения здесь были всего двое: веснушчатый, застенчивый красноармеец Тимошенко и Ташаубаев - казах, накануне вернувшийся из кратковременного отпуска из дому. По-степному острыми были глаза недавнего чабана Касыма Ташаубаева. На очередной проверочной стрельбе, из положения лежа, спокойно послал он все пять пуль точно в центр мишени. За это и за отличное несение службы присутствовавший здесь командир дивизии сразу дал ему отпуск на десять суток, не считая дороги. Остальные караульные были из отделения сержанта Аветисяна.

Правофланговым в строю стоял разводящий ефрейтор Асхат Кучкильдин, сухопарый, остролицый татарин, очень аккуратный в службе, но до того замкнутый и молчаливый, что даже старшина Барабанов, ставивший его нередко в пример другим за старательность, порой удивлялся и советовал самым серьезным образом:

- Кучкильдин, у тебя с языком в порядке? Ты давай, знаешь, иногда тренируй его, для пользы дела.

Рядом с разводящим - красноармеец Тугаринов. Он на полголовы выше Кучкильдина и раза в два шире в плечах. У него все массивно: голова, плечи, ноги, сапоги сорок четвертого размера. Ладонь, придерживающая винтовку, как лопата. И лицо под стать фигуре: широкое, налитое здоровьем. А глаза подпухшие и всегда как заспанные. С виду - увалень, но на самом деле лучший в своем колхозе плотник и лесоруб, Тугаринов теперь отлично владеет приемами штыкового боя, умело, со сметкой окапывается и точно по цели бросает гранату. А вот с дисциплиной у парня неладно. «Из-за него, - заявляет Барабанов, - весь взвод на одну ногу хромает».

Признаться, Андрей недолюбливает этого здоровяка и сейчас недоволен тем, что Тугаринов попал с ним в наряд. По мнению Трубина, недисциплинированность Тугаринова сводит на нет все его хорошие качества. И, кажется, неприязнь эта у них взаимная. Тугаринова совсем недавно за очередное опоздание из увольнения в город судили товарищеским судом. Трубин как председатель суда держался с ним подчеркнуто официально и теперь улавливал в его сонливом взгляде скрытое недружелюбие. У Тугаринова подвернулась на плече лямка противогаза, - сделать бы замечание, но Андрей мысленно махнул рукой: старшина сам заметит, и перевел взгляд на следующего караульного.

Не случайно их взвод называли «интернациональным». Следующий в строю - Экштейн, из приволжских немцев. Он, как и Андрей, - студент пединститута, призванный в армию во время финской войны, только не историк, а географ, хороший парень, добряк, покладистый и улыбчивый. Как многие немцы, букву «д» он выговаривает глуховато, как «т». У него получается: «тута» вместо «туда», «нато» вместо «надо». Имя он носит знаменательное - Христофор. Но по имени его почти не называют. Как-то он сам перевел свою фамилию. Экштейн - краеугольный камень. И это к нему так и прилипло. Сначала говорили полностью: Краеугольный камень. Затем просто Камень и, наконец, совсем шутливо - Камешек.

Даже старшина Барабанов, противник всякой фамильярности, поддавшись общей привычке, частенько обращался:

«Камешек, или как там? Подойдите ко мне!».

И Экштейн нисколько не обижался.

Рядом с Экштейном - красноармеец Адамович, признанный всеми балагур. Даже и сейчас в строю у него такое выражение, точно он вот-вот отпустит очередную шутку. Большие, чуть

навыкате глаза его посмеиваются, губы искривлены, будто с трудом сдерживают готовые сорваться с них веселые слова. Адамович следит за старшиной, и тот, умеющий все замечать, ловит его взгляд, прикрикивает, однако не очень строго:

- Красноармеец Адамович, стоять как положено. Не в курилке находитесь!

Несмотря на его вечное балагурство и коробящую старшину хитринку, Адамович ему явно по душе. Умеет он потрафить начальству, когда своей выправкой, когда уменьем особенно четко припечатать шаг. Внеочередное увольнение Адамовича из части, как правило, являлось результатом его строевого мастерства. Не совсем безупречный насчет дисциплины, Адамович умел использовать «слабинки» старшины. Таяло сердце сверхсрочника-служаки при виде ремня, затянутого на Адамовиче до последней дырочки, безупречно посаженной над левой бровью пилотки, руки, вскинутой под прямым углом к головному убору, а особенно от искренней веселости бойца. Если старшина в чем ему и отказывал, то Адамович не падал духом, а так же четко козырял, улыбался и отходил строевым шагом. Даже такую вольность, как гимнастерку не по форме, прощал Адамовичу старшина Барабанов. Сколько раз грозился отобрать у него серого цвета танкистскую гимнастерку и такие же брюки, но не отбирал, соглашался с его доводами. А тот на доводы не скупился. Он ссылался на какой-то «особый приказ», который якобы разрешал танкистам носить свою форму, где бы они ни находились.

Долго ли он служил в танкистах и почему оказался в пехотно-строевой части - никто толком не знал. Но сам Адамович твердил:

- Я здесь до особого распоряжения. Отзовут, вот увидите. Прислали показать, как надо нести службу.

Трудно было понять, кем он был до армии. По его словам выходило: в одном случае - слесарем, в другом - шофером. По скорее всего - продавцом, потому что об этом он чаще всего говорил. Чувствовалось, много привирает и здесь, но было ясно - с профессией продавца он знаком.

Адамович и в караул надел свое танкистское обмундирование, уже изрядно поношенное, но неизменно чистое и старательно отутюженное. Подворотничок сиял белизной не меньше, чем у старшины, а складки на гимнастерке под ремнем были, пожалуй, еще ровнее.

Плечом к плечу с Адамовичем в строю стоял высокий сутулый красноармеец в пенсне по фамилии Феоктистов.

Для старшины Барабанова, да и для командира отделения сержанта Аветисяна, был этот красноармеец сущим наказанием. Слишком штатским по своему существу был он, чтобы принять близко к сердцу и постичь военное дело. Феоктистов не увиливал от службы, не совершал проступков. По-своему он даже старался в выполнении несложных солдатских обязанностей. Но выходило все как-то не так. На физподготовке он обязательно падал с бума, на стрельбище палил либо в белый свет, либо в чужие мишени. А на первомайском параде по команде: «Равнение направо», к ужасу командира взвода, повернул голову в противоположную сторону.

Старшина, намучившись с Феоктистовым, уже давно махнул на него рукой: пусть, все равно толку из него не будет. Но тут была не безнадежность. При всей своей нетерпимости к плохой выправке и всякой человеческой неловкости, Барабанов уважал Феоктистова, потому что он единственный во всем взводе имел высшее образование и до призыва в армию преподавал историю в средней школе. И старшина, не любивший выделять кого-либо своим вниманием, для него делал исключение. И иногда в свободную минуту подзывал к себе, просил дружески:

- Расскажи-ка, что интересного вычитал. Все книги одолел, или еще остались какие?

- Остались, - подтверждал Феоктистов поспешно, как мог, подтягивался перед старшиной и обязательно допускал какой-нибудь непорядок в своей заправке: то расстегнувшуюся пуговицу, то съехавшую набок пряжку ремня.

Читал Феоктистов, пользуясь малейшей возможностью. При этом так увлекался, что забывал обо всем. Адамович над ним подшучивал:

- Феоктистов, ты купил папиросы «Казахстанские»? Говорят, плохие?

- Да, да, - кивал тот, не отрываясь от книги.

- Так ты лучше отдай их мне, чем выбрасывать.

- Пожалуйста, пожалуйста, - соглашался Феоктистов и, не отрываясь от книги, протягивал папиросы. Потом, когда его наконец отрывали и нужно было курить, он спохватывался, начинал шарить по карманам и смущенно спрашивал того же Адамовича, не заметил ли он, куда подевались у него папиросы.

Была у Феоктистова и еще одна страсть, о которой также все знали, - писать письма. Перед армией он женился, ждал сына и почти ежедневно отправлял домой, за Урал, солдатские треугольники, свернутые из тетрадной бумаги. Вот и сегодня, перед тем как встать в строй, Феоктистов успел сбегать к главной казарме, у входа в которую был прибит почтовый ящик. И не забыл прихватить в караул объемистый том, втиснул его в сумку с противогазом.

Трубин одного за другим оглядывал караульных, и уже знакомое чувство неловкости опять кольнуло в сердце: «Я-то уезжаю учиться, а они нет. Буду отлеживаться в вагоне, расхаживать по московским улицам и площадям, набираться впечатлений, потом займусь учебой, а им придется, как вчера, как сегодня заступать в караул, точно вот так же стоять в строю и выполнять заученный назубок ритуал развода».

Мысленно Андрей похвалил себя за то, что не отказался пойти в наряд, не упустил возможности напоследок побыть вместе со всеми в карауле. И мысли снова увели его от строя. Интересно, где будут эти его сослуживцы по караульному взводу через два года, когда он окончит училище и вернется сюда, а вернуться он постарается именно сюда. Большинство из них, разумеется, отслужит. Кое-кого не будет здесь уже нынешней осенью. Кончится срок службы у Тугаринова, у Кучкильдина. Вот Василия Тимошенко он может застать, если ему присвоят звание младшего командира: он ведь еще и года не прослужил. А раньше всех уедет, пожалуй, красноармеец Пряхин, что стоит в строю с левого фланга. Кажется, по этой причине он и переведен к ним из пулеметной роты, перед самым уходом в лагеря.

Пряхин в представлении Андрея почти старик: ему что-то около тридцати. Взят он из запаса на финскую войну, там был ранен в ногу кукушкой-щуцкоровцем. Рана у него хотя и зажила, но он чуть прихрамывает. Перед тем как попасть в караульный взвод, лежал в санчасти. Там и успел отпустить усы, делавшие его похожим на Чапаева.

Пряхин - единственный член партии в караульном взводе, не считая лейтенанта Култаева, участвовавший в боях. За все это Андрей уважает красноармейца, хотя с ним почти не знаком. Знает только, что по профессии он механизатор, работал в колхозе бригадиром тракторной бригады. Пристрастие его к технике проявляется и здесь. В карауле, днем, в свободное от поста время, он обязательно возится с механизмами - то с

мотопомпой, то помогает ладить машину какому-нибудь шоферу.

Пожарный караульного взвода младший сержант Клевакин тоже уедет. Он ждет не дождется, когда вернется в родной лесхоз, сядет за свой бухгалтерский стол и начнет щелкать костяшками счет, с недоверчивой подозрительностью оглядывая каждого входящего. С этой иронической подозрительностью и настороженностью смотрит он и на своих товарищей по взводу. Андрей за все время почти и не видел на его чуть тронутом оспой лице иного выражения, кроме этой недоверчиво хмурой ухмылки. Он так толком и не мог определить, что за человек Клевакин. Он словно был чем-то постоянно недоволен, на всех ворчал и всех предостерегал. Одно время койки их в казарме стояли рядом, и Клевакин измучил его советами.

- Ты, смотри, Трубин, - шептал он из-под одеяла, - не больно-то хороводься с Коржовым: у него брат осужденный. Знаешь?

- А что тут такого? Брат за брата не отвечает.

- Так-то так... А все же... Тебе в училище поступать. И не в какое-нибудь, в военно-политическое...

Или, если Андрей высказывал свои суждения по какому-либо вопросу:

- Смотри, Трубин, поосторожней: шибко не верь каждому. Нет еще пока такого рентгена, чтобы в человека заглядывать, узнавать, что у него на душе, какой дебет, какой кредит.

Андрей слушал его, слушал и не вытерпел - перебрался на другую кровать.

Когда Андрею обменяли сапоги, Клевакин прокомментировал это таким образом:

- Стишками заработал. Неплохо. Гляди только, не насочиняй лишнего.

За угрюмой назойливостью, придирками Клевакина Трубин чувствовал явную зависть. Бухгалтер завидовал его выправке, крепко сложенной фигуре, каждому его успеху по службе, тому, что Андрей учился в институте, а теперь едет в военное училище. Не он, Клевакин, а именно Андрей.

Вот и сейчас судьба снова обошла его, Клевакина. Трубин командует, а он тянется перед ним в строю.

Всем своим видом Клевакин старался подчеркнуть, что хотя и участвует в разводе, но не очень-то зависит от начальника караула.

Андрей в своем грустно-благодушном настроении не замечал этого. Сейчас даже этот не очень приятный сержант-пожарный был для него частью того товарищеского привычного коллектива, который стал ему таким дорогим и близким и с которым так грустно расставаться.

Старшина, наконец, закончил осмотр наряда: одного из красноармейцев послал укрепить пуговицу на гимнастерке, второго - перешить подворотничок и «сделать так, чтобы сапоги были начищены и для других». Не ускользнула от его всевидящего ока и книга, вопреки всяким правилам засунутая Феоктистовым в противогазную сумку:

- Это еще что такое? Красноармеец Феоктистов, противогаз для тебя - вещевой мешок? Вынуть, и чтобы не было подобных фокусов. Ясно?

Барабанов, чуть привстав на носки, оглядел в последний раз строй, казалось, даже сожалея, что теперь уже все в порядке и нет больше причин для замечаний. Оставалось провести инструктаж: проверку обязанностей караульных.

- Красноармеец Тимошенко, повторите обязанности часового на посту.

- Часовой обязан охранять и стойко оборонять свой пост. Не отвлекаться, стоять бодро, як полагается...

- Вблизи объекта появилось постороннее лицо. Что будете делать?

- Остановлю криком: «Стой, кто идет!» Ще вызову карнача або разводящего. Ось так...

- Без лишних слов. Красноармеец Адамович, на посту пожар. Действия часового?

- Принять меры к тушению. Вызвать начальника караула, - с подчеркнутой серьезностью отчеканил тот, глядя в упор на старшину.

- Ну, вот что, товарищи, - старшина глянул на наручные часы. - Задача одна. Чтобы все было на уровне. Помните, наряд ваш сегодня необычный. А какой? Красноармеец Тугаринов!

- Так сказано же, необычный.

- А смысл?

- Выходной день.

- Правильно. Кому выходной, а нам наоборот. Возле объекта могут появляться всякие посторонние и прочее. Это значит, необходимо усиление бдительности. И вообще, помнить обстановку. Запад. Ясно?

- Ясно, товарищ старшина.

- Не слышу.

Безветренный предвечерний воздух вздрогнул от повторного:

- Ясно!

- Вот теперь подходяще, - удовлетворенно сказал Барабанов и коротко козырнул. - Товарищ старший сержант, можете вести наряд!

- Есть вести.

- Наря-я-д, - Андрей привычно приподнял голос, чуть растягивая слова. - Смирно! На ремень! Налево!

Винтовки почти неслышно легли ремнями на плечи, только Феоктистов затвором зацепил противогазную сумку, съехавшую набок. Строй повернулся, замер в ожидании следующей команды, и, когда Трубин после паузы кинул отчетливо: «Шагом марш!» - о землю бухнули разом, одним звуком, десять пар сапог.

Под одобрительным взглядом старшины плотная небольшая колонна двинулась через двор, печатая шаги, к воротам, которые уже успел с готовностью распахнуть дежуривший у проходной дневальный.

Когда подошли к главной казарме, Трубин подозвал Кучкильдина и приказал ему вести строй. Сам он в два прыжка взбежал на деревянное крыльцо, истертое ногами еще царских солдат и польских жолнеров.

В коридоре на первом этаже, недавно таком оживленном, было теперь по-нежилому тихо. Комнаты штаба закрыты. Сиротливо пестрела на фанерном щите для объявлений цветная афиша кинофильма «Фронтовые подруги», нарисованная рукой библиотекаря сержанта Макарова. Андрей знал, что писем ему нет, и все-таки приостановился возле ящика на стене, разгороженного на клетки с буквами по алфавиту. В отделении на букву «Т» торчал уголок конверта. Все то же. Лейтенант Таран месяц как выбыл из части, а письма идут и идут. Счастливый.

Андрей подержал чужое письмо в руках, посмотрел с сожалением в соседнюю ячейку, в которой ничего не было. Его потянуло заглянуть в клуб: двери были тут же рядом и не были закрыты. Он перешагнул порог. Полумрак. Тишина. Не слышно торопливых шагов заведующего клубом младшего политрука Синицкого, никто не бренчит на пианино за плюшевым занавесом. На дверях библиотеки замок. Не верилось,

что совсем недавно, Первого мая, здесь было шумно, выступали участники художественной самодеятельности, и он читал свои стихи. Вот и напоминание об этом вечере: фотографии участников концерта. Снимал Синицкий для выставки в окружном Доме комсостава и часть оставил для себя.

Андрей подошел к стенду. На фотографиях все в концертных костюмах. Во фраке, в белых перчатках и в цилиндре - ефрейтор Горбань, «соловей», как называли его в части, исполнявший арию Ленского. Красноармеец Кузовкин из взвода связи и жена начальника штаба майора Ширякова - в платье чеховских времен. Она играла вдову из водевиля «Медведь». Лица все знакомы. Сквозь самодельный грим легко узнать каждого. Но Андрей не стал вглядываться. Внимание его приковала одна фотография. На ней девушка в расшитой украинской сорочке, широко раскрытые глаза полны света. В уголках губ - улыбка, мягкая, с лукавинкой. Светлые густые волосы уложены на голове венком, будто свитые из спелой пшеницы. На шее - монисто, по плечам - ленты, прямо Наталка-полтавка.

Карточка уголками чуть держалась в прорезях картона. Андрей, с заколотившимся от принятого решения сердцем, оглянулся на дверь, оставленную полуоткрытой, убедился, что никого за ней нет, и высвободил один краешек фотографии. Потом быстро вынул ее всю, засунул в карман гимнастерки рядом с комсомольским билетом и выбежал, довольный своим поступком.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Трубин догнал наряд уже далеко за воротами и, приноровившись к общему ритму, зашагал сбоку, незаметно войдя в роль командира, привычную и волнующую. Он каждый раз испытывал какую-то особую приподнятость, когда вел по улице строй. Вызывало гордость сознание, что ты командир и строй подчинен твоей воле. Ты можешь приказать, и люди пойдут быстрее. И наоборот, скажешь: «Короче шаг», и движение замедлится. Можешь скомандовать: «Бегом!», свернуть налево или направо, никто не возразит, не воспротивится приказанию. И сам можешь идти рядом со всеми, а можешь в стороне. И неважно, что в петлицах всего по три рубиновых угольничка, - все равно командир. И главное, все видят, что ты командир.

Он шел нога в ногу со строем, то и дело, как бы невзначай, касаясь рукой кармана гимнастерки, где лежала фотография, и незаметно, не поворачивая головы, поглядывал по сторонам. Правда, на улице никого не было в этот предвечерний субботний час, и дома стояли с прикрытыми от дневного зноя ставнями, как сонные, но наверняка чей-нибудь любопытный девичий глаз поглядывал в окошко из-за занавески. Возможно, и той, которая бросила ему георгин.

Андрею захотелось взбудоражить сонную улицу этого маленького городка, затерявшегося в лесах Западной Белоруссии, привлечь внимание и уж не только к себе, а ко всему строю. И он, стараясь передать свое настроение, свою приподнятость всему наряду, скомандовал:

- Тимошенко, песню!

Признанный запевала, в котором, по словам Адамовича, «откуда и что бралось», Василь Тимошенко не заставил себя ждать. Он оглянулся на начальника караула, как бы показывая, что за ним дело не станет, пропустил для разгона несколько шагов и звонко, чистым высоким тенором завел с украинским выговором:

Красноармеец був герой
У разведки боевой...

Строй подхватил дружно:

Эх, да герой!
На разведке да боевой...

Строй едва успел закончить, а запевала уже выводил дальше, на высокой ноте:

У разведку он ходив,
Усе начальству доносив...

Не зря младший политрук Синицкий упрашивал лейтенанта Султаева освободить красноармейца Тимошенко от очередных нарядов для участия в спевке!

Ага, цель достигнута. В одном окне дрогнула шторка, отодвинутая торопливой рукой, в другом доме за плетнем мелькнул белый платок... В строю это тоже заметили.

Припев подхвачен еще дружнее. Пел молчаливый Кучкильдин, подтягивал, как мог, не обладавший особыми вокальными данными Ташаубаев и даже Клевакин, шедший замыкающим и всем видом подчеркивавший свое независимое положение в строю, сам того не замечая, добросовестно подхватывал:

Эх, да герой!
На разведке боевой!

Но песня зазвучала особенно бодро, когда взвод поравнялся с небольшим кирпичным домиком под замшелой черепичной крышей, с весело глядевшими на улицу окнами. Андрею не надо было задумываться над причиной. В домике-теремке жила всем знакомая Фаня, кассирша местной фотографии.

Никто не знал точно ее фамилии, знали имя и еще, что она польская немка. Зато влюблены были в нее все без исключения. В крохотном фотоателье, наспех оборудованном с приходом Красной Армии, клиентов было хоть отбавляй, особенно по выходным дням. Тут и красноармейцы, и младшие командиры, заходил и средний комсостав, но преобладали летчики, так как неподалеку от местечка, в бывшем монастыре, размещался истребительный полк.

Обратить на себя внимание Фани, перекинуться с ней словом стремились все. Не избежал этого и Андрей. Дня три, после того как первый раз побывал в фотографии, не мог прийти в себя. Несколько воскресений околачивался в фотоателье пана Кнуша, но потом благоразумно решил не терять времени попусту. Тем более что Фаня, судя по всему, сделала выбор. Счастливцем оказался грузин-капитан из штаба летной части. Круг поклонников Фани сразу сузился.

Под вечер Фаня обычно бывала дома, ухаживала за цветником под окнами. Вот и теперь за штакетной оградкой палисадника бабочкой мелькнула ее цветная кофточка. Фаня несла лейку с водой и приостановилась, как только строй грянул дружно:

Белоруссия родная, Украина золотая...

песню, которая особенно удавалась под строевой шаг.

Андрей не утерпел, подошел к оградке, шутливо взял под козырек. До чего же хороша она даже и в этой домашней простенькой кофточке и босиком. Волосы схвачены голубой ленточкой. В кармашке фартучка - садовые ножницы. А какая рука! Мокрая, выпачканная землей и все равно красивая: на ней и грязь не грязь. Фаня осторожно прижала ладонь к уху, чуть зажмурилась, выражая изумление:

- О, как громко поют. И хорошо вельми. Пан командир, то есть, товарищ. Я все забываю. Завтра воскресенье, праздник, как это по-вашему: выходной день? А вы работаете, то есть совсем как в будни. У вас служба?

- Служба.

- Тогда счастливо!

Улыбка, взмах руки. Фаня что-то еще сказала, Андрей не расслышал, перемахнул на мостовую с дорожки, как на крыльях.

- Отделение, шире шаг! Ноги не слышу.

Хорошо спетая песня, встреча с Фаней - все это требовало определенной разрядки. Поэтому, как только домик остался за углом, раздались голоса:

- Карнач, привал на одну минуту.

- Горло промочить, пересохло.

Трубин вскинул руку с большущими, похожими на банку из-под гуталина, кировскими часами. Время в запасе было, да уже и в привычку вошло останавливаться на пути в караул здесь, в конце улицы, возле колодца. Замечательная была в этом глубоком колодце вода, родниковая, холодная, как лед. Глоток - и жажды как не бывало. Приветливо стояла на краешке дубового сруба деревянная бадья-цыбарка, как бы приглашая каждого остановиться, отведать колодезной воды.

Направляющие, Кучкильдин и Тугаринов, повернули головы, смотрели на Трубина. Хотя на пути к объекту останавливаться караулу не рекомендуется, они знали - командир разрешит напиться. И Андрей скомандовал:

- Приставить ногу! Вольно!

Минута, и строй сломался, все окружили колодец. Тугаринов, отставив винтовку, выплеснул из бадьи согревшуюся на солнце воду и опустил ее в глубину колодца. Загремела цепь, намотанная на вал, смолк, удаляясь, стук цыбарки о бревна сруба.

В ожидании Пряхин полез в карман за кисетом. Адамович пилоткой вытирал вспотевшее лицо.

- Эх, а дали мы здорово! Фаня как смотрела, заметили? Товарищ старший сержант, про кого это она вам говорила? Не про меня, случаем? Что-то мне икнулось.

- Про тебя, про тебя, - закивал, посмеиваясь, Ташаубаев.

- Кто больше всех сам глазами играет, на того больше смотрят.

- Я так и знал. Красивые девушки предпочтение отдают танкистам. Это доказано.

Адамович нахлобучил пилотку, потянулся к бадье, которая как раз в этот момент показалась из-за кромки сруба. Но Тугаринов отстранил его, поставил мокрую цыбарку на край колодца, кивнул Трубину:

- Давайте, старший сержант...

Андрей присел на корточки, приник губами к кромке бадьи. В лицо пахнуло холодком, арбузной свежестью. Он еще пил, делая небольшие глотки, когда от дома напротив к колодцу подошла высокая, сурового вида старуха с жестяным ковшиком в руках.

- А чего ж без посуды обливаетесь? Стукнули бы в хату, - поздоровавшись, сказала она.

- А так вкуснее, мать, - ответил за всех Адамович, почтительно отступив в сторону.

- Возьмите вот. Повесите потом на ограду, - старуха подала ковшик и направилась к дому, строгая и прямая в своем темном платке и таком же темном фартуке.

Андрей познакомился с бабкой Несенко в прошлом году, вскоре после того как прибыл из полковой школы в часть. Тогда они возвращались с занятий по тактике. Он и Вася Коржов отстали от взвода. Андрей уже не помнил: то ли сам ногу натер, то ли у Васи что-то случилось, но они вынуждены были присесть на обочине мостовой, возле одного из последних домов улицы.

Щедрая на краски осень бушевала золотым пожаром в садах и огородах. Тяжелая ветвь яблони с крупными румяными плодами свешивалась через плетень прямо над головами друзей. И они не устояли перед соблазном. Сначала Вася дотянулся и сорвал яблоко, а затем, глядя на него, то же самое сделал и Андрей. Чертовски сладкими оказались эти яблоки, сочная мякоть их так и таяла, оставляя во рту медвяный аромат, и трудно было, съев одно, не попробовать второго. Но тут-то и случилась неприятность.

Очевидно, чей-то взгляд с самой первой минуты держал их под внимательным прицелом. Едва только надкусили по второму яблоку, как перед ними вырос длинный костлявый старик в старомодном длиннополом пальто и в фетровой шляпе: хозяин дома. Нет, он не стал кричать, не стал ругаться, больше того, даже сам первый вежливо поздоровался, чуть коснувшись рукой шляпы, выгоревшей, с обвисшими полями, похожей на дряблый лопух. Но колючий прищур маленьких, глубоко вдавленных глазок старика в один миг начисто отбил у Андрея аппетит.

- Панове жолнеры пробуют яблоки из моего сада? - заговорил он с ехидной улыбкой. - Они им нравятся? Я рад. Очень рад. Это хороший сорт. Если осторожно снять с дерева и положить в подвал, можно сохранить до будущего лета. Уверяю

Улыбка, взмах руки. Фаня что-то еще сказала, Андрей не расслышал, перемахнул на мостовую с дорожки, как на крыльях.

- Отделение, шире шаг! Ноги не слышу.

Хорошо спетая песня, встреча с Фаней - все это требовало определенной разрядки. Поэтому, как только домик остался за углом, раздались голоса:

- Карнач, привал на одну минуту.

- Горло промочить, пересохло.

Трубин вскинул руку с большущими, похожими на банку из-под гуталина, кировскими часами. Время в запасе было, да уже и в привычку вошло останавливаться на пути в караул здесь, в конце улицы, возле колодца. Замечательная была в этом глубоком колодце вода, родниковая, холодная, как лед. Глоток - и жажды как не бывало. Приветливо стояла на краешке дубового сруба деревянная бадья-цыбарка, как бы приглашая каждого остановиться, отведать колодезной воды.

Направляющие, Кучкильдин и Тугаринов, повернули головы, смотрели на Трубина. Хотя на пути к объекту останавливаться караулу не рекомендуется, они знали - командир разрешит напиться. И Андрей скомандовал:

- Приставить ногу! Вольно!

Минута, и строй сломался, все окружили колодец. Тугаринов, отставив винтовку, выплеснул из бадьи согревшуюся на солнце воду и опустил ее в глубину колодца. Загремела цепь, намотанная на вал, смолк, удаляясь, стук цыбарки о бревна сруба.

В ожидании Пряхин полез в карман за кисетом. Адамович пилоткой вытирал вспотевшее лицо.

- Эх, а дали мы здорово! Фаня как смотрела, заметили? Товарищ старший сержант, про кого это она вам говорила? Не про меня, случаем? Что-то мне икнулось.

- Про тебя, про тебя, - закивал, посмеиваясь, Ташаубаев.

- Кто больше всех сам глазами играет, на того больше смотрят.

- Я так и знал. Красивые девушки предпочтение отдают танкистам. Это доказано.

Адамович нахлобучил пилотку, потянулся к бадье, которая как раз в этот момент показалась из-за кромки сруба. Но Тугаринов отстранил его, поставил мокрую цыбарку на край колодца, кивнул Трубину:

- Давайте, старший сержант...

Андрей присел на корточки, приник губами к кромке бадьи. В лицо пахнуло холодком, арбузной свежестью. Он еще пил, делая небольшие глотки, когда от дома напротив к колодцу подошла высокая, сурового вида старуха с жестяным ковшиком в руках.

- А чего ж без посуды обливаетесь? Стукнули бы в хату, - поздоровавшись, сказала она.

- А так вкуснее, мать, - ответил за всех Адамович, почтительно отступив в сторону.

- Возьмите вот. Повесите потом на ограду, - старуха подала ковшик и направилась к дому, строгая и прямая в своем темном платке и таком же темном фартуке.

Андрей познакомился с бабкой Несенко в прошлом году, вскоре после того как прибыл из полковой школы в часть. Тогда они возвращались с занятий по тактике. Он и Вася Коржов отстали от взвода. Андрей уже не помнил: то ли сам ногу натер, то ли у Васи что-то случилось, но они вынуждены были присесть на обочине мостовой, возле одного из последних домов улицы.

Щедрая на краски осень бушевала золотым пожаром в садах и огородах. Тяжелая ветвь яблони с крупными румяными плодами свешивалась через плетень прямо над головами друзей. И они не устояли перед соблазном. Сначала Вася дотянулся и сорвал яблоко, а затем, глядя на него, то же самое сделал и Андрей. Чертовски сладкими оказались эти яблоки, сочная мякоть их так и таяла, оставляя во рту медвяный аромат, и трудно было, съев одно, не попробовать второго. Но тут-то и случилась неприятность.

Очевидно, чей-то взгляд с самой первой минуты держал их под внимательным прицелом. Едва только надкусили по второму яблоку, как перед ними вырос длинный костлявый старик в старомодном длиннополом пальто и в фетровой шляпе: хозяин дома. Нет, он не стал кричать, не стал ругаться, больше того, даже сам первый вежливо поздоровался, чуть коснувшись рукой шляпы, выгоревшей, с обвисшими полями, похожей на дряблый лопух. Но колючий прищур маленьких, глубоко вдавленных глазок старика в один миг начисто отбил у Андрея аппетит.

- Панове жолнеры пробуют яблоки из моего сада? - заговорил он с ехидной улыбкой. - Они им нравятся? Я рад. Очень рад. Это хороший сорт. Если осторожно снять с дерева и положить в подвал, можно сохранить до будущего лета. Уверяю

вас. Но в таком случае, почему панам жолнерам, извините, - панам капралам, наверное, не войти в мой сад? Пусть отведают и другой сорт. В моем скромном саду есть и другие сорта яблок. А то люди увидят, что вы тут на улице, и всякое могут подумать. Могут сказать, что вы без разрешения рвете яблоки. Чего доброго командирам вашим скажут. На Червонную Армию пятно. Люди разные. Всякие люди.

Положение было не из приятных. Андрей чувствовал себя как воришка, пойманный с поличным на месте преступления. Старику ничего не стоило назвать их ворами, а не расточать колючие любезности: факт есть факт. Ничего не стоило и сообщить в часть. Взвод не успел далеко уйти, да и другие подразделения вот-вот подойдут. Скажет любому командиру: «Ваши два сержанта рвали яблоки», - и проработка обеспечена, если не хуже.

Что было делать? Извиниться перед стариком и уйти или, наоборот, воспользоваться его приглашением? Может быть, колючесть в его взгляде просто показалась и зовет он искренне, а откажись - обидится.

Андрей посмотрел на приятеля. Тот сидел тоже растерянный, рука с надкушенным яблоком спрятана за спину, на лице вопрос: как быть?

Выручка явилась неожиданно. Еще до того как появился старик, они видели высокую бабку, подходившую с ведрами к колодцу посреди улицы. Сейчас эта старуха звала их:

- Эй, хлопцы, подте сюда. Помогните старухе. Бадью не выйму.

Приятели, едва осознав смысл ее просьбы, кинулись к ней оба разом. Мешая друг другу, вытянули тяжелую бадью с водой, а затем уже без приглашения схватили и полные ведра.

- Бабушка, куда поднести?

- А прямо, через дорогу, - кивнула старуха и пошла впереди с цветастым расписным коромыслом в руках. Во дворе она молча распахнула перед ними жердяные воротца и кивнула на крылечко - туда.

Андрей и Вася поднялись с ведрами по скрипучим, выскобленным до желтизны ступенькам и очутились в полутемных сенях, где на земляном полу грудой лежали тыквы и пахло конопляным семенем, но бабка провела их дальше, в хату. Там они поставили ведра на припечек и хотели уйти, но хозяйка удержала их властным жестом:

- Погодите.

Из-за печки вытащила корзину с яблоками, такими же налитыми, как и те, что они сорвали у соседа.

- Ешьте. Да сидайте, если есть время, а нет, так возьмите с собой. Ешьте, - повторила она, заметив их нерешительность. - Добра этого нынче, слава богу, уродилось. Федько, принесика, на чем посидеть.

Из соседней комнаты тотчас явился парнишка лет двенадцати с двумя табуретками в руках. С любопытством, но без удивления оглядел военных. Он, видимо, готовил уроки, и пальцы его были в чернилах. Светлые волосы взъерошены - не иначе как запускал пятерню, решая трудную задачу.

- Внучонок, сирота, - сочла нужным представить бабка и легонько подтолкнула его назад в горенку. - Ступай.

Друзья, не садясь, съели по яблоку, по паре сунули в карманы и поспешили распрощаться с хозяйкой, сославшись на дела. Старуха не стала удерживать, вышла проводить.

- Бывают тут ваши солдаты, останавливаются у колодца. Ковшик берут напиться, и вы заходите. А от того дида, что заговаривал с вами, лучше подальше держаться. Захочется яблока или еще чего - заходьте до меня, - сказала она, хотя попрежнему внешне сурово, но с оттенком доброжелательности в голосе. И Трубин, уловив в ее словах что-то теплое, благодарный за этот ее совет, с готовностью пообещал:

- Зайдем. Спасибо.

И зашел вскоре. Повстречал на улице Федька и незаметно за разговорами с ним очутился возле жердяных знакомых воротец. А потом стал бывать просто так, без причины, один и с товарищами. Что-то тянуло сюда, в эту скромную хату, может быть, домашняя обстановка, которую не успел забыть за время недолгого студенчества и потом службы в армии. Привык к Федьку и к его бабке, понял, что только на вид так сурова эта высокая и не очень разговорчивая старуха. Да и внешняя суровость ее не удивительна. Тяжелая, неласковая жизнь была за ее плечами.

Шесть мужчин, - очень похожих один на другого, - молчаливо смотрели с фотографий на стене в хате бабки Несенко. И только один из всех был жив - остальных унесла война. Мужа разорвал австрийский снаряд под Перемышлем в 1915 году, трех старших сыновей свалили пули петлюровцев в гражданскую войну, а одного - отца Федька - свел в могилу туберкулез, подхваченный в сырых казематах панской тюрьмы. И лишь

последний, самый младший, сын остался жив и сейчас служил в Красной Армии далеко от дома.

Будто своих сынов, угощала бабка яблоками и помидорами, тыквенной кашей и варениками, щедро подливала в стаканы терпкую сливовицу в Новый год, когда Андрей с друзьями забежал на минутку поздравить бабку с праздником, да так и остался на весь день. Через них завязалась дружба всего караульного взвода с бабкой Песенко, над которой было взято своего рода шефство. Весной красноармейцы помогли ей копать огород, подправили похилившийся без мужских рук плетень. В ближайший выходной день весь личный состав взвода собирался объявить аврал и заменить трухлявую соломенную крышу на хате.

Каждый старался в чем-нибудь ей помочь. Потому и ковшик, после того как напились холодной колодезной воды, изъявили готовность отнести бабке чуть не все. И когда выбор пал на Адамовича, тот не просто повесил его на плетень, как велела бабка, а занес в дом - чего же старой выходить лишний раз.

Тут же, почти сразу за бабкиной хатой, начинался редкий сосновый лес и улица переходила в песчаную широкую дорогу, вдоль которой шагали телеграфные столбы, под зелеными кронами сосен белели чашечки изоляторов. Если идти прямо, то можно было километра через полтора оказаться на просторной поляне - старой вырубке, где среди пней желтели на каждом шагу песчаные холмики-брустверы одиночных окопов-ячеек, отрытых красноармейцами во время тактических занятий. Потом дорога снова тянулась по лесу, пока не выходила к мрачному, будто взятому изморозью кирпичному сооружению на берегу речки, у моста - паровой мельнице.

Трубин, не доходя до поляны, командовал свернуть влево, на совсем узкую, почти неприметную дорогу, усеянную сухими сосновыми шишками.

Можно было обойтись и без команды: поворот был хорошо знаком каждому из наряда, мерян и перемерян ногами красноармейцев. Лес вел здесь упорную борьбу за каждую пядь земли. Сосновая поросль напирала на дорогу. Крохотные деревца, похожие на воткнутые в землю зеленые ершики для чистки винтовок, щетинились даже в колеях, изломанные и придавленные колесами автомашин, но живучие, живые. Горячий хвойный настой в воздухе был так густ, что, вдыхая его, Андрей ощущал на губах горьковатый привкус смолки.

Солнце клонилось к закату, и лес пронизывали насквозь косые дымчатые полосы.

Андрей, чуть приотстав на узкой дороге, шел, отводя от себя колючие макушки сосенок, наслаждаясь спокойной тишиной леса. В строю все приняли положение «вольно», расстегнули воротнички, сняли пилотки. Шагавший замыкающим красноармеец Ольховский, дотянувшись, сломил с сосенки розоватую клейкую свечку, приставил к ней растопыренную коротконалую пятерню.

- Во насколько вымахала с весны: на четверть.

- С папиросы, какие ты накручиваешь из чужого кисета, - уточнил с невозмутимым видом Адамович и, вскинув вверх свои выпуклые глаза, мечтательно вздохнул. - Эх, други, красота какая! Вы только обратите внимание: кругом сплошная лирика! Есть же на свете где-то люди, которые сейчас чаи распивают на вольном воздухе или в кино собираются. А мы шагаем себе. Куда шагаем?

- Не знаешь куда? Свидание торопимся с девушкой. И ты шагай. Отстанешь, - шутливо подтолкнул его идущий сзади Ташаубаев.

- Касыму хорошо. Дома побывал, кызымку свою повидал и помалкивает.

- Зачем кызымка? Моя жена есть, Шолпан звать, - возразил Ташаубаев, широко и белозубо улыбаясь.

- Тем более. Счастливый ты, Касым. А тут хоть бы рядком пройтись по такому леску...

- С Фаней, - подсказал Ольховский, поправляя на ходу иголку с ниткой, хозяйственно воткнутую за отворот пилотки.

- В отношении Фани моя точка зрения ясная, - спокойно ответил Адамович. - Можно и попроще. Да и что особенного в Фане? Я встречал не хуже ее у себя в Озерцах.

- Встречал или встречался?

- Говорю, встречал. А что дальше было - об этом речь особая. Отпускал, помню, пшено - тогда что-то туго было с крупами - очередь, само собой. Беру бумагу, свертываю кулек и пличкой в него - раз! Потом на весы. По сторонам не смотрю, некогда. Занят. И вдруг чувствую на себе взгляд. Поверите, вот так, как эту сбрую сейчас чувствую на плече, - Адамович дотронулся до лямки противогаза. - Сыплю пшено в кулек и мимо, под ноги, мышкам на утеху. И было отчего, честное танкистское. Стоит возле прилавка дивчина, глаза - пропасть, улыбка на губах - наркоз, волосы из кольца в кольцо, смоля-

ного цвета. Про все остальное я не говорю. Все в наилучшей форме, пропорция полная. Одним словом, Венера...

- Милосская, - подсказал Андрей.

- Точно. И ведь откуда взялась? В поселке у нас таких нет. Как с неба свалилась. «Товарищ продавец, есть, говорит, у вас какао «Золотой ярлык»? Если есть, подайте, пожалуйста. Извините, что без очереди - времени нет». - И в сторону очередных тоже, простите, мол. А голос у самой, братцы, вот голос - сроду такого не слышал и не услышу. Не просто красивый - не то слово, - сложный до невозможности. Вот если взять баян, придавить клавиши все разом и растянуть: вот такой голос.

- Ну, и ты дал? - не утерпел Ольховский.

- О чем вопрос. Конечно. Такой не то что какао - самого себя вне всякой очереди отдал бы, при первом спросе.

- И не обсчитал ее?

- За кого ты меня принимаешь, табачный иждивенец? - притворно обиделся Адамович. - Да если хочешь знать, я на деньги даже и не посмотрел. Подал ей «Золотой ярлык» и спрашиваю, не надо ли еще чего. Начал перечислять весь ассортимент сельповской лавки, чтобы только постояла подольше. Тетки в очереди шуметь стали, чтобы отпускал пшено. А как отпускать, если глаза незнакомки приковали меня и держат, как магнитом. Но все же нас разъединили покупательницы. Ничего не поделаешь: пайщики. Только и того, что успел кое-как установить личность. Оказалось, что она учительница. Приехала на лето к родичам, в деревню. Раздобыл я ее адресок и наведался вскоре. Только не совсем удачно.

- Что так? - заинтересовался теперь уже и Пряхин, попыхивавший на ходу цигаркой и молчавший всю дорогу. Адамович вздохнул:

- Замужняя оказалась. Опоздал. Стучу в дверь, вот в такое же время, под вечер, помню еще солнце в глаза било, а сам весь замираю в ожидании. Кажется, вот-вот появится она, может быть, даже и в комнату пригласит. На ботинки поглядываю, не грязные ли? И вдруг вырастает на пороге этакий дядя - в плечах косая сажень, хмурый, вроде нашего Тугаринова, и на меня быком: в чем дело?

Как ему объяснить? Пробормотал я что-то вроде: «Виноват, пардон» и даю задний ход, а сам ориентируюсь: сколько позади ступенек и далеко ли до земли - на случай, если придется совершить полет с вынужденной посадкой. И от его бицепсов

глаз не отвожу, а они у него внушительные, в точности, как у Тугаринова. Паша, ну-ка покажи для сравнения.

- По шее, может быть? - повернувшись через плечо и посмеиваясь припухшими глазами, предложил Тугаринов.

- А что, шутка, думаешь? Один у нас полез вот так, по предварительной договоренности, учти, в окошко к заведующей магазином, а его опередил какой-то тип и встретил таким приветом, что челюсть в районной больнице хирург вправлял: едва вправил. Причем, часть костей пришлось заменить.

- Як заменить? - удивленно переспросил Василь Тимошенко.

- А очень просто, запасными. Мало ли там физиономий побитых. Комбинируют: у одного одно берут, у другого - другое. Как в деревне старые машины раскулачивают. Видел, небось, в своем колгоспе?

Все хохотали, слушая Адамовича. К балагурству его давно привыкли и никто уже не пытался установить, что правда, что выдумка. Один Клевакин, шагавший замыкающим, хранил хмурое молчание.

Но Адамович уже перекинулся на другую тему, жалел, что не придется завтра побывать на соревнованиях по волейболу.

- Эх, други-приятели, у летчиков наверняка будет буфет. Это же не то, что пехота-матушка. Может, пивка бы обломилось. И потом - девчата! В столовой у них официантками подобраны такие кралечки. С расчетом, сначала официанткой, а потом и замуж за летчика.

За разговорами незаметно вышли на дорогу. Впереди сквозь деревья завиднелась ограда из колючей проволоки и потемневшие шиферные крыши приземистых кирпичных строений. Трубин скомандовал: «Прекратить разговоры! Разобраться!».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Андрей очень хорошо знал, как томительно тянутся последние часы в карауле, как не терпится, чтобы скорее пришла смена, и нисколько не удивился тому, что начальник караула сам распахнул перед ними ворота. Зато Васю Коржова приход друга озадачил.

- Ты чего это явился? - спросил он, вскинув ладонь к пилотке, и тень удивления мелькнула на его крупном, округлом лице.

- Тебя сменить, - сказал Андрей. - Воскресный наряд, как видишь. Особое доверие. Повезло.

Напряженность во взгляде Коржова пропала. Он понял - ничего не изменилось. Усмехнулся угрюмо:

- Сам напросился для закругления впечатлений? Боишься, что никогда больше не испытаешь этого счастья?

- Назначили. Приказ старшины. Вместо Аветисяна. Завтра матч.

- Ну пошли, - с подчеркнутым равнодушием кивнул Вася и лязгнул металлическим засовом ворот.

Остановив наряд, Трубин вслед за Коржовым прошел внутрь караульного помещения. Тут уже шли сборы. Караульные надевали на себя скатки, противогазы, разбирали из пирамиды винтовки.

Андрей, несмотря на то, что уже разговаривал с приятелем, по-уставному представился ему:

- Начальник нового караула старший сержант Трубин. - И сообщил пароль.

- Все в порядке, - Вася козырнул. - Выходи строиться!

Через минуту оба они выстроили свои наряды лицом к лицу на посыпанной песком площадке перед караульным помещением. Подав команду «смирно», сделали навстречу друг другу по два шага. Андрей доложил первый. Десятки раз выполненная до этого привычная процедура смены караула волновала его сейчас именно потому, что была последняя. Так пусть она будет проведена по всем правилам.

- Товарищ сержант, новый караул прибыл. Начальник караула старший сержант Трубин.

Ему показалось, что и у караульных на лицах выражение особой внимательности, ведь все они знают, что он тут последний раз. И только Вася ничем больше не выдавал своего состояния. Спокойно, почти безразлично произнес в ответ:

- Товарищ старший сержант! Старый караул к смене готов. Начальник караула сержант Коржов.

Трубин подал команду:

- Новый состав караула, налево! В караульное помещение шагом марш!

Вошли и сразу наполнили помещение звуками голосов, шарканьем подошв. Стали снимать с себя скатки, ставить оружие в пирамиду. Адамович, оглядевшись вокруг и потянув крючковатым носом воздух, с притворной печалью вздохнул:

- Ну вот и родная обстановка. Ничего не изменилось, даже муха на потолке сидит та же самая и запах одеколона «Жасмин», которым обильно побрызгали Пашу в парикмахерской, не рассеялся.

Все знали о дружбе Тугаринова с любвеобильной восторговской парикмахершей тетей Стюрой, знали о том, что он нередко наведывается к ней и что именно по этой причине Тугаринов опоздал из увольнения. Чтобы не напоминать лишний раз товарищу о неприятности, все дипломатически промолчали. Но Тугаринов, не очень-то воспринимавший подшучивания на свой счет, в этот раз сам глухо хмыкнул:

- Ты, давай, не накручивай. Позавчера я брился дома. Да и не «Жасмин» вовсе в парикмахерской, а «Сирень».

- Неужели меня нос подвел? - огорчился Адамович. - Показалось, что «Жасмином» пахнет. Значит, кто-то другой пользовался этими духами. Ты поинтересуйся. А пахнет ведь действительно, вон Феоктистов подтвердит.

- Да, да, конечно, - как всегда машинально, кивнул тот, стягивая неловко через голову лямку противогаза.

- Первая смена, становись! - скомандовал Кучкильдин. Разводящий словно преобразился, попав в караул. Куда подевалась его медлительность, почти вялость. Он - весь официальность. Костистое лицо сурово. И голос сразу стал твердым, властным:

- Караульный Адамович! На место. Прекратить разговор!

Первая смена выстроилась в порядке постов. На правом фланге встал сам Кучкильдин, с непроницаемым лицом, винтовка «к ноге». Рядом с ним - разводящий старого караула, тоже ефрейтор, со смешной фамилией Сапожок. По команде Трубина «разводящий, заряжай» Асхат вскинул винтовку, направив дуло вверх, под углом в сорок пять градусов, как требует устав. Одновременно с ним зарядил оружие и ефрейтор Сапожок. А дальше команда перешла уже к самому Кучкильдину:

- Смена, справа по одному заряжай!

Все уставили винтовки в потолок, защелкали затворы. Считанные секунды - и все готово.

- За мной, шагом марш!

Бухая сапогами по цементному полу, смена вышла. Андрей, выстроив остальных, поставил задачу на случай отражения нападения и пожара. Проверил обязанности бодрствующей смены. Стоявший рядом Вася Коржов нетерпеливо напомнил:

- Пойдем, осмотришь посты.

- Чего ты их экзаменуешь? - хмуря пушистые брови, сказал он, когда вышли. - Всем это давно набило оскомину. Твердим без конца одно и то же. Одуреть можно. И взбрело кому-то затуркать нас в эту дыру. Караульный взвод, охрана важного объекта, боевые задания. Чего тут боевого? Да, в лагерях сейчас интереснее в тысячу раз. Там хоть учишься стрелять, а здесь прозаряжаешь все три года один и тот же патрон и сдашь его перед отъездом домой в целости и сохранности старшине. Да и дома спросят: где служил? Танкист? Артиллерист? Минометчик? Нет, железки караулил. - Вася усмехнулся, глядя под ноги.

- Ну, завидовать тем, кто в лагерях, вряд ли стоит, - возразил Андрей. - Забыл, как в полковой гоняли летом, брюхом землю утюжили на тактике. Вспомни капитана Марченко: «Противогазы надеть, бегом! Плохо поете, бегом! Тяжело в учении - легко в бою. Зарубите себе на носу!» - процитировал он, копируя капитана Марченко.

- Лучше на пузе, по-пластунски, чем каждый день одно и то же: «Разряжай, заряжай! На пост шагом марш!». В зубах навязло. Буду проситься в другое подразделение.

Благоразумнее всего сейчас было переменить разговор, не возражать Васе. Кто-кто, а Андрей знал, что плохое настроение у приятеля вовсе не из-за караульной службы, а из-за обиды, тяжелой обиды, которую ни за что ни про что нанесли ему какие-то люди.

Андрею стало жаль друга.

- Послушай, Вася, а что если я поговорю насчет тебя, а?

- С кем и где?

- В училище. Ведь могло твое заявление попасть не к тому к кому нужно, могли не разобраться... И потом, это же бумага. А тут я сам расскажу все о тебе, понимаешь? И из училища пришлют вызов непосредственно тебе, а не через штаб...

- Что ты скажешь? Там все прекрасно знают и без тебя. В ответе же ясно сказано: отказать.

- Нет, серьезно. Я попытаюсь.

- А-а, - Коржов отмахнулся знакомым жестом, как бы ставя точку, и даже прибавил шаг, тяжело ступая по травянистой тропинке разношенными кирзовыми сапогами.

Приятели подошли к складам. Андрей помнил наизусть, сколько дверей, окон, замков и печатей на этих приземистых, словно вросших в землю, кирпичных, старинной кладки стро-

ениях, знал, что в них хранится. Не раз видел он, как с грузовиков осторожно снимают и вносят в склад деревянные небольшие ящики с веревочными ручками - там патроны, ящики подлиннее, с разноцветными полосками, сделанными краской, - дымовые шашки. Несколько раз привозили гранаты.

Андрей однажды в знойный полдень заглянул в приоткрытые двери хранилища, манившие холодком. В глубине помещения, в прохладном полумраке, ходил завскладом. Он что-то переставлял с места на место. Высокие стеллажи, поднимавшиеся с полу до потолка, были тесно уставлены ящиками. Из-под сдвинутой крышки одного из них на Андрея угрожающе нацеливались рыжие от густой смазки головки артиллерийских снарядов. Тысячи смертей, могучая сила зловеще дремала в деревянных гнездах стеллажей, под крышей этих мирных, не приметных с виду строений. Вот почему у входа образцовая чистота. Под ноги брошен соломенный мат, такими же матами устланы и проходы между стеллажами.

Сразу за хранилищем, на горке, поросшей чахлой травой, - пост. Дощатый грибок с висящим на столбе дождевиком, окоп с бруствером, замаскированный дернинами, с круговым сектором обстрела. Андрей, остановившись, огляделся. С возвышенности хорошо просматривалась территория склада - квадрат метров триста, обнесенный изгородью из колючей проволоки и разделенный проволокой на две неравные части внутри. Большую часть занимали хранилища и пожарная будка с колодцем, меньшую - караульное помещение, помещение для караульных собак и контора склада - небольшой бревенчатый дом.

Склад находился в центре обширной лесной поляны. Деревья здесь были вырублены еще в то время, когда его строили. На одном из хранилищ выложена из кирпича дата: 1912 год. Но оставшиеся кое-где толстые смолистые пни, не поддавшиеся времени, пришлось выкорчевывать уже караульному взводу. В сумерках пень казался человеком, притаившимся в траве, и смущал часовых. Не топтаная, не мятая пикем лесная трава лезла на поляне неудержимо. В это лето ее уже дважды выкашивал собаковод Уляшев, по своей крестьянской привычке жалевший, что столько сена пропадает зря.

Все пространство вокруг территории склада было знакомо Андрею, как и Васе Коржову, до мельчайшей кочки. Каждый метр исхожен днем и ночью, каждый предмет отмечен и учтен, как ориентир. А в лесу, что окаймлял поляну, проводи-

лась ходьба по азимуту. Там на добрый десяток километров тянулся сосновый бор, который переходил в смешанный лес, и за ним начинались болота. Бронзово-зеленая стена леса будто пылала, подожженная закатным солнцем.

Андрей, по мальчишечьей привычке, сквозь ресницы глянул на багровый, иззубренный вершинами сосен солнечный диск и усмехнулся. Он вспомнил, как, попав сюда, в первые дни не мог сориентироваться: все ему казалось, что солнце встает и садится совсем не там, где нужно. Коржов заметил его улыбку.

- Давай проверяй посты. А то найдешь потом непорядки какие-нибудь.

Подошли разводящий со сменой, остановились возле часового. Кучкильдин скомандовал:

- Красноармеец Адамович, на пост шагом марш!

Часовой, стоявший с винтовкой «к ноге», сделал шаг вправо, и Адамович, сейчас серьезный, сосредоточенный, стал на его место.

- Часовому сдать пост! - приказал разводящий старого караула.

Часовой повернул голову к хранилищу.

- Пост номер три. Под охраной склад. Дверей - двое, окон - десять, печати - две, обзор - вперед и направо, сигнализация - свистком, имущество - дождевик, огнетушитель.

Вслед за этим оба часовые обошли вокруг склада, все осмотрели и, вернувшись на прежнее место, опять стали рядом, только теперь лицом к объекту стоял Адамович.

- Товарищ ефрейтор, пост номер три сдал.

- Товарищ ефрейтор, пост номер три принял. Под охраной находится...

Андрей всегда чувствовал себя немного взволнованным перед заступлением в наряд. Впереди сутки напряжения, ночь без сна, ответственность и в то же время независимость. На эти сутки ты как бы выбываешь из обычной, многоступенчатой лестницы армейского подчинения, и придирчивый старшина над тобой не властен. Один для тебя закон - устав. И единственный начальник - дежурный по части. Нравился ему и четкий ритуал караульной службы: ничего лишнего, все продумано, отработано. Андрей охотно наблюдал смену часовых. Но Вася Коржов и в этом сейчас не особо разделял его настроение.

- Ну, все, - сказал он, - без нас сдадут.

- На собак взглянем?

- Как хочешь.

Не дожидаясь конца развода, они быстро обошли посты и на обратном пути завернули к собачнику - землянке с двускатной крышей, неподалеку от караульного помещения. Приближалось время заступления на пост и для собак. Собаковод, или, как значилось в табеле постов, разводящий караульных собак красноармеец Уляшев, длинный и нескладный, в клеенчатом переднике, возился возле очага: готовил ужин своим подопечным. В котле под дощатым навесом булькало варево. Пахло дымком и пшенной кашей. Собаки, привязанные у землянки, чуя запах еды, нетерпеливо повизгивали, натягивали сворки. Безучастной оставалась лишь одна рыжая длинномордая сука. Она лежала, свернувшись клубком, и сквозь дрему косила прищуренным острым глазом.

Уляшев при виде сержантов поспешно отложил черпак на длинной ручке и, не отходя от плиты, неловко, боком вскинул мокрую распаренную ладонь.

- Товарищи командиры. Разводящий караульных собак. Происшествий нет. Собираемся в наряд...

Уляшев докладывал, обращаясь к обоим начальникам караула сразу. Вид у него был до того нестроевой в этом фартуке, с загнутыми по локоть рукавами гимнастерки и нахлобученной чуть не до ушей пилотке, что Андрей не мог удержаться от улыбки, слушая рапорт. Кого-то из персонажей средневековой истории напоминал ему этот тощий, нескладный с виду парень с бородкой клинышком, такой непривычной для красноармейца: не то одного из первопечатников или, скорее всего, Дон-Кихота. Для полного сходства с ним Уляшеву не хватало лишь нагрудного панциря и медного горшка на голове.

Но если у Дон-Кихота бородка была в порядке вещей, то Уляшев из-за своей бороды хватил лиха. Кержак, истовый старовер с Алтая, он ни за что не хотел быть «бритоусцем», нарушать обычай и наотрез отказался от бритья. Его старались убедить, но все это оказалось бесполезным. И его оставили в покое. Но служебные невзгоды кержака на этом не кончились. Что-то таежное, необоримое глубоко сидело в нем, дыбилось и «поперешничало», мешая подстроиться под общий воинский ранжир. Ни к чему он как-то не подходил, никуда не вписывался своей угловатой неуклюжестью, а более всего своей бородой да и складом ума. Потому и мотался он вначале, переходил из одного подразделения в другое. Из взвода развед-

ки его перевели в минометный батальон: какой же разведчик, если без конца шепчет молитвы да крестится. Минометчиком Уляшев был бы подходящим. Хоть с виду и тощ, но по-таежному жилист, силенка есть, плиту на спине таскать как раз. Но грамоты - кот наплакал. В минометном расчете обязательна взаимозамена номеров, а поставь его наводчиком, так он и цифр не разберет на барабанчике прицела. Выдворили и из минометчиков.

Так он и переходил из подразделения в подразделение, пока не направили его в караульный взвод, собаководом. И тут он неожиданно пришелся к месту.

Было ли здесь что-то от привычного крестьянского труда - дома в колхозе Уляшев работал сакманщиком, - только он с готовностью взялся за свои новые обязанности. Другие боялись собак, а он без труда освоился, привык, прежде всего по-хозяйски обзавелся инвентарем. У него и ведра, и топор, и коса, отбитая, как у доброго косаря. Штабелек мелко наколотых дров. И вокруг собачника порядок: ни обглоданных костей, ни кухонного мусора, кругом подметено, посыпано песочком. «Не придерешься», - подумал Трубин, не без удовлетворения оглядывая хозяйство собаковода.

- Ну, как дела? Значит, в порядке, разводящий?

- Ничего, однако, товарищ командир. Вот, припасаю еду им, - Уляшев кивнул на собак.

- Как с продуктами?

- Получены сполна. Мясцо маленько с запашком. Уваривать приходится. Сплоховал я, рановато взял со склада. Жара.

- Собаки в порядке?

- Да, слава богу.

- А что с этой? - Андрей показал на суку, продолжавшую следить за посторонними желтым глазом.

- Это про меж нас, - усмехнулся в бороду Уляшев и взялся за черпак. Поссорились мы маленько. На меня обила. Ну ничего, помиримся, однако. У нас с ней это бывает. С характером животина.

- Значит все в порядке? - переспросил Трубин, переходя на официальный тон. - С выставлением постов задержки не будет?

- Зачем? Управлюсь в срок.

- Не забывай, Уляшев, наряд воскресный, - на всякий случай напомнил Андрей, обойдя котел, клокотавший паром.

Вася Коржов молчал.

Вернулись в караульное помещение. Бойцы из старого состава караула, готовые в путь, сидели в курилке вокруг бочки с водой, вкопанной в землю, держа винтовки между колен, покуривали, разговаривали. Трубин и Коржов прошли в помещение. Пока один сдавал, а другой принимал имущество (аптечку, шахматы, домино, ящик с патронами и второй - с гранатами), вернулись разводящие. Разрядили оружие. Доложили каждый своему начальнику караула о смене часовых.

И нигде так тщательно не берегут имущество и оборудование, как в караульном помещении. Десятки раз видел Андрей и эти ящики с боеприпасами, и аптечку, и шахматы, все равно снова надо было проверять и пересчитывать, и малейшее изменение отметить. Но вот все закончено, подписана постовая ведомость, и Вася Коржов поднялся, поправляя ремень с наганом.

- Ну, мы двинулись.

- Я провожу, - сказал Андрей.

Смену построил и повел разводящий. Друзья пошли сзади, чуть приотстав. Вася молча смотрел под ноги, хмурил свои лохматые выгоревшие брови. Он всегда казался немного смешным, когда хмурился. Так не шла эта напускная угрюмость к его большому улыбчивому лицу. И Андрей, наблюдая за ним сбоку, пожалел, как ни разу до этого, что приходится расставаться с хорошим товарищем.

- Что тебе пожелать на завтра? Победы в игре? - сказал Андрей, стараясь преодолеть тягостное чувство, и чуть тронув приятеля за локоть.

- Знаешь, о чем я думаю? - оставив без ответа его вопрос и по-прежнему глядя под ноги, сказал Коржов. - Вернусь из армии и уеду куда-нибудь сразу подальше, в тайгу, на край света учительствовать в самую отдаленную школу.

- А институт?

- Окончу заочно.

- И почему именно в самую отдаленную школу?

- Лучше... В центре кадров много. Не возьмут, да и не доверят чего доброго. А туда - направят. Желающих мало, и биография не помешает. Буду «сеять доброе, вечное». А для успокоения совести и в память о неосуществившейся мечте возьму по совместительству преподавание военного дела.

- Брось ты об этом, - поморщился Андрей. - Я уверен: твое заявление просто не дошло куда нужно. Избрали же тебя в

комсомитет и в полковую школу направили. Не все же такие, как Клевакин.

- Не все, - согласился Коржов, - никто этого не говорит. Но, чтобы испортить бочку меду, не требуется столько же дегтя, достаточно одной ложки. А ты знаешь, что он жаловался на лейтенанта Султаева, потому что он меня назначил начальником караула на такой важный объект?

- Когда это было?

- Было. Сначала лейтенанту на меня, потом на самого лейтенанта.

- На него похоже, - Трубин выругался. - И ты не сказал. Мы бы вытянули на комитет, спросили про его аргументы. Если каждый начнет выражать сомнения... Брат за брата не отвечает.

- Да ладно, - Вася отмахнулся и, пересилив себя, растянул губы в знакомой широкой улыбке. - Не подумай, что расплакался. Живут люди без кубарей в петлицах и без звезд на рукаве. Просто жалко, что дружбе нашей конец.

- Почему конец? - запротестовал Трубин. - Я сразу же сообщу адрес. Будем писать. Да, может, еще и меня не примут. Это же только вызов, сам понимаешь. А там экзамены. Попадется какой-нибудь, вроде капитана Марченко, экзаменатор и завалит, запросто.

- Не завалит. Марченки не очень тебе страшны. Валяй, Андрюха, навешивай на себя кубари. Комсоставская форма тебе подойдет, и политрук из тебя будет хоть куда, прозой не убедишь, так стихами, - слегка подтолкнул друга Коржов, и добродушная улыбка на его губах притухла. - Ты собрался, а как же военфельдшер?

- Как-нибудь, - Трубин, застигнутый врасплох вопросом, попытался изобразить безразличие на лице и даже отделаться шуткой. В песне же поется: «Дан приказ ему на Запад, ей в другую сторону». Правда, в данном случае одному и не на запад, а на восток.

Вася нахмурился.

- А она знает, что ты уезжаешь?

- Письменно не уведомлял. Да и вряд ли это требуется.

- Ну, бывай, будущий политрук. Учись людей разгадывать. - Вася протянул руку, внимательно посмотрел на товарища и побежал догонять строй.

Андрей закрыл ворота, накинул щеколду и долго стоял возле проволочной ограды, глядя вслед уходившему строю.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Едва свернув в знакомый переулок, конь перешел на шаг, и лейтенант Култаев сразу почувствовал усталость. Суббота всегда была трудным днем, так как собирались дела за неделю, а в этот раз особенно. С утра занятия со взводом, потом договаривался с сельским советом об участке для сенокоса, завтрашние соревнования по волейболу (как никак престиж подразделения) и, наконец, эта поездка на станцию, пока дождался коменданта, оформил литер...

От долгого сиденья в седле без привычки поламывало в спине, и жеребчик взмок: застоялся - небольшой пробег и уже выдохся.

Култаев поднял стек, чтобы подстегнуть коня, и раздумал. У него самого вдруг пропало желание спешить домой, кажется, впервые за все время. Не то что не хотелось, а тяжело было. Жеребчик, словно угадав настроение хозяина, перешел на шаг.

Вечер был еще ранний, сумерки только начинали густеть. За крышами синело небо с воткнутым в него шпилем костела. Дома стояли как слепые, с зыбкой темью в стеклах окон: жители по-деревенски берегли керосин. Но в его квартире окно светилось, лейтенант увидел это издали. «Собирается», - подумал о жене Култаев, и сердце у него словно оборвалось, заныло. Он вдруг поддал коню шпор, послал в карьер. Возле калитки дома осадил. Легко, пружинисто соскочил на землю. Постоял, похлопал по шее Орлика. Ему стало жаль зря обиженного жеребчика. Потом он закинул повод на острие ограды, зашагал через двор по тропке, хрустевшей под ногами зернистым речным песком.

Он не ошибся: Даша укладывала чемодан. Вот теперь действительно расставание...

Култаев, хотя и настаивал на отъезде ожидавшей ребенка жены к своим родителям в Сибирь, но сам в душе все еще надеялся на непредвиденную задержку. Мало ли что могло случиться. Вдруг билетов не окажется или расписание поездов изменится, и можно будет выкроить лишний денек, побыть вместе. Но надежды были напрасны. Билет был куплен, и расписание поездов не изменилось. Теперь все. Никаких оттяжек не будет. И Даша, кажется, смирилась, перестала плакать.

- Вот и я! - сказал Култаев подчеркнуто веселым голосом, вглядываясь в склоненное над чемоданом лицо жены. Настроение у нас, вроде, нормальное?

- Гриша! Как ты долго. Я беспокоюсь, тебя нет и нет. - Даша повернулась к нему со стопкой белья в руках, маленькая и по-детски беспомощная в своем широком цветастом халатике, с тревогой и радостью в глазах на осунувшемся лице. В последнее время, видимо, из-за беременности и мыслей об отъезде, она стала печальной и не похожей на себя. Куда все подевалось. Прежде, бывало, не пройдет мимо зеркала без того, чтобы не притопнуть ногой, не крутнуться разок. И голос звенел на всю квартиру. А теперь, если и пост, то вполголоса, над шитьем. Не хочет она ехать в дом свекра. Боится, чудачка.

Султаев осторожно привлек жену к себе, коснулся губами ее щеки.

- Ничего не случилось, Дашек. Все в порядке, просто немного задержался в дороге.

- Ты пешком?

- Нет, Орлик у ограды.

- Не слышала, как ты подъехал. А я тут, видишь, занялась имуществом, - высвободив плечи, Даша с улыбкой кивнула на пеструю стопку, которую намеревалась уложить в чемодан: распашонки, крохотные носочки, шапочки - приданое будущему сыну! Султаев, как большинство отцов, мечтал только о сыне.

- Сколько комплектов? - он коснулся кончиком пальца лежавшей сверху кукольного размера рубашки из розовой байки, тщательно обметанной по краям шелковой ниткой.

Немало времени потратила Даша на шитье этих рубашонок.

- Скажешь. Комплектов. Ты все по-военному, по-солдатски. Привык.

- А где брюки? Не вижу.

- Какие брюки?

- Штаны для мужика. Мужика мне давай, сына. Договорились ведь?

- Когда это?

- Нет, ты скажи, будет сын, а? Иначе не выпущу, - Султаев подхватил жену на руки и приподнял.

- Гриша, с ума сошел!

- Отвечай!

- Пусти!

- Не пущу, не пущу! - он повернулся на каблуках.

- Ой, голова закружилась. Ему же плохо будет, маленькому!

- Ему? - испугался Култаев и сразу выпустил жену из рук.

- Да нет. Просто, чтобы ты отпустил.

- Обманула? Хитрая. Ну берегись, - Култаев поцеловал жену.

- Гриша, ты хоть умойся сначала. Пылью от тебя несет и конем. И мы тут не одни...

- А кто еще?

Култаев оглянулся и только теперь заметил на вешалке пилотку и комсоставский плащ с зелеными медицинскими петлицами.

- Эскулап заявился? Замечательно. Компания набирается, значит. Сейчас мы организуем ужин. Тут я прихватил, кстати, кое-что, - из кармана Култаев извлек бутылку вина, узкогорлую, с грузинской вязью на этикетке - «Мускатель». А это тебе в дорогу, - он положил на стол два лимона. - Взял в вагоне-ресторане. Поезд как раз дальнего следования, из-за рубежа. Говорят, итальянские. Ну, и вот это. Билет в купейный вагон, нижняя полка. Выпросил у коменданта. Тот берег для какого-то полковника. Устроишься и прямиком до места - ни пересадок ни компостировки. Зови эскулапа и заканчивай с багажом, есть хочется. - Култаев отдал жене билет и заспешил на кухню к умывальнику, расстегивая на ходу гимнастерку и снимая планшет и ремень с пистолетом.

Чтобы не терять времени, он сам принялся было собирать на стол, но женщины тут же отобрали у него нож, посуду, сделали все сами.

Сели ужинать. Даша разложила по тарелкам глазунью, посыпанную зеленым луком, поставила на середину стола редиску в сметане. Култаев налил вино в граненые стаканы. Рюмок своих не было, а идти к хозяйке дома просить не хотелось. Чокнулся сначала с женой, потом с ее подругой, непривычно выглядевшей без военной формы в простеньком летнем платье, с волосами, перехваченными голубой ленточкой.

- Ну, эскулап, извиняюсь, Маргарита Ивановна, за счастливую дорожку Дашину.

- Что это вы меня так навеличиваете и разглядываете, Григорий Михайлович?

- Не узнаю, вроде изменилась от лагерной жизни.

- В лучшую или в худшую сторону?

- В лучшую, пожалуй. Загорела, возмужала. Настоящий доктор.

- Айболит? Сама почернела, волосы побелели, - девушка чуть тронула рукой выцветшую до соломенного оттенка прядь надо лбом. - В общем, стала пегой.

- Сюда каким ветром?

- Почти попутным. Отпросилась Дашу проводить. Ну, а для убедительности нашла причину: привезти кое-что из медикаментов. Убедила командира.

- Все?

- Все. А что еще?

- В лагерях там не подсмотрела себе жениха, случаем? Может быть, на свадьбу в шаферы готовиться?

- Так к нам же все болящие идут, в санчасть. Где уж тут женихи?

- Только ли болящие? А может, больше таких, у которых сердце не на месте?

- С больным сердцем мы отправляем в армейский госпиталь, - рассмеялась девушка.

- Смотри, - Култаев шутливо погрозил пальцем. - Мы ведь следим.

- Кто это «вы»?

- Наше подразделение. Заинтересованная, так сказать, сторона.

- Все?

- Все не все, и уж кое-кто определенно. А у нас во взводе один за всех, все за одного. Закон.

- Гриша, вступилась Даша. - Чего ты привязался. Поднял тост, а сам? Риточка, не слушай его.

- Ладно, согласился Култаев, хитро прищурившись на зардевшееся лицо военфельдшера. - Потом договорим. Но учти, все-таки за своих хлопцев я постою... Ну, на посошок. За тех, кто - в дорогу, кому ехать.

Чокнулись, выпили. Даша, чуть пригубив, отставила стакан, потупилась, подбородок ее дрогнул.

- Ну вот, свяжись с вами, - недовольно сказал Култаев, поддевая вилкой фиолетовый пластик редиски. - Глаза у вас на мокром месте. Ты жена командира, боевая подруга. А кто такая боевая подруга, вспомни. Как на политзанятиях говорили? Чему вас там учил групповод? Или только время зря тратили?

- Сам здесь, а меня отправляет за тридевять земель. Даша склонилась, кончиком передника вытерла глаза.

- Опять за свое. Это же временно, съездишь и вернешься.

- Шутка, вернешься. А за это время мало ли что может случиться. Не день-два.

- А что?

- Обстановка какая?

- А, вот что. - Култаев нахмурился, отложил вилку. - Сплетни какие-нибудь снова! Слушаешь тут, набираешься настроения.

- Не сплетни это, Гриша, нет. Если бы один кто говорил, ладно. А то же кругом только и слышно, что Германия будет воевать с Советами... Без конца. Ты не бываешь нигде, не слышишь. А тут шепчутся кругом, да и открыто говорят: «Война, война...».

- Болтают те, кому Советы не по душе. Распускают панику.

- Кабы только те. Вон у Ткачуков зять приехал из-под Бреста, рассказывает, как там на границе...

Даша говорила, не скрывая тревогу.

Для лейтенанта Култаева слова жены не были столь уж неожиданными. Слухи о возможности столкновения с немецкими войсками ходили и среди комсостава. Но Култаев не стал сейчас об этом говорить, да и не имел права, и возразил жене решительно:

- Побудешь тут возле вас, страху наберешься. Да что это мы? Перед отъездом-то. Ну и тему выбрали для беседы на прощанье. Давайте лучше допьем бутылку, а то ведь и не распробовали. - Он налил себе, долил Рите в стакан и, посмотрев прозрачную жидкость на свет, поспешил перевести разговор на другую тему.

- Пусть эскулап расскажет про лагерную жизнь: как лесным воздухом дышится, как комарье ими кормится?

Они просидели за ужином еще с полчаса, оживленно беседуя. Но вот Култаев как бы невзначай глянул на часы, и Даша это заметила.

- Ты куда-то торопишься?

- Орлик стоит.

- Почему ты не оставил его в части? Ты разве не насовсем домой?

Култаев в замешательстве отвел взгляд: предстояло самое трудное.

- Извини, Дашок. Но, понимаешь, так получается... - он, как бы стараясь предупредить реакцию на свои слова, вино-

вато тронул руку жены, переставлявшей тарелки. - Я должен ехать...

- Куда?

- Вызывает командир части. В лагеря.

- На ночь глядя?

- Срочно. Вызывали днем, но меня не было. Теперь надо ехать.

- Значит, ты меня не проводишь? - упавшим голосом сказала Даша, и подбородок ее опять дрогнул. С трудом сдержала она себя, закусив губы.

- Я обо всем договорился. Тебя отвезут. Все будет в порядке.

- В порядке... Боевая подруга, терпи, - Даша заставила себя улыбнуться. - Так и умирать буду одна, без мужа, из-за его службы.

- До смерти нам далеко. И потом, к тому времени я рассчитываю дослужиться до генерала. А генералы не ездят по вызову, а сами вызывают к себе, - возразил Култаев, немного повеселев. Тягостное объяснение, которого он боялся, теперь уже было позади. Он встал из-за стола, одернул гимнастерку.

- Ну, оставайтесь тут, вино допейте, чтобы не оставалось зла. Я поехал.

- Надень плащ, Гриша. Ехать ночью сыро, - сказала Даша с привычной уже озабоченностью и, извинившись перед подругой, вышла проводить мужа. Они задержались на низеньком крылечке, увитом мохнатыми гирляндами плюща, со света плохо различая друг друга.

- Темно как, - пожаловалась Даша. - Ты осторожней, пожалуйста, Орлик споткнется, разве долго? Пустишь вскачь.

- Все будет хорошо. Не беспокойся. Орлик умаялся, очень-то не разбежится. Иди!.. - Култаев, шурша прорезиненным плащом, обнял жену. Даша припала к плечу и всплакнула.

- К чему ты? - встревоженно, с укором сказал Култаев. Совсем раскисла. Можно подумать, бог знает на сколько расстаемся. Я же приеду скоро. Возьму отпуск в начале сентября, договорюсь с начальником штаба. В отцы готовлюсь как никак. Должен пойти навстречу. Оглянуться не успеешь, как прикачу. Что там, два месяца каких-то.

- Гриша, ну как я одна ни с того ни с сего завалюсь к вашим в дом? Обузой с ребенком буду.

- Еще не лучше, обузой. Придумает тоже. Ты моя жена. Они ждут. На вокзале встретят. Телеграмму я дал. Все будет

как надо. Зачем ты переживаешь? Да мои старики к тебе со всей душой... Вот увидишь.

- Ладно, не буду больше. Ступай. - Даша в темноте неловко чмокнула мужа в щеку, совсем как в первые дни замужества, когда не успела привыкнуть к его суровому виду, к его вечной занятости по службе. Да она и теперь не совсем еще привыкла. Сколько раз за полтора года провожала его вот так, второпях, обязательно не успевая что-то сказать, что-то сделать нужное. И видит его урывками. Все время он спешит, занят и днем, и ночью. Сколько раз просыпалась утром и не заставала его рядом: встал чуть свет, поднятый по тревоге или по срочному вызову, ушел, постаравшись не разбудить ее, не потревожить. И после этого жди его, забежит усталый, в пыли, и то на минуту, на ходу кинет: «Терпи, Дашок, на то ты и боевая подруга. Служба. И хорошее и плохое - пополам».

И все-таки, почему-то так трудно отпускать его от себя каждый раз, а сейчас вот особенно.

- Ступай! - повторила Даша.

- А ты дальше не ходи, оступишься в темноте, - сказал Султаев и легко спрыгнул с каменной ступеньки, твердым шагом направился к калитке, обходя расплывавшиеся в сумраке цветочные клумбы.

Истомившийся на привязи жеребчик встретил его нетерпеливым позвякиванием уздечки, толкнулся горячими губами в грудь.

- Не обижайся, Орлик - хозяйку провожал, - ласково сказал Султаев и, нашарив в кармане кусочек сахара, прихваченный со стола, сунул коню. Проверил подпругу, забрал в руку поводья и, вдев носок сапога в стремя, чуть коснувшись рукой луки, на ходу, по-кавалерийски легко кинул свое сухощавое тело в седло. За углом он придержал жеребчика, взявшего с места в карьер, подобрал полы плаща и, подумав, свернул в противоположную сторону. Он решил, перед тем как отправиться в лагеря, проверить караул.

А Даша стояла на крылечке, ловила удалявшийся перестук копыт. На тихой окраинной улице звуки разносились далеко. Вечерняя тишина казалась ей странной: не очень ведь поздно, а как будто все уже спят. Вот звякнула где-то створка окна, тот, кто ее закрывал, наверное, старался не шуметь, а звук получился таким громким. А вот как будто самолет летит ближе и ближе. Майский жук с размаху ударился Даше в плечо, за-

ставив ее вздрогнуть от неожиданности, загудел сердито, забился в шершавых листьях плюща и смолк.

Даша напрягала слух. Жук оборвал свою басовитую ноту, и опять донеслось цоканье копыт, совсем уже издалека. Наконец оно утихло. Уехал.

«Ну, ничего. Ненадолго. Пусть, - переборов опять накатившееся чувство страха, про себя подумала Даша. - Скоро нас будет трое. И сразу станет веселее. А кто будет? Гриша требует сына во что бы то ни стало. Чудак. А скоро, совсем скоро. - Даша с улыбкой тронула живот, выступавший из-под широкого, специально сшитого халатика и вдруг ойкнула испуганно от толчка изнутри, сильного и властного. С ней еще такого не было. От волнения, наверное. Советовал же ей врач не волноваться. И вот, теперь...»

Даша почувствовала, как ноги у нее наполнились какой-то ватной слабостью, качнулась перед глазами далекая-далекая звездочка, льдисто проглядывавшая сквозь завесу плюща. Даша старалась не упасть, беспомощно хваталась за перила крылечка, влажные и холодноватые от ранней росы.

- Дашенька, ты что тут стоишь? Что с тобой? - послышался встревоженный голос подруги над самым ухом. Ее руки подоспели так вовремя. Даша провела ладонью по лицу.

- Голова закружилась.

- Так, может, тебе лечь? Я помогу.

- Не надо. Спасибо. Все уже прошло. Я постою. Что это со мною, сама не знаю, - непослушными руками Даша ловила развязавшийся поясок халата.

- Зато я знаю, - рассмеялась Рита, все еще придерживая подругу. - На медицинском языке это называется отклонением в процессе беременности.

- Нет, я себя не узнаю, честное слово. Гриша прав, раскисла совсем. Раньше я ни за что бы не заплакала.

- Слезы к счастью.

- Ох, счастье наше... В ожидании оно да в тревоге. И всегда-то переживаешь, всегда сердце болит. - Даша совсем уже оправилась от головокружения, повернулась к подруге. - Неужели и ты себе мужа такого выберешь, что ни днем его, ни ночью не увидишь? Не выходи замуж за военного, Риточка.

- За кого же мне выходить, если я сама военная? Придется.

- Намаешься. Попадется такой бездомный, как мой. Он готов и ночевать в своем взводе. Во сне и наяву - служба.

- Выбирать буду, - пообещала Рита, - время есть.

- Выбираем мы, говорим только, - Даша усмехнулась. Если бы это от тебя только зависело. Думаешь, рассчитываешь, а оно само придет и не хватишься. Думала ли я, что буду «боевой подругой» Султаева? Мечтала про летчиков, танкистов знаменитых, про таких непременно, о которых в газетах пишут. А попался пехотинец, и ни геройства у него особенного, ни красоты. И даже ростом от горшка три вершка. А как познакомились... Ведь, можно сказать, с глупости началось. Я на фабрике работала, а часть была рядом, и они были нашими шефами, приходили на вечера, на танцы. И вот решила я, на спор, подразнить его. Он такой был важный, так держался гордо. Говорю девчонкам: «Подойду сейчас к тому лейтенантику гордому и спляшу перед ним». И сплясала... Так сплясала, что не хватилась, как и в загс угодила.

- Я танцую плохо, - рассмеялась Рита. - И вообще талантов не имею. Мне не опасно. Не очень замечают.

- Ох, скромничаешь. Сохнут по тебе.

- Да неужели? - Девушка шутливо удивилась. - Если это лейтенант Киян, так ему полезно чуть «усохнуть» - у него лишний вес.

- Кроме Кияна есть.

- Любопытно, кого это я высушиваю еще.

- Перестань, - отмахнулась недовольно Даша. - Будто ничего не знаешь?

- Не знаю.

- Зря скрытничаешь, девонька. Не получается у тебя. Гриша кого имел в виду, на кого намекал? Нравится ведь он тебе, скажи? Парень какой хороший. - Даша, как бы опасаясь что подруга не дослушает, поймала в темноте ее руку.

- Хорошо. Примерно представляю, о ком речь, - сдалась Рита. - И что же из этого?

- Крутите носами друг перед другом, а для чего - сами не знаете, - сердито сказала Даша и добавила мягче, с сожалением. - А теперь он уезжает. Знаешь?

- Куда?

- Неужели не говорил? - Даша готова была руками всплеснуть.

- А почему он должен мне говорить?

- В училище он едет. В Москву. Вызов пришел. Поняла?

Рита не ответила. Подруги с минуту стояли молча, в напряженной недоговоренности. Майский жук опять сердито загудел, заворочался в листве.

Даша не вытерпела.

- Так, значит, и разъедетесь?

- Пойдем в комнату. Тебе холодно. И потом, нам же приказ: допить «Мускатель», - уклончиво сказала Рита, увлекая подругу в дом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как ни привычен и ни однообразен распорядок в карауле, а время и здесь идет. Сменились посты, поужинали - и вот уже ночь, теплая, тихая. В приоткрытую дверь и в окна, загороженные изнутри деревянными ставнями, сочатся ее запахи и звуки: голоса перепелов, замирающий стрекот цикад и легкое позванивание проволоки - это бегают на цепи по блоку караульные собаки, привязанные за оградой. Кажется, что нет стен, нет потолка, и только свет электрических лампочек мешает видеть звезды и узкую зеленоватую каемку неба над лесом - все, что осталось от дотлевшего заката.

В караульном помещении по-ночному тихо. На кухне Экштейн моет посуду. Бодрствующая смена - Ольховский и Пряхин - играют в шашки. Фанерная доска пристроена на краешке топчана, и оба игрока горбятся над ней в неловких позах. Временами они вполголоса спорят. Ольховский проигрывает и поэтому особенно горячится.

- Спешишь, старина. Дай подумать. Чего ты хочешь сразу?

- Не зевай, Фомка, на то ярмарка. Беру пешку за фук, - спокойно посмеивается в ответ Пряхин.

Феоктистов, придвинувшись почти вплотную к лампочке, стоя читает, шелестит страницами. Караульные первой смены спят. Изредка в тишине всплескивается густой храп. Это Адамович. Он и во сне, кажется, нарочно, напоминает о себе. Кто знает, какой бы силы достигли его сонные трели, если бы не Ольховский. Он сидит на топчане, в ногах у Адамовича, и при каждом всхрапывании отрывается от игры и легонько его подталкивает.

Тихо в караульном помещении, спокойно. Трубин обошел посты, постоял под звездным небом, послушал ночные мирные звуки и, вернувшись, готовился за столом писать. Достал ручку, заглянул в чернильницу, проверяя, достаточно ли чернил, поправил настольное стекло. Делал все не спеша. Из всей суточной караульной вахты эти первые ночные часы ему всегда казались наиболее легкими, даже по-своему нравились.

Под утро одолевала дремота, днем много хлопот с проверкой допусков, а с вечера спать не хотелось, и никто не мешал: проверь посты и пиши, читай, думай.

Андрей мысленно наметил для себя порядок. Сегодня он, конечно, «добьет» начатую книгу о создателях паровых турбин, из серии «Жизнь замечательных людей». Но сначала ему хотелось закончить стихотворение о цветке, брошенном неизвестно кем в окно казармы. Куда вот только он засунул листок?

Андрей поднял руку к карману гимнастерки и нащупал там фотокарточку. Собственно, он ни на минуту не переставал ощущать ее на груди. Сейчас он подумал, что фотография в кармане может измяться, и бережно ее извлек, взглянул на девушку.

Достав записную книжечку, Андрей вложил фотографию между чистыми листами и перелистал страницы с дневниковыми записями. Ему показалось, что писал он в этой книжечке давно, в какое-то совсем далекое, другое, гораздо лучшее, чем сейчас, время, которому уже нет возврата. В действительности было это совсем недавно. Он даже помнил, что перо, которым он тогда писал, было испачкано красной тушью.

Тогда они с Васей Коржовым оформляли стенгазету. Часть была в зимнем лагере с ночевкой в лесу, а их отпустили заканчивать новогодний номер. Тогда он и внес эти записи.

«29 декабря

За окном снег. Падают и падают крупные хлопья, как будто с вышины кто-то сбрасывает рваную бумагу. Если смотреть, не отрываясь, от бесконечного мелькания снежинок кружится голова. Весь день снегопад. Двор укутан пушистым снежным одеялом, на столбах, на крышах - белые казачьи папахи. Уже вечер, а в ленинской комнате, где мы втроем (Вася, я и младший политрук Синицкий) трудимся над стенгазетой, светло от белого сияния на улице. Обязанности между нами распределены так: Синицкий отбирает заметки, он же редактор, Вася рисует, а я заведую литературной частью и сочиняю стихотворные надписи к дружеским шаржам, заголовки и эпиграммы. Десятка полтора четверостиший сколотил. Стенгазета большая, праздничная. Синицкий хочет сделать ее броской и «настраивающей», как он выразился, то есть создающей праздничное настроение. Он все подбрасывает и подбрасывает мне темы.

Но сейчас у него заминка, и я свободен. Удивительно легко складывается сегодня рифма. Конечно, произведения из-под моего пера выходят не ахти какие: спешка, заказ, да и жить им недолго. Но поэтический «удар» все же есть. И, кажется, причину этого своего вдохновения я знаю. Странно, может быть, но это оттого, что я встретил девушку и весь день под впечатлением этой встречи в состоянии окрыленности.

А произошло все так. Мы с Васей возвращались в часть из зимнего лагеря. И уже перед самым въездом в город встретили двух лыжниц. Одна из них - Даша Султаева, жена лейтенанта, нашего командира взвода, вторая - незнакомая. Обе в лыжных костюмах и в одинаковых вязаных пуховых шапочках с помпонами. У Даши что-то не ладилось с креплениями. Она стояла, дыша на озябшие покрасневшие пальцы, а подруга опустилась на колени, возилась с ремнями. Даша, увидев нас, обрадовалась:

- Андрюша, помоги!

С Дашей мы знакомы по самодеятельности. Она танцует цыганские танцы. И я даже влюблен в нее чуть-чуть, впрочем, чисто платонически. Знала она и Васю, как почти и всех других в караульном взводе. Но обратилась именно ко мне. Я с готовностью подсел к подруге Даши, сказал:

- Ну-ка, разрешите, - и точно наткнулся на что-то с размаху, встретившись с ее взглядом. Нет, глаза ее не были жгуче черными, как у Даши, не были карими, не были голубыми: просто глаза. Я даже не разглядел, какого они цвета. Но они были близко, и в них было столько живых искорок... И я растерялся.

Незнакомка отодвинулась, уступая мне место, а я держал в руках застывшие ремни креплений и с минуту сам не понимал, что делаю, только чувствовал на себе ее взгляд, прищуренный, слегка насмешливый. Наконец я овладел собой, затянул ремни на мокром ботинке Даши, и мне захотелось как-нибудь компенсировать свою растерянность.

- Ну вот, - поднявшись с колен, сказал я, обращаясь к Даше, - все в порядке. Можете продолжать прогулку с полной уверенностью, что больше ничего не случится. Но за это вы должны помочь мне узнать имя вашей спутницы.

Даша рассмеялась в ответ:

- Пусть сама скажет, - и заговорчески взглянула на подругу.

- Что же, помогите вы, - шутливо поклонился я девушке.

- А это обязательно?

- Желательно.

- В таком случае меня зовут Вита, - с усмешкой сказала девушка и ловко, по-спортсменски, оттолкнулась палками.

Я не поверил, конечно. Вита - это жизнь. Латынь все-таки не совсем забыл. Не может же быть у девушки такое имя. Значит, обманула. В сущности, она права. С какой стати докладывать о себе первому встречному. А потом через Дашу не так уж трудно узнать ее настоящее имя. Откуда она и кто? Не из местных - это определенно. Возможно, как и Даша, жена кого-нибудь из средних командиров? Но почему употребила латынь?

Впрочем, на этом ставлю точку.

Зовет Синицкий. Муза, к бою!

1 января

Вот и наступил новый 1941 год! Каким-то он будет? Что принесет мне? А пока... Что же отметить пока?

Прежде всего - это сегодняшний праздничный обед. С нами вместе сидели в столовой командиры, в том числе и командир части. А жены комсостава - представить такое - подавали на стол! Звучали женские голоса, мелькали белые блузки. Первый раз за полтора года я почувствовал себя в почти уже забытой домашней обстановке. На час я перенесся в другой мир!

И сегодня же было вот что. Мы с Васей опаздывали в кино, спешили в клуб и на крылечке чуть не столкнулись (вот она, счастливая случайность!) с Витой. Я ее не узнал: шинель с комсоставским ремнем, шапка-ушанка, и на зеленых петлицах по два кубика. Сгоряча я козырнул, как положено перед своим командиром, и успел уже взяться за дверь (бежали мы через плац в одних гимнастерках), но Вася удержал меня за рукав.

- Знаешь, кто это? - сказал шепотом.

- Кто? - переспросил я тоже тихо, хотя и сам уже почти догадался.

- Вспомни лыжницу. Она. Хочешь убедиться? - и громко к ней. - Товарищ лейтенант, разрешите обратиться.

Она успела спуститься с крылечка, повернулась к нам.

- Разрешите узнать время, - Вася козырнул, явно спрашивая первое, что пришло на ум. Время мы знали, оттого и торопились...

- Пожалуйста, - девушка вскинула руку с часами. - Пять минут восьмого. И не лейтенант, а военфельдшер второго ран-

га. Ясно? - заметила она официально и, приложив ладонь к шапке, пошла к воротам.

- И ведь не подала виду, что знакомы, - сказал Вася не то с удивлением, не то с упреком: он мог иногда, хотя и очень редко, казаться непонятливым. - Да ты что, остолбенел, что ли? Двинули. Опаздываем.

Я и в самом деле остолбенел. В предпраздничной суете я почти не думал об этой странной своей знакомой, назвавшейся латинским именем. И вот встретился. И как! Военфельдшер! С кубиками. У меня отпало желание заходить в клуб. Хотелось вернуться в казарму, побыть одному, разобраться с мыслями. Я бы, наверное, так и сделал, но Вася потянул меня за собой.

- Идем, замерзнешь.

14 января. Караульное помещение

Фамилия ее Масюк. Звать Рита. Я узнал об этом уже не со слов Даши, а прочитал в допуске. Она приходила сюда сегодня с лейтенантом Султаевым проверять санитарное состояние караульного помещения. Я первый раз встретил ее после того новогоднего вечера, когда Вася Коржов перед входом в клуб спрашивал у нее время. А показалось, что это продолжение той встречи. Я так же растерялся, и в точности так же беспричинно заныло у меня сердце. Столько готовился к встрече, думал над каждым словом возможного разговора, а тут в один миг все забыл, слова разлетелись, как вспугнутые воробьи. Стукни меня в этот миг по голове, наверное, голова зазвенела бы, до того была пустой. Я принял чересчур официальный вид, откозырял ей и, взяв у нее допуск и удостоверение, долго держал в руках, плохо видя, что в них написано. Не знаю, сколько бы я простоял в этой напускной невозмутимости, если бы не лейтенант Султаев, выручивший меня.

- Показывай свои владения, - сказал он, - доктор строгий, время терять не любит.

И я стал показывать. Проверяющая заглядывала в каждый уголок, в каждую щелку, выискивая пыль, что-то записывала, так что под конец осмотра чувство растерянности во мне сменилось откровенной досадой. Когда, высказав замечания, Рита вышла из караульного помещения и, ступив на дорожку, поскользнулась, я подумал с невольной мстительностью: «Так тебе и надо».

- Товарищ военфельдшер, а вы дорожку проверять не будете? А то бы проверили заодно на предмет чистоты, - сказал я, не скрывая своего желания уколоть ее.

Она посмотрела на меня как-то снизу вверх и усмехнулась уголками губ. Улыбка, которая запомнилась мне еще с той первой встречи в лесу.

- Зря иронизируете, старший сержант. Дорожку я еще проверю. А пока рекомендую посыпать песком.

- Для чего?

- А чтобы не падать.

- Сами мы не падаем, а гостей как-нибудь поддержим, - с этими словами я сделал жест, намереваясь показать, как выглядела бы эта поддержка на практике, и - о, ужас и позор! - поскользнувшись, упал. Да какое там упал, не то слово. Растянулся поперек тропки, едва не свалив спутницу. У меня до сих пор горит жаром лицо от стыда и досады за свою неуклюжесть. Можно представить, как я глупо выглядел, лежа на спине на обледенелой дорожке, наказанный за свою невольную мстительность. Кроме того, мне показалось, что, падая, я задел плечом Риту, поэтому, несмотря на всю свою неловкость, я первым делом глянул на нее, опасаясь, не сильно ли толкнул.

Нет, она не засмеялась при моем падении, но искорки в глазах у нее заплясали.

- Вы не ушиблись, старший сержант Андрей Трубин? В медицинской помощи не нуждаетесь? - спросила она меня с участием. Я не успел ответить. Подошел лейтенант Султаев, и наш разговор оборвался. Они ушли. В ушах у меня и сейчас звучат ее слова: «Андрей Трубин». Знает мое имя. Факт этот сам по себе не так уж много значит. Но все равно приятно...».

Андрей, хмурясь, пробросил сразу страничек двадцать дневника. Хотел закрыть его совсем, но потом против своей воли склонился опять над записями.

«2 марта

Уже весна. Меня восхищает ее волшебство. Вчера еще на обочине дороги желтела безжизненно косматая прошлогодняя травка, похожая на старую рогожу, а сегодня уже брызнула зелень и появились первые подснежники. Они точно такие же, как и у нас в Северном Казахстане: синие, белые, кремовые. Только там, в степи, их гораздо больше. Подснежников - целые поляны. Цветы эти меня всегда волновали тем, что они самые первые. А теперь волнуют особенно. И я знаю отчего. Я влюблен. Это точно как дважды два. И вот доказательства. Раньше я проходил мимо санчасти и ничего особенного не ис-

пытывал. А теперь при одном взгляде на белые занавески на окнах санчасти у меня замирает сердце - ведь там Рита! Я завидую Васе. Он уложен туда на целую неделю. У него что-то с желудком. Подумать только, на неделю! И я самым настоящим образом жалею, что абсолютно здоров. Вообще в последнее время я чертовски глупо себя веду.

Сколько ни заставлял себя поговорить с ней, а встречусь и немею, как рыба. Начинаю хмуриться, напускать на себя печоринскую хладность. И попросту выдаю себя с головой. Не помню, кто-то сказал: «Нет ничего проще, чем определить влюбленного человека, который старается свою любовь скрыть». Как это верно. Я кажусь порой самому себе прозрачным, как стекло, через которое видно все. И, конечно же, ей. Я думаю о ней, пишу ей стихи, оставляя их, разумеется, у себя, изредка случайно встречаюсь. А дальше? Не стану же я объясняться ей в чувствах в караульном помещении или в санчасти. А больше и негде. Рита живет на квартире вместе с Кулгаевыми и может в свободное время пойти куда угодно. Комсостав... А я? Больно от мысли, что она где-то бывает, с кем-то встречается...

В мои сердечные дела, разумеется, не так уж глубоко, посвящен один Вася. И, как ни странно, он относится ко мне сочувственно, не издевается и даже не машет по привычке рукой, а наоборот, подбивает к более решительным действиям. Сейчас сообщил, что Рита придет по каким-то надобностям на склад, будет и в караульном помещении. Нарву подснежников и отдам ей.

4 марта

Букет Рите не отдал: она не пришла. Оказывается, уехала в командировку. Куда и зачем - неизвестно. Настроение мрачное.

20 марта

День приятных новостей. Первое - Рита вернулась! Прошли мои страхи. Я так боялся, что она исчезла совсем. Как я невыразимо обрадовался, увидев ее на улице. Вел отделение со стрельбища, и вдруг она навстречу. Я задержался с ней, поздравил с приездом, а потом догонял строй как на крыльях. Мой земляк Ташаубаев заметил: «Товарищ старший сержант, вы хитрый. Какой девушка замечательный выбирал», - и при этом расплылся в широченной улыбке. Что он имел в виду под этим - «выбирал»? А Рита немного обрадовалась, когда я с ней

задержался, или это мне померещилось от чрезмерного волнения.

Вторая новость. Оказывается, она замечательно поет и будет участвовать в художественной самодеятельности. Об этом говорил младший политрук Синицкий. Что это даст мне? Возможность лишний раз видеть ее - первое. И второе - может быть, наконец, поговорить?

10 апреля. Ночь

Вернулся с праздничного концерта. В голове все перемешалось, не хочется спать. И радостно, и тяжело. Концерт был шефский, для рабочих местного кирпичного завода. Я читал стихи, Рита пела украинские песни. Голос у нее чудный. За кулисами я ее видел мельком, а так хотелось подойти к ней, заговорить, я же для нее написал и ей посвятил стихотворение, которому особенно аплодировали в зале.

В перерыве перед танцами я расстроенно послонялся по коридору, без особой нужды заглянул в пустую читальню и в это время, к радости своей, увидел здесь Риту. Она стояла лицом к окну и, глядя в темноту (на улице шумел дождь), задумчиво перебирала ленты, спадавшие на плечи. До чего же ей шел костюм украинки: эта белая расшитая кофточка, эти цветные сапожки, ленты и монисты вокруг шеи. Я готов был целую вечность смотреть на ее задумчивый профиль, на пальцы, трогавшие блестящий шелк разноцветных лент, на пшеничные косы, собранные венком.

Но Рита, заслышав мои шаги, повернулась и, как мне показалось, усмехнулась не без иронии.

- А, сержант Андрей Трубин. Вы хотите мне что-нибудь сказать?

Я так ее любил в этот момент, что готов был крикнуть об этом. Но я не закричал, а произнес вполголоса, потому что в горле у меня вдруг пересохло.

- Вы хорошо пели, Рита, - я впервые назвал ее по имени. - И знаете, на кого похожи?

- На кого? - спросила она с любопытством.

- На Оксану Петрусенко. Я ее видел в кино, в опере «Наталка-полтавка».

- В чем же мое сходство?

- Голос. И вообще... - я чуть не сказал: «красота», но удержался. Рита рассмеялась:

- Ну, уж если пошли комплименты, то должно быть взаимно. А вы читали стихи как настоящий поэт.

- Поэт-красноармеец, - подсказал я.

В зале грянул духовой оркестр. Рита спохватилась.

- Надо идти, - сказала она, посмотрев на меня, как будто с некоторым сожалением.

- А вы не переодевайтесь, - вырвалось у меня. - Не надо!

- Почему?

- Вам так лучше, - сказал я. - Вы такая в этом наряде, такая... - «красивая» хотел я добавить, но в коридоре послышались торопливые шаги, и дверь распахнулась.

- Рита, вы что же? Я вас ищу.

На пороге вырос лейтенант Киян, командир минометной роты, высокий, грузный, перетянутый ремнями, с новенькими петлицами, сиявшими золотой окантовкой. Поскрипывая щегольскими хромовыми сапогами, он прошагал через комнату и смело, как имеющий на то право, взял Риту за руку.

- Идемте.

На меня он - ноль внимания, будто и не заметил. Но субординация есть субординация, и я подтянулся. Зато Рита на меня снова посмотрела, даже улыбнулась смущенно, как мне показалось.

- Пошли?

Это адресовалось ко мне. Она даже слегка за рукав меня тронула, как бы приглашая с собой. Но я промолчал и не двинулся с места. Они вышли. Дверь читальни хлопнула, и это прозвучало ударом судьбы. Кубики и треугольники. Геометрия, какое, однако, ты имеешь значение в жизни! Вот когда я с настоящим нетерпением подумал об училище. «Скорее бы ответ!»

Несколько следующих записей Андрей снова пропустил. Прошлые огорчения бередили ему душу. Хотелось восстановить в памяти что-нибудь хорошее из того, что было. Хотя было ли оно?

«3 мая

Говорят, если день начнется плохо, то так же и кончится. Я убедился в обратном. Сегодня с самого утра неприятности. Во-первых, с подъемом мое отделение запоздало. Не знаю, что случилось, но Василия Тимошенко старшине пришлось будить самому, когда все уже выстроились на физзарядку. Потом в казарму вдруг нагрянул начальник штаба части, и

дневальный Ташаубаев не смог доложить ему по форме: назвал его не майором, а лейтенантом. В общем, провал полный. Старшина начал меня точить, и я с ним поругался. И в довершение - в сегодняшней почте для меня ничего. Пишут...

Расстроенный, я отпросился в магазин за красками для стенгазеты, хотя краски были. Просто хотелось побродить по улицам, рассеять плохое настроение.

Местечко удивительное. В нем на каждом шагу следы былого хозяйничания панов. Кирпичный завод - панский, мельница - панская, сад с самым большим домом, где сейчас школа, - бывшее поместье пана, и даже костел, уткнувший в небо колокольню, построен когда-то по приказанию местного пана. В нем и сейчас полно богомольцев. Днем они сидят с книжечками на скамейках, слушают ксендза. Старый мир лишь отступил, потеснился, но уходить не собирается.

А сколько здесь тополей! Тут они всюду: в школьном саду, на улицах, по берегам реки. Сейчас пора цветения. Белый пух кружит в воздухе, ложится на землю, и кажется, что это снег. Даже вода в речке усеяна пушинками, которые уплывают неведомо куда.

Я долго стоял над обрывом, глядя на заречные дали, где низко висело солнце, будто упиралось лучами в землю. Засмотрелся, задумался и не сразу заметил, что не один здесь. Неподалеку на врытой в землю старой каменной скамейке сидела Рита. Первый раз за все время я встретил ее одну и в таком уединенном месте.

Грусти, владевшей мной, как не бывало. Сердце застучало от радости. Повезло! Я весь день ломал голову, как ее увидеть. Хотел даже - была не была - заявиться в санчасть. Надо было спешить: все собирались в летние лагеря и она тоже. И вот фортуна сжалилась надо мной.

Я поборол свою застенчивость и, как мне кажется, довольно свободно подошел к Рите, подсел рядом на скамейку.

- Красиво, правда? - спросила она, не отрывая взгляда от далекого горизонта за рекой, - но я люблю утро, потому что восход - начало нового, от которого ждешь что-то хорошее.

Я сказал, что тоже люблю, «А больше всего тебя люблю», - добавил про себя...

- Почему вас не видно, старший сержант, вы чем-то заняты? - спросила Рита.

- Служба.

- А я вот прощаюсь со всем этим. - Она повела рукой вокруг. - Завтра в лагеря. А там, говорят, и речки нет.

«Зато лейтенант Киян будет рядом», - подумал я и нахмурился. Она это заметила.

- Какой вы суровый сегодня. Это вам не идет, - сказала Рита и искоса посмотрела на меня.

- Настроение плохое.

- Без причины?

- Ждал письма, - попытался я пошутить, - а письма нет...

- От кого же вы с таким нетерпением ждете письма? Это не военная тайна?

- Нет.

- От девушки?

- Из дому.

- А от девушки?

- Девушки у меня нет. По крайней мере, там.

- А где же есть?

- Нигде.

- Это любопытно, - Рита повернулась ко мне, в прищуренных ее глазах промелькнул неподдельный интерес. - Вы замкнутый человек, Андрей, - сказала она, чуть отведя взгляд, - а такие девушкам не нравятся.

- Какие же нравятся?

- Незамкнутые.

- И вам тоже? - спросил я.

- Ну, этого я не скажу, - она отвернулась, словно потеряв интерес к разговору, и опустила ресницы. - Прочтите лучше свои стихи.

«И не надо, - подумал я. - Сам знаю. Замкнутые не нравятся, вот лейтенант Киян незамкнутый. Все ясно». Я с подчеркнутой готовностью продекламировал:

Прощай, увидимся ли вновь?
Увы, надежды нет.
Прости и знай, моя любовь -
Последний мой завет.

Я нарочно выбрал это четверостишие. Так было лучше. Оно выражало мои чувства и было некрасовским. Но Рита не помнила их, да, кажется, и не слушала. Она рассеянно смотрела вниз, под обрыв, где на песке возле воды возились ребятишки и женщины на деревянных мостках полоскали белье. Потом вдруг спросила, есть ли у меня отец и мать и где они живут. Я сказал, не понимая, к чему ей это.

- Вы счастливый, - сказала Рита.

- В чем?

- Счастливый, - повторила она. - Хотите докажу? - и, не дожидаясь согласия, взяла мою руку, с улыбкой посмотрела на ладонь. Об этом свидетельствуют извилины на ладони, их расположение.

Пальцем она слегка коснулась моей ладони. Волосы ее, выбившиеся из-под пилотки, были совсем близко и пахли дождем. Да, летним дождем. Все было как во сне - и наш разговор, прикосновение ее пальцев, ее дыхание.

Она шутила, говорила, что наполовину цыганка, умеет гадать и предсказывать судьбу, а я не мог выговорить ни слова.

Как легко было обнять ее за плечи, привлечь к себе, но я не решился...»

Резкое в тишине дребезжание звонка под потолком комнаты заставило Трубина, увлеченного своими записями, вздрогнуть: начальника караула вызывали к воротам.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Темнота словно набросила на глаза повязку. Андрей остановился на пороге, чтобы привыкнуть к ней.

Было тепло и безветренно. С далеких болот доносилось чуть слышное кваканье лягушек. Пахло росой и дымком, как возле костра в ночном.

Глубокая ночь почему-то всегда связывалась у Андрея с представлением о границе. Это осталось с детства. Красноармеец в дозоре, овчарка, настороженная, полная опасности тишина, за которой в сумраке затаился нарушитель-диверсант. В пограничников играли мальчишки. Граница, с ее суровой таинственностью и романтикой, грезилась каждому из них.

И он, Трубин, мечтал о зеленой фуражке и на призывной комиссии, которая работала прямо в институте, попросил направить в погранвойска. Просьбу его пообещали удовлетворить, но началась война с белофиннами, и все они, студенты, оказались в батальоне лыжников. Хотя с тех пор, за полтора года армейской службы, романтики убавилось, где-то в тайниках души не исчезало сожаление о неосуществившейся мечте. Мысли о границе приходили частенько, тем более что здесь граница была совсем близко, в нескольких десятках километров.

И в этот раз Андрей с чувством невольной зависти к тем, кто не прозябал вот так сторожем у склада, а нес беспокойную службу на заставах, посмотрел на запад. Потом поспешил закрыть за собой двери в караульное помещение, чтобы не напустить комаров, и направился к воротам. Там снова кто-то нетерпеливо дернул кольцо сигнала. Из-за ограды донеслись приглушенные голоса Ташаубаева и Клевакина, назначенных в ночной дозор. Андрея это удивило: время для возвращения дозора не вышло.

Несмотря на то, что это были свои караульные, Трубин, в соответствии с уставом, потребовал пароль и только потом отодвинул засов.

- В чем дело?

Ташаубаев принял положение «смирно». Кончик штыка на его винтовке, прижатой к плечу, тускло блеснул.

- Товарищ начальник караула, дозорный Ташаубаев докладывает: посторонний лица задерживал возле объекта. Пока ходил сообщать сюда, младший сержант Клевакин его отпускал. Неправильно так. Устав нарушал! - От волнения Ташаубаев выговаривал слова с сильным акцентом. Скуластое лицо бойца, проступавшее сквозь темноту, дышало возмущением.

- Спокойнее! - потребовал Андрей и повернулся к Клевакину: тот как младший командир возглавлял дозор. - Доложите, младший сержант!

- Чего там докладывать? Расшумелся, чудак. Нарушение, нарушение. Ничего особенного, - без охоты отозвался Клевакин и вяло переступил с ноги на ногу. Он и тут не упустил возможности подчеркнуть свою независимость перед начальником караула: хватит и того, что пошел в дозор, а мог бы и не пойти, потому что у него свои обязанности.

Ташаубаев взорвался.

- Как, говоришь, ничего особенного? Есть особенного! Когда чужого задерживают близко объекта, надо вызывать начальник караула. Не знаешь разве? А ты отпускал. Какой имел право? Тебе устав не обязательно, да?

- Погодите, - недовольно прервал Трубин. - Кого задержали? Давайте толком.

- Фаня задерживал. Фотограф который.

- Фаню? Где и каким образом?

- Близко тут гулял. Вон там, - Ташаубаев, чуть успокоившись, кивнул через поляну, на неразличимую опушку леса.

- Одна?

- Сначала одна. Мы ее останавливал. Говорим: посторонним ходить нельзя. Она говорит: «Дорога путал мал-мал, извиняюсь». Потом другой подходил. В стороне стоял, молчал, а когда я сказал, что будем начальника караула вызывать, - подошел.

- Кто подошел?

- Не знаю. Темно. Как разглядишь? Видел только командир. Петлица видел. Два шпала. Ремень звездой видел. Говорит, азимут ошибался, брал не какой нужно. «Когда девушка рядом, все, говорит, ошибка допускают».

- Так это, наверное, муж Фани, летчик.

- Муж зачем так далеко из дому гуляет? - возразил Ташаубаев. - И муж один пойдет с женой. А он не один. Я слышал: за сосной кто-то еще другой стоял. Может, два мужа. А?

- Наговорит, теперь слушай его, - усмехнулся Клевакин. - В глазах у человека двоится. Не хватает еще нам ночью считать, у кого сколько кавалеров.

- Зачем считать? Кто говорит? Спрашивать надо, зачем ходит, документ проверять.

- Ты не очень, - предостерегающе повысил голос Клевакин. - Знаешь. От старших командиров требовать документы никто нам не давал права. Наше дело склады охранять. А там без нас проверят как-нибудь, что нужно и у кого нужно.

- Значит, пусть тут ходит? Спрашивать не надо, проверять не надо? А что надо? Гости звать, да? Чай пить?

- Средний комсостав - это не «всякий», товарищ Ташаубаев. Сам же говоришь - две шпалы.

- Все равно начальник караула надо говорить. Так положено. Зачем отпускал?

- Когда вы их встретили? Время? - спросил Трубин, подняв к глазам руку с часами и напряженно вглядываясь в циферблат. Фаня и командир с двумя шпалами. Здесь, ночью? Во всем этом было что-то странное. Почему они, в самом деле, так далеко забрели? И где же ее муж, тот грузин-капитан?

- Ладно, - сказал Андрей, выслушав объяснения, - продолжайте выполнять обязанности. Посторонних задерживать!

Дозорные отошли. Вскоре оба скрылись в темноте. Андрей с минуту стоял, прислушиваясь к удалявшемуся шороху шагов с чувством смутной тревоги. Потом закрыл ворота и направился было к караульному помещению. Но его словно что-то держало. Разговор с дозорными не выходил из головы. Фаня, два кавалера. И прячутся. Андрей остановился. Прислу-

шался. Все было спокойно. В густой ночной тишине все так же позванивали цепями караульные собаки, как будто монеты перекатывали, пищали комары.

«И чего мне эта Фаня далась? Гуляет и пусть гуляет на здоровье, хоть с десятью кавалерами сразу», - подумал Трубин, успокаиваясь и настраивая себя на то, чтобы пойти и сесть за письма.

Едва он устроился за столом, звонок задребезжал снова, залаяли собаки.

На этот раз к воротам пошел Кучкильдин и вернулся в сопровождении лейтенанта Султаева.

Появление командира взвода в столь неурочный час не очень удивило Андрея. Было уже привычно - лейтенант мог нагрянуть в любое время. В проверке несения караульной службы он не знал устали. Главное, с чем пришел? И Андрей, докладывая ему, старался предугадать, какая команда от него последует? Подымет ли он караул по тревоге или даст вводную одному начальнику караула.

Но лейтенант не спешил высказать свои намерения. Выслушав рапорт, он молча козырнул бодрствующей смене, вставшей при его появлении по команде «смирно», кивнул «вольно» и взял из пирамиды винтовку.

- 3370. Чья?

- Моя, товарищ лейтенант, - отозвался растерянно Феоктистов.

- Плохо протерта. Протереть! 2530?

- Красноармейца Пряхина, - привстал караульный.

- В хорошем состоянии, - одобрил Султаев.

Остальные винтовки он проверил тоже, делая замечания. Осмотрел ящик с патронами, заглянул в шкафчик, где была составлена посуда, потом потребовал постовую ведомость.

Караульные, хотя и была подана команда «вольно», стояли, выжидающе поглядывая на командира взвода. Феоктистов усиленно тер куском ветоши затвор винтовки. Держался начеку и Андрей, готовый к любой неожиданности.

Лейтенант, окончив осмотр, расстегнул плащ и запросто подсел на топчан к играющим в шашки, чего прежде с ним никогда не было.

- Ну, что же вы? - кивнул он. - Продолжайте. Кто кого?

- Да мы разве игроки, - смущенно провел ладонью по обросшей шишкастой голове Ольховский. - Турнир от нечего

делать. В общем-то, старина притиснул меня крепко, не соображу, куда податься.

- А если так? - Султаев, стараясь не задеть пешки рукавом плаща, тронул одну. Смуглая рука лейтенанта была маленькой, почти женской, но все знали, что руки лейтенанта Султаева обладали достаточной силой, крепко держали кавалерийский клинок (службу лейтенант начинал в кавполку) и еще крепче держались за перекладину турника. Лучше командира караульного взвода в части никто не умел «крутить солнце».

- А потом сюда, - Султаев снова двинул пешку. - И вот тебе прорыв окружения. Быстро падаешь духом.

- Да-а... А я ломаю голову. Теперь, старина, держись.

- Так, может, с вами и доиграем, товарищ лейтенант? - предложил, посмеиваясь в усы, Пряхин.

- Все. Подсказкам конец, - в подтверждение чуть приподнял руку Султаев. - Дальше Ольховскому думать самому. А вам задача, Пряхин: научить всех во взводе играть в шашки. Чтобы до отъезда домой успели.

- Домой, - качнул головой Пряхин. - До дому еще далеко, товарищ лейтенант.

- Недалеко. Нога как?

- Ничего, бегать можно.

- Ну так, - Султаев встал, сказал тоном приказа: Ольховскому завтра же подстричься! - и к Трубину: - Дальнейший распорядок, начальник караула?

- Через двадцать минут смена часовых. Прикажете построить наряд?

Султаев глянул на часы.

- Не надо, - застегнул плащ, вскинул ладонь к козырьку фуражки. - Желаю успехов в несении службы!

Лейтенант направился к выходу. Возле Феоктистова остановился, придирчиво оглядел винтовку.

- Вот теперь подходяще. Не забывайте это делать без напоминаний. А чем вы заняты в свободное время, товарищ Феоктистов?

- Читаю, товарищ лейтенант.

- Покажите.

Султаев взял увесистый том с аккуратной бумажной вкладкой, посмотрел название книги.

- Что ж, вещь серьезная. Читайте. Но если услышу, что книги кладете в сумку противогаза, - получите взыскание. Старший сержант, проводите меня!

Они вышли вдвоем из караульного помещения. Андрей ждал, что командир взвода свернет на внутреннюю территорию, чтобы обойти посты. Но Култаев резко остановился возле курилки.

- Трубин, вам замечание. Внешний вид караульных. Ольховский оброс, разводящий не следит за состоянием оружия. Чтобы не было этого!

- Есть!

- На постах кто?

Андрей назвал караульных.

- Дозор выслан?

- Да.

Лейтенант захрустел плащом, достал папиросы, протянул начальнику караула открытую коробку, как бы в знак окончания официального разговора.

- Держи.

Андрей взял папиросу. Прошло то время, когда его возмущали и приводили в недоумение внезапные переходы в настроении лейтенанта. Сложной натурой казался ему командир взвода, и, как это часто бывает от непонимания, между ними на первых порах установились натянутые отношения. В Андрее еще не выветрилась студенческая независимость, и армейский строгий режим, олицетворением которого был лейтенант Култаев, вызывал у него чувство слепого противоречия.

Командир взвода угадал в нем сразу этот откровенный протест и, видно, потому на второй или на третий день после их знакомства придрался к какому-то пустяку и отчитал Андрея. Тот, в свою очередь, не сдержался, вступил в пререкания. И с этого пошло. Лейтенант Култаев не упускал возможности подметить у него малейший недостаток, а он отзывался на это неприязнью.

Перелом в их отношениях произошел странным образом. Андрей назло командиру взвода стал делать все так, чтобы тот не смог ни к чему придраться, и в этом было для него своего рода удовольствие. А лейтенанту это и было нужно. Добившись своего, он оставил Андрея в покое. За это время Андрей успел убедиться, что Култаев не менее требователен и к другим командирам отделений, имея на это не только уставное, но и моральное право.

Трудно было не заметить, что лейтенант Култаев знает свое командирское дело отлично, душой предан военной службе. В этом смысле они со старшиной Барабановым стоили друг дру-

га, даже и походили внешне: оба невысокого роста, подвижные, вездесущие. Было непонятно, когда лейтенант Култаев отдыхает, бывает дома. Ночь-полночь он в казарме, устраивает тревоги, проверяет караулы, проводит тактические занятия, стрельбы. И везде он первый, все умеет, все знает. Во время изнурительных многокилометровых маршей Култаев шагал впереди взвода с таким видом, словно и не уставал вовсе. И уж совершенно покорял всех, выбивая на стрельбище из любого положения по нескольку десяток подряд, насаживая одну пулю на другую.

Антипатия к лейтенанту постепенно сменилась у Андрея чувством уважения. Трубин, сам того не замечая, стал подражать лейтенанту. И хотя не признавался себе в этом, но знал, что и на его решение поступить в училище определенное влияние оказал Култаев. Кроме главных побуждений, где-то в глубине души таилось стремление стать таким же командиром, как Култаев, походить на него.

На резко высказанные сейчас Култаевым замечания по караульной службе Андрей не обиделся. Во-первых, не столь уж серьезными они были, а потом, какое для него значение имеет теперь выговор лейтенанта? Наряд-то для него последний.

Култаев словно угадал его мысли.

- Значит, настроение чемоданное, Трубин? - спросил он прикуривая. Розоватое пламя спички на миг осветило губы лейтенанта, державшие папиросу, и кончик носа: даже нос у него тонкий с горбинкой, как бы подчеркивал требовательность характера.

- Приблизительно, - кивнул Андрей.

- Не в обиде, что назначили в наряд?

- Нет, нужно так нужно.

- Это тебе на прощанье, чтобы помнил караульный взвод.

- А я и так не забуду.

- С охотой едешь?

- Рапорт подавал добровольно.

- Жалеть не будешь?

- Не знаю. Прошлое всегда немного жалко. «Что пройдет, то будет мило». Пушкин еще так сказал.

- А здесь никто не останется, кто бы о тебе жалел?

- Здесь? - переспросил Андрей, склоняясь к протянутой лейтенантом спичке и, помедлив, чтобы собраться с мыслями, ответил: - Думаю, что нет.

- Думаешь? А не ошибаешься?

«Да что это он?» - насторожился Андрей, чувствуя на себе пытливый взгляд командира взвода.

- Есть вопросы, в которых трудно ошибаться.

- Ну-ну. А как же с институтом? Помнится, ты собирался стать педагогом.

- Перемена профессии на ходу, - ответил Андрей уклончиво, несколько разочарованный последним вопросом. Что же хотел ему сказать Султаев? «Кто бы о тебе жалел...» Случайная ли фраза?

- Да, грамотные командиры сейчас нужны, - согласился в раздумье Султаев. - Военная техника шагает вперед. Придет время, а оно обязательно придет, когда каждый командир будет с высшим образованием. Глядишь, на старости лет и нашему брату придется доучиваться. - Кулаев помолчал, затягиваясь папиросой. - А учиться надо, - сказал он уже убежденно, - многому надо учиться. И не для показа. Жалуемся, что новый нарком чересчур закрутил гайки, требует делать все, как в бою. А ведь еще старик Суворов сказал: «Тяжело в ученье - легко в бою». Раскачиваемся мы, а времени на раскачку не очень много остается. Судя по всему, меньше, чем хотелось бы.

- Думаете, война будет? - спросил Андрей, уловив в голосе лейтенанта тревожные нотки.

- А для чего мы служим? Наше дело о войне думать и быть к ней готовыми. А вот скоро или нет, - кто знает? Факт, что у врага камень за пазухой. Тут в прятки играть незачем.

- Имеете в виду немцев?

- Фашизм - это война. Так, кажется, сказано? А дальше, поживем - увидим.

- Проверите посты? - спросил Андрей.

- Нет. Сегодня у меня цейтнот. Вызывают в лагеря.

- Когда едете?

- Прямо отсюда и махну.

Они свернули на дорожку к воротам. С минуту шли рядом, молча. Повлажневшая от росы земля глушила шаги. Но вот всхрапнул привязанный за оградой конь, звякнул удилами. Одна из караульных собак отозвалась на эти звуки ворчанием.

Султаев задержал шаг, весь как-то сразу подобравшись.

- Орлика чуст? Никак не привыкнет.

Андрей прислушался. Дозор возвращается. Вспомнил Фаню. Не рассказать ли командиру взвода?

- Это Пальма, - сказал он. - Беспокойный характер. Даже на самого Уляшева ворчит.

Вышли за ворота.

- Ночь какая, - отвязывая повод, заметил Султаев. - Сеном пахнет. Уляшев убрал копны?

- Убрал.

- В такую ночь только отдыхать, лирикой заниматься. Хорошо! - Султаев глубоко втянул в себя воздух. - А тут ходишь, ездишь, к тишине прислушиваешься, с оружием не расстаешься. Приходится. В тревожное время живем. И полный покой не скоро, наверное, наступит.

Привычным движением Султаев подтянул подпругу, поправил седло.

«Сказать про Фаню? - подумал опять Андрей. - Хотя какое это имеет значение? Посторонних-то все равно не задержали».

- Я вас провожу немного, - сказал он, закрывая за собой ворота. Неизвестно отчего, но ему вдруг захотелось, чтобы лейтенант не уезжал.

Молча они сделали несколько шагов по дороге, чуть проступавшей в темноте светлой песчаной колеей. Султаев вел лошадь в поводу, и чувствовалось, что он опять задумчив и сосредоточен. Внезапно он, словно спохватившись, спросил:

- Трубин, ты из каких мест? Что-то я забыл.

- Учился в Омске, родные живут в Северном Казахстане, - ответил Андрей и осторожно посмотрел на собеседника: настроение командира взвода начинало его озадачивать.

- Мы почти с тобой земляки. Оба, считай, из Сибири-матушки. Дома у тебя кто?

- Старики.

- Сообщил об училище?

- В общих чертах.

- Сообщи обязательно. А я вот к своим старикам жену отправил, - сказал Султаев и вздохнул.

- Дарья Ивановна уезжает?

- В декретный. Такая, брат, ситуация. Перехожу на положение соломенного вдовца, так сказать. Ты давай, - лейтенант дружески коснулся рукой плеча Андрея, - после наряда завтра заходи ко мне. Квартиру знаешь?

- Думаешь? А не ошибаешься?

«Да что это он?» - насторожился Андрей, чувствуя на себе пытливый взгляд командира взвода.

- Есть вопросы, в которых трудно ошибаться.

- Ну-ну. А как же с институтом? Помнится, ты собирался стать педагогом.

- Перемена профессии на ходу, - ответил Андрей уклончиво, несколько разочарованный последним вопросом. Что же хотел ему сказать Култаев? «Кто бы о тебе жалел...» Случайная ли фраза?

- Да, грамотные командиры сейчас нужны, - согласился в раздумье Култаев. - Военная техника шагает вперед. Придет время, а оно обязательно придет, когда каждый командир будет с высшим образованием. Глядишь, на старости лет и нашему брату придется доучиваться. - Кулаев помолчал, затягиваясь папиросой. - А учиться надо, - сказал он уже убежденно, - многому надо учиться. И не для показа. Жалуемся, что новый нарком перестур закрутил гайки, требует делать все, как в бою. А ведь еще старик Суворов сказал: «Тяжело в ученье - легко в бою». Раскачиваемся мы, а времени на раскачку не очень много остается. Судя по всему, меньше, чем хотелось бы.

- Думаете, война будет? - спросил Андрей, уловив в голосе лейтенанта тревожные нотки.

- А для чего мы служим? Наше дело о войне думать и быть к ней готовыми. А вот скоро или нет, - кто знает? Факт, что у врага камень за пазухой. Тут в прятки играть незачем.

- Имеете в виду немцев?

- Фашизм - это война. Так, кажется, сказано? А дальше, поживем - увидим.

- Проверите посты? - спросил Андрей.

- Нет. Сегодня у меня цейтнот. Вызывают в лагеря.

- Когда едете?

- Прямо отсюда и махну.

Они свернули на дорожку к воротам. С минуту шли рядом, молча. Повлажневшая от росы земля глушила шаги. Но вот всхрапнул привязанный за оградой конь, звякнул удилами. Одна из караульных собак отозвалась на эти звуки ворчанием.

Култаев задержал шаг, весь как-то сразу подобравшись.

- Орлика чуст? Никак не привыкнет.

Андрей прислушался. Дозор возвращается. Вспомнил Фаню. Не рассказать ли командиру взвода?

- Это Пальма, - сказал он. - Беспокойный характер. Даже на самого Уляшева ворчит.

Вышли за ворота.

- Ночь какая, - отвязывая повод, заметил Култаев. - Сеном пахнет. Уляшев убрал копны?

- Убрал.

- В такую ночь только отдыхать, лирикой заниматься. Хорошо! - Култаев глубоко втянул в себя воздух. - А тут ходишь, ездишь, к тишине прислушиваешься, с оружием не расстаешься. Приходится. В тревожное время живем. И полный покой не скоро, наверное, наступит.

Привычным движением Култаев подтянул подпругу, поправил седло.

«Сказать про Фаню? - подумал опять Андрей. - Хотя какое это имеет значение? Посторонних-то все равно не задержали».

- Я вас провожу немного, - сказал он, закрывая за собой ворота. Неизвестно отчего, но ему вдруг захотелось, чтобы лейтенант не уезжал.

Молча они сделали несколько шагов по дороге, чуть проступавшей в темноте светлой песчаной колеей. Култаев вел лошадь в поводу, и чувствовалось, что он опять задумчив и сосредоточен. Внезапно он, словно спохватившись, спросил:

- Трубин, ты из каких мест? Что-то я забыл.

- Учился в Омске, родные живут в Северном Казахстане, - ответил Андрей и осторожно посмотрел на собеседника: настроение командира взвода начинало его озадачивать.

- Мы почти с тобой земляки. Оба, считай, из Сибири-матушки. Дома у тебя кто?

- Старики.

- Сообщил об училище?

- В общих чертах.

- Сообщи обязательно. А я вот к своим старикам жену отправил, - сказал Култаев и вздохнул.

- Дарья Ивановна уезжает?

- В декретный. Такая, брат, ситуация. Перехожу на положение соломенного вдовца, так сказать. Ты давай, - лейтенант дружески коснулся рукой плеча Андрея, - после наряда завтра заходи ко мне. Квартиру знаешь?

- Спасибо, - кивнул Андрей, несколько смущенный жестом, а еще больше приглашением командира взвода. В чем же все-таки дело? Никогда до этого лейтенант его к себе не приглашал.

- Забегай, - повторил Култаев. - Отъезд когда?

- Послезавтра, утром.

- Добро.

Култаев остановился, намереваясь сесть верхом, вдел ногу в стремя и одним махом легко бросил себя в седло. Склонившись, подобрал поводья, отвернул полы плаща и еще раз напомнил:

- Так, значит, договорились: сразу после наряда жду. А насчет того, что никто о тебе здесь не пожалеет, ты зря. Советую подумать.

Андрей козырнул:

- Есть!

Ничего другого ему не оставалось. Лейтенант тронул коня.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нигде, наверное, не бывает такой тишины, как в лесу летом, в предрассветный час, и ни в какое другое время не ощущаешь так остро лесные запахи. Не надо напрягать зрение, всматриваться в темноту: по запахам можно определять местность. Терпкий настой хвои и грибная прель говорят, что к дороге вплотную подступили сосны. Потянет холодком и мокрой листвой, можно не сомневаться - впереди низина. А вот в лицо приятно пахнуло мятой и огуречным душком лабазника - это перед тобой травянистая поляна в белых брызгах ромашек.

Нет, невозможно было проскочить галопом эти невидимые рубежи лесных ароматов, не прислушаться, хоть на минуту, к царившему вокруг ночному безмолвию, и Култаев не устоял, пустил коня шагом.

Он родился и вырос в городе, на старой заводской окраине, где на солончаковой болотистой почве плохо приживалась зелень, и, может быть, поэтому, вопреки своей внешней суровости, был неравнодушен к природе. Навряд ли кто, глядя на него со стороны где-нибудь на тактических занятиях со взводом или во время стрельб, мог подумать, что этот смуглолицый, загорелый, поглощенный целиком своими командирскими обязанностями служака-лейтенант использует малейшую

возможность, чтобы поваляться на траве, посидеть на берегу заросшей кустами лесной речушки, а возвращаясь домой, прячет бережно в планшетку, между бумагами, сорванную незаметно для других кисточку ландыша, букетик дикой гвоздики или просто красивый листок для Даши.

Да, Даша... Султаев не заметил, как его снова захватили мысли о жене. Надо же случиться такому совпадению: ее отъезд и этот вызов в штаб части.

Он представил, как жена будет стоять на платформе перед вагоном и, держась за поручень, потерянно оглядываться вокруг, одинокая, готовая заплакать... Он совершенно не мог вообразить того, как завтра явится в опустевшую квартиру и как вообще будет жить там один, не видя Даши, не слыша ее голоса, ее шагов. Одно утешение, что все это только на два месяца. Но, шутка сказать, - два месяца! Шестьдесят дней! Скоротай их, попробуй.

Как бы для примера, лейтенант прикинул в уме, из чего сложится у него завтрашний, воскресный день. С утра, если не задержат в лагерях, прямиком к летчикам, поболеть за свой взвод, потом инструктаж караула. На вечер он пригласил к себе старшего сержанта Трубина. С умыслом - чтобы тот мог встретиться с Ритой. Не грех раз в жизни взять на себя роль посредника.

Султаев, подняв руку, отвел от себя ветку. Оставшийся в пальцах жесткий лапчатый листок дуба поднес к губам, по давней ребячьей привычке надкусил. Во рту остался пресноватый привкус зелени.

Нет, долой уныние. С Дашей ничего не случится. Через шесть суток она будет на месте. Встречать ее на вокзал придут все. Мать, возможно, не поедет. Разведет на кухне стряпню, где уж тут! Там, наверное, сейчас готовятся вовсю. Отец подмел двор, отремонтировал мостик перед воротами через канаву, где все лето держится ржавая болотная вода. Не хочет старик переселяться в новые заводские дома с удобствами, хотя и не один раз предлагали.

Привык к своей слободе. Кругом друзья по заводу. И все соседи знают о приезде к старикам невестки. Султаев легко представил себе сцену встречи жены возле дома: бородатые, сивоусые друзья отца и Даша, маленькая, растерявшаяся от множества суровых незнакомых лиц. А старики чинно здороваются, скупо улыбаясь, гудят в бороды, протягивают ей ладони, все как одна жесткие, большие, черные от железа.

- Спасибо, - кивнул Андрей, несколько смущенный жестом, а еще больше приглашением командира взвода. В чем же все-таки дело? Никогда до этого лейтенант его к себе не приглашал.

- Забегай, - повторил Култаев. - Отъезд когда?

- Послезавтра, утром.

- Добро.

Култаев остановился, намереваясь сесть верхом, вдел ногу в стремя и одним махом легко бросил себя в седло. Склонившись, подобрал поводья, отвернул полы плаща и еще раз напомнил:

- Так, значит, договорились: сразу после наряда жду. А насчет того, что никто о тебе здесь не пожалеет, ты зря. Советую подумать.

Андрей козырнул:

- Есть!

Ничего другого ему не оставалось. Лейтенант тронул коня.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нигде, наверное, не бывает такой тишины, как в лесу летом, в предрассветный час, и ни в какое другое время не ощущаешь так остро лесные запахи. Не надо напрягать зрение, всматриваться в темноту: по запахам можно определять местность. Терпкий настой хвои и грибная прель говорят, что к дороге вплотную подступили сосны. Потянет холодком и мокрой листвой, можно не сомневаться - впереди низина. А вот в лицо приятно пахнуло мятой и огуречным душком лабазника - это перед тобой травянистая поляна в белых брызгах ромашек.

Нет, невозможно было проскочить галопом эти невидимые рубежи лесных ароматов, не прислушаться, хоть на минуту, к царившему вокруг ночному безмолвию, и Култаев не устоял, пустил коня шагом.

Он родился и вырос в городе, на старой заводской окраине, где на солончаковой болотистой почве плохо приживалась зелень, и, может быть, поэтому, вопреки своей внешней суровости, был неравнодушен к природе. Навряд ли кто, глядя на него со стороны где-нибудь на тактических занятиях со взводом или во время стрельб, мог подумать, что этот смуглолицый, загорелый, поглощенный целиком своими командирскими обязанностями служака-лейтенант использует малейшую

возможность, чтобы поваляться на траве, посидеть на берегу заросшей кустами лесной речушки, а возвращаясь домой, прячет бережно в планшетку, между бумагами, сорванную незаметно для других кисточку ландыша, букетик дикой гвоздики или просто красивый листок для Даши.

Да, Даша... Султаев не заметил, как его снова захватили мысли о жене. Надо же случиться такому совпадению: ее отъезд и этот вызов в штаб части.

Он представил, как жена будет стоять на платформе перед вагоном и, держась за поручень, потерянно оглядываться вокруг, одинокая, готовая заплакать... Он совершенно не мог вообразить того, как завтра явится в опустевшую квартиру и как вообще будет жить там один, не видя Даши, не слыша ее голоса, ее шагов. Одно утешение, что все это только на два месяца. Но, шутка сказать, - два месяца! Шестьдесят дней! Скоротай их, попробуй.

Как бы для примера, лейтенант прикинул в уме, из чего сложится у него завтрашний, воскресный день. С утра, если не задержат в лагерях, прямиком к летчикам, поболеть за свой взвод, потом инструктаж караула. На вечер он пригласил к себе старшего сержанта Трубина. С умыслом - чтобы тот мог встретиться с Ритой. Не грех раз в жизни взять на себя роль посредника.

Султаев, подняв руку, отвел от себя ветку. Оставшийся в пальцах жесткий лапчатый листок дуба поднес к губам, по давней ребячьей привычке надкусил. Во рту остался пресноватый привкус зелени.

Нет, долой уныние. С Дашей ничего не случится. Через шесть суток она будет на месте. Встречать ее на вокзал придут все. Мать, возможно, не поедет. Разведет на кухне стряпню, где уж тут! Там, наверное, сейчас готовятся вовсю. Отец подмел двор, отремонтировал мостик перед воротами через канаву, где все лето держится ржавая болотная вода. Не хочет старик переселяться в новые заводские дома с удобствами, хотя и не один раз предлагали.

Привык к своей слободе. Кругом друзья по заводу. И все соседи знают о приезде к старикам невестки. Султаев легко представил себе сцену встречи жены возле дома: бородатые, сивоусые друзья отца и Даша, маленькая, растерявшаяся от множества суровых незнакомых лиц. А старики чинно здороваются, скупо улыбаясь, гудят в бороды, протягивают ей ладони, все как одна жесткие, большие, черные от железа.

Захваченный мыслями, Култаев не успел наклониться: ветка упруго хлестнула его по плечу. И в тот же момент Орлик, бежавший спокойной ровной рысью, вдруг всхрапнул и дернулся в сторону, сделав два неловких прыжка, словно брал невидимый барьер.

Лейтенант едва не потерял равновесие и, рассерженный странным поведением жеребчика, всегда такого послушного, резко осадил его. И тут же почувствовал легкий рывок, как будто кто-то рванул назад стремя. Не ослабляя повода, склонился и почувствовал под рукой проволоку, конец которой упирался острием в его каблук.

Высвободив ногу, Култаев вгляделся и, различив в сумерках между ветвей белые чашечки изоляторов на столбе, понял, что проволока - оборванный телефонный провод. Он спиралью лежал на земле, загораживая дорогу. Орлик похрапывал, настороженно косился по сторонам. Култаев послал его вперед. Но вернуться к прерванным мыслям уже не мог и невольно поглядывал на столбы, прятавшиеся между деревьев вдоль дороги. В лесу тихо, ветра нет, так почему же оборван провод?

В лицо пахнуло сыростью, запахом мха и мокрой ольхи. Речушка. Орлик резко остановился. Култаев в нетерпении дернул повод. Но жеребчик не подчинился, закусив удила, попятился, приседая на задние ноги. Недоумевая, Култаев перевел взгляд и изумленно присвистнул: Орлик, тревожно прядая ушами, стоял перед разобранным мостиком.

Уже чуть брезжило. В жидких предрассветных сумерках проступали тонкие, ошкуренные бревна настила, торчавшие вкривь и вкось, как дышла бричек. С досадой, не на шутку озабоченный лейтенант Култаев спешился и, ведя лошадь в поводу, приблизился к кромке моста. Настил был разворочен не весь, а через одно-два бревна, но как раз так, что на лошади ночью проехать нельзя. Он еще стоял, соображая, где искать брода через эту топкую речушку, когда услышал позади себя шаги. Обернувшись, увидел человека. Тот вышел из-за деревьев, как будто возник из сумрака, приподнял руку к козырьку фуражки.

- Здравствуйте, товарищ... - он, очевидно, разглядывал петлицы на комсоставском плаще Култаева и тут же добавил: - товарищ командир.

В темноте чуть блеснули и его знаки различия: две шпалы. Незнакомец был в мешковато сидевшей гимнастерке, с план-

шеткой через плечо. Пряжка парадного ремня со звездой съехала набок, и Султаев своим требовательным взглядом сразу подметил этот непорядок в заправке: «Интендант, небось, какой-то околачивается на дороге в эту пору, что-нибудь везет», - решил он про себя, видя, как незнакомец неловко держит руку у козырька. И сам, с подчеркнутой четкостью, козырнул в ответ.

- Здравия желаю.

- Препятствие? Непредвиденная остановка? - сказал незнакомец, опуская руку.

- Да вот, - Султаев носком сапога тронул вывороченное бревно, - чертовщина какая-то.

- Да-да, - подхватил человек. - Кому-то взбрело в голову ремонтировать мост не вовремя. Начали и бросили. Безответственность. Торопитесь? Майор Устинов, - незнакомец протянул руку. - Пограничник. Еду в часть. У меня машина там, - он кивнул через речку, - с грузом. Ломаю голову. Положеньице... Военному терять время, сами знаете. Служба. Каждая минута на счету. Досадно, очень досадно...

«Машина там, а сам по эту сторону моста, - подумал Султаев, вглядываясь в лицо майора, затененное козырьком фуражки. - И стоял под деревьями, вроде прятался». В голове шевельнулось подозрение, но он подавил его и тоже сдержанно представился, назвав свою фамилию и звание.

- И вы, лейтенант, ночью путешествуете, - сказал майор сочувственно. - Я думал только одному мне пришлось сегодня не спать. Друзья по несчастью. Но служба - ничего не попишешь. Тем более наша. Граница... Сами понимаете. Не приходится считаться со временем: надо - значит надо. Приказано - выполняй. А иногда и приказ не нужен - сам видишь, что надо, и делаешь. Привычка. Это ведь не так просто: граница на замке. Кто бы знал, как трудно приходится тем, кто держит в руках ключ от этого замка. Не зря говорят про пограничников, что они люди особого склада, чекисты.

«Как будто убеждает, что он пограничник», - подумал Султаев. И ему снова пришлось сделать над собой усилие, чтобы скрыть смутное беспокойство.

- Да, у нас еще, к сожалению, частенько так бывает, - продолжал он озабоченно, - начнут работу и не доделают, оставят обязательно на другой день. Но это уже забота не наша. Давай-ка лучше, лейтенант, перекурим это дело. Табачок греет и прочищает мозги. Покурим, потянем и авось что-нибудь

придумаем, не ночевать же около этого несчастного моста, - майор, посмеиваясь, достал из кармана папиросы. - «Беломорканал». Курите? Мое курево, лейтенант, - твой огонек. Напополам. Спички куда-то подевались, не найду.

Султаев промолчал. Что-то уж чересчур весело настроен интендант. Торчит тут неизвестно сколько и не унывает, пошучивает. И вообще: проволока на дороге, развороченный мост - не слишком ли много неожиданностей на лесной дороге для одного раза?

Майор уже надорвал пачку.

- Прошу.

Султаеву не хотелось курить, не хотелось терять времени, но он взял папиросу, искоса поглядывая на развороченный мостик. Перебираться придется вброд: укладывать бревна на место слишком долго.

Спички он достал неловко, левой рукой. Правая рука у него занята была поводом, который все время подергивал Орлик, неспокойно стоявший в присутствии чужого человека. Султаев прижал повод локтем к себе, надавленными ремнем пальцами ухватил спичку, чиркнул.

И вдруг пламя спички, красноватое и крохотное, не успевшее разгореться, взметнулось в громовой вспышке, ослепило на миг, вонзилось жгуче в плечо. «Выстрел», - успел подумать Султаев, разрывая словно слепившиеся веки.

Конь, напуганный грохотом, рванулся, выдернул из рук повод. Плечо у Султаева и вся левая рука до самой кисти, сразу будто одеревенели. Но освободившейся правой лейтенант успел перехватить руку стрелявшего, чуть отвести в сторону.

Противник был выше ростом и, наверное, сильнее лейтенанта. Одной рукой Султаев вряд ли бы сумел отвести от себя второй выстрел. Но смертельная опасность удесятеряет силы. Напрягшись, чуть присев, Султаев дернул на излом кисть «майора» и одновременно ударил его головой в живот.

Он не устоял и сам на ногах, но, падая, почувствовал, как о носок сапога что-то тяжело стукнуло: это упал пистолет. «Майор» вырвался, побежал к лесу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Июньская ночь с воробьиный шаг. Пока Андрей провожал командира взвода и потом сменял посты (разводящему он дал поспать), чуть посветлело. Электрические лампочки по углам

ограды померкли и теперь тусклыми звездочками висели над землей.

Стало холоднее, и Андрей, проходивший всю ночь в гимнастерке, зябко поежился, сунул руки в карманы. Перед тем как войти в караульное помещение, он задержался на крылечке, вдыхая влажный чистый воздух. Росы за ночь выпало так много, что даже ступеньки крыльца были мокрые, и Андрей чувствовал ее холодок сквозь сапоги.

Дома он любил по таким росным ранним утрам отгонять в табун корову. Подниматься приходилось чуть свет, отрываясь ото сна. Но он, переборов себя, вскакивал, на ощупь открывал воротца на улицу. Зато какое ожидало его вознаграждение за прерванный сон! Как это было чудесно, когда из-за горбины лесистой сопки, которая называлась «Спящий витязь», медленно и величественно выкатывалось багровое большое солнце.

Здесь, на западе, не было сопок, и солнце ночевало в лесу, но всходило оно с неменьшим величием, и Андрей, находясь в карауле, старался не упустить торжественного момента заступления его в очередной наряд. Он не прочь был и сейчас дождаться восхода, если бы не желание хоть чуть-чуть вздремнуть.

Андрей совсем уже было переступил порог и остановился, уловив далекий, едва различимый гул. Невольно глянул вверх. Гул напоминал отдаленные раскаты грома, но небо, уже выбеленное рассветом, было чистым. А гул нарастал.

Непонятные звуки привлекли внимание и караульных, задержавшихся у входа, чтобы разрядить оружие. Все стояли вслушиваясь.

- Гроза, что ли? - сказал Ольховский, вскинув голову. - Не могу разобрать.

- Так то ж гроза и есть! - убежденно подтвердил Василь Тимошенко, - чуете, уходит? Нынче у нас урожай на Украине, - не удержался он от вздоха. - Сестренка пишет - в колхозе пшеница добрая. Скоро косить начнут. И еще пишет, что добро було б, колы б я дома був к уборке.

- А ты поезжай, за чем дело стало, - посоветовал Адамович.

- Та мне ж рано. Мабуть, через год, да и то осенью.

- Не знаешь, как сделать? Выбей сплошные десятки на зачетных стрельбищах, как Касым, и отпустят на побывку жито косить.

- Я ж больше, як в восьмерку, попасть не можу. Не получается. А ще и хужее бывает, - смутился Василь. - Та лучше разом приихать, насовсем, чтобы не вертаться назад, себя не травить. - Он не замечал, что над ним подшучивают.

- К тому же вдруг еще и жениться захочешь, а? - В выпуклых глазах Адамовича загораются бесоватые смешинки. - Можешь ведь жениться, Василь?

- Та зачем? Ни.

- Дивчина же у тебя есть?

- Ну есть.

- Ждет, небось?

- Та, може, и жде.

- Вот и закатишь свадьбу на все село.

- Ни-и. Я ж, як вернусь, зараз на курсы комбайнеров поеду. Председатель, ще когда провожали меня в армию, обещал послать в первую очередь. С МТС вже договорился. Сказал: «Отслужишь, как положено, так сразу и поедешь».

- А что значит: «как положено»?

- Щоб все в порядке, без взысканий.

- А у тебя разве их нет? - Адамович сделал удивленное лицо.

- Та не, пока нема.

- Погоди. А за то, что на дневальстве майора за лейтенанта принял, наряд не дали?

- То ж не я, Ташаубаев тогда дневалил.

- Повезло тебе, брат. Старшина за такое наряд влепит как миленькому. Пол в казарме драить. Так что на будущее имей в виду, звания подзубри. Иначе вся твоя положительная аттестация насмарку.

- Нет, а все-таки, что это там? - не успокаивался Ольховский. - Старина, как по-твоему?

Пряхин, успевший свернуть цигарку, из-под лохматых бровей окинул взглядом горизонт.

- Стрельба, однако. Похоже, из орудий бьют.

- Может, маневры? Конечно, маневры! - с уверенностью повторил Ольховский, обрадованный своей догадкой. - Лейтенант же говорил, что будут маневры. А мы головы ломаем.

О маневрах разговоры действительно шли. В караульном взводе от приезжавших из лагерей на склад за боеприпасами было известно, что готовятся большие учения, поэтому предположение Ольховского не встретило возражений. Закурили из кисета Пряхина, и разговор кончился, тем более что дале-

кий гул будто уплыл в сторону. Караульные отправились ставить оружие.

Трубин снял с себя противогаз, расстегнул воротник гимнастерки, ослабил ремень и лег на топчан. Но уснуть не мог. Все что-то мешало: давила кобура с пистолетом, было душно. Наконец он уснул.

Разбудил его шум голосов. Сквозь прикрытую ставню щедро бил дневной свет, пахло поджаренным луком. Андрей вскинул к глазам часы, рывком поднялся, быстро привел себя в порядок. В теле еще держалась истома, но сон прошел, и голова была свежей, теперь можно день провести на ногах, последний день в карауле.

Андрей поправил пилотку, вышел из своей комнатки. Разводящий Кучкильдин, словно ожидавший его появления, доложил:

- Товарищ старший сержант, происшествий нет! Состав караула готовится к завтраку!

Его ждали. На кухне, жаркой от топившейся плиты, на столе были расставлены миски, грудой лежал посредине хлеб, нарезанный крупными косыми ломтями, как на покосе. Уляшев, исполнявший обязанности кашевара, повязанный куцым вафельным полотенцем вместо фартука, передвигал горячие кастрюли. На плите булькал вскипевший полуведерный эмалированный чайник.

К завтраку приглашать не пришлось никого. Все дружно уселись за стол, едва появился начальник караула. Адамович, вооружившись ложкой, с аппетитом втянул в себя крючковатым носом воздух.

- Вроде мясцом отдает. Я не ошибся, ваше степенство?

- Скоромное, скоромное. Успокойся, - упирая на «о», отозвался Уляшев, откидывая крышку кастрюли.

- Эх, люблю службу, когда к столу зовут да отбой командуют. Перед отбоем хочется рапорт подать на сверхсрочную, а когда подъем - сразу бы домой уехал, - мечтательно вздохнул Адамович, прицеливаясь к румяной, чуть-чуть подожженной хлебной горбушке. Отломил от булки кусок, сунул в рот. Он с таким удовольствием похрустывал подгорелой коркой, что, глядя на него, не дождавшись горячего, потянулись к хлебу и остальные.

- Раздавай, - кивнул Уляшеву Андрей.

Вооруженный половником, кашевар по субординации подхватил его миску первой и сыпнул в нее картофельного пюре, густо перемешанного с кусками мяса.

Вошел задержавшийся в пожарке младший сержант Клевакин. Видя, что все уже принялись за завтрак, насупился, недовольно загремел умывальником.

- Где мыло? Кто взял? Что за порядок прятать вещи, которыми всем пользоваться положено.

- Там мыло. Смотри хорошо. На полке, - сказал Ташаубаев.

Адамович придвинул Ташаубаеву миску.

- Как недавнему отпускнику, усиленная порция для восстановления сил.

За столом воцарилась тишина, нарушаемая лишь дружной работой челюстей. Но не таков был Адамович, чтобы удержаться и не нарушить молчание. Поглядывая на Уляшева, он выждал, пока тот взялся за ложку, и произнес изумленно, почти с испугом:

- А молитву, Кузьма? Смотри, вернешься домой - жена и не узнает. Между прочим, как она у тебя с идейной стороны: тоже верующая?

- Каждый выбирает себе человека по душе, - взяв из общей груды ломоть хлеба, спокойно сказал собаковод.

- Не любишь ты свою жену, Кузьма, - покачал головой Адамович и отправил в рот полную ложку горячего картофеля.

- Это отчего же?

- Вон Феоктистов чуть не каждый день письма строчит супруге, или Касым - даже во сне свою Шолпан вспоминает, слова всякие нежные бормочет, хотя недавно и побывал дома. Гордится, что стахановка, премию от колхоза получила за телят.

- И моя робит, однако, на пасеке.

- А почему не расскажешь о ней? Какая она из себя? Как звать?

- Зовут Пелагеей, Полей, стало быть. А более чего говорить?

- Это эгоизм. Семейный человек, и об этом с товарищами ни слова. А может, вашими кержацкими законами запрещено рассказывать? Вашими попами?

- Попов, однако, нет у нас. Это у церковных - поп.

- А кто же у вас?

- Свой у нас человек, из нашей же деревни. Начетчиком называется. Он службу ведет.

Адамович уже не впервой заводил с Уляшевым разговор на эту тему. И тот не уклонялся. Отвечал обстоятельно, степенно.

Собственно, так степенно и обстоятельно он делает все, за что ни берется. Он и ест так же. Неторопливо несет ко рту полную ложку. Крошки со стола бережно, по-крестьянски, сметает в ладонь и отправляет в рот.

- А как он, начетчик-то, из себя старый? - продолжал допытываться Адамович.

- В годах, однако.

- Ну, а все-таки, лет полсотни или больше?

- Поменее, пожалуй, пятидесяти, - подумав, говорит Уляшев, не замечая, куда тот клонит.

- А на моления эти самые у вас ходят и мужики и бабы, все вместе?

- Разделения нет.

- И Пелагея твоя ходит?

- Посещает в праздники, однако. В такие-то дни редко удастся: пасека в осьми верстах.

- А не подкатится начетчик к молодухе? Не боишься?

- А вы, красноармеец Адамович, думайте о чем говорите, - вмешался в разговор Клевании, - человек в Красной Армии находится, долг свой перед родиной выполняет согласно присяге, а всякие там необоснованные напоминания о непорядках дома, тем более в семейных отношения, отвлекают от службы. А за это не похвалят. Учтите...

Бывший танкист всем своим видом изобразил недоумение и даже жевать перестал.

- Так это же антирелигиозная пропаганда. Согласно конституции, каждый гражданин имеет право верить в бога и не верить, агитировать против веры. Уляшев - верующий, а я - нет. Между нами, естественно, спор. А в споре рождается истина. Не мои слова, между прочим.

- Истина. Слишком много разговариваешь. Нашел место. Так можно договориться. Знаешь?..

- Ладно, - согласился с серьезным видом Адамович. - Дискуссия по приказу Клевакина прекращается на неопределенный срок.

- У меня, между прочим, воинское звание есть, товарищ красноармеец Адамович.

- Извиняюсь, товарищ сержант Клевакин.

- Младший сержант.

- Действительно, младший, - в изумлении приподнял белесую бровь Адамович. - А мне почему-то всегда казалось - сержант.

Все улыбнулись. Склонились над мисками.

Завтрак окончили, Кучкильдин скомандовал:

- Смена, строиться!

- Вот видишь, - пожаловался огорченно Адамович, вставая из-за стола. - Не даст пище утрамбоваться. А если на посту с желудком что случится? Самому же придется вести подмену.

Взяв оружие и противогазы, наряд вышел. Но Кучкильдин, выходивший последним, тут же вернулся с необъяснимой для него поспешностью и взволнованно, что тоже с ним бывало редко, произнес одно слово:

- Слышите?

В распахнутую дверь, откуда-то вместе с теплым утренним воздухом вползал басовитый тягучий звук, который уже возник давно, но в караульном помещении за разговорами никто его не слышал, и только теперь обратили внимание.

Как по команде, все вскочили из-за стола, бросились к выходу. Над лесом, в чистом, белесоватом утреннем небе, сверкая на солнце фюзеляжами, медленно, с запада на восток, зловещей стаей плыли самолеты. Да, именно плыли в четком строю, треугольником, в несколько рядов, неторопливо и упорно, словно преодолевая встречный ветер. Как птицы. Железные птицы.

Хотя самолеты шли на довольно большой высоте и, при всем желании, невозможно было с земли различить опознавательных знаков, Андрей, да и не один он, сразу понял - это чужие, не наши самолеты и появились они в нашем небе неспроста. Беспокойство, родившееся у него в глубине души еще на рассвете, гадая, когда они прислушивались к глухим раскатам на западе, гроза это или не гроза, как-то сразу переросло в тревогу, защемившую сердце. Трубин вдруг почувствовал, что произошло что-то чрезвычайно серьезное.

Самолеты шли с интервалом, двумя большими группами. Первая была почти над головой. А вдали, из-за леса, всплывала новая армада, и воздух начинала сверлить та же басовая нота.

Караульные стояли возле крыльца, молча глядя вверх. Никто в первые минуты не проронил ни слова. И только когда самолеты чуть удалились, состояние общего оцепенения стало проходить. Ольховский первый отвел взгляд, подавленно вздохнул:

- Вот тебе и маневры.

- А може, це наши. Задание какое? - с надеждой произнес Тимошенко, по-ребячьи моргая белесыми ресницами.

- Угадал, «наши», - с непривычной угрюмостью хмыкнул Адамович. - Вглядись, друже, хорошенько, может, рукой тебе по-приятельски кто-нибудь оттуда помашет.

- Куда ж их столько? - Уляшев, не скрывая испуга, перекрестился. - Неужто плохое что затеяно? Не приведи господь.

Вторая волна самолетов не успела схлынуть, когда издалека, с той стороны, куда они плыли, донеслись глухие удары. Будто кто-то чудовищным молотом, раз за разом, тяжко ухнул по земле.

- Что это? - вырвалось невольно у Андрея.

- Бомбежка, - сказал тихо хрипловатым, точно простудой перехваченным голосом, Пряхин. - Похоже, железную дорогу бомбят. В той стороне...

Все повернулись к Пряхину, глядя уже не на самолеты, а на него: настолько ошеломляющим и невероятным был смысл его слов.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Старшина Барабанов сам отвез Дашу Култасву к поезду, усадил в вагон, договорившись с проводником, чтобы тот за ней присматривал, и теперь возвращался со станции с сознанием выполненного долга.

Не заезжая в военный городок, он отправился прямо в авиационную часть, где должны были состояться волейбольные соревнования.

Свой взвод он опередил ненамного.

Пока устроил лошадь за оградой монастыря, где раз размещался городок летчиков, и отыскал спортплощадку с натянутой на столбах волейбольной сеткой, подоспели бойцы. Строй вел сержант Коржов. В стороне шел старший сержант Якутов. Бойцы, притомившиеся за дорогу, при входе на территорию городка заметно подтянулись, а увидев старшину, дали шаг. Коржов остановил строй на краю площадки, доложил, вскинув большую ладонь к пилотке, потемневшей по кромке от пота:

- Прибыли, товарищ старшина. Команда и болельщики!

Барабанов придирчиво оглядел строй, остался доволен. Выправка, как надо. Даже повар Пилипенко, нестроевик, излишне грузноватый, держался бодро, хотя и весь взмок.

- Вольно! Привести себя в порядок. Разойдись! - разрешил старшина.

- Разойдись! - повторил команду Коржов. Строй рассыпался. Бойцы, заметив поблизости колодец, устремились туда.

К Барабанову подошел старший сержант Якутов.

- Втянул ты меня в историю. После такой прогулки очухиваться придется два дня, - пожаловался кладовщик, снимая фуражку и вытирая смуглый лоб явно не военторговским носовым платком.

- Тренировочка. Не выспался, небось, с субботы? - посочувствовал старшина, глядя на скуластое, помятое, хотя и свежевыбритое лицо приятеля. От кладовщика несло на метр одеколоном. Целлулоидный белый подворотничок, петлицы, малиновые зубчики сержантских знаков различия - все сияло новизной. Да и сама зеленая комсоставская гимнастерка была новенькой, видно, взята прямо со склада.

- Есть и это, - согласился Якутов, многозначительно в усмешке щуря глаза, - провел вечерок у одной знакомой. Спать пришлось маловато. Что мы, слушай, жаримся, давай-ка куда-нибудь в тень.

Они отошли под защиту развесистого монастырского дубка, присели на поставленную в холодке садовую скамейку. Якутов достал из кармана бархотку, смахнул пыль с хромовых, в гармошку сапог.

- А тут, я смотрю, не очень нас ждут: ни речей приветственных, ни оркестров.

Барабанов и сам только успел подумать: что бы это означало, что их никто не встретил? Вроде бы и не слишком рано они пришли, почти точно к назначенному времени.

Из-под козырька фуражки, прищурясь, старшина оглядел залитый солнцем монастырский двор. Двери собора - теперь гарнизонного клуба - закрыты. Поодаль, возле двухэтажного, затененного деревьями дома комсостава толпились женщины. Странно!

От колодца, где какая-то дивчина с косами поила из ведра бойцов, торопливо подошел командир отделения младший сержант Аветисян. Большие, навыкат глаза его тревожно блестели.

- Товарищ старшина, известия чрезвычайной важности, - с ходу заговорил он, волнуясь. - Война! Понимаете? Оказывается, мы ничего не знаем!

- Как, война? - не понял Барабанов. - Кто сказал?

- Вон, девушка говорит. Летчикам позвонили, что фашисты напали.

Подошли остальные бойцы, и с ними девушка с ведром, дочь одного из командиров, подтвердившая, что началась война и что она об этом слышала от отца. В это время во двор стремительно вкатил «пикап». Шофер затормозил возле спортплощадки. Из кабины выскочил младший политрук, заведующий клубом, хмурый, озабоченный. Поздоровался, извинился за опоздание.

- Боюсь, что соревнование наше не состоится. По крайней мере, сегодня, - сказал он. - Летный состав вызван на аэродром. Боевая тревога. А вы устали? Вас хоть угостили водичкой? Вода у нас отменная. Ах, Оксана догадалась, - кивнул он, заметив девушку. - Пойдемте в клуб, там холодок. Отдохнете.

Младшего политрука забросали вопросами: какое было сообщение, не провокация ли это, где бои? Тот и сам знал немного, сказал, что позвонили из округа о нападении фашистской Германии и, достав пачку папирос «Казбек», предложил всем желающим.

- Вы очень-то не беспокойтесь. Думаю, инцидент будет исчерпан быстро, - махнул он рукой.

Увидев знакомый «пикап», подошли женщины, жены летчиков, и тоже стали расспрашивать младшего политрука, что там на аэродроме. За этим общим тревожным разговором и курением как-то никто сразу не обратил внимания на возникший в небе глухой, отдаленный гул. Люди тут были привычны к шуму над головой. И только когда гул стал совсем отчетливым и от него задребезжало опущенное до половины, неплотно державшееся стекло в дверцах «пикапа», - все умолкли, стали смотреть вверх, загораживаясь ладонями от солнца, успевшего подняться вровень с макушками деревьев.

- Самолеты! - сказал младший политрук, первый поняв, в чем дело.

Теперь разглядел их и Барабанов, отойдя подальше от дерева, чтобы иметь больший обзор.

Самолетов было много. Они выплывали и выплывали из-за устремленных в небо соборных крестов, сами похожие на черные, увеличивающиеся в размерах крестики. Оксана для чего-то принялась было их считать, подняв вверх загорелую руку в широком рукаве вышитой украинкой сорочки, но сбилась со счета. Самолеты шли высоко. Вот они, будто ветром подхва-

ченные, стали как-то странно заваливаться набок, заскользили в сторону и скрылись за церковью. А через минуту из-за леса донеслись частые-частые хлопки, потом удары.

Барабанов почувствовал: дорожка под ногами у него задрожала.

- Это на аэродроме, - сказал побледневший младший политрук. - Налет! Фашистские самолеты!

На его слова никто не успел отозваться. С неба вдруг накатился грохот и следом, прямо из-за белой церковной колокольни, вынырнул самолет. На миг его распластанная тень заслонила солнце, и стал виден грузный вытянутый корпус самолета. На нем, так же как и на крыльях, белым по черному - кресты.

- Ой, санитарный! - изумленно ахнула девушка, и слова ее тут же потонули в ударившем по ушам грохоте.

На земле, наискось через окантованную известковым раствором, посыпанную желтым песком волейбольную площадку и дальше по двору, взметнулись фонтанчики пыли. Грохнуло железо, зазвенели разбитые стекла, и раздался женский, полный ужаса крик. «Обстрел из крупнокалиберного пулемета», - пронзила старшину догадка.

- Ложись! - скомандовал Барабанов, стараясь перекричать грохот.

- В укрытие, всем в укрытие! - кричал младший политрук. Женщины кинулись к собору. Шофер «пикапа», держа дверцу кабины открытой, отчаянно накручивал руль, торопясь отогнать машину с открытого места. А фашистский летчик, описав полукруг, делал над городком новый заход. Зловещая тень пикировщика снова запрыгала по земле, стремительно приближаясь. Пронзительный свист падающей бомбы словно пригвоздил старшину к земле. Земля колыхнулась, ушла в сторону. Барабанова приподняло, швырнуло. На какое-то время он будто провалился в темноту, но тут же пришел в себя, чувствуя на губах тошнотворный привкус гари. Что-то мешало перевести дыхание, давило в грудь. Тела своего он не чувствовал, зато голова казалась непомерно тяжелой, налитой болью, распухшей. Затылок точно прикипел к земле, на зубах хрустел песок.

Барабанов с усилием открыл глаза и попытался встать, преодолевая ломоту и слабость в ногах. С трудом поднялся, пошатываясь, как пьяный, в тревоге за своих бойцов огляделся вокруг. Дубок, под которым они несколько минут назад ук-

рывались с Якутовым от зноя, лежал, переломанный пополам, закрыв опаленными, искромсанными ветками волейбольную площадку. Воронка от бомбы дымилась, кругом валялись красные, вывернутые из земли кирпичные обломки, которыми когда-то монахи мостили двор. Паперть собора сверкала битым стеклом.

Дым черными клубами подымался совсем рядом. Горел дом комсостава.

Бойцы не пострадали, торопливо вскакивали. К Барабанову подбежал младший политрук, обсыпанный штукатуркой.

- Не ранен, старшина?

- Нет, - Барабанов мотнул головой, прогоняя звон.

- Ой, что он натворил! - воскликнул младший политрук, - он же общежитие разбил, столовую! Скорей, старшина, пожар тушить. Тут у нас сейчас одни женщины, дети.

Они разделились: часть бойцов побежала тушить столовую, с остальными Барабанов бросился к горевшему дому. Огонь там бушевал вовсю. Жаром дышало от объятого огнем дома. Дым валил в окна, перевитый языками пламени, змеился по крашеным карнизам. Женщины пытались хоть что-то спасти из своего имущества. В скверике возле дома, на скамейках, а то и просто на земле стояли чемоданы, валялись наспех схваченные в квартирах домашние вещи, одежда. Тут же были и ребятишки. Какой-то парень в голубой футболке вытаскивал из подъезда детскую плетеную коляску.

Бойцы стали помогать женщинам. К Барабанову подбежала Оксана: сорочка на ней была выпачкана сажей, косы растрепались.

- Товарищ старшина! На первом этаже женщина с ребенком. Она после операции. Надо спасать ее, товарищ старшина. Через окно надо. Вон то, угловое.

Еще не оправившись от контузии, со звоном в голове, Барабанов взглядом отыскал окно, на которое показывала девушка.

- Вода есть?

Оксана перехватила у кого-то из рук ведро с водой.

- Лей, - приказал Барабанов. - На голову лей! Все! От холодной колодезной воды, хлынувшей за шиворот, ему сразу стало легче, исчезла отвратительная слабость.

- Коржов, помоги-ка. - Он шагнул к окну, мирно белевшему коротенькой шторкой-задергашкой.

Дубовую, на совесть связанную раму с трудом выломали вдвоем. Из комнаты, подхваченный сквознячком, повалил дым. Оксана торопила:

- Скорее, товарищи. Там ребенок, женщина. Барабанов взобрался на подоконник. Сержанту коротко кинул:

- Стой здесь! Я один. Будешь принимать.

Он сам, несмотря на свой небольшой рост и сухощавую фигуру, едва втиснулся в пролом: острый обломок рамы уперся в плечо, старшина рванулся, оставив клочок гимнастерки, спрыгнул в дым. Его опалило жаром. Барабанов прижал к лицу мокрый рукав. Как из другого мира донесся до него голос девушки, кричавшей в окно:

- Дальше, дальше смотрите! В другой комнате.

Женщина была в этой следующей комнате, по-видимому, спальне, и Барабанов, двигаясь на ощупь в сплошном дыму, нашел ее сразу, вернее, наткнулся на нее. В беспамятстве она лежала на полу, свалившись с кровати. Напрягая силы, поднял отяжелевшее, безвольное тело, как во сне, задыхаясь, дотащил к окну, передал бойцам. Оставался ребенок.

Барабанов вернулся в спальню, успевшую заняться огнем. Рядом что-то горело, трещало, падало, огонь плясал под ногами, слизывая краску с пола. Но вот и кроватка, ребенок в одеяльце. Сейчас он его возьмет, одно последнее усилие. Главное, рассчитать силы, не упасть, не потерять сознание.

Вот уже порог, вот впереди пятном окно, где его ждут. Вот уже тянутся к нему руки Васи Коржова. Все. Ребенок подан. Остается самому подняться. Ногу на батарею отопления, грудью на подоконник.

Сбоку неожиданно метнулось пламя, лизнуло лицо. Барабанов отпрянул, и в тот же момент оторвавшийся от прогорелого потолка брус рухнул, осыпая его искрами.

Женщину с ребенком и обожженного неподвижного старшину уложили в двуколку. С ними села Оксана. Повар Пилипенко взялся за вожжи, и они поехали в больницу. А с аэродрома пришел грузовик с приказом командира полка: женщин и детей эвакуировать.

Пожар в городке затухал. Деревья вокруг, такие недавно зеленые, развесистые, стояли черные от дыма, с опаленной свернувшейся листвой. Бойцы караульного взвода, хмурые, удрученные ранением старшины, собрались у колодца, пили прямо из бадьи, смывали с себя грязь и копоть. Внешне они мало походили сейчас на тех щегольски приодетых красно-

армейцев, какими были несколько часов назад. Обмундирование, с таким старанием отутюженное утром, выпачкано и прожжено, надраенные до сияния сапоги - в золе и кирпичной пыли.

У всех остались отметины от борьбы с огнем: ссадины, ожоги, опаленные брови и волосы. На голове младшего сержанта Аветисяна белела повязка. Кто-то из женщин отдал ему платок, чтобы перевязать разбитый лоб.

Один старший сержант Якутов выглядел почти по-прежнему. Как уж ему удалось, но и гимнастерка, и брюки сохранили у него франтоватый вид.

Подошел младший политрук с перевязанной рукой, в порванной гимнастерке, спросил, не пострадал ли еще кто.

- Спасибо, товарищи. Вы просто молодцы. Будем ходатайствовать перед вашим командованием об объявлении вам благодарности. За старшину не горюйте. В больнице здесь замечательный врач, поставит на ноги в два счета. А вас мы подбросим в часть. Вернутся машины, и отвезем. Подождете?

- Нет, - ответил за всех Вася Коржов и поглядел на солнце, заметно перевалившее зенит. - Мы пойдем. Война. Нам в караул заступать.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Риту разбудил осторожный стук в дверь. После того как Даша уехала, она долго не могла заснуть. Только под утро усталость взяла свое, она заснула.

И вот уже день. Солнце успело подняться за крышу. Сквозь тюлевую занавеску глядело жаркое, высиненное небо. Размеренно чирикали воробьи.

Рита лежала, закинув руки за голову, и ожидала, не повторится ли потревоживший ее стук.

Стук не повторился. Наверное, почудилось. В доме тишина. Лейтенант Султаев не приходил. А может быть, и приходил, да она не слышала. Во всяком случае, надо что-то приготовить ему на завтрак или, вернее, на обед: она же теперь за хозяйку, по крайней мере, на сегодняшний день.

Поглядывая в приоткрытую дверь, Рита поднялась, накинула на себя халатик и, прибрав постель, пошлепала босыми ногами по прохладному навощенному полу. Судя по всему, лейтенанта дома еще не было. Вещи в комнате и на столе были

в таком порядке, как их оставила перед отъездом Даша. Спросить разве хозяйку?

Рита не особенно надеялась на то, что застанет сейчас ее дома. Пани Анна, проводившая дни на огороде, у цветочных клумб, по воскресеньям с утра отправлялась в костел и затем к знакомым. Но чувство одиночества гнало из комнаты, и Рита, наскоро умывшись, пошла во двор.

Солнце ослепило ее, заставило зажмуриться. Первое, что она увидела, отняв ладони от глаз, была хозяйка дома пани Анна и, что еще удивительнее, хозяин, пан Борух, не покидавший даже в праздничные дни своей крохотной сапожной мастерской на рынке. Хозяева стояли возле крылечка. Она - в тяжелом старомодном платье с накидкой, он - в черной выходной паре и в котелке, оба до крайности чем-то озабоченные. Рита поздоровалась:

- Здравствуйте, Анна Казимировна! Борух Осипович, доброе утро! Какой чудесный день!

- О да, да. Погода очень хорошая, - согласилась хозяйка, и оба - муж и жена - с готовностью закивали головами. - Я к вам стучала, пани доктор, и, наверное, помешала? Извините, пожалуйста.

- Приехал лейтенант?

- О нет! Пана лейтенанта не было. Причина совсем другая. Еще раз извиняемся, пани доктор.

- Просто Рита. Мы же договаривались, Анна Казимировна.

- О да, конечно. Я забываю. Рита. Прошу прощения. Мы не хотели вас беспокоить. Воскресенье. День отдыха. И кроме того проводы. У вас было достаточно хлопот ночью. Но мы подумали, что вам, быть может, куда-то нужно в такой час.

- Что-нибудь случилось? - перебила Рита.

- О да... Не знаешь даже, как и сказать, - хозяйка оглянулась на мужа, как бы в ожидании помощи.

- Извиняюсь, Рита. Это так страшно выговорить. Война!

- Война? - переспросила Рита, ощутив внезапный холодок на спине. - Не понимаю.

- Да, да. Трудно поверить, но все говорят: герман начал войну. Мы сами видели аэропланы. Герман летел. Много аэропланов. Мы совсем расстроились. Борух не пошел в мастерскую. От такого расстройства разве можно работать?

- Да, да, трудно работать, - закивал, подтверждая, хозяин.

«Самолеты... Война... Неужели?» - Ну, а кто все-таки сказал? Официально? Возможно, тут еще ошибка? - возразила Рита, стараясь придать своим словам уверенность.

Теперь старики заговорили уже наперебой.

- О, если бы ошибка, пани доктор. Мы сами не верили, а как пан Швыдко заглянул к нам - он торопился к себе на завод, - и подтвердил, то уж нельзя стало не верить. Он директор завода, разве напрасно скажет? Такие тяжелые вести. Матка боска, что-то будет? Вдруг герман придет. По городу слухи всякие. О, это будет плохо, вельми. Мы знаем, что такое война. Очень хорошо знаем. Много войн. Были австрийцы, Пилсудский, сичевики. Теперь немцы. И все стреляли, все обижали народ.

Рита слушала стариков, сама теперь потрясенная не меньше их. Слишком серьезным было то, что она услышала, чтобы сразу поверить и понять. Но потом она подумала, что должна быть сейчас как-то выше этих придавленных грозным известием пожилых людей. Поэтому постаралась, как могла, успокоить их, сказав, что все еще обязательно выяснится, и что если даже что-то и серьезное, то ненадолго, и что никаких разговоров о приходе сюда немцев быть не может - сама она и мысли не допускает об этом. Извинившись, она вернулась в комнату. Быстро надела свою форменную юбку, гимнастерку, пилотку и закрыла квартиру на ключ, оставив лейтенанту Султаеву записку о том, что она уехала.

Всю дорогу до военного городка ее не покидала мысль, как быстрее добраться в лагеря. В сумятице чувств и неопределенности ей было ясно одно: надо во что бы то ни стало попасть в часть, быть на своем месте. Рита была уверена, что война, а возможно и просто провокация, - ненадолго. И, может быть, их части даже и не придется отражать наглую вылазку врага. Война! Грозный смысл этого слова совершенно не вязался в представлении девушки с безмятежным солнечным полднем, с привычной тишиной городка. Все было как вчера, когда она спешила на квартиру, соскочив с попутной машины, и как неделю назад - улицы, дома, деревья, цветы в палисадниках. Несмотря на ощущение тревоги и безотчетное ожидание неизбежных перемен, Риту не покидала надежда на то, что вот-вот ей кто-то встретится и скажет такое, от чего все вернется на прежнее, привычное место и все эти неопределенные слухи о войне останутся просто слухами.

Но ей никто не попался навстречу, кроме нескольких прохожих, торопившихся по своим делам. А вид дневального в проходной военного городка, необыкновенно сосредоточенного и с винтовкой (обычно дневалили с одним штыком в ножнах), положил конец надеждам.

Дневальный узнал ее, приветствуя, принял положение «смирно».

- Товарищ военфельдшер, слышали: война! Фашисты напали. Вот и договор о дружбе. Морочили нам голову, а сами готовились, чтобы бомбы сбрасывать на мирное население. Я вот тут записал речь товарища Молотова по радио, правда, не всю, сколько успел. - Красноармеец протянул тетрадный листок, торопливо исписанный карандашом.

Рита повернулась к свету. Первые же слова ударили тревогой в сердце.

«Граждане и гражданки Советского Союза!.. Сегодня, в четыре часа утра... без объявления войны, германские войска напали на нашу страну...» Война! Сомнений не оставалось. Не просто провокация, а война.

Строчки бежали косо и на срезе листка обрывались.

- Торопился и сломал, а очинить нечем, - сказал дневальный, показывая изгрызенный карандаш. Он взволнованно пересказал выступление Молотова, сообщил, что в военном городке сейчас никого нет, кроме дневальных, и, посторонившись в узком проходе, пожаловался:

- Эх, досадно. Расколошматят фашистов, а мы тут так и проторчим. Как думаете, товарищ военфельдшер, если подать рапорт, могут как добровольца направить в действующую часть? У меня же причина есть уважительная: братишка там на пограничной заставе служит.

Рита выразила уверенность, что причина вполне уважительная, и прошла во двор. А здесь опять все было до невероятности спокойно: знакомый плац в пороше тополиного пуха, прохладная пустота столовой, казарма с поблекшим кумачовым лозунгом над входом, оставшимся от Первого мая: «Да здравствует праздник международной солидарности трудящихся...». Как будто ничего не случилось.

А вот и санчасть. Здесь особенно безмятежно. Березы, пестрая россыпь теней на земле, мягкая и упругая, как ворс ковра, травка у тропинки.

Рита открыла дверь. В лицо пахнуло лекарствами. Подождала, пока немного развеется застоялый воздух. Потом прошла через амбулаторию, где они с врачом вели прием, отодвинула марлевую занавеску на окне, толкнула створку. Подхватила сброшенные со стола сквозняком листки регистрации, успевшие выгореть на солнце, прижала их пресс-папье. Из графина выплеснула за окно застоявшуюся воду.

Рита с минуту машинально наводила порядок. Поставила на шкаф валявшийся на полу старый кипятильник для шприцев и так же машинально, по привычке, прошла через узкий коридорчик в изолятор, где царил настоящий хаос.

Рита остановилась в дверях. Ей было грустно, но отчего?

Конечно, не потому, что захламлен изолятор. Не во имя этого придумывает она причины, чтобы вырваться сюда на выходной день. Проводы подруги лишь причина.

Но пора ли сознаться в том, что приезжает сюда в надежде на встречу с Андреем. Сколько, оказывается, в жизни обстоятельств, которые сильнее твоей собственной воли и независимы от нее!

Вчера за столом в разговоре с лейтенантом Кулгаевым и Дашей она делала вид, что не понимает намеков.

Рита закрыла дверь изолятора и вернулась в амбулаторию. Отбирать медикаменты было уже некогда. Взяла пустую санитарную сумку, быстро уложила в нее бинты, вату, индивидуальные пакеты и, не задерживаясь, вышла из санчасти. Услышав звук автомобильного сигнала, заторопилась, почти побежала к проходной.

За воротами стояла облепленная засохшей грязью полуторка. Красноармеец-шофер, в выбившейся из-под ремня измятой гимнастерке, наливал из ведра воду в радиатор. Дневальный, стоя тут же, пальцем трогал свежий отщеп на кузове.

- Товарищ военфельдшер! Вот, побывал под обстрелом! Смотрите, отметины от фашистских пуль, - сказал дневальный, с нескрываемым уважением и завистью глядя на шофера.

Красноармеец выпрямился, поставил на подножку ведро, одернул гимнастерку. Обветренное, остроскулое лицо его, в разводах пота и дорожной пыли, было сурово-замкнутым.

- По дороге снизился, гад, и очередью. Младшего воентехника задело. Ну и сам не сдобровал, - злая усмешка тронула губы шофера, тоже обветренные и по-мальчишечьи припухшие, в трещинах. - Кинулся на вторую машину, а там стапкач счетверенный. Напоролся, аж щепа полетела.

Шофер, считая, что объяснил достаточно, сказал:

- Пакет надо сдать начальнику склада. Где только его искать?

Рита знала начальника склада, пожилого, очень вежливого военинженера. Квартиры их были по соседству.

- Едем, покажу, - сказала она.

Рита уже села в кабину, когда к ней обратился дневальный.

- Товарищ военфельдшер, извините. Я тут написал рапорт. Может, встретите лейтенанта, отдайте ему. Пусть в штабе замолвит слово, - дневальный смущенно протянул свернутый вчетверо листок.

- Я передам, - пообещала Рита, пряча рапорт в кармашек гимнастерки. Шофер нажал на стартер.

Начальника склада они не застали на квартире. Жена, встревоженная известиями о войне, сказала, что он еще накануне уехал в управление и до сих пор не вернулся. Возможно, добавила она, завернул сразу к себе на склад: с ним такое бывает.

- А мы съездим, - сказала Рита, чтобы успокоить расстроенного неудачей шофера. - Дорогу я знаю. Тут рядом.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

К полудню на тесовом карнизе, перед входом в караульное помещение, от жары янтарными каплями проступила смола.

Фашистские самолеты за это время дважды проплывали на восток, и снова, как и рано утром, из-за леса временами доходил чуть различимый гул, который теперь уже совсем легко было принять за далекие раскаты грозы, потому что ветер нагнал облаков, и они громоздились по всему горизонту серыми башнями.

В карауле после пережитой тревоги все вроде стало на свое место, шло по заведенному порядку. Разводящий Кучкильдин сменил посты. Уляшев, как всегда, возился с собаками. Отправился к себе в пожарку младший сержант Клевакин. Смена отдыхала. Но никто не спал. Было душно, зной сочился сквозь прикрытые ставни. Все уже понимали серьезность происходившего, но ничего определенного никто не знал, и эта неизвестность не давала покоя. Даже Феоктистов, способный, казалось, за книгой позабыть обо всем на свете, в этот раз не мог читать.

Андрей Трубин, разморенный духотой, сидел над своей записной книжкой, тщетно пытаясь сосредоточиться. Неведение выводило его из себя. Смена караула только вечером, значит, до вечера ждать. В другое время в выходной день работники склада наведываются, а тут - никого. Правда, в городок пошел Экштейн. Андрей послал его за солью (выдавая на воскресенье караулу сухой паек, повар забыл положить ее), но со своей

нерасторопностью Христофор мог как раз и явиться к смене караула, не раньше.

А в соседней комнате вполголоса переговаривались караульные.

- Погоди, Адамович, зачем спешишь, слова зря бросаешь? - горячился Ташаубаев. - Ждать надо, все узнаем. Зачем торопиться, как на байга? Свое дело делай и жди.

- Да ясно же все. Видел, как они нахально разгуливают над головой? И ты, друг, не спорь.

- Чего спорить? Никто не спорит. А ты кто такой? Командир дивизии или нарком обороны? Откуда знаешь? Газеты читал? Там как говорится? Договор с Германией. Имеем договор, правда?

- Имеем. А ты знаешь, кто такие фашисты? Знаешь?

- Чего не знать? Все знают.

- То-то и оно. Смахнуть их с нашего неба, как мусор метелкой.

- Приказ будет - всех прогонят.

- Приказ. Тут и без приказа понятно, прешься в чужой дом без спроса - получай в рыло. Полк истребителей в воздух - и порядок! А против тех, кто на земле, - парочку танковых бригад! И мозги будут прочищены под первый номер. Это как пить дать! - заверил Адамович и с сожалением вздохнул: - Да-а, братцы, кто-то повоюет. Эх, сейчас бы хоть глянуть на танковую атаку. Это же лавина! Сметает все на пути! Есть же счастливые люди! А тут - лежишь, набиваешь на боках мозоли.

Слова Адамовича нашли отзвук в душе Андрея. Он ведь думал то же самое. Что если в самом деле другие воюют, дают отпор врагу, а они здесь лежат, и без них все кончится: без Адамовича, без Ташаубаева, без него, Трубина? Так и проторчат они тут, в наряде, в стороне от всех событий - и чего уж там! - от подвигов. Ну разве не досадно?

Как большинство его сверстников, Андрей Трубин искренне жалел, что появился на свет слишком поздно и по этой причине не застал ни революции, ни гражданской войны и что бурные, полные романтики времена Чапаева и Николая Островского никогда уже не повторятся.

Он завидовал отцу, побывавшему в сражении под Мукденом и в Восточной Пруссии, его георгиевским крестам, оставшимся только на старых карточках, и даже его ранениям: мелкие осколки немецкого снаряда татуировкой голубели у отца

на спине. И не мог понять, почему отец, человек в общем-то словоохотливый, словно замыкался сразу, едва речь заходила о войне, и коротко, неохотно отвечал на его вопросы. Уж он-то, Андрей, на месте отца не отмалчивался бы.

Что и говорить, скучный на его долю выпал век. Коллективизация и та прошла, когда он был совсем мальчишкой. К тому же у них в селе еще и досадно гладко, без кулацких выстрелов из-за угла из обрезов и без поджогов. Ему казалось, что обыденная мирная жизнь установилась раз и навсегда, что уже не будет никаких встрясок, тем более войн, как раньше.

А между тем война разгоралась подобно тому, как разгорается от брошенной спички пожар в лесу, подспудно, незаметно, где-то внизу, возле самой земли под толстым слоем опавшей хвои и листьев, до поры до времени не привлекая к себе внимания и никого особенно не тревожа. Война в Абиссинии. Андрею она запомнилась по газетной фотографии - Суэцкий канал в пустыне и огромный трехтрубный пароход, полный итальянских солдат в тропических шлемах. Испания. Всю зиму они - четверо приятелей - готовились к побегу туда, на помощь республиканцам. Копили деньги, патроны к малокалиберной винтовке, составляли маршруты пути. И убежали, правда, не очень далеко, до соседней станции. В поезде их случайно встретил приятель отца - фельдшер, и мечта об Испании рухнула.

Эта отделенная морями и тысячекилометровым расстоянием война затем стала подбираться ближе к границам и уже ощутимо давала о себе знать. Бои на сопках Заозерной и Безымянной, бои в степях Монголии. Андрей готовился к экзаменам за первый курс, когда в городе открылся госпиталь. Потеснили и институт: в одном из учебных корпусов оборудовали столовую для раненых. Тут уж война дохнула в лицо.

В «институтском» госпитале - так его звали в городе - были, в основном, легкораненые. Они расхаживали по территории института и в скверике с руками на перевязи, с забинтованными головами, некоторые на костылях. К ним приезжали родственники и знакомые, приносили передачи. Приходили шефы с подарками. Ходил и Андрей, один и с приятелями. Раненые - молодые ребята - угощали папиросами, рассказывали о монгольских степях, где воду для танковых моторов приходилось доставлять в бурдюках, о ловких монгольских кавалеристах-цириках. И Андрей завидовал ребятам. Будь он на пару лет

старше, тоже бы служил в армии и, быть может, попал бы на Халхин-Гол.

Затем грянула финская война. В разгар ее, в начале сорокового года, Андрея наконец тоже призвали в армию. Взяли почти всех ребят с их курса, всех, кто призывался, в лыжный батальон особого назначения. В военкомате экипировали их полностью, по-фронтовому: выдали автоматы ППД и каски с подшлемниками, на случай морозов. По где-то уже под Вологдой эшелон вдруг повернули на запад. А вскоре, к общему разочарованию всего батальона, война кончилась.

Многие односельчане, друзья Андрея, успели побывать в боях, некоторые погибли. Один даже получил орден за участие в штурме «линии Маннергейма», а он так и не добрался до фронта. Тогда Андрей написал стихотворение о погибших товарищах, поклялся в нем отомстить врагу в грядущих битвах и согласился пойти в полковую школу, хотя знал, что это будет означать лишний год службы.

Со смутным беспокойством следил он за тем, как Германия и Италия одну за другой захватывали соседние страны. Подобно чернильному пятну на белой скатерти, растекались фашистские войска по Европе: Греция, Югославия, остров Крит. Андрей был уверен, что так просто все не кончится, что ждать надо чего-то еще большего, страшного. Но... Только не скоро, в отдаленном будущем.

Даже сейчас, перед лицом тревожных, хотя и не совсем еще понятных событий, был убежден, что все это: и немецкие самолеты, и гул взрывов, как говорит Пряхин, - не более чем провокация. И, конечно же, кроме их караульного взвода, найдется кому дать отпор провокаторам, отбросить их за рубеж. Может быть, это уже и сделано. Правда, непонятно, почему фашистские самолеты летают беспрепятственно над нашей территорией? Но наверняка есть и этому объяснение. А если все-таки война ..

Нет, ему положительно не везет. Сегодня он проторчит в карауле, а завтра уедет. Значит, и теперь, когда могут начаться бои, настоящие бои, совсем рядом, он снова останется в стороне. Да что там, уже остался. А как бы ему хотелось, чтобы все было наоборот - ходить в атаку, стрелять, быть раненым.

Мысли Андрея прервал Ташаубаев, взволнованно объявивший:

- Опять летит! Фашист летит!

Андрей сорвался с топчана, вместе со всеми выбежал из караульного помещения. С запада наплывал уже знакомый ноющий гул. Самолеты медленно приближались, вытянувшись косым клином.

Теперь никто при виде самолетов не обменивался замечаниями и не строил предположений. Знали твердо: это враг. Стояли молча и смотрели в небо, полнившееся тяжелым гулом.

- Шайтан! Собака! - не выдержал Ташаубаев. - Товарищ старший сержант, разреши стрелять из «Дегтярева», очередь одну давать. Как терпеть, а? - он сузил глаза в щелки, прикидывая расстояние, пожалел в неподдельной досаде: - Нет, нельзя пулемет. Далеко. Зря патроны тратить. Самолет надо наш, дорогу загораживать.

- Есть! Наш есть! - обрадованно сообщил Ольховский, оказавшийся зорче всех. - Смотрите, наш! Вот он!

Ольховский, широко расставив короткие, крепкие, как столбики, ноги, показывал рукой вверх, в нетерпении переспрашивал каждого:

- Видишь? Не туда, правее гляди.

А там, в поднебесье, что-то произошло. Ровный строй бомбардировщиков вдруг качнулся, стал разваливаться.

- Наш «ишачок», - подтвердил авторитетно Адамович. - Как лиса в курятнике. Сейчас полетят от фашистов перышки!

И, как бы в подтверждение, оттуда, с высоты, донесся приглушенный расстоянием перестук. Так ребятишки на бегу стучат палкой по штакетной оградке - часто-часто, почти сливая удары в один звук.

- Пулемет крупнокалиберный, - определил Адамович. - Такие же стоят на танках. Если уж врежет, пиши отходную, сразу на тот свет.

Теперь Андрей и сам разглядел истребитель, вывернувшийся из-за облака. Это был знакомый маленький, тупоносый, похожий на шмеля «И-16», ласково прозванный «ишачком». Стремительно, юрко, в самом деле, как шмель, носился он среди тяжелых, распластавших черные крылья фашистских машин и словно разматывал за собой трескучую ленту.

«Бьет очередями», - догадался Андрей, торжествуя. Наконец-то наш! А он сомневался. Не показывались - значит так и надо было. Сейчас и другие появятся. Налетят! Он сам видел, сколько их там, на травянистом поле аэродрома, этих маленьких, головастых «ишачков».

Рядом ликовал Феоктистов с книгой под мышкой, придерживая пенсне, грозившее свалиться с носа.

- А ведь это здорово, честное слово! Какая смелость! И какой класс высшего пилотажа!

А в полуденном небе, среди облаков, продолжался воздушный поединок. К четкой пулеметной дроби, что выводил истребитель, примешивались более редкие басовитые звуки, будто по дну порожней бочки колотили.

- Немцы - из пушек, - почти с болью сказал Адамович. - В себя приходят, гады!

- Да, в одиночку ему туговато, - пожалел Ольховский, хмуря соломенного цвета брови.

В этот момент истребитель, словно подброшенный, метнулся вверх, перевернулся через крыло, стал падать, потом снова круто взмыл, как бы набравшись сил, и пулеметная строчка легла особенно отчетливо.

- Фу ты, - облегченно вздохнул Ольховский и, сняв пилотку, вытер подкладкой вспотевший лоб. - А я-то испугался, думал, каюк. Ловкий парень, знает свое дело.

Адамович, поворачивая уставшей шеей, в запальчивости строил планы:

- Сейчас бы зенитку! Или счетверенный станкач. Снизу подсыпать бы огонька. Гляньте, братцы!

С одним из бомбардировщиков явно что-то случилось. Он вдруг клюнул щучьим носом, метнулся вбок и, заваливаясь неуклюже на одно крыло, заскользил вниз. Об него будто спичкой чиркнули, закурился дымок, сначала жидкий, белесый, а потом густой и черный. Через долю минуты самолет скрылся за лесом, упал.

Караульных охватил восторг.

- Вот это дает! По-танкистски дерется! - выразил похвалу в адрес летчика Адамович, подхватывая свалившуюся с головы пилотку с маленькой звездочкой.

- Фашистам давал хорошо! Настоящий джигит! - хвалил безвестного истребителя Ташаубаев.

Радовались все, словно были свидетелями простого спортивного состязания, а не смертельного воздушного боя. Молчаливый Кучкильдин и тот не смог не обронить несколько скупых взволнованных слов.

А истребитель, оставаясь в единственном числе, продолжал отчаянную неравную схватку: то свечой взмывал вверх,

то так же стремительно падал с высоты, заставляя тяжелые бомбовозы шарахаться от него, ломая строй.

Андрей с замиранием сердца следил за истребителем. Почему же нет подмоги? И кто там за штурвалом «ишачка» делает эти головокружительные виражи, жмет на гашетку пулемета. Если бы можно было сейчас чем-то помочь ему. Но чем?..

А истребитель, после одного из виражей, уже не взмыл круто вверх, а лишь чуть приподнялся, будто вдруг отяжелев, и тут же скользнул, как с обрыва, и понесся к земле, оставляя за собой узенький дымный шлейф.

С минуту все стояли оцепенело, не в силах оторвать взгляда от этой изогнутой, зловещей стрелы, вонзившейся острием в землю в том месте, где за лесистой чертой горизонта упал самолет.

- Все... - выдохнул Ольховский, опуская глаза и неловко поправляя съехавшую на затылок пилотку. - Не увернулся...

- Как увернешься? Он один, фашистов много. Двадцать волков нападут на отару, что один человек сделает? Так и здесь, - сердито, стараясь скрыть откровенную горечь, ответил Ташаубаев.

Феоктистов растерянно моргал близорукими глазами.

- Возможно, еще и не все так трагично. Летчик мог воспользоваться парашютом. Упасть не значит непременно погибнуть. Я почти убежден...

- А все-таки горяченького он им подложил. Один за двоих - недурно, - со злым торжеством произнес Адамович, продолжая напряженно вглядываться в небо.

Видно, напоследок летчик успел-таки вывести своим пулеметом еще одну удачную строчку. Второй вражеский бомбовоз падал, отделившись от изломанной и распуганной стаи. Этот не дымил. Снизу, с земли, казалось, что с ним ничего не случилось. И все же он падал. Вот уже яростный рев его мотора выделился из общего шума. Стали видны выдвинутые вперед, как два хищных клюва, моторы, какие-то прерывистые белые полосы вдоль фюзеляжа, застекленная выпуклая кабина.

Пугающая мысль прожгла Андрея: а что если самолет не поврежден вовсе, а летит на их склад специально. Свернул и сейчас сбросит бомбы прямо сюда, где они стоят? Андрей даже зажмурился, весь сжался в леденящем ожидании взрыва. Вот сейчас, через один миг это произойдет...

Грохот ударил в уши, оглушил. Распластанная сумеречная тень упала на землю, скакнула через караульное помещение

и понеслась прочь. Грохот покатился дальше. Самолет, непомерно громадный вблизи, пересек наискось территорию склада, едва не зацепив за столбы с электрическими лампами по краям ограды, и стал удаляться. Можно было подумать, что немецкий летчик решил посадить машину - так она низко летела над поляной. Перед самой опушкой леса самолет, словно преодолевая барьер, подпрыгнул вверх, скользнул над вершинами сосен и исчез.

Гулкий толчок качнул землю. Над лесом взметнулось черное облако, перевитое языками огня, столбом уперлось в небо.

- Спекся, - сказал Адамович, странно тихим после взрыва, словно осевшим голосом. Остальные караульные молчали, потрясенные увиденным.

А черный столб дыма над лесом продолжал расти, тянуться в вышину. Вот он качнулся, ветром его наклонило, стало относить в сторону. А на его месте уже вспухали, ворочались, сплетались в жгуты новые аспидно-черные клубы дыма.

- О Господи Иисусе! Чистое светопреставление! - воскликнул Уляшев. - А люди-то, люди. С ними что?

- Жарко им, - усмехнулся Адамович.

- И близко, о Господи! Рукой подать. Пожара бы не получилось. Сушь ведь, дождя который день нет.

- Разреши, карнач, - Адамович, подобравшись, вскинул ладонь к пилотке. - Смотаюсь в разведку. Как-никак, происшествие вблизи объекта.

В больших глазах бывшего танкиста светились откровенное нетерпение и решимость. Адамович уже загорелся. Такой редкий случай - первому глянуть на сбитый фашистский самолет, разве можно было это упустить?

Трубин раздумывал один миг: Устав караульной службы, предусматривавший, казалось, каждый шаг в его служебных обязанностях, ничего не говорил, как поступить при случае, если вблизи от охраняемого объекта упадет вражеский бомбардировщик. Единственным аргументом была опасность пожара, и Андрей решился.

- Идем, - сказал он. - Кучкильдин остается за меня! Со мной: Адамович, Ташаубаев!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

До места, где упал самолет, оказалось дальше, чем думалось.

По лесу шли уже минут десять, не разговаривая, прибавляя и прибавляя шаг. Адамович с тяжелым огнетушителем на плече взмок. Гимнастерка на спине темнела пятнами. Все трое хранили сосредоточенность и старались подавить волнение. Не занятие по тактике, как-никак боевая обстановка.

Касым Ташаубаев настороженно поводил по сторонам прищуренным взглядом, чувствуя запах гари.

Андрей, как ни старался, не мог унять колотившегося сердца. К нетерпеливому любопытству все ощутимее примешивалось чувство опасности, заставлявшее его то и дело касаться рукой кобуры с пистолетом. До чего все меняется: тяжелый, так надоевший «ТТ» вдруг стал таким необходимым и тяжесть его теперь не ощущалась.

Пожар приближался. С потревоженных взрывом сосен продолжали осыпаться хвоя и чешуйки коры.

Но вот впереди, совсем близко, сверкнуло оранжевое пламя, и все трое, как по команде, замерли на краю прогалины, где бушевал гигантский костер.

Андрей хорошо помнил эту небольшую продолговатую лесную полянку. Сколько раз он здесь отдыхал с отделением во время занятий хождением по азимуту. На мшистых, оставшихся от выкорчеванных пней холмиках с солнечной стороны росла брусника, а в ямках весной и после дождей стояла вода, желтая, как морковный чай. Поверхность лужиц чертили бесчисленные жуки-плавунцы. Сейчас поляну, затянутую приторно горьким чадом, невозможно было узнать. Кругом все было обезображено, исковеркано, смято взрывом, опалено огнем и продолжало дымиться. Всюду валялись обугленные, скрученные, растерзанные куски дюраля и дерева. А под каждым деревом как будто сначала жгли костер, а потом безжалостно обрывали ветки и секли, уродовали тупыми топорами ствол. Раны зияли сплошь, не успев заплыть смолой. Одна сосна была переломлена пополам, и вершина ее, черная от копоти, изжеванная, скорбно касалась земли, как перебитое крыло птицы. В стволе другой торчал глубоко вогнанный, длинный, сплющенный на конце металлический стержень. В центре поляны зияла ямища, в которой бесформенной грудой топорщились металлические ребра и прутья, покоробленные

и оплавленные, перевитые лентами густого дыма. Запах горелой краски, жженой резины и еще чего-то неведомого наполнял воздух.

Андрей, чтобы не задохнуться, прижимал к лицу пилотку. Ему с трудом верилось, что эти расшвырянные по лесу, догоравшие обломки и есть самолет, который только что пронесся у них над головами, потрясая воздух ревом еще работавших моторов. Адамович, сбросив с плеча огнетушитель и вытирая рукавом мокрое лицо, с жадным любопытством оглядывал поляну. Ташаубаев, пораженный, качал головой:

- Уй-бай! Как шибко падал. Там кусок, здесь кусок. Ямку какую делал.

- Да, ямку. Ничего не скажешь, - подтвердил Адамович, как бы прикидывая заслезившимися глазами размеры воронки. - Посадка не очень мягкая. Бомбы взорвались. С начинкой был пирожок. Хотели других угостить, а пришлось самим потчеваться. Ну что, двинем поближе? Раз уж пришли, надо осмотреть все честь по чести.

- Давай, - согласился Трубин и подхватил огнетушитель.

Кашляя и отплевываясь, они пересекли поляну, приблизившись к горящему самолету насколько было возможно. Адамович на ходу подобрал искореженную тяжелую железину, изумленно произнес:

- Ствол пулемета! Вот сила, а? Сталь скрутило как веревку!

Не выпуская находку из рук, он уже заприметил что-то другое, отошел в сторону и скоро исчез за дымом. Андрей не утерпел, нагнувшись, тоже поднял с земли не успевшую остыть короткую обгорелую латунную трубку с заостренным концом. Не сразу догадался, что это гильза от снаряда. Пороховые газы нашли себе выход, разорвав гильзу сбоку, а пуля - размером с большой палец - осталась торчать в своем гнезде. На донной части патрона отчетливо проступали выбитые латинские буквы и цифры.

Андрей отшвырнул патрон, повернул огнетушитель головкой вниз, ударил ею о землю и направил на огонь кипящую струю пены. Дождавшись, пока баллон опустеет, он поспешил прочь. На опушке остановился, перевел дыхание. Ташаубаев с сожалением трогал прожженный искрой рукав гимнастерки, оглядывался на исходившие белым дымом обломки самолета.

- Все горело. И люди, наверное, горели. Что теперь будем делать, товарищ старший сержант?

- А ничего уже не сделаешь. Пошли, - сказал Андрей, бросая под ноги пустой гулкий баллон. Ему хотелось одного - поскорее отойти отсюда подальше, глотнуть свежего воздуха. Оставаться тут было незачем: пожар на поляне потухал.

Они отступили в лес и остановились, поджидая Адамовича. Тот появился совсем с другой стороны, возбужденный, растрепанный, пилотка съехала на затылок, на подбородке - багровая царапина.

- Немец там... Живой! С парашютом выпрыгнул! - заорал он.

- Как немец? - переспросил, не поняв, Андрей.

- Немец. Форменный. Недалеко тут. Я случайно наткнулся. Взял чуть в сторону, думаю, не отшвырнуло ли чего. А он лежит. Видать, угодил на сосну, самортизировал, а оттуда вниз. Ушибся, конечно. Но не совсем. Ногой на меня дрыгнул.

Живой немец! Неприятный холодок пробежал у Андрея между лопатками. Ташаубаев вскинул винтовку, передернул затвором, неторопливо и четко, как перед заступлением на пост.

- Не надо, - остановил его Адамович. - Он очухаться не успел, говорю. А «пушку» я у него прихватил на всякий случай. Вот, - с торжествующим видом Адамович поднял руку. На вымазанной сажей ладони лежал браунинг, плоский и короткоствольный, как пугач.

- А ну-ка, - Андрей осторожно взял пистолет.

- Заряжен, - предупредил Адамович. - Я вроде поставил на предохранитель, но черт знает. Не успел в нем разобраться.

Некоторое время все трое с мальчишечьим любопытством разглядывали трофей. Пистолет подержал каждый.

- Ты что, обыск сделал? - вспомнив о своих командирских обязанностях, строго спросил Андрей.

- Вытащил, чтобы не саданул чего доброго. В финскую был случай, рассказывали. Нашли раненого шюцкоровца, совсем доходил на морозе. А подходить стали, выстрелил, гад, медсестру ранил.

- Больше ничего не взял?

- А чего брать? Объяснил же.

- Оружие будет у меня, - сказал Трубин, засовывая браунинг в противогазовую сумку. - Веди, где он?

Пройти пришлось метров сто. Немец полулежал возле большой развесистой сосны, на которой болтался разорванный парашют. Он почти разочаровал Андрея своим видом.

Это был парень довольно крепкого сложения. На нем был серовато-зеленый френч, плотно облегавший плечи, брюки навыпуск такого же лягушечьего цвета. Головного убора на нем не было. В белесых, спадавших на глаза волосах торчали сосновые иголки, на виске пятном темнела смола.

Немец, очевидно, пытался встать. На лбу у него от безуспешных усилий блестел пот. Теперь он лежал неподвижно, закусив губы и опустив бесцветные ресницы с выражением полного безразличия.

- Очухался, - заметил Адамович, подойдя к нему. Андрей с интересом рассматривал летчика. Фашист. Сколько он читал о немцах, помнил снимки в газетах: солдаты в рогатых тевтонских шлемах, в тяжелых сапогах с широкими короткими голенищами, с каменными лицами за рулем мотоциклов, с пулеметами на дорогах Франции, в горах Греции, на улицах Варшавы. Фашисты в его представлении были не только олицетворением какого-то общего сконцентрированного зла, но и жуткими, звероподобными внешне. А тут ничего подобного, человек как человек. Вылинявшие на солнце брови, лицо в веснушках, большие торчащие уши.

Перед самым вылетом немец побрился. На щеке виднелся порез. Белел, врезавшись в загорелую шею, недавно подшитый подворотничок. Ботинки начищены. От них даже ваксой пахло. И если бы не куцеватый френчик чужого покроя с накладными карманами, с погончиками на плечах и не эти непонятные значки в петлицах и на груди - орел со свастикой в когтях, ничего бы не говорило о том, что это представитель другого, чужого мира, враг. Андрей торопливо перебирал в памяти запомнившиеся немецкие слова, чтобы хоть что-то сказать этому поверженному наземь, чудом избежавшему гибели человеку. Но попытка заговорить не сразу увенчалась успехом. С превеликим трудом Андрей составил фразу на русский манер.

Понял его немец или нет, определить было трудно, но он не ответил и даже не реагировал. Лежал в прежней позе полного безразличия, с полузакрытыми глазами. Андрей только теперь заметил, что рукав френча у немца разодран и виднеется белая нижняя рубашка.

- Вас ист дайне наме? - повторил Трубин. - Нет, погоди. Ви ист ир форнаме? Ферштеин зи?

Кажется, на этот раз он построил фразу более или менее правильно. Но немец промолчал.

- Ви ист ир форнаме? А может быть, шпрехен зи руссиш? Нет? Ферштейн нихт?

- Вот, гад, не хочет разговаривать, - возмутился Адамович. - Понимает, по глазам вижу, а молчит. Ты что ему толкуешь, старшой?

- Спрашиваю, кто он.

- Да не расположен он к беседе, чувствуете? Обиделся за неласковый прием. Не так встретили. Мы сами сейчас установим его личность, - и он шагнул к немцу. Произошла короткая борьба, и Адамович держал в руках содержимое карманов летчика.

- Вот, - протянул он Трубину два разных по величине пакетика. - Если не шоколад, то определенно какие-нибудь документы. Авиаторам выдают шоколад - бортпаек. Не сердись, приятель, сам виноват. Тебя же спрашивали вежливо. - Адамович весело, почти приятельски кивнул немцу. Тот уже снова прикрыл глаза, как будто все это его совершенно не касалось. Ташаубаев заметил:

- Паша признавать не хочет. Может, командир средний ему надо. С ним говорить будет?

Андрей и сам заколебался перед тем, как развернуть пакеты. Кто знает, возможно, это делать им не положено. И просто следует взять все и кому-то передать. Но потом мысленно махнул рукой: была не была.

В маленьком пакете лежали карты, обычные игральные карты. Бородатые короли, разодетые красавицы-дамы, бубновый туз в виде квадратного рыцарского щита...

- Любитель перекинуться в двадцать одно, не иначе, - определил Адамович.

- Дай сюда, - Андрей сложил карты, завернул в хрусткий целлофан и взялся за второй пакет. Сверху здесь лежала тонкая, зеленоватого цвета книжечка. На корочке острые готические буквы и вверху уже знакомое изображение птицы: распластанные ястребиные крылья, кривой, повернутый набок клюв, в когтистых лапах венок с паучком внутри - фашистской свастикой. Дальше - несколько разграфленных листков - надписи в графах от руки. На первой страничке фотография, пришлепнутая печатью, - парень в пилотке пирожком, во френче с эмблемой над карманом. Прямые, рассыпчатые волосы, чуть выбившиеся на лоб. Широкая довольная улыбка.

Андрей с фотографии перевел взгляд на летчика и опять на фотографию. Он!

- Что-то вроде нашей красноармейской книжки, - сказал Трубин в ответ на молчаливое ожидание караульных и перекинул листок. Обозначение граф он не понял, но фамилию, выведенную от руки четким каллиграфическим почерком, разобрал легко. «Кениг Курт. Ефрейтор, 25 лет». Остальные записи чернилами, видимо, означали вещевое имущество, которое числилось за ефрейтором.

Под книжкой лежали письма, пестрые бумажные деньги с изображением усатого старика, несколько фотографий и цветных открыток с видами местности. На фотографиях была запечатлена одна и та же девушка в разных позах. Миловидная, с чуть продолговатым решительным лицом и зачесанными вверх пышными волосами. На всех фотографиях девушка скупо улыбалась, не размыкая тонких, чувственных губ, и была в одном и том же совсем простеньком летнем платье с рукавами до локтей и с широким вырезом на груди. Похоже, что фотограф пащелкал снимков за один прием. Можно было даже подумать, что это одна и та же фотография, если бы не разный фон и предметы на дальнем плане. На одной фотографии девушка сидела, откинувшись на белую каменную стену; на второй она опиралась руками о низенькие и тоже белые каменные перила, а позади нее развертывалась красивая панорама холмов, поросших лесом, и остроконечных черепичных кровель небольшого городка.

Эту же панораму воспроизводила и цветная открытка. Только на переднем плане был холм и на холме белоснежная кирха.

В нижнем левом углу открытки Андрей с трудом разобрал надпись мелким шрифтом: «Фельдбург. Ост-Пройссен». "Ост" значит Восточная Пруссия, местность в Восточной Пруссии. Так вот откуда этот Курт Кениг; ефрейтор двадцати пяти лет. А может быть, оттуда и девушка, что заносчиво глядела с фотографии? Думает ли она, что ее жених или муж валяется сейчас в далекой России.

Адамович с Ташаубаевым заглядывали через плечо начальника караула на открытку и фотографии: один с откровенным интересом, второй - внешне почти равнодушно и одним глазом, другой глаз Касым не спускал с немца.

Андрей, не досмотрев открытки, сложил все в пачку, подал Адамовичу.

- Отдай ему.

У себя оставил только книжку.

Немец взял пачку, спрятал в карман, не посмотрев на подавшего.

- Эй, герр ефрейтор. Вифиль ман им флюгцойг? Вифиль менш? Сколько вас было на самолете? Экипаж. Ферштейн? - спросил Андрей, все еще не оставляя надежды установить контакт с немцем. Но и эта его попытка успехом не увенчалась. Ефрейтор молчал.

- Думаешь, еще кто-то остался? - сказал Адамович. - Экипаж человека три, не больше. А два там. Я сам видел. - Он не уточнил где, только кивнул назад.

- Ну все, - сказал Андрей хмуро. - Пошли.

- А как с этим?

- Возьмем с собой. Может он идти? Эй, штее ауф! Встать! Ком нах вахта. Караул!

Немец на его команду не отозвался никак. И лишь после того, как потерявший терпение Ташаубаев клацнул затвором, стал подниматься. Чувствовалось, что делать это ему трудно, но стоило Адамовичу сделать попытку помочь, как немец резко отдернул плечо и быстро, почти пружинисто встал на ноги.

- Гордый, видал ты. Апломб давит. Значит, не очень стукнулся, - заключил убежденно Адамович. - Давай, Касым, показывай ему дорогу. Он тебя хорошо понимает.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В карауле их с нетерпением ждали. Разводящий Кучкильдин сам откинул поспешно засов, едва они подошли к воротам. Оказавшийся тут же Василь Тимошенко во все глаза с нескрываемым изумлением смотрел на пленного.

- Це кто? Неужели нимец?

- Гитлер это. Не узнал? - с серьезным видом сказал Адамович, и здесь не упуская возможности подтрунить над парнем.

Немец шагнул в калитку, опасливо покосившись на широкоскулое лицо конвоира.

Прошли к курилке, где собрались все свободные от наряда караульные. Выразительным жестом Касым приказал летчику сесть. Немец опустился на скамейку, ни на кого не глядя. Зато караульные разглядывали его с интересом.

- Н-да, гость, - задумчиво произнес Пряхин, доставая кисет и принимаясь крутить цигарку. - Как это вы его отыскали в таком виде? Везучий, однако, уцелел.

Андрей с возбуждением рассказал о сгоревшем самолете, показал отобранный у летчика пистолет и солдатскую книжку.

- Ефрейтор, значит. Не велик чин, а гляди, держится. Будто так все и должно быть, - заметил снова Пряхин. Немец, чуть склонившись, одной рукой поправлял рассыпчатые волосы, падавшие на глаза, а второй потирал ушибленное колено. Устремленных на себя взглядов он словно не замечал, как не замечал и самих людей, стоявших вокруг него. И караульные тоже рассматривали немца молча, не без сочувствия. Один Ташаубаев, как бы уже войдя в роль конвоира, оставался сурово сосредоточенным.

Услужливый Василь Тимошенко успел принести Адамовичу воды: на его подтрунивания он не обижался. Адамович, напившись, перевел дух, стряхнул попавшие на гимнастерку капли и поставил котелок на скамейку. Ефрейтор провел по губам языком, кадык его судорожно дернулся. Адамович заметил, усмехнулся:

- Пить-то охота, и гордость не помогла.

- Однако, человек умучился, - пожалел немца Уляшев. - Дай ему водички.

- Потерпит. Захочет пить - сам попросит. Хлеб брюху не кланяется, согласно народной мудрости.

- Дай, чего ты?

- Кто будет? Касым, хочешь? Нет? - Адамович приподнял котелок, выждал немного и двинул его немцу. - На, держи, как тебя: Курт или Ганс? Пей.

Тот сначала лишь скосил глаза, чувствовалось, борется с собой. Но жажда победила, обеими руками ухватил котелок и, запрокинув голову, припал к кромке. Струйки потекли с губ на френч.

Феоктистов вытащил пачку «Прибоя», выбрал среди помятых папирос ту, что поцелее, поправил мундштук и подал немцу.

- Вот. Немен зи бите. Возьмите. Эх, черт, все позабылось. А ведь когда-то знал немецкий довольно сносно. Дарф их инэн. Айне сигарете.

Немец папиросу взял, оглядел со всех сторон, как какую-то диковинку, и швырнул под ноги.

- Может, ему махры дать, чтобы покрепче? - предложил Василь, оглядываясь на Пряхина: сам он не курил.

- По роже ему съездить следует, - подсказал Адамович.

- Можно угостить и махоркой, - согласился Пряхин. - Только дождешься ли спасибо от фашиста?

Феоктистов обескураженно моргал.

- Нет, почему же? - возразил он. - Не все немцы обязательно фашисты. Там разные люди, впрочем, как и в любой нации. Обобщать нельзя. Мы же не можем отрицать того, что Германия это не только Германия Гитлера, но и, прежде всего, Германия, давшая миру Гете, Гейне, Шиллера, Маркса и Энгельса и, наконец, Тельмана...

- Бачьте, про Тельмана услыхал и сразу ворохнулся! - удивленно заметил Тимошенко. Немец, сохранявший до последнего момента безучастный вид, действительно чуть выпрямился, будто прислушиваясь. Возможно, он просто захотел переменить позу и ничего больше, но Феоктистова это вдохновило.

Молчавший на протяжении всего разговора Клевакин знаком попросил Трубина отойти в сторону. Побитое оспой лицо пожарного выражало ту хмурую замкнутость, которая всегда появлялась у него, если Клевакин был чем-нибудь недоволен.

- Слушай, товарищ старший сержант, - начал было он официальным тоном, - не хотел тебе говорить при всех, подрывать авторитет как начальника караула...

В курилке зашумели. Трубин бросился туда.

В первый момент он ничего не понял. Немец лежал навзничь, затылком к бочке с окурками, затравленно и зло поводя глазами, а над ним склонился Адамович, с занесенным для удара кулаком. Ташаубаев держал винтовку наизготовку, решительно, как во время штыкового боя.

Андрей в два прыжка оказался в курилке, схватил Адамовича за руку.

- Ты что делаешь?

- А он что? Смотри, что натворил, гад! - Адамович тяжело перевел дыхание, опустил руку, холодным от гнева взглядом показал на Феоктистова. Тот сидел на скамейке съежившись, захватив ладонью лицо, и свободной рукой слепо шарил вокруг себя, словно проверяя прочность скамейки. Караульные растерянно смотрели на него.

Андрей от смутного предчувствия беды похолодел, но, стараясь быть спокойным, спросил:

- Что произошло, объясните!

- Это явный фашист и гад, я сразу разглядел, - сказал Адамович, презрительно сплевывая под ноги. - С ним как с человеком, а он - в глаз кулаком...

- Феоктистов з ним по-дружески, руку на плечо положив, а нимец ему в очи! - волнуясь, сказал Василь Тимошенко.

- Плохой человек! Совсем плохой. Хуже собака. Пить ему давал, курить давал, а он что делал? - возмущался Ташаубаев, не отводя взгляда от поверженного на землю немца.

- Да его, гада, за такое... - Адамович сделал угрожающее движение.

- Отставить, красноармеец Адамович! - прикрикнул Андрей. - Никаких больше выходок. Ясно? Кучкильдин, пленного отвести в помещение для караульных собак. Закрыть. Охранять. Всем заняться своим делом.

Андрей склонился над Феоктистовым.

- Покажи глаз.

- Это ничего, ничего. Пустяки. Пройдет, - бормотал караульный, не отнимая ладони от лица и продолжая шарить рукой по скамейке в поисках очков. - Вот только пенсне... Оно где-то здесь упало. Не найду...

- Найдем, не беспокойся. Дай я посмотрю, что с глазом.

Андрей осторожно приподнял его ладонь и тут же отпустил, внутренне содрогнувшись. Глаз кровоточил. Слипшиеся, мокрые ресницы беспомощно дрожали, скрывая уже неживой зрачок, а что-то бесформенное и жуткое.

Охваченный жалостью, Трубин на минуту поник, не в силах побороть растерянности, совершенно недопустимой для командира. Но тут подоспел Пряхин, будто угадал его состояние.

- Ну-ка погоди, - отстранил он начальника караула. - Я гляну.

В наряде Пряхин выполнял не очень-то обременительные обязанности санинструктора, и Андрей, подчинившись ему, покорно отступил в сторону, мысленно благодаря его за выручку. Пряхин с обычной своей невозмутимостью тоже приподнял зажимавшую глаз ладонь Феоктистова и распорядился:

- Пойдем-ка в помещение, сделаем перевязку. Терпи, парень. Хуже бывает. До свадьбы заживет.

Василь поднял с земли пенсне Феоктистова. Одно стекло было разбито, в зажиме торчал острый осколок. Феоктистов обрадовался, ощупав его.

- Ничего, ничего. Стекло легче достать. Главное, дужка цела. Минусовые стекла бывают в аптеке. Минус пять. Не так-

то уж сложно. Я боялся за дужку. Можно, конечно, взять очки. Обычные. И это даже удобнее, пожалуй. Но привычка...

Было что-то трогательное и пугающее в этом растерянном бормотании Феоктистова: не глаз его заботит - очки. Комок стал в горле у Андрея. Ему хотелось что-нибудь сказать, чем-то успокоить бойца, подбодрить, но он не нашел слов. Насупившись, недовольный собой, он взял Феоктистова под руку, помог подняться.

- Нужно каким-то образом приспособить пенсне, хотя бы временно. Понимаете? А то я неважно вижу без очков, - говорил Феоктистов.

- Приспособим, пошли, - успокоил Пряхин, мягко поддерживая его с другой стороны.

Вдвоем они завели пострадавшего в караульное помещение. Пряхин усадил его на табурет, взял бинты.

Андрей прошел к себе в комнату. Сел. Достал отобранный у немца пистолет, книжку, подержал в руках. Ему вдруг захотелось бросить то и другое, зашвырнуть куда-нибудь подальше. Но он поборол себя. Открыв ящик стола, брезгливо сунул туда пистолет и книжку. И только тут, вспомнив, что еще в лесу хотел пить, потянулся к графину. Вода была теплой и отдавала дымом. Он едва смог сделать глоток. Конечно, дымом пахла не вода, а его руки и гимнастерка, но перед глазами возникли поляна, костер, немец, а потом залитый кровью, неживой глаз Феоктистова, и желание пить пропало окончательно. Он переставил на подоконник графин, убрал чернильницу, отодвинул стакан. Надо было что-то делать. Занести происшествие в постовую ведомость или сразу писать объяснение? Но он не мог сосредоточиться. О том, какие последствия ждут его, Андрей старался не думать. Знал, что придется объясняться и за немца, и за истраченный не по назначению огнетушитель, а самое главное, за караульного. Но все это не сейчас, потом.

Вошел, закончив перевязку, Пряхин. Андрей встретил его нетерпеливым вопросом:

- Ну, что?

Пряхин присел на топчан, по-крестьянски, не спеша, вытянул из кармана кисет. Сквозь усы обронил: - Плохо дело, пропал глаз у парня.

- И ничем нельзя помочь?

- К врачу надо. Давай-ка решать: смену подождем или кого-то сейчас с ним послать, чтобы отвезли. Глаз глазом, боюсь, хуже чего не было бы, заражения какого.

Внутри караульного помещения дверей не было. Андрей увидел, как вбежал Ташаубаев, едва не ткнувшись штыком в притолоку, и сердце у него екнуло: что-нибудь с немцем опять. Андрей вскочил, готовый кинуться вон, но Касым загородил дорогу.

- Товарищ начальник караула, разреши доложить. Разводящий послал. - Ташаубаев втянул в себя воздух, и на его скуластом лице промелькнул отблеск знакомой, с трудом сдерживаемой широкой улыбки. - Машина там, товарищ военфельдшер Рита приехала.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Это была редкая случайность, подтверждавшая неписанное житейское правило - случается то, о чем не думаешь и чего меньше всего ждешь. Трубин не думал о встрече с Ритой. Ему казалось, что он уже смирился с невозможностью ее увидеть. И вдруг Рита здесь! Он не то что изумился и не поверил, а просто не понял Ташаубаева: «Товарищ военфельдшер Рита...».

А между тем это была именно она. Андрей узнал ее издали, едва выглянув из караульного помещения. Сразу отодвинулись куда-то все тревоги: и упавший немецкий самолет, и нелепый случай с Феоктистовым. Ноги от радости и нетерпения были готовы сорваться на бег, а сознание требовало не спешить, успокоиться, подумать о том, что могло привести сюда военфельдшера. Но до чего же привычная, хоженая и перехоженная тропка до ворот оказалась на этот раз короткой. Андрей не успел ни разобраться в возможных причинах появления Риты, ни унять взволнованно колотившееся сердце. Все, что он смог, - это четко, даже излишне четко, по-строевому, поприветствовать военфельдшера.

Ах, если бы он мог просто поздороваться, улыбнуться, взять руку девушки. Но он этого сделать не мог и вскинул коротко ладонь к пилотке, обращая свое приветствие сразу и к ней и к шоферу, хмуро стоявшему возле машины. Но смотрел-то он все-таки на нее одну, чувствуя, что не особенно умеет прятать за внешней сухостью свое душевное состояние.

Кажется, изумилась и Рита, увидев его. Что-то светлое, почти радостное блеснуло в ее глазах. И ушло, погасло за тенью ресниц. Ошибся...

- У вас строгие подчиненные, старший сержант, - сказала Рита с обычной, уже ничего не значащей улыбкой. - И не пускают и не разговаривают без начальника караула.

- Действуют по уставу. Но если нужно, пожалуйста, - Андрей отступил слегка от калитки, освобождая проход.

- Мы спросить только. Ищем начальника склада. Его не было здесь?

- Нет, - сказал Андрей, оглядывая непонимающе машину и угрюмого незнакомого водителя. Рита угадала его недоумение.

- Это попутная машина, я еду на ней в лагеря, - сказала она. - Товарищ из соседней части. Побывал под обстрелом.

- Пакет у меня, - хмуро проговорил шофер. - Зря, значит, ехал сюда. Ну, поехали? - взялся он за дверцу кабины.

- Погодите, Андрей, - Рита впервые назвала Трубина по имени, - я не знала, что вы в карауле. Радио у вас есть? Война. Вот тут у меня, - девушка, торопливо отстегнув пуговичку на кармашке гимнастерки, достала листок с записью дневального. - Читайте. Германия напала на нас. В четыре часа утра.

- Так. Ясно. - Андрей сжал пальцами листок, чтобы он не дрожал. - Не провокация, значит.

- Бои на всем протяжении границы. Передавали правительственное сообщение, и товарищ Молотов выступал. Я тороплюсь в лагеря.

В голосе Риты прозвучали тревога и какая-то виноватость. И жест, которым она поправила пилотку, словно выражал сожаление по поводу этой вынужденной необходимости уехать. Но Андрей не заметил ни этой интонации в словах девушки, ни ее жеста, перечитывая снова и снова обрывистую запись на листке и досадуя, что последняя строчка оборвана на полуслове. Война! Как ни был он внутренне уже подготовлен к этой вести, но она его все-таки ошеломила. Вот и началось. Какое же место займет во всем этом он, Трубин?

- Я возьму его, - сказал Андрей, свертывая листок, - покажу ребятам.

- Да, да, - согласилась Рита, - пожалуйста. Жалко, что я не могу сообщить вам никаких подробностей.

- У нас тут ЧП, - сказал Андрей. - Война уже дала о себе знать. - Он коротко рассказал о немецком летчике, о его жестоком поступке.

- В глаз кулаком? Ужас! - Рита поежилась. - Вы приняли какие-нибудь меры?

- Перевязали.

- Я должна посмотреть, - сказала она решительно. - Можно пройти? Где он? Товарищ водитель, я сейчас. - Рита взяла санитарную сумку, пошла в караульное помещение. Андрей,

оставив с шофером возле ворот караульного Тимошенко, пошел следом.

Рита, усадив Феоктистова к окну, осторожно перебинтовывала глаз. Рядом с видом ученика, ожидавшего оценки от строгого учителя, стоял Пряхин. Феоктистов держал в руках разбитое пенсне и покорно старался не шевелиться. Перевязка причиняла ему боль, но он не подавал виду, и только бескровные губы его чуть вздрагивали.

- Вы правильно наложили повязку, - сказала Пряхину Рита, обрезая маленькими ножницами концы распушившейся марли. - Бинт стерильный?

- Из индивидуального пакета, товарищ военфельдшер.

- Ну, все. А теперь покой, не делать резких движений. Лучше лечь на спину, - Рита склонилась над сумкой. - Товарищ старший сержант, на минутку.

Они вышли из караульного помещения, остановились в короткой тени от крыши. Андрей невольно задержал дыхание: так близко оказались их лица.

- С глазом очень серьезное, - сказала девушка, сдвинув выгоревшие брови, отвечая на молчаливый вопрос начальника караула, - боюсь, что там остались осколки стекла. Надо к врачу и немедленно.

- Мы и сами уже думали. Отправим.

- Да, но куда? Нужен врач-окулист. - Рита задумалась, покусывая губы. - А что, если я возьму его с собой, отвезу в лагеря. Давайте.

- Хорошо, - согласился Андрей. - Я скажу, чтобы собирался.

А сам не двинулся с места. У него не было сил отойти, сделать хотя бы полшага в сторону: ведь так рядом, лицом к лицу, они еще никогда не стояли. И будут ли когда-нибудь снова стоять? Надо же что-то сделать, чтобы задержать ее. Пусть на несколько минут, пусть на минуту.

Паузу нарушила Рита. Возможно, она угадала его мысли?

- Даша сегодня уехала к родным, - сказала она для того, чтобы только не молчать. - И лейтенант Култаев не смог ее проводить из-за вызова в штаб.

- Он был здесь ночью, почти на рассвете, - подхватил Андрей, расценив слова девушки как желание продлить оставшееся до расставания время.

- Как-то она доедет! Говорят, фашисты бомбят железную дорогу.

- Доедет. Во сколько она выехала?

- Рано.

- У нас, - Андрей посмотрел на часы, - смена через два часа.

Ему хотелось сказать этой фразой, что он скоро освободится от наряда и как ему нужно, чтобы она не уезжала, хотя и знал, что не уехать она не может.

От ворот донесся призывный и нетерпеливый звук автомобильной сирены. Рита словно очнулась.

- Это меня, - сказала она и пальцами чуть коснулась руки Андрея, как бы сожалея и извиняясь. - Я должна ехать. Ведите вашего бойца.

- Ведите Феоктистова! - повторил Андрей. - Быстрее! Винтовку и противогаз оставить.

Говорят, перед разлукой люди не могут наговориться.

Пока шли к воротам, Андрей и Рита обменялись лишь одной фразой. Трубин спросил, не хочет ли она взглянуть на немца, военфельдшер ответила, что ей это противно и не позволяет время.

Феоктистова, смущенного своей беспомощностью и еще более неловкого, чем всегда, усадили в машину. Шофер, недовольный задержкой, хлопнул дверцей кабины.

Как позавидовал ему Андрей! Чего бы только не отдал он за возможность оказаться на его месте рядом с Ритой. Ехать в одной машине добрых двадцать километров, какое это счастье!

Но счастье оказалось не для него, и он только козырнул вслед тронувшейся полуторке.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

...Утром у разобранного моста через лесную речушку на Султаева наткнулись связисты, прибывшие для исправления телефонной линии. Они растерянно крутились вокруг лейтенанта, не зная, что делать. Лейтенант с трудом приподнялся. Боль в плече напомнила о случившемся. Он с тревогой спросил:

- Что-нибудь произошло? - связисты пожали плечами.

- Рубашку нижнюю разорвите, - приказал Султаев. Связисты располосовали чистую накрахмаленную рубашку на ленты и стали перевязывать кровоточившую рану.

Немного отдохнув, Султаев поднялся. Связисты помогли ему взобраться на машину и подвезли до летних лагерей. Распрощавшись с ними, лейтенант вошел на окруженную проволокой территорию. От встретившегося начхоза Султаев узнал, что началась война с Германией, что полк, поднятый по тревоге, ушел и что намеченных на воскресенье проверочных командирских стрельб не будет. Лейтенант коротко рассказал о своих злоключениях ночью и поспешил в обратный путь. Немного его подвезли артиллеристы, потом он шел пешком, а затем попался попутный автофургон с кинопередвижкой. Шофер, он же киномеханик, гражданский паренек, ездил за новым фильмом для сельского клуба и теперь спешил попасть домой.

Они двигались навстречу тревожному гулу, опоясывающему горизонт, по дороге, на которую уже наложила свой отпечаток война. Сначала им мешали подводы с беженцами, потом огромный тысячеголовый гурт скота, принадлежавший какому-то колхозу, и, в довершение ко всему, за ними увязался немецкий самолет. Он неожиданно с ревом вынырнул из-за леса и уже не отставал. Раз за разом настойчиво заходил фашистский летчик то спереди, навстречу машине, то сзади, норовя ударить по ней пулеметной очередью, пока, наконец, не добился своего.

Оглушенный ревом мотора и стрельбой, Султаев не услышал удара пуль по машине и только вдруг почувствовал, как шофер, лихорадочно крутивший баранку, припал к ней головой и грузно пополз с сиденья.

Машину занесло вбок, и она угрожающе накренилась над кюветом, дымя развороченным радиатором. Султаев неловко, через шофера, потянулся, пытаясь вывернуть липкий от крови руль. Над головой, уже не стреляя, довольный сделанным, пронесся еще раз остроносый истребитель и скрылся.

Султаев выбрался из машины, одной рукой с трудом вытянул за собой убитого шофера, волоком перетащил через придорожную канаву. В кузове фургона, подожженные пулями, глухо лопались коробки с кинолентой, ядовито-зеленоватый дым валил из всех щелей.

Выбившись из сил, лейтенант не сразу обратил внимание на возникший впереди, за поворотом дороги, шум. Стремительно накатываясь, он бил тугой волной по барабанным перепонкам. Сквозь серую завесу пыли расплывчато проступил силуэт машины. Танк! - понял лейтенант. - Чужой.

По внешнему непривычно-пятнистому виду, по короткой, будто обрезанной пушке, торчавшей из угловатой башни, и, главное, по крестам, намалеванным белой краской на пыльной броне, можно было сразу определить: фашистский!

Танк сотрясался всем своим массивным корпусом. Зловеще плавились на солнце его до блеска отшлифованные траки. В башне танка, высунувшись по пояс из круглого люка, стоял немец. Он был без шлема, загорелый и потный, в рубашке, с закатанными по локоть рукавами.

Султаев на какие-то доли секунды ощутил себя словно вне времени и пространства. Война, еще совсем недавно, какой-то час назад, казавшаяся хотя и грозной реальностью, но все же чем-то отдаленным, стояла рядом, глядела ему в глаза черным глазом танковой пушки. Нет, не страх и не желание снова припасть к земле, спрятаться в траве испытывал в эту минуту лейтенант. В нем закипали гнев и тревога за свой взвод, за тех, кого враг мог настичь на дороге. Султаев понял: прорыв! Теперь ему стало ясно, почему артиллеристы, с которыми он ехал, устанавливали пушки возле дороги.

Осмотрись немец-танкист чуть внимательнее по сторонам, и он наверняка заметил бы возле дороги советского лейтенанта. Но немец не смотрел по сторонам. Ему некогда было присматриваться к малозначащим предметам. Ему нужно было рваться вперед и вперед, к заранее намеченному и вызубренному на память по карте рубежу. Он видел только то, что было непосредственно перед его глазами, у него на пути. В данном случае он смотрел на горевший фургон, загораживавший наполовину узкую дорогу.

Но вот голова его скрылась в люке. Танк сорвался с места, ударом тарана откинул обломки машины в сторону и покатил дальше, набирая скорость и увлекая за собой грохочущий шлейф из танков и грузовиков с солдатами.

Султаев дождался, пока колонна прогромыхала мимо. Потом отполз от дороги в лес, встал, стянул с себя плащ, нестерпимо давивший на раненое плечо, и пошел вперед, не замечая хлеставших по лицу веток. Позади, там, куда устремился прорвавшийся противник, вдруг часто и торопливо, словно наперебой, застучали приглушенные расстоянием орудийные выстрелы. Султаев догадался: это немцы наткнулись на нашу батарею. Он постоял, прислушиваясь со злым торжеством сквозь звон в ушах к отдаленным звукам боя, и двинулся дальше.

Вскоре на лесной дороге ему встретилась группа красноармейцев. По высокой, чуть сутуловатой фигуре Султаев узнал сержанта Васю Коржова. Это были бойцы его взвода, возвращавшиеся из городка летчиков.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В караульном взводе Христофор Экштейн отличался дисциплинированностью и не только не имел за время службы взысканий, но и замечания от командиров получал редко. Принадлежал он к числу тех бойцов, которые любое, пусть самое незначительное приказание выполняют со всей аккуратностью. Старшина Барабанов особенно высоко ценил в нем это качество и прощал нерасторопность.

Вот почему, хотя весть о войне и вывела Экштейна из равновесия, он не забыл о цели своего прихода в городок и, едва выслушав встревоженного дневального, рассказавшего ему о правительственном сообщении, отправился в столовую за солью. Взяв сколько нужно, он прихватил в казарме шесть писем, четыре из которых Феоктистову, и, к огорчению дневального, истомившегося в одиночестве, заторопился в обратный путь в такой степени, в какой способен был торопиться по своей не очень-то склонной к поспешности натуре.

Но все-таки сознание ответственности заставляло его ускорять шаг. Война, а товарищи в карауле ничего не знают, значит, надо торопиться, поскорее сообщить. И от этого беспокойства, которое росло в нем, знакомая улица показалась ему не такой, как всегда. Вокруг все как будто затаилось и примолкло.

Зной даже бабку Несенко загнал в хату. Среди подсолнухов, в огороде, не белел ее платок. Зато у ворот своего дома, как всегда, торчала сухопарая фигура пана Поплавского. Наверное, по случаю воскресного дня пан Поплавский был празднично одет в черную суконную пару с серебряной цепочкой от часов, свисавшей из нагрудного кармана, и в блестящие сапоги. Голову его, несмотря на жару, покрывала теплая фетровая шляпа с белой ленточкой.

Христофор, по укоренившейся с детства привычке выражать уважение к старшим, на ходу козырнул слегка старику. Обычно пан Поплавский в ответ с готовностью приподнимал шляпу, кланялся, подобострастно ронял:

- День добрый, пан жолнер.

На сей раз он не ответил, будто вовсе не видел проходившего мимо красноармейца, и только метнул колючим взглядом. Сухие губы его тронула усмешка, скупая и словно торжествующая.

Экштейна никогда не занимал вопрос о его национальной принадлежности, да и не было в том нужды. Он - немец, другой - украинец, какая разница? А сейчас, когда он вспомнил о войне, его словно что-то толкнуло. Война же с Германией. На Советский Союз напали немцы, немцы - враги. Но ведь Экштейн тоже немец. Другой немец, не имеющий никакого отношения к Германии, но немец. С немецкой фамилией, родным немецким языком. И впервые в жизни ему стало неловко за свое происхождение. Заранее неловко перед товарищами. Вот сейчас он придет в караул, скажет о том, что на Советский Союз напали немцы, а сам - немец. И все наверняка отметят про себя, что он - немец. Надо же случиться такому, что весть о войне должен принести именно он, немец Экштейн. Вообще-то тут нет ничего особенного... Конечно, нет, а все равно неудобно. Но причем тут он? Какое он имеет отношение к Германии, которую не только он, но и его отец, и дед в глаза не видели.

Христофор с трудом отогнал от себя навязчивые мысли, остановился, расстегнул воротник, пилоткой вытер лицо. Ну жара! К дождю, не иначе.

Посмотрев вверх на подсиненные облака, Экштейн шевельнул плечами под прилипавшей гимнастеркой и зашагал дальше, стараясь идти под жидкой тенью сосен. В лесу настоянный на смоле воздух казался густым, стеснял дыхание.

Боец успел пройти метров двести, когда навстречу ему попалась бричка с дровами. Колесом она угодила в глубокую песчаную выбоину на дороге, и куцехвостый конек, запряженный на здешний манер без дуги, никак не мог взять ее с места. Хозяин, пожилой селянин в брыле и в жилетке, надетой поверх белой самотканой сорочки, размахивая концами вожжей, подталкивал плечами воз. Рядом стояла девочка лет семи, светловолосая, босоногая, с корзиночкой земляники на согнутой руке, и тоже махала хворостиной, помогая отцу, тонким голоском понукала лошадь.

Завидев красноармейца, возница выпрямился, опустил вожжи и устало вытер рукавом лоб.

- Дорога дюже погана, ни як проехать не можно, - пожаловался он. Экштейн остановился.

- А ну, отец, давай подтолкну, - предложил он, сбрасывая с плеча вещмешок.

- Як що будет желание, то спасибо, - селянин приподнял брыль в знак благодарности.

- Сейчас.

Христофор зашел с другой стороны брички, примерился плечом, поднажал. Колесо почти вышло из выбоины, но в самый последний момент конь заупрямился, и воз съехал назад.

- О, щоб тоби, - выругался хозяин, зло дергая вожжами и оглядываясь с опаской назад, откуда явственно надвигался шум - их нагоняли машины, а телега загораживала дорогу. Сделали еще попытку одолеть ухаб и опять неудачно.

- Поготи, отец, - сказал Экштейн, заприметив валявшуюся неподалеку жердь. - Попробуем использовать законы физики.

Христофор не любил бегать, но тут побежал за рычагом. Времени не оставалось. Гул моторов наполнил лес. Он едва успел подхватить с земли жердь и повернуть, как на дорогу, в клубах пыли и дыма, выкатил танк, за ним с ревом и клацанием второй. Сквозь пыльную завесу тускло заблестели стекла автомашин. Остальное все произошло, как в страшном сне. Танк, набирая скорость, ударил в бричку, разметал бревна и, перевалив через них, покатил дальше.

Экштейн на минуту словно ослеп и оглох от этого внезапного кошмара, а когда пришел в себя, то увидел, что к нему бегут люди в серовато-зеленой форме, с короткими автоматами наперевес. Одни со стороны дороги, другие, соскочив с грузного слоноподобного грузовика, свернувшего в лес.

По одежде и по отдельным словам, выделявшимся из общего шума и гвалта, Христофор понял, что перед ним немцы. Безотчетно он взмахнул жердью. Но круг уже сжался, у него вырвали жердь из рук, навалились. Удар в затылок сбил его с ног.

В следующий миг его поволокли, подталкивая ударами, с хохотом и криками, как загнанного зверя.

Приволокли почти к самой дороге, опять ткнули сзади прикладом автомата, чтобы не вздумал сопротивляться, отпустили заломленные руки, толпа раздалась, и он остался стоять один посреди шумного полукруга.

Привычка к аккуратности во внешнем виде и здесь взяла верх. Экштейн, растрепанный в свалке, поднял было руки, чтобы поправить съехавший набок ремень, но резкая команда по-немецки остановила его:

- Стоять смирно! Не шевелиться!

Теперь только он увидел человека, стоявшего перед ним ближе всех остальных, плотного, низкорослого, будто вдавленного в землю, с тяжелой челюстью и холодным прищуром глаз под козырьком фуражки, по виду командира. Но еще раньше Экштейн заметил бревна, раскатанные по обочине дороги, ступицу раздавленного колеса и рядом втоптанное в колею нечто бесформенное и страшное, похожее на кучу тряпья, в которой можно было узнать лишь сплющенный соломенный брыль.

По сигналу немца солдаты бросились к Христофору, вывернули карманы. Комсомольский билет в обертке из пергамента, деньги, письма, носовой платок, который подарила ему однокурсница перед его отъездом в армию, - оказались в руках офицера. Тот, не снимая кожаных желтых перчаток, быстро все рассортировал: носовой платок он швырнул под ноги, туда же полетела потрепанная, полученная бойцом еще зимой из дому, тридцатка, письма тоже не привлекли его внимание, но комсомольский билет офицер перелистал и рыжая, припудренная дорожной пылью бровь его удивленно вздернулась.

- О, это любопытно! Не просто русский - комсомолец с немецкой фамилией! Я не ошибаюсь, а?

- Ты кто? - видя, что пленный не отвечает, повторил он свой вопрос на ломаном русском языке. - Фольксдойч? Есть немецкий человек? Это так?

Но Экштейн и без перевода понимал и его и те реплики в свой адрес, которые раздавались в толпе. Ошеломление и страх за себя, сковывавшие его в первые минуты, уже отступили, и, хотя сознание беды, непоправимой беды, случившейся с ним, продолжало щемить сердце, Христофор нашел в себе силы оглянуться по сторонам, почти изумленно окинуть взглядом окружавшую его толпу. Неужели эти пыльные, обвешанные оружием, веселые, теснившиеся возле него и ехавшие по дороге в машинах и на танках, готовые все топтать и рушить на своем пути люди - из Германии? Из той Германии, о которой с таким уважением говорили у него дома, пели ее песни, увезенные оттуда с собой давным-давно, рассказывали сказки, родившиеся там, из той Германии, которая умиротворяюще глядела на него с цветных фотографий, бережно хранившихся у бабушки в сундуке.

И вот теперь Германия перед ним. Только не та, красивая, загадочная, какой представлялась, а какая-то страшная, не-

лепая. Она сама пришла к нему в лице этой гогочущей серо-зеленой толпы, офицера, листавшего рукой в перчатке его святая святых - комсомольский билет, рычавших грузовиков, пушек на прицепах, лязга и грохота. Экштейна охватил гнев. Ком сдавил его горло, его душила злоба, яростная злоба на этих людей за то, что они держат его за руки, не давая пошевелиться, копаются в его документах, на глазах у него раздавили танком ни в чем не повинного человека, за то, что они вообще здесь, на его земле.

Офицер снова с ним заговорил, повторяя одно и то же по-немецки и по-русски.

- Ты - фольксдойче. И имеешь перед собой войска рейха, начавшие великий поход на восток. Ты должен говорить: «Да здравствует великая Германия!». И просить прощения за эту вот книжку.

- А ити ты к... - Христофор, не любивший ругаться, завернул многоэтажный русский мат, вложив в него всю клокотавшую ненависть... Это было все, что он мог сделать сейчас.

А дорога грохотала и клубилась пылью. Офицера окликнули с одной из кативших мимо машин.

- Гауптман Бош, что у вас там за спектакль? Ах, пленный! Тебе везет. Реванш за потери на границе?

- Напрасно иронизируешь, это первый красноармеец, вооруженный тем, чем и положено быть вооруженным русским, - дубиной.

- А советские пулеметчики у переправы? По-моему, они неплохо доказали, что дубина и для России дело прошлое.

- То не идет в счет. Фанатики. Надеюсь, таких немного.

- И что же, твой Долон дает любопытные сведения?

- У него немецкая фамилия. Но слишком велик налет славянской ржавчины.

- Очищай. Только не очень долго, можешь опоздать к триумфу, герр гауптман.

Офицер и сам не намерен был задерживаться. Он сунул комсомольский билет в карман, резко бросил слова команды. Большинство солдат побежало к дороге. Христофор почувствовал, что его уже не держат. Немцы позади него вдруг разомкнулись, отхлынули в сторону, как бы оставляя ему открытым путь в глубину леса.

Повинуясь невольно общему движению немцев, Экштейн шагнул назад, но уперся спиной о сосну и, в одно мгновенье все поняв, вздрогнул. Взгляд его успел выхватить изо всего

окружающего мира черную точку пистолетного дула, поднятого офицером на уровень его груди.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

После того как ушла машина с Феоктистовым, время в карауле словно остановилось. Ожидание смены сделалось настоящей пыткой. Всем хотелось скорее попасть в часть, освободиться от мучительного чувства оторванности. На ум не шло ничто другое, кроме мыслей о войне, и кто-нибудь заводил и заводил разговор на эту тему, хотя, казалось, все, что можно было сказать, уже сказано. Мнения сходились на одном: ненадолго война. Каждый старался привести в подтверждение побольше доводов.

Трубин больше всего жалел, что нет под рукой хоть какой-нибудь плохонькой карты. Он мысленным взором окидывал западную границу Советского Союза, ее ломаную черту, начинавшуюся где-то далеко в Заполярье, на каменистом берегу Баренцева моря и обрывавшуюся тоже у моря - Черного, и также в мыслях ставил себя то на один, то на другой участок, на место тех, кто дрался там с врагом. Бои на всем протяжении границы. Слова эти из правительственного сообщения не выходили у него из головы. И его не оставляло беспокойство - не опоздать бы! Поездка в училище откладывается, это уже ясно. А вот как дальше? Как скорее решить вопрос, чтобы не остаться опять в стороне?

Беспокойные эти мысли перемешивались с тревогой о Рите, заставляли Андрея сердиться на вынужденное бездействие и без конца глядеть на часы.

...А смены не было. Все давно собрались с оружием, со скатками через плечо, ждали в курилке, посматривая с нарастающим нетерпением на дорогу: не покажется ли из лесу строй? Больше всех волновался Адамович.

- Не спешат друзья! Этак и всю войну проворонишь, сидя тут возле «объекта», - говорил он с деланным равнодушием.

- Не бесись, - урезонивал его Пряхин, - успеешь.

- Успею ли, - разводил руками Адамович. - Денек-два, и песенка фашистов будет спета. Подкинут наши танковых бригад, и конец.

Адамович умолк, прислушался.

Порыв горячего ветерка донес издалека приглушенный, будто идущий из земли гул моторов. Все стояли, молча вслушиваясь.

- Точно, танки! - заключил Адамович. - Огонь плюс гусеницы - и порядок полный.

- Твои бы слова, да так, чтобы в точку. Куда лучше.

- А вы, товарищ Пряхин, вроде как сомневаетесь в силе Красной Армии? Или к чему гнете? - сказал не принимавший до этого участия в разговоре Клевакин, и маленькие, глубоко посаженные глаза его настороженно сузились, как от яркого света.

- Верно, гну, - согласился Пряхин, с невозмутимым видом приминая обкуренным пальцем окурок «козьей ножки». - Гну к тому, чтобы парень понапрасну не расстраивался и не горевал.

- Это в каком смысле?

- А в таком, что беда, судя по всему, такая, что не обежит никого, на всех хватит. Дела серьезные, - продолжал Пряхин в раздумье. - Бои по всей границе. Если прикинуть, какой это фронт? Сколько их лезет, фашистов, на нашу землю и сколько нам надо сил, чтобы задержать. Мало задержать, разбить. Гитлер, прежде чем напасть на нас, чуть не полмира к рукам прибрал. И нелегко нам придется, нет, - боец покачал головой в хмурой задумчивости. - Хочешь не хочешь, а надо настраивать себя на большую войну, на очень большую. Я так полагаю.

Клевакин на этот раз промолчал. Разговор оборвался. Курили, поглядывали на пустынную опушку леса, исчерпав на время какие бы то ни было предположения.

- А все же, что с нарядом? Где они застряли? - не вытерпел Адамович. - И Камешек ушел - ни слуху, ни духу...

Адамович не договорил, на опушке леса показался человек. То, что это не Экштейн, все поняли сразу - слишком хорошо знакома была всем медленная, вразвалку, походка Христофора. А этот человек шел торопливо, чуть прихрамывая, опираясь на палку. Вскоре караульные узнали в нем шофера с полуторки и, не сговариваясь, подталкиваемые тревожным предчувствием беды, двинулись навстречу.

Красноармеец был без пилотки, с потным, исцарапанным в кровь злым лицом. Подойдя к ограде, он привалился плечом к столбу, молча, словно не замечая обращенных к нему вопросительных взглядов, провел рукавом по лицу, размазывая кровь. Потом отбросил от себя кривую, подобранную, наверное, где-то в лесу сучковатую палку, морщась от боли потрогал колено.

- Вернулись мы, - хрипло, как от простуды, произнес он с усилием. - Немцы там. Военфельдшер с вашим бойцом остались, - шофер махнул рукой в сторону леса и, почувствовав недоумение караульных, поспешил добавить: - Из сил выбились... Недалеко они... А я сюда, к вам. Чтобы помогли.

Шофер умолк, и все молчали, сбитые с толку его словами. Что-то уж чересчур невероятным, трудно уяснимым было: «Немцы там...».

- Что произошло, можешь рассказать? - тронул его за плечо Андрей.

- А что рассказывать? Мы к шоссе, а они прут, сволочи. С техникой. Орда ордой. Машину там оставил. - Парень в бессильной горечи закусил припухлые губы, сказал сердито и требовательно: - Вы давайте скорее посылайте за вашими... Раненый-то расписался совсем. Еще деваха, молодец, почти тащила на себе.

- Погоди, - перебил его Андрей. - Твоя фамилия?

- Зайцев я.

- Все ясно, Зайцев! Покажешь, где остался военфельдшер! - приказал, стараясь не выдать своих чувств, Андрей и, уже обратившись ко всем, помимо своей воли вкладывая в слова тревожный смысл, скомандовал:

- Караул, в ружье!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Здесь, в зарослях тальника над ручьем, вдоль которого лейтенант Култаев вел полувзвод на соединение с остальными бойцами, охранявшими склад, было до безмятежности тихо, почти уютно от зеленоватого предвечернего полумрака, но все помнили, что совсем рядом, на дороге, враг, и как только идущий впереди лейтенант Култаев с толстым от повязки плечом под пропотевшей гимнастеркой поднял предостерегающе руку, - бойцы остановились и залегли в кустах.

К ручью подкатила машина. Донеслась чужая речь. Лязгнула дверца кабины. На обочине шоссе показалась высокая фигура солдата с ведром в руках. С минуту он стоял, выбирая, как удобнее спуститься к ручью. Его о чем-то спросили из машины, немец весело ответил и, помахивая ведром, сбежал с насыпи.

Это был парень лет двадцати, сухопарый и долговязый. Насвистывая, как какой-нибудь беззаботный рыболов, подошел

к ручью, выбрал упор для ноги, попробовал, прочен ли. Оглянулся на всякий случай по сторонам, без особой опаски, явно довольный тем, что выпала возможность покинуть, пусть ненадолго, душную, накаленную солнцем кабину. Потом склонился, зачерпнул воды. Но как было оторваться, бежать к машине, если рядом бурлила вода, такая соблазнительно прохладная. И немец не устоял, отставил ведро, присел на корточки, черпая воду пригоршнями, напился, ополоснул лицо и потом, войдя во вкус, стал мочить голову и шею.

Бойцы, впервые видевшие врага на столь близком расстоянии, в напряженной тишине следили за ним. Султаев успел перехватить руку лежавшего рядом с ним младшего сержанта Аветисяна, нервно шарившего возле себя камень.

- Ударю. Я не промахнусь, товарищ лейтенант. Вот увидите. Гранату бросал хорошо, на сорок метров, сами знаете. Подползу по-пластунски, шлепну! - шептал сдавленным от волнения голосом с горячностью южанина командир отделения.

- Тихо, Аветисян!

- Не могу. Тошно смотреть, как он фашистскую морду макает в нашу воду. Поганит. Надо, чтобы он захлебнулся.

- Выдержка, младший сержант! Выдержку имей! И голову спрячь, демаскируешь себя повязкой. Смотри на врага - и это полезно, пригодится.

Между тем в машине, видно, обеспокоились долгим отсутствием водителя. Опять лязгнула дверца, донесся голос:

- Гельмут, во бист ду?[1]

Немец тряхнул мокрыми волосами, откликнулся весело:

- Их бин хир![2]

- Вас гибт эс дорт бей дир? Во бист ду ден дох?[3]

- Вассер! Герлихес вассер! Гебхафтес вассер, герр фельдфебель! Комм хир! Эс вирд дир них шаде зеин![4]

С минуту немцы перекликались. Тот, что стоял на дороге, по голосу - командир, колебался, не шел к ручью. Но призыв шофера уже возымел действие. Слышно было, как загремели борта, забухали сапоги о булыжник - солдаты соскакивали с машины. В следующий момент к речке с насыпи ринулась с гоготом толпа человек в пятнадцать, обгоняя и подталкивая друг друга, расстегивая на бегу кургузые френчи.

---

[1] Гельмут, где ты?

[2] Я здесь.

[3] Что там у тебя, где ты пропал?

[4] Вода! Чудесная вода! Живительная влага, господин фельдфебель. Идите сюда, не пожалеете.

Солдаты, дорвавшись до воды, возились и галдели, как в общественной бане. Сквозь хохот, фырканье, шлепки прорывались отдельные фразы:

- О, водичка прекрасная! Гельмут знает дело, заприметил удачное местечко для остановки!

- Он всегда умело примечает, что ему надо. Глаз наметан, как у настоящего завоевателя.

- А я, честно говоря, не предполагал, что в России есть такие очаровательные уголки. Вы посмотрите, какая зелень! А аромат! Когда мы пришибем большевиков и будем получать вознаграждение, я выхлопочу себе участок земли, подобный этому. Чтобы была река, лес, ну и, конечно, неподалеку дорога.

Ни лейтенант Култаев, ни бойцы ничего почти не поняли из этого разговора немцев.

Неизвестно, как случилось, но кто-то из бойцов не выдержал напряжения, шевельнулся, хрустнул набравшим во влажной почве соку травяным стеблем. И немцы уловили этот звук. Они сначала насторожились, потом кинулись к одежде. Хватали автоматы. Один, здоровый полуголый фашист, двинулся к кустам.

Лейтенант Култаев похолодел. Секунда - и перепуганный немец полоснет по ним очередью. Счет жизни Култаева и его бойцов шел на мгновенья. Как выиграть этот миг, возможно ли? И возможно ли дважды в один день?

Эх, если бы не плечо и не эта непослушность левой руки! Он все-таки сделал над собой отчаянное усилие, шагнул вперед, выхватив из кобуры пистолет. Но Вася Коржов опередил его. Как подброшенный пружиной, вскочил, кинулся на немца, повалил, прижал лицом к земле, стиснул на горле пальцы. Задыхаясь, тот все же успел издать вопль.

К зарослям кинулись остальные фашисты.

- Руссен! Хир зинд руссен![1]

Воздух дрогнул от автоматных очередей, посыпались срезанные пулями ветки.

- В лес! Быстро всем в лес! - крикнул Култаев.

Вася сорвал с поверженного немца автомат, торопливо передернул затвором. Не зря же в караульном взводе за ним закрепилось прозвище «мастеровой»: одного взгляда для него было достаточно, чтобы понять, как пользоваться трофейным

---

[1]Русские! Здесь русские!

автоматом. Из кустов, навстречу бежавшим немцам, хлестнула ответная очередь.

- Коржов, давай в лес! Немедленно! - потянул его за собой Култаев. Они побежали, преследуемые выстрелами, криками, цоканьем пуль по стволам деревьев. Вася, отстреливавшийся на бегу, вдруг приостановился, выпрямился, уронил автомат и пошел, запинаясь, забирая в сторону.

Култаев, оглянувшись, не узнал его: Вася весь побледнел, широкие, светлые, как ковыль, брови, обычно незаметные, отчетливо проступили на лбу.

- Ты что? - успел подхватить сержанта Култаев. - Надо уходить!

Тот вяло отмахнулся, закашлялся, хватаясь за грудь.

- Ранен? Держись, друг. Я тебе помогу, идем.

- Не надо, товарищ лейтенант. Все - с трудом выговорил Вася, и на губах у него запузырилась кровь.

А выстрелы продолжали греметь, но уже не приближались. Немцы не уходили от дороги.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Ночь медленно, будто нехотя, вступала в свои права. Солнце зашло, а небо над лесом горело и горело, не потухая, широкой багряной полосой. Сумерки прозрачными тенями висели в воздухе и словно не могли опуститься на землю. Зной не спадал. А может быть, так казалось от нервного напряжения, от беспокойных ожиданий, которыми жили все в карауле с того момента, как стало известно о появлении немцев?

Сомнений в том, что война пришла, уже не оставалось. И не только пришла, но и катилась дальше. Уханье пушек доносилось в тишине откуда-то уже издали. В любой момент немцы могли появиться и здесь, возле складов. Все в карауле это понимали и, сами не зная для чего, с нетерпением ожидали ночи, как будто ночь могла что-то изменить. Споры, предположения, различные доводы - все кончилось. Теперь каждый занимался своим делом.

Андрей Трубин приказал часовым занять окопы, выставил дополнительные посты, проинструктировал, в каком направлении и по какому сигналу открывать огонь. Сделал все, что полагалось по уставу на случай боя.

В силу обстоятельств Трубин превратился как бы в коменданта гарнизона, а территория склада в своего рода крепость, которую надо защищать. И он готовил ее к обороне.

Вот и пригодились патроны из неприкосновенного запаса в караульном помещении, которые он не без досады пересчитывал каждый раз при заступлении в наряд. И ручной пулемет, казавшийся лишним, поставили против ворот, нацелив на опушку леса, откуда вероятнее всего мог появиться враг.

Андрей уже понял серьезность положения, в котором оказался состав караула. Немцы рано или поздно узнают о складе и явятся, но когда, в каком количестве? Вот что хотелось знать.

Начиналась тревожная ночь. Пустовала курилка, не маячили фигуры часовых возле грибков, не сияли белыми звездами фонари на столбах по углам ограды. Лишь в окне конторы склада желтел огонек керосиновой лампы: это Рита устраивала санчасть. Феоктистову стало хуже, и она настояла на том, чтобы положить раненого в отдельном помещении.

В парном окопе напротив ворот возился возле ручного пулемета Ташаубаев. Из-за бруствера, заново поправленного и замаскированного травой, торчала его голова в линялой, нахлобученной до самых бровей пилотке. Ему как лучшему стрелку начальник караула доверил пулемет, и Касым, преисполненный чувства ответственности, наверное, в десятый раз принимался проверять прицел, диск, сошки.

За второго номера у него был шофер с полуторки, Зайцев. Парень, не перестававший переживать потерю автомашины, с угрюмой сосредоточенностью орудовал малой саперной лопатой, углубляя окоп. Его не было видно, только глухо звякала его лопатка о гальку. Оба занимались своим делом молча.

Шагах в десяти из одиночной ячейки торчала голова Адамовича. Он тоже наскоро поправил осыпавшийся окоп и теперь откровенно скучал, перебрасываясь изредка словами с Ташаубаевым, не очень-то склонным к разговорам. Наконец Адамович не выдержал, вылез из окопа и подполз к пулеметчикам, держа в зубах незажженную папиросу.

- Ты чего пришел, пост бросил? - покосился на него Ташаубаев, убирая торчавший на бруствере сухой стебелек.

- Вы все устраиваетесь. Не зимовать собрались? - заглянув в окоп, удивился Адамович. - Эй, шофер, хватит. Этак можно землю насквозь прорыть и на обратной стороне выбраться в Америке.

- Зачем пришел? Обстановка забыл? - повторил недовольно Ташаубаев.

- Да ты не хмурься, Касым. Береги нервы, - посоветовал Адамович. - В свой окоп я в два прыжка. Прикурить хочу, за огоньком приполз. Сколько терпно без курева.

- Нету спичек. Кто курит, у того спрашивай. Я не курю. Не знаешь?

- Извиняюсь, забыл.

- У меня есть спички. Возьми, - сказал, выпрямившись в окопе, Зайцев и протянул коробок.

- Вот спасибо, выручил. Прикурю и удалюсь, - пообещал Адамович с серьезным видом. Он чиркнул спичкой, затянулся дымом, но удаляться не спешил.

- Вы тут прямо-таки линию обороны сооружаете, - сказал Адамович, стараясь оттянуть время. - Смотри, Касым за пулеметом ухаживает, как за девушкой.

- Куришь - кури, болтай меньше. Понял? - Касым, помолчав, добавил: - Погода меняться будет. Ветер будет.

- Все переменится, - глухо произнес Зайцев, вправляя в мундштук большими потемневшими пальцами сломанную папиросу и стараясь не рассыпать табак. - Фашисты вон уже где...

- А повернуть их нельзя в обратную сторону? Фашист же из костей и мяса сделан и пулей пробивается не хуже любого. Слышишь, бухает? Где-то дают им прикурить, - возразил Адамович.

- Наши, наверное! Наш, гаубичный! - оживился, прислушиваясь, шофер. - Я же в артполку служил. В боепитании у младшего воентехника. Ранен он. Завернули мы в хату. Село там у дороги, перевязку сделали. Там он и остался. «Гони, говорит, с пакетом. Заявки в нем важные. На обратном пути меня захватишь». Вот тебе и захватил. Если бы знал, что так получится, не поехал бы, не бросил бы его. - Парень с досады поморщился.

- Не горюй, подождет тебя воентехник. Дадим фашистам под дых, и заберешь его. Прикуривай, - протягивая ему свою папиросу, мягко сказал Адамович. Шофер, волнуясь, долго тыкался кончиком папиросы, роняя пепел, чмокал, втягивая щеки с проступившей редкой щетиной.

- И машину жалко, - сказал он, наконец прикурив, - почти новая. Я же ее берег. Думаю, уходить буду - так чтобы без всяких замечаний и чтобы кому после меня ездить придется, не обижался. Мне же осенью домой, осталось всего каких-то два-три месяца. И вот, - Зайцев откинулся спиной на стенку

окопа, посмотрел куда-то далеко, на первую, чуть пробивавшуюся сквозь зарево вечернюю звездочку.

- А чего «вот»? - понимая состояние парня, осторожно переспросил Ташаубаев. - Мало разве два-три месяца? Война кончать будем - поедешь. Осень будет. Диск давай запасной, сюда клади, ближе! - вдруг прикрикнул он. - Зачем земле оставлял?

Шофер послушно переложил на бруствер протертый, воронено поблескивавший запасной диск, с надеждой глянул на своего сурового старшего.

- Думаешь, до осени, не больше?

- Осень, где она? Лето только начало. Десять раз можно прогнать фашиста.

- Нашел, в чем сомневаться. Явишься домой точно к сроку, будь уверен, - поддержал Ташаубаева и Адамович.

- Как приеду, - сказал, загораясь надеждой, шофер, - сразу на работу, на свой завод, место обещали за мной сохранить - на дизеле я там работал, на электростанции. Подзашибу малость деньжонок, и можно семейный вопрос решать.

- Касым, чуешь? - подмигнул Адамович. - Пахнет свадьбой. Можно рассчитывать на приглашение?

- Только бы домой попасть! - отозвался Зайцев. - Открою ворота перед всеми, заходи, кто хочет!

- Вот это верно! Но нас ты вызови заранее, до открытия ворот. Меня - дружкой, Касыма - поваром. Сготовит тебе такое блюдо, век не забудешь. С молодой женой ночевать останешься, а все будешь думать. Как это называется по-казахски: в котел целиком барана, голову - почетному гостю?

- Бесбармак, - подсказал Ташаубаев.

- Во-во, бесбармак. Не кушанье - объедение!

- У нас на свадьбу пельмени делают обязательно. И еще чтобы не из очень белой муки: сочни прочнее, чтобы сок не выливался, - сказал Зайцев и двинул щетинистым кадыком, глотая слюну.

- Бесбармак тоже должен быть. Мясо горячее, жирное, ум съешь!

- Ай, Федор, хвалишь, а сам ел бесбармак? - спросил Ташаубаев.

- Не ел, - согласился Адамович. - Но как говорится: сам не едал, зато дед видал, как другой едал. На твой опыт полагаюсь, Касым. А вообще, - Адамович чуть повернулся набок, потрогал с мечтательным видом живот, - съел бы я сейчас что угодно, не только мясо, но и подошву от старого сапога.

- Милжин[1] ты, болтаешь много, - поморщился Ташаубаев. - К себе в окоп иди. Чего пришел? Пустой разговор ведешь.

Ташаубаев готов был прогнать Адамовича на свое место, он уже сердито свел густые, будто сажей наведенные брови, но Зайцев, пристально смотревший через бруствер, схватил его за локоть, показывая взглядом на опушку леса.

- Смотрите...

Адамовича как ветром сдуло. Он ужом скользнул к своему окопу, решив, что шофер увидел немцев.

Но Ташаубаев, прильнувший было к пулемету, тут же убрал палец со спускового крючка. Зоркие, привыкшие к степным далям глаза вчерашнего пастуха в сумерках легко различили лошадь. Она стояла на опушке, слегка выдвинувшись из-за деревьев, потом шагнула и снова остановилась, вскинув голову и точно прислушиваясь.

Шофер и Ташаубаев, соревнуясь в зоркости, вглядывались в расплывчатую стену леса.

- Оседланная, что-ли, лошадь? Вроде стремя поблескивает. Как по-твоему? - сказал Зайцев, потирая уставшие от напряжения глаза.

- Как разглядишь? Далеко, - отозвался уклончиво Ташаубаев.

- Точно, седло. Ты смотри, что бы это могло значить?

- Кто знает...

- Чья же лошадь? Как думаешь?

- Чего думать? Мало ли лошадей. Давай беги, начальника караула вызывай, докладывать надо ему, - распорядился Ташаубаев.

Зайцев сбегал за Трубиным. Андрей тотчас же пришел.

Лошадь стояла, тихо позвякивая уздечкой. Очертания ее расплывались в сумраке.

- Какой приказ будет, товарищ старший сержант? - спросил Ташаубаев.

- Надо поймать, - сказал Андрей, - чьей бы она ни была. А то часовые примут в темноте за человека. Сумеешь поймать, Касым?

- Можно попробовать.

- Тогда крой!

- Есть! - с готовностью отозвался Ташаубаев и, подтянувшись на руках, легко перебросил через край окопа свое сухое мускулистое тело. Андрей занял его место у пулемета.

---

[1] Болтун (кит.).

- В случае чего, сразу назад!

- Есть!

Ташаубаев беззвучными шагами двинулся через поляну к опушке леса. Почуяв приближение человека, лошадь насторожилась, звяканье уздечки оборвалось.

Андрей следил сквозь паутину сумерек за тем, как боец приближается к лошади, и сам постепенно проникался волнением: мальчишкой в ночном сколько раз подкрадывался таким же образом к строптивым коням. Вот-вот Ташаубаев окажется рядом, схватит за уздечку. Кто-кто, а уж он-то, наверное, знал все тонкости обращения с лошадью.

Но, видно, Ташаубаев сделал что-то не так. Лошадь вдруг резко шарахнулась от него, побежала вдоль опушки. Ташаубаев погнался за ней, размахивая руками, гортанно гикая, пока не упал, оступившись в темноте. Лошадь же срезала дальний угол поляны и скрылась в лесу.

Андрей с трудом дождался возвращения караульного.

- Упустил? - сказал он, не скрывая досады.

- Да, - кивнул виновато Касым. - Совсем дикой лошадь. Не успел подходить - бежал. Не смог ловить.

- А что хоть за лошадь? Разглядел?

- Не знаю. Чужой какой-то. Может, паслась здесь. Жарко, в лесу пряталась.

Трубин уже было собрался уходить, но уклончивость в ответах Ташаубаева насторожила его. Андрей понял, что боец что-то недоговаривает. - Касым, ты не ушибся, случайно?

- Зачем ушибся? Нет. Падал не больно.

- А отчего настроение у тебя изменилось?

Ташаубаев отвел взгляд.

- Не хотел говорить, товарищ старший сержант, теперь скажу. Лошадь я сам прогнал.

- Как это?

- Руками махал, маленько крикнул, чтобы пугался.

- Но зачем?

- Думал, так надо. - Ташаубаев в затруднении провел ладонью по лицу, поднял на начальника караула полные тревоги глаза. - Лошадь - это Орлик, на котором наш лейтенант ездит.

- Орлик? - переспросил Андрей. - Ты не ошибся, Касым?

- Какой там ошибся? Рядом был. Он!

- Но лейтенант Култаев уехал вечером в лагеря. Откуда здесь мог появиться Орлик?

- Не знаю. Седло есть, все есть, повод оборван. В лесу, наверное, задевал. И шибко боится Орлик. Кто-то пугал его, так я думаю.

- Что же могло произойти, Касым? Лейтенант не мог отпустить лошадь.

- Не мог, - согласился Ташаубаев. - Лошадь языка нет, сказать не может. Как будешь знать? Думаю, плохое случилось...

- Неужели лейтенант... - Андрей не смог произнести слово «погиб». Закусив губы до боли, смотрел на серевшую во тьме расплывчатую полосу дороги, упиравшуюся в сумрачную и безмолвную стену леса. Лес... Кто-то из него еще появится?

- Неважные дела а, Касым? Что будем делать? Может, разведку послать, узнать, что в городке? Как считаешь?

- Надо, конечно. Ночь как раз... Посылай, командир.

- Могу сходить, если нужно, - с подчеркнутым равнодушием сказал Адамович.

- Вдвоем надо.

- Зайцева беру.

- Почему его, - удивился Андрей.

- Соображения такие. Во-первых, в состав караула не входит, значит, его отсутствие не скажется на несении службы. И второе, главное - на немцев злой. А я злых люблю, - все с той же напускной невозмутимостью и без улыбки объяснил Адамович, поглядывая при этом на командира.

Тот не возразил.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Среди немалого числа профессий, которые пришлось сменить на своем веку Адамовичу, была и профессия егеря. Эту должность в соседнем заповедно-охотничьем хозяйстве кто-то ему нахвалил тогда: сам себе хозяин, броди с ружьем, лови браконьеров да хищников уничтожай и получай премии.

Ни одного браконьера он не поймал, не получил и премии. А через два месяца не вытерпел, сбежал, испугавшись, как бы не разучиться говорить в лесном одиночестве. Но ориентироваться в лесу научился и теперь уверенно шел в темноте, легко угадывая направление. Зайцев, следовавший за ним, то и дело оступался, налетал на деревья, матерясь шепотом, а он, словно чутьем угадывал препятствия на пути, вовремя отводил от себя торчавшие пиками сучья. Помогало и сознание ответс-

твенности. Адамович прекрасно понимал: разведка - дело нешуточное.

Лес уже по-ночному затих. Выстланная толстым слоем хвои земля густо источала запах смолы и грибной прели, податливо пружинила под ногами. Приглушенно хрустели сухие шишки. Казалось, здесь был свой особый, погруженный в темень и безмолвие мир. Сомкнутые в тишине кроны сосен наглухо отгораживали землю от ночного неба, где и теперь зловеще гудели самолеты.

Адамович уже в который раз придержал шаг, проверяя направление. В спину ему слепо толкнулся Зайцев. Звякнули, ударившись один о другой, штыки.

- Что, дошли? А то я все лицо себе исцарапал о сучки.

- Глаза береги, пригодятся, - посоветовал Адамович, вглядываясь в темноту. - Двинулись. Не отставай и штык держи повыше: дырка в спине мне ни к чему.

Минут десять они шли гуськом в таком же непроглядном сумраке. Потом впереди просветлело. Тропинка, которую Адамович успел нащупать ногами, скатилась в низинку: пахнуло сыростью и укропом. Отсюда начинались огороды. Невысокий, увитый хмелем и шершавыми, как наждак, тыквенными плетями тын был рядом. Адамович положил на него руку, остановленный непривычной настораживающей тишиной. Местечко лежало впереди совершенно безмолвное, без единого огонька, как вымершее.

Никогда, даже в самый поздний ночной час, здесь не было такой тишины. Ни звуков радио возле клуба, ни песен, смеха девчат, ни пиликанья скрипок и звонких ударов бубна, в сопровождении которых молодежь до рассвета бродила летом по улицам. Псы и те примолкли. Ныли комары, да в отдалении, на шоссе, урчали глухо моторы. Пахло гарью.

Адамович все отчетливее различал этот горьковатый запах, успевший перебить запахи огорода. Нет, это был не знакомый дымок, что держался вечерами на окраинах местечка (жители почти все имели во дворах летние очаги-плиты с кирпичными белыми трубами, похожие на маленькие паровозы), а именно гарь, чадная смесь горелого кирпича и железа - запах пожарища.

Бойцы молча стояли рядом возле плетня, оба проникаясь одним общим тревожным сознанием опасности. Вот и все переменилось, стало по-другому, и не пойдешь теперь по улице, как еще вчера ходил, с песней. В городе - враг.

Зайцев, нарушив молчание, шлепнул себя по шее ладонью, прихлопнув присосавшегося комара.

- Куда мы сейчас?

- Идем.

Адамович поставил винтовку на боевой взвод, пристально всматриваясь в проступавшие за огородом строения: не ошибся, кажется, как раз то, что надо. Одной ногой он стал на плетень и спрыгнул в огород на картофельную ботву, уже смоченную росой. Подождал, пока перелезет через забор Зайцев, и осторожно двинулся между грядками, натыкаясь грудью на упругие головы подсолнухов.

Дойдя до забора, отделявшего огород от двора, Адамович просунул руку между штакетинами, откинул вертушку, державшую воротца, и ноги его ощутили твердость выложенной обломками кирпича дорожки. В окне, обращенном во двор, блеснул огонек и погас. Хриплым лаем залился пес, видимо, на ночь его заперли в амбар: лай пса доносился глухо, как из-под земли.

Оставив товарища за углом с наказом ждать, Адамович поднялся на невысокое крылечко, где на перилах у бабки Несенко обычно сушились опрокинутые кринки, нашарил сыромятный ремешок с узелком на конце. Стоило потянуть его внизу, и щеколда изнутри приподнималась. Но в этот раз дверь была, видимо, заложена еще и на засов. Адамович подергал безрезультатно за ремешок, потом постучал. Сначала ответа не было. Но после вторичного настойчивого стука в тишине за дверью прошлепали по земляному полу босые ребячьи ноги и мальчишечий голос из-за двери осторожно спросил:

- Хтось там?

- Федько, открой, - вполголоса попросил Адамович.

- А кто?

- Свой. Это я, тезка твой. Весной еще танк тебе из дерева вырубал. Помнишь?

- Помню, - не без колебания ответил мальчуган.

- Ну и отчиняй. Чего ты?

- Зараз.

Босые ноги зашлепали, удаляясь, но тут же вернулись, и за дверью стукнул поднятый засов.

- Здравствуй, Федько, - Адамович слегка привлек к себе мальчика. - Жив-здоров?

- Та, здоров. А это уж до нас Червона Армия вернулась, да, дядько Федор? - обрадованно и не совсем уверенно спросил мальчуган.

- Погоди, друг, все объясню. Давай-ка сперва двери прикроем, - уклончиво сказал Адамович, ступая через порог и шаря дверную скобку.

Мальчуган кинулся в хату.

- Бабушка, бачь, кто прийшел!

Адамович на минуту остался один в темных сенях, где так знакомо, по-деревенски благоухало полынными вениками и шалфеем, робко ступал, вытянув руки, боясь наткнуться на что-нибудь, уронить. Но вот впереди возник свет и раздался голос хозяйки:

- Где он там? Веди его сюда.

Бабка держала в руках зажженную лампу, маленькую жестяную лампочку, почти коптилку. Узенький язычок пламени подрагивал за стеклом с отбитым верхом, бросая вокруг призрачный, слабый, красноватый свет. В этом скудном освещении причудливыми казались и печь, с торчавшими из-за трубы рогачами, с квадратными печурками, где зимой так удобно сушить мокрые варежки, где лежат всегда под рукой спички, и шкаф с посудой, и божница в углу, тесно уставленная иконами. Темные лики святых в окладах из медной фольги шевелились, как живые, вытягивались и расплывались. И сама бабка при свете коптилки казалась еще выше ростом и суровее.

Она не проявила заметного удивления при виде красноармейца. Еще сдержаннее, чем обычно, кивнула в ответ на его приветствие, стояла невозмутимо, подкручивая темной, узловатой старушечьей рукой фитилек в лампе. И только, как показалось Адамовичу, неодобрительно скользнула взглядом по его одежде. Он вспомнил, какой чистотой блистала всегда изба бабки Несенко, и ему стадо неловко за измазанные землей сапоги и мокрые брюки.

- Я на минутку, - сказал Адамович тоном извинения, поспешно одной рукой одергивая выбившуюся из-под ремня гимнастерку. - Мне только напиться.

- Федько, воды, - кивнула внуку старуха. Мальчик кинулся в сенцы и вернулся с жестяным полным ковшиком, плеская в поспешности воду себе на босые ноги.

- От, пожалуйста, пейте.

Ковш был тот самый, что бабка вешала для них на плетне, когда они по пути в караул останавливались возле колодца. Адамович, взяв его в руки, вдруг почувствовал в себе странную тяжесть. Стало неловко и больно от мысли, что вот сидят тут при коптилке старуха и малец рядом с врагом, брошенные

и беззащитные, а они, два здоровых парня с винтовками, крадутся по огородам, просят у них пить.

Адамович поднес к губам железную кромку ковшика, долго цедил воду, не ощущая, холодная она или теплая, пока всю не выпил. Бабка придвинула ему табуретку.

- Садись.

- Спасибо. Я на минуту. Пойду дальше, - пробормотал он, поставив на уголок кухонного стола пустой ковшик.

- Сидай, - властно повторила старуха.

Адамович подчинился. Мальчик, придвинувшись к нему, неотрывно смотрел на винтовку, даже позволил себе дотронуться пальцем до вороненой грани штыка.

- Дядько Федор, а у нимцев не такая рушница. Маленька. И штыка немае. А без штыка ж хуже, правда?

- Хуже, - кивнул Адамович.

- А ну-ка, геть отсюда! Не лезь, - отогнала внука старуха. - Ты один здесь или еще кто есть с тобой? - спросила она с суровой требовательностью красноармейца.

- Мы вдвоем, - сказал Адамович. - Товарищ на улице остался.

- А остальные?

- На месте, как обычно.

- На месте. Где ж оно, ваше место теперь? - брови на суровом лице старухи печально сошлись.

- Службу несем, как всегда. А это - разведка, - поспешил уточнить Адамович. - Обстановку разведуем, бабушка.

- Разведуете, - недовольно повторила старуха. - А чего ж ее разведовать, если кругом германец, чтоб ему сказиться!

- Немцев здесь много? Вы видели? - чуть оживился Адамович, постепенно обретая смелость под суровым бабкиным взглядом.

- А чтоб их не видеть и не слышать, гатов окаянных!

- И я их бачил, дядько Федор, - поспешил вставить свое слово мальчик. - Они вот тут и шли, по нашей улице. Аж стекла трусились, такой был грохот от танков да всяких машин. Большие у них машины, страхолюдные, а на танках белые кресты намалеваны.

- Та перестань, от щебетун, - цикнула на него бабка. - Нашел о чем... Диво ему, какие машины да танки. А они, може, все против твоего дядьки направлены. Горе да слезы людям несут, щоб им провалиться скрозь землю. Ото ж, изверги: дома попалили, людей пообижали, а сколько птицы да собак постреляли

- тому и счета нет. Ох, лихо, лихо, - бабка вздохнула горестно. - Думалось, что та война, когда кайзер здесь был да Петлюра, - последняя. А оно опять же все знова.

- Дядько Федор, а фашисты и в нашего Тузика стреляли, - не вытерпел опять мальчуган, воспользовавшись паузой. - Остановились у колодца воды набрать, а он гавкает, бачит, чужие - и прямо к ним. Вы ж знаете, какой он злючий. А тогда немец в него выстрелил. Я его запомнил, рудый такой и без рубашки. Только промазал.

- А вин про собаку. Що це за дитына! Геть отсюда, - сердито перебила внука бабка. -Ты ж богу моли, что самого не подстрелили. И подстрелят, колы будешь мотаться по улице.

- А наших тут не было, случайно? Не показывался кто-нибудь? - поинтересовался осторожно Адамович после того, как выслушал рассказ бабки о хозяйничанье немцев в местечке.

- Ваших? - старуха испытующе посмотрела на него, будто не решаясь сразу ответить, кивнула. - Пойдем-ка. Федько, слушай тут. - Она поправила занавеску, закрывавшую окошко, плотнее прикрыла филенчатую дверь в горницу и, жестом пригласив бойца следовать за собой, с лампой в руках направилась в сени.

Адамович покорно шагнул за бабкой, звякнув прикладом о низкий порожек. Здесь было что-то вроде домашнего склада. Адамович успел заметить старый кожух, висевший у входа, узелок с семенами, подвязанный к потолку, какие-то склянки на маленьком окошке без рамы, потом взгляд его остановился на топчане, где, разметав руки, укрытый лоскутным стеганым одеялом, лежал человек.

Адамович оцепенел от неожиданности. Он узнал своего соседа по казарме ефрейтора Михеева, назначенного во внутренний наряд дневальным. Протянул руку, намереваясь тронуть ефрейтора, но бабка удержала его.

- Не надо, не тревожь. Все одно не услышит, без памяти он. Крови вытекло много. Намучился, спаси его господи. - Бабка скупо перекрестилась, стала поправлять съехавшую с топчана подушку. Желтое пламя коптилки освещало лоб и щеки раненого, покрытые крупными каплями пота.

Бабка поправила постель и выпрямилась. Это был сигнал выйти. Адамович подчинился, молча нагнул голову под низкой притолокой. На кухне, не ожидая приглашения, опустился на табурет и выслушал краткий рассказ старухи о том, как она

подобрала раненого на улице и вдвоем с внуком огородами перетащила в хату.

- Хоронились, щоб дед Поплавский не высмотрел. То же такой злодеюка - всем разболтает да еще и до нимцев сбегает, не погнушается. Он и так уже успел показать, у кого жены командиров жилы. Да и на меня грозился.

- Мы по кукурузе волокли вашего бойца. У нас кукуруза высоченная. Бабка за плечи, а я за ноги. А потом на рядно поклали, щоб не так тяжело, - вставил Федько и опасливо глянул на бабку: не заругалась бы опять. Но бабка на этот раз не прикрикнула на внука, как будто и не заметила его вовсе, стала рассказывать:

- Куда-то добраться хотел он, може до вас, где вы там, все повторял в беспамятстве какой-то «караул, караул». А полз, должно быть, оттуда, где казарма. Там и поранен...

Бабка горестно покачала головой, поднесла кончик платка к сухим суровым глазам. Адамович тяжело поднялся с табуретки.

- Ну что ж. Мы, наверное, возьмем его. На обратном пути. Чтобы вам тут... - начал Адамович и осекся под неодобрительным взглядом старухи.

- Куда возьмете? Человек в беспамятстве. Нет, - отрезала бабка. - Ступайте, куда пошли. Пусть он тут останется. Выходим, даст бог. Не я, так люди помогут. Ступай.

Ни разу в жизни Адамович так еще скверно себя не чувствовал. Надо было уходить, ждал товарищ на улице, но ноги не двигались с места. Взводный остряк и балагур, тяготившийся и минутой молчания, впервые не знал, что сказать.

- Наши скоро вернутся. Недолго тут хозяйничать гадам всяким, - произнес он незнакомым хриплым голосом.

Бабка Несенко никогда и никого из них, сколько бы они ни наведывались к ней, не оставляла без того чтобы не усадить за стол и не накормить, как бы кто ни отказывался и ни ссылался на сытость. И теперь она, хотя и не стала приглашать бойца к столу, но зная, что кусок ему пригодится, быстро что-то завернула в тряпицу и уже у выхода сунула в руки.

Адамович был благодарен этой старой женщине, ему захотелось сказать ей что-то хорошее, сделать все, что от него зависит как от солдата. Но он не решался и только в темноте притянул к себе голову мальчугана.

- Пока, Федько. Держись молодцом. Скоро встретимся.

Во дворе заждавшийся Зайцев встретил его с облегчением.

- Ты чего там долго? Я уж хотел стучать. Узнал что-нибудь?

- Узнал. Возьми, - Адамович сунул ему узелок.

- Что это?

- Хлеб. Ешь.

- А ты?

- Держи, говорю, - досадливо повторил Адамович. Есть ему уже не хотелось. Сейчас он не смог бы проглотить и куска. - Тут все спокойно?

- Тихо. Собака ворчала, правда. Чует чужого.

- Слушай, как тебя по имени? Не познакомились как следует...

- Филипп.

- Слушай, Филипп, ты своего начальника-воентехника уважаешь?

- Я же говорил, нога прострелена, а он не застонал ни разу.

- Пошли, «чокнемся» с господами арийцами за его здоровье, - сказал Адамович, трогая оттягивающее карман рубчатое тело гранаты, которую он на всякий случай прихватил с собой в караульном помещении.

Не без пользы, видно, правдами и неправдами добывал бывший танкист у старшины взвода увольнительные. За полтора года Адамович основательно изучил местечко с его кривыми полудеревенскими улочками. Пригодилось знание самых кратких тропок к военному городку, по которым он частенько бегал, оказываясь в жесточайшем цейтноте при возвращении в казарму после очередного свидания с подружкой.

По глухим проулкам и огородам вывел он своего спутника в нужное место. Он ни разу не остановился, не перевел дыхания, пока перед ним из сумрака не выступил дощатый высокий забор. Тут Адамович прилег, поджидая отставшего товарища, прислушался. Ночную тишину по-прежнему нарушало лишь далекое урчание автомашин да комариное нытье. Откуда-то из-за плетней донесся звук патефона и тут же оборвался. Кто-то, видимо, распахнул окно и снова захлопнул. Нет, не все вымерло в местечке. Где-то и веселились, наверняка немцы.

Подтянулся Зайцев и тоже опустился на землю, тяжело дыша. Пожаловался:

- Ну, с тобой ходить. Шпаришь галопом. Далеко еще?

- Все. Явились по адресу.

- Что это за ограда?

- Потише. Наша часть.

- Думаешь, немцы здесь?

- А вот увидим.

Адамович протянул руку, на ощупь попробовал крепость досок. И здесь пригодился опыт. Один из шершавых толстых горбылей подался. Адамович отвел его в сторону, просунул в образовавшуюся щель голову, опять прислушался и бесшумно скользнул за ограду. Филипп последовал за ним.

Здесь был хоздвор и спортплощадка. Вечерами, перед отбоем, бойцы делали тут разминку: крутились на турнике, ходили, балансируя, по параллельному брусу, пробовали с шутками взобраться на столб, отполированный сотнями ладоней. Вчера в это время все еще так было. И, наверное, до самой команды старшины «спать!» - гоняли волейбольный мяч, тренируясь перед соревнованиями. Соревнования... Состоялись ли они? Где все остальные из взвода?

Чувство ноющей боли, возникшее еще там, в чулане у бабки Несенко, вернулось к Адамовичу, подступило комом к горлу. Он сквозь зубы выругался, растянул расстегнутый на все пуговицы ворот гимнастерки. Зайцев чуть тронул его за плечо:

- Что это?

Оба прислушались. В темноте неподалеку кто-то словно забавлялся спортивной сиреной, извлекая дребезжащие разнотонные звуки.

- Играют на чем-то? - спросил Зайцев.

- Нашел о чем. Пошли! - сердито скомандовал Адамович и, вскинув винтовку, шагнул в глубину двора. Тут он мог двигаться и с завязанными глазами. Сразу же за спортплощадкой - артиллерийский парк, просторный под крышей из дранки сарай, где в жаркую погоду так удобно на асфальтовой дорожке заниматься строевой подготовкой, «давать ногу». Рядом - гараж с неистребимым запахом бензина. Дальше подряд шли строения вещевого склада, гауптвахты, санчасти. Все вместе они образовывали тыловую сторону главного двора с плацем посредине.

Но, еще обходя гараж, Адамович почувствовал впереди непривычную пустоту. Запах гари, становившийся с каждым шагом сильнее, тут пахнул в лицо особенно резко. Остановленный тревожной опустелостью пожарища Адамович прислонился к углу с минутной непреодолимой тяжестью в ногах. Ни склада, ни санчасти, ни помещения гауптвахты не было. Только силуэт двухэтажной казармы за темным пустым плацем смутно проступал на фоне ночного неба.

Адамович бездумно, без всякого любопытства, склонившись, поднял из-под ног один из предметов. Это была склянка из аптечки санчасти, оплавившаяся в огне, но все еще хранившая запах лекарства.

- Ясно, - тихо выговорил он привязавшееся к нему слово и бережно положил склянку на место. Поднял полуобгоревшую свернутую белую нижнюю красноармейскую рубашку, какие стопками хранились на вещевом складе у Якутова. Он хотел что-то еще подобрать из того, что было разметано пожаром по двору, но Зайцев, обеспокоенный задержкой, тронул его сзади.

- Ты чего прирос?

- Ясно, - повторил опять сквозь стиснутые зубы Адамович, словно опомнившись. - Все ясно. Двинули. Держись за мной.

Они еще помедлили с минуту, прислушиваясь к снова доносившимся звукам. Кто-то теперь уже совсем близко выводил в темноте незнакомую мелодию.

- Так это же губная гармошка! - догадался наконец Зайцев. - У нас рядом немецкое село, там сплошь у всех такие гармошки. Даже на свадьбах играют.

В городке были немцы, сомневаться не приходилось.

Они миновали перебежкой пространство за гаражом и оказались в березовой рощице, возле столовой, уцелевшей от огня. Залегли, прячась за шершавые стволы деревьев. Дальше пробираться было некуда. Их и здесь могли в любой момент обнаружить, стоило посветить лучом фонарика. Но об опасности ни тот, ни другой не думал. Чувство торжества овладело Адамовичем: подобрался-таки к врагу. Сумел.

А немцы были рядом. Посреди двора смутно различались какие-то машины, пахло соляркой. Где-то звякал металл. - Судя по звуку, водитель завинчивал гайки. Метнулся по земле свет переносной электролампы. Шаги часового! Он шел от столовой, пересекая двор, медленно, спокойно: шаг и остановка, потом опять шаг. Шаркали подошвы. Под ногами у часового хрустнуло валявшееся на земле стекло.

Адамович с заколотившимся сердцем торопливо вытер о траву влажную ладонь, в которой сжимал гранату. Чуть слышно, почти не разжимая губ, шепнул Зайцеву:

- Различаешь часового? Бей по нему. - И сам приподнялся, весь напружинившись, отвел правую руку назад.

...Отходили они тем же задним двором, прячась за строения, штабеля дров, преследуемые трескотней выстрелов, криками.

Стрельба поднялась и в других местах, где были расположившиеся на ночь немцы. Небо прочерчивали разноцветные, будто догонявшие друг друга строчки трассирующих пуль, взлетали, обливая землю мертвенно-белым светом, ракеты. А позади, в городке, багрово вспыхивало зарево. Горели автомашины и бревенчатая, высушенная временем казарма, метались тени.

И в зыбком свете, уже выбравшись из городка, лежа в каком-то заросшем проулке, едва успев перемахнуть плетень, Адамович вдруг обнаружил возле себя человека, тоже припавшего к земле. Он был не то в платке, не то перебинтован. Не зная, за кого его принять, Адамович, не успевший после перебежки перевести дыхание, хотел было подмять его под себя, но его остановил до странности знакомый голос.

- Не скоро, не надо так быстро, дорогой! Зачем спешить?

Это был младший сержант Аветисян.

- Вы шуму наделали? Молодцы! Хороший шум! Замечательно! - похвалил он, не дав Адамовичу выразить своего удивления встречей. - Пусть фашисты не думают, что могут спать на нашей земле спокойно. Не будут спокойно спать! Не удастся!

- А ты, ты откуда здесь? Каким образом? - перебил в нетерпении Адамович, запаленно дыша.

- Пришел в разведку. Только не сумел фашистам подбросить горяченького. Не смог, - пожалел Аветисян. - Мало того, один остался. Старший сержант Якутов пропал. Куда девался, не знаю.

- А наши, наши? Где они? - обрадовался Адамович.

- Там... И лейтенант Култаев тоже.

- Лейтенант? Откуда?

- Сам увидишь, - пообещал коротко командир отделения. - Концерт кончился, пойдем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

А ночные звуки были такими как всегда, словно ничего не изменилось в мире. Пробулькал и смолк перепел, дожидаясь ответа подруги. Далеко на болоте почти с одинаковыми паузами квакали лягушки. Позванивали цепью на блоке караульные собаки, звенели комары. Прокаленная за день солнцем земля отдавала тепло, как хорошо натопленная печь, пахло лесом и росой.

Андрей шел по территории склада. Было темно, как бывает только в начале безлунной ночи, летом. Редкие звезды прокалывали черное небо голубоватыми иглами.

Из темноты выросла фигура часового, под тяжестью шагов хрустнул песок дорожки. Басовитое покашливание. Тугаринов!

- Почему не окликаешь? - спросил, остановившись, Андрей.

- Да ясно и так, кто идет.

- Полагаться на одну интуицию для часового мало.

Сделать бы замечания в более резкой форме, за нарушение уставного правила, но Андрею не хотелось. И он уже не обнаружил в себе чувства недавней неприязни к этому угрюмому здоровяку. Его дисциплинарные проступки, товарищеский суд, обсуждение Тугаринова на комсомольском собрании - все это отодвинулось в прошлое, потеряло значение. Андрей почувствовал какую-то незнакомую товарищескую близость к часовому и, поддавшись настроению, не по-уставному, просто спросил:

- Как дела?

- Порядок.

- Ну ладно.

Он ограничился этим кратким диалогом и направился дальше. Да и что было говорить: все, что нужно, сказано. Андрей второй раз за вечер обходил посты. В ходьбе, в коротких разговорах с часовыми отвлекался, гнал от себя тревожное беспокойство.

Следующий часовой Пряхин. Он окликнул начальника караула вполголоса, и тотчас расплывчатая фигура его возникла из окопа перед грибком. Пряхин сам, не дожидаясь вопроса, доложил, что на посту без происшествий.

- Темно, - пожаловался он. - Но я приловчился глядеть понизу, в створ вон той светлой каемки на небе, так вроде получше различается.

Оба, часовой и проверяющий, остановились рядом, вглядываясь в ночной сумрак.

- Не спится, старший сержант? - сочувственно спросил Пряхин.

- Не спится, - согласился Андрей.

- Да-а, ночь. Не улежать, не усидеть. Вся страна не спит, пожалуй.

Пряхин приставил к ноге винтовку. Чуть звякнул угодивший на камушек приклад. В голосе часового слышалась тревога.

Андрей отвел напряженный взгляд, вспомнил бродившую где-то сейчас по лесу лошадь командира взвода и помрачнел. Ему захотелось поговорить, поделиться своей тревогой и почему-то именно с этим спокойным, на вид даже замкнутым человеком, стоявшим рядом с винтовкой у плеча. По часовой есть часовой.

Андрей промолчал, прислушиваясь к тягучему далекому жужжанию, возникшему в ночном небе. Где-то невидимый в вышине плыл самолет. Чей он, свой или вражеский, - не разобрать. Может быть, это разведчик, наш краснозвездный, которому и в голову не придет, что где-то среди темной массы лесов остался военный склад и в нем караул - полтора десятка людей со своими заботами, неизвестностью, тревожным ожиданием завтрашнего дня.

Молча Андрей проводил звук, растаявший вдалеке.

- Немец, однако, плутает. По прерывистому гулу можно различить, - сказал Пряхин. Он тоже прислушивался к жужжанию, хотя и не поднимал головы.

Постояли еще с минуту молча, оба, наверное, думая об одном и том же.

Трубин, нарушив затянувшуюся паузу, возвратился к официальному тону:

- Продолжайте нести службу. В случае чего, дайте сразу знать.

Все это можно было и не повторять, тем более Пряхину, но он сказал. И Пряхин коротко ответил:

- Есть!

Потом чуть отступил, хрустнув песком, и будто растворился в темноте. Это он спрыгнул в окоп, занял свое место, чтобы «глядеть понизу». От этой неторопливой спокойной четкости в действиях часового Андрей и сам невольно как-то успокоился и, козырнув, отошел довольный.

Стежка привела Андрея к пожарке. Возле расплывчатой в темноте квадратной бревенчатой будки стоял и сам пожарный. Андрей разглядел во тьме младшего сержанта, недовольно поморщился. Клевакин, оставленный в караульном помещении, в резерве, видно, поджидал его.

- В чем дело, младший сержант, почему не на месте, что-нибудь случилось?

- Поговорить надо, - уклончиво произнес Клевакин, не сходя с тропинки. - Один на один. А то у нас как на общем собрании: слова для себя не дождешься.

Андрей нехотя остановился возле свежевыкрашенных и развешанных снаружи на стене пожарки ведер и прочего пожарного инвентаря. Из открытых дверей сквозило приятным холодком от большого, в центре будки, колодца. Днем, в жару, не было лучше места, чтобы посидеть здесь на свернутых в калачи брезентовых шлангах, ощущая под ногами прохладу бетонного пола.

- Что за разговор? - спросил он с плохо скрытым нетерпением и высвободил из-под обшлага гимнастерки циферблат часов. - Только покороче.

- Я еще не сказал ничего, а ты торопишь, - обиделся Клевакин. - По-моему, мы тут двое из младших командиров и можно для пользы дела выбрать минуту, чтобы поговорить, учитывая серьезность обстановки, а не избегать друг друга.

- Говорили об обстановке уже.

- А с кем? Игнорируешь младших командиров, товарищ Трубин. И зря. Между прочим, и результат уже налицо.

- Какой результат?

- Насчет немца я тебя предупреждал. Ты не посчитался. Так же и с Феоктистовым.

- Значит, новое предупреждение?

- Напрасно посмеиваешься, старший сержант. Сейчас не до шуток, и я к тебе с серьезным делом. Надо обсудить обстановку, в которой мы оказались. Считаешь, что все ясно?

- Вернется разведка, будет яснее.

- А вернется ли?

- Не все же погибают.

- Дело не в гибели. Пошел кто, Адамович? Так вот, будем мы его тут ждать, как в сказке у Пушкина, - тридцать лет и три года, и не дождемся.

- Почему?

- А кто такой Адамович, ты знаешь? - Клевакин понизил голос, и лицо его приблизилось к Андрею.

- Что я должен знать?

- В том-то и дело, что мы плохо людей знаем. Балагур. Поддевает каждого, между прочим, и комсостав. А у самого привод был.

- Какой привод?

- Обыкновенный, в милицию. А может, еще что и посерьезнее. Не случайно из танковой части отчислили. Говорят, по состоянию здоровья. А кто проверял? Из одной части в другую за будь здоров не переводят. Причина есть, не иначе.

Клевакин не скрывал торжества. «Удивлен, товарищ начальник караула? Удивляйся. Думаешь, если в институте учился, так все и видишь? Другие видят кое-что получше тебя».

Лицо пожарного, всегда налитое краснотой, почему-то казалось в темноте Андрею светлым пятном.

- Слушай, Клевакин, - сказал Андрей, сдерживая досаду, - ты о ком-нибудь думаешь хорошо хоть изредка, без задней мысли, сознайся. Мне кажется, что нет.

- О ком надо, думаю. И жалко, что товарищ Трубин не хочет прислушиваться к товарищеским советам. Бдительность, между прочим, не отменяется, несмотря на то, что война. И я опять об Адамовиче. В разведку он сам напросился - это раз. А с собой взял кого? Постороннего человека. Кто этот шофер, мы знаем? Один раз видели, только и всего. К тому же доверили боевую винтовку.

- Ну и какой из всего этого вывод?

- Ты будущий политрук и должен лучше меня знать, что самое главное у нас люди. Людей растеряешь, придется отвечать. Тут мозгами надо ворочать. И я хотел тебе помочь, ради тебя, если уж на то пошло. Чтобы дров не наломал. Не хочешь, как хочешь, думай один. Только учти, ночь короткая. Покой и тишина до утра, а там неизвестно, что будет. Можно и не успеть...

Андрей поправил ремень, оттянутый кобурой с пистолетом.

- Ну, все. Идите на свое место, товарищ младший сержант!

Андрей обошел пожарку. Тропинка теперь взбежала на взгорок. Росная свежесть низинки сменилась душной теплотой. С болот опять донесся лягушачий хор. Андрей мысленно повторил слова Клевакина: «Думай один... Ночь короткая...». Вот человек, после каждого разговора с ним - одна досада. И все-таки что хотел он сказать: не ради же Адамовича только завел речь?

«Ночь короткая... Можно не успеть». К чему пожарный клонил?

Навязчивые, словно застрявшие в голове, вопросы не отставали. Андрей пересек двор и мимо караульного помещения направился к воротам. Его остановил голос Ташаубаева:

- Вы, товарищ старший сержант?

- Я. У тебя тихо?

- Тихо, все время слушаю.

- Почему в окопе? Вылазь, отдыхай.

- Ничего. Тут лучше, не жарко. Сам почему не отдыхаешь? Если все порядок, начальник караула может отдыхать.

Андрей, подчиняясь нахлынувшей вдруг усталости, прилег на теплую землю возле бруствера.

- Погоди, товарищ старший сержант, шинель дам. Ташаубаев вытащил из окопа шинель, бросил Андрею.

- Бери. Как говорит Адамович: «Шинель есть - полный порядок танковой части».

«И этот об Адамовиче думает», - отметил Андрей, и мысли его вернулись к разговору с Клевакиным.

- Иди и ты сюда, - сказал он, вытягивая из-под себя полу шинели. - Места хватит.

- Оно да, конечно, - согласился Ташаубаев и, выбравшись из окопа, лег рядом. Помолчали.

- Настроение как, Касым?

- Ничего настроение, товарищ старший сержант.

- О чем думаешь?

- Всякое. Ночь, тихо. Что делать: думай.

- А все-таки?

- Война, думать надо, чтобы на посту порядок.

- О доме думал?

- Да, конечно. Женатый всегда так: жена, ребенок в голове. Семью рано заводил, торопился. Боялся девушек не хватит, - Ташаубаев белозубо улыбнулся и погасил улыбку. - Шолпан думал, не спит, может, забота какая, - сказал он, вздохнув. - Отец думал, вспомнил, как скот меня пасти учил. Кто такой, говорит, пастух - знаешь? Ты школу ходишь, учитель науку тебе дает. Скот пасти тоже наука. Учиться надо, головой работать надо. Случай такой был летом. Встали утром рано с отцом табун вместе гнать. Что такое? Отец всегда быстро собирался, хоть и старик: я глаза только открою, а он уже одетый. А тут не торопится. Потом говорит: «Эх, худой стал ум: забыл вечером сапог починять, подметку прибивать. Боюсь, совсем отвалится». Оставайся, говорю. Один пасти буду. Правильно, сынок, останусь, говорит, прибью подметку. Двор мал-мал приберу, давно не прибирал. Вечером приду. Хитрый старик, меня так решил проверять, как один справлюсь с табуном. Не знал я, что старик думал, пасу один. Все хорошо. До вечера сам хозяин. Купаться можно, играть можно. Полдня не прошло, отец идет, торопится. Испугался я, навстречу бегу: «Ата, что случилось, говорил, до вечера будешь дома, рано пришел». Все, говорит, сделал: сапог ремонтировал, двор убирал. Без дела

зачем сидеть? И сам спрашивает, хорошо ли скот пасу, гонял ли водопой. Обошел табун, все посмотрел, успокоился. Сюда пригнал лошадь - правильно сделал, говорит. Утром в низине роса, трава для скотины все равно что человеку свежий хлеб. Поить погонишь, на солонцах подержи. После соленого корова хорошо будет пить, молока даст больше. Вечером опять выбирай место, где трава сочная, чтобы жажды ночью не было. Такой старик, - Ташаубаев, захваченный воспоминаниями, задумчиво улыбнулся, покачал головой. - Теперь он совсем старый, восемьдесят лет, больше. Все равно пасет. Шолпан ему помогает. Когда в армию меня провожал, говорил: «Пастух ты хороший, чтобы и аскером таким был». Так он говорил.

Ташаубаев надел пилотку, долго поправлял ее, видно унесенный в мыслях далеко домой, в свой степной аул Каратал, через войну и залитые ночной темью пространства. Потом вздохнул. Заговорил. В голосе у него послышалось смущение:

- Вот, товарищ сержант, как бывает, аул далеко, а кажется близко. И война... Здесь, а как будто рядом с моим аулом...

- Да, - отозвался Трубин, тоже думая о доме. И ему казалось, что его родной Синегорск странно придвинулся к нему, к войне.

Они опять помолчали, лежа рядом на одной шинели, под опрокинутым над головой тревожным ночным небом, касаясь плечом друг друга. Пыли комары, надоедливо жгли укусами.

- Слушай, Касым, а в степи у нас, по-моему, комаров меньше. Как думаешь? - сказал Андрей, глядя в темноту за окопом.

- Меньше. В степи ветер, комар ветер не любит.

Они переговаривались вполголоса. Было очень тихо. Угомонились перепела. Умолкли лягушки. Кольцо на блоке сторожевых собак позвякивало чуть слышно - дзинь-дзинь, как будто катилась монета, пущенная по камням.

И вдруг в тишине ухнул взрыв, приглушенный расстоянием. И сразу там же за лесом, словно застучали палками наперебой. Частые, едва различимые хлопки мешались с редкими, более отчетливыми. И, вторя этому далекому перестуку, возобновили, как по команде, свой прерванный концерт болотные музыканты-лягушки, загоготали, защелкали.

С минуту словно продолжалось соревнование. Лягушачий гвалт в отдельные моменты заглушал остальные звуки, но потом перестук за лесом снова делался слышным. Это была стрельба. Андрей и Ташаубаев в напряженном молчании вгля-

дывались в тревожную ночь. Быть может, и думали оба об одном и том же.

Первыми умолкли лягушки. Следом стали стихать и выстрелы.

Андрей с трудом высвободил из-под себя локоть, затекший от неудобного положения.

- Война, Касым?

- Война, - подтвердил тихо Ташаубаев. Они повернулись на шинели, задев друг друга плечом. Андрей тронул Ташаубаева рукой.

- Вопрос есть. Ответишь?

- Конечно.

- Устав караульной службы знаешь?

- Сам говорил, знаю. Может, не совсем знаю, как сказать?

- Скажи, если погиб разводящий и начальник караула, то часовой как должен поступать? Может, пост бросить?

- Зачем бросить? Нет. Стоять должен. Пост уходить не имеет права.

- Правильно. Знаешь устав.

- А ты почему такой вопрос задаешь?

- Для сравнения, Касым. И для пользы. Повторенье - мать ученья.

- Беспокоился о чем-нибудь?

- Беспокоился и думал. О нашем наряде думал. Ночь короткая.

- Да, конечно.

- Оставайся, - Андрей нащупал опору для руки, готовясь встать.

- Куда пойдешь? - поинтересовался Ташаубаев.

- Похожу. К Уляшеву надо заглянуть.

- Рита, военфельдшер зайдешь? - спросил внезапно боец.

Только темнота спасла Андрея, скрыла его смущение. Ташаубаев словно прочитал его намерение. К Рите он именно и хотел зайти, больше того, весь вечер жил этой мыслью. Так и рассчитывал: проверить посты, а потом сделать крюк по пути к конторе, чтобы никто не видел. А теперь, если уж идти, то напрямик.

Смущение сменилось мгновенной досадой на земляка: разгадал, от такого ничего не спрячешь.

- Придется зайти, - сказал он, как мог равнодушнее.

- Надо заходить, обязательно, - посоветовал Ташаубаев. - Как же, больной там. Может, помощь нужно. Узнавать надо.

«Хитер, - подумал Андрей, - хитер Касым, на что бьет».

Теперь он почувствовал невольную благодарность к нему. В самом деле, начальник караула обязан знать, как чувствует себя раненый боец.

Трубин готов был вскочить, побежать к домику. Но сдержал себя.

И только сердце ему не подчинялось, застучало, заполнило грудь восторженным звоном.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Рита не спала. Слишком велико было потрясение, чтобы можно было спокойно лечь и уснуть. Только какое-то действие, физические усилия могли отвлечь от всего, что произошло за день. Завесив окно для маскировки одеялом, при свете керосиновой лампы наводила «медицинский» порядок в помещении.

Тесная, насквозь прокуренная контора склада вряд ли подвергалась за все время существования подобной чистке. Рита сдвинула столы, влажным травяным веником подмела пол, беспощадно изгоняла пыль отовсюду, где только могла достать. Девушка старалась сделать все возможное, чтобы придать помещению вид санчасти. Повесила на видное место фельдшерскую сумку с крестом, радуясь тому, что догадалась нагрузить ее в городке попавшими под руку перевязочными материалами. Рассортировала аккуратно все, что было из медикаментов в аптечке караульного помещения, застелила бумагой стол, вымыла и наполнила водой графин.

Феоктистов, измученный болью в воспаленном глазу, наконец, затих, дышал ровно. Рита осторожно двигалась по комнате, замирала при малейшем скрипе рассохшихся половиц. Она словно кого-то ждала. Но кто сюда придет? Разве что начальник караула, старший сержант Трубин...

Да, именно Трубин. Его она и ждала, к его приходу торопилась все закончить, уверенная, что он скоро появится. Это ожидание и держало ее на каком-то нервном взводе, в состоянии волнующей приподнятости. Занятая своим делом, Рита чутко ловила звуки, доносившиеся со двора, и, как только послышались на крылечке шаги, кинулась в сени. В темноте она наткнулась на вытянутые вперед руки Трубина.

- Это вы, Андрей?

- Я.

Они остановились, плохо различая друг друга и в таком состоянии, как будто бежали, и обоим надо было сначала отдышаться. Рита нашлась первой.

- Проходите, - сказала она, чуть отступив. - Сейчас я открою дверь, там светлее.

- Не надо, - остановил ее Андрей. - Я только узнать, как он?

- Недавно заснул. Хотите взглянуть?

- Да нет. Если спит.

- Ну все равно. Проходите, пожалуйста.

- Лучше здесь. Чтобы не мешать.

- Здесь? - переспросила Рита, пожалев, что он не увидит наведенного ею порядка. - Тогда садитесь. Не очень, правда, удобно, - она нашла в темноте его руку, слегка потянула за собой в глубину сеней. - Вот, сюда.

Они опустились на скамейку, придвинутую к дощатой шершавой стене, еще хранившей тепло прошедшего дня. Андрей вспомнил: на этой скамейке, влево от входа, стоял бачок с водой. Он и сейчас был здесь. Едва Андрей пошевелил локтем, крышка бачка звякнула. С другой стороны плечо его касалось плеча девушки, и подвинуться было некуда. Коротка была скамейка.

Так близко, наедине, они еще не сидели ни разу. И требовалось какое-то время, чтобы привыкнуть, собраться с мыслями.

- Мне следовало, наверное, доложить по форме, - спохватилась Рита и даже сделала попытку подняться, - поскольку я теперь здесь на положении командира подразделения. Правда?

- Не обязательно, - Андрей смутился.

- Тогда пусть это будет в счет моей забывчивости, - согласилась девушка, и чувствовалось - она улыбалась. - Тем более что и начальник караула повинен в том же.

- Как это?

- Вспомнил о существовании санчасти в последнюю очередь. К сожалению, так бывает и в больших масштабах. Нас нередко забывают, медиков.

- Нет, я не забыл, - запротестовал Андрей. - Не мог сразу зайти. Проверял посты... А тут еще стрельба.

- Я тоже слышала. Это в городе, да?

- Кажется.

- Значит, фашисты там?

- Скоро узнаем точно.

Рита вздохнула.

- Просто в голове не укладывается: фашисты рядом. Что будет с семьями комсостава? Многие же не уехали в отпуск. Вообще, все как-то невероятно. Кажется, пройдет ночь и все изменится. Все будет, как всегда, мирно.

- Вполне вероятно, что так и будет, - отозвался Андрей. - За ночь наши подтянут силы, отбросят фашистов. Мы же тут ничего не знаем, не в курсе. Где-то, может быть, уже и отшвырнули.

- Может быть, - согласилась девушка. - Но почему мы их пустили на нашу землю? Что они натворят!

Андрею хотелось успокоить девушку, а заодно и подкрепить свою уверенность в скорой победе, и он прибегнул к самому вескому аргументу, который был в его распоряжении:

- Скоро сутки, как началась война. И теперь, конечно, уже обо всем подробно доложили товарищу Сталину. Он все знает и принял меры.

- И о том, что у нас здесь происходит, ему известно? - оживилась Рита.

- Вполне. Удар по фашистам наверняка готовится. И он будет такой, что сметет врага. Помните песню:

Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!

Мы эту песню еще в первом классе разучивали, мне она запомнилась.

- Я тоже ее знаю, - сказала Рита и улыбнулась. - Ходили на переменах по коридору и пели хором.

Воспоминания словно отодвинули события настоящего. Их руки сами по себе сблизились. Замерли.

- У тебя холодные пальцы, - сказал Андрей, осторожно забирая ладонь девушки в свою руку.

- Это оттого, что я возилась с водой. А у тебя, - Рита погладила его пальцы, - горячие. И вот какой-то шрам. Что это? - в вопросе прозвучала тревога.

- Это от увлечения индейцами. Начитался Фенимора Купера. Стрелял из лука в цель. А потом пустил стрелу вверх и решил проверить ее пробивную силу при падении, подставил по глупости кепку, а стрела угодила в руку. Наконечник был острый, из жести, и пробил ладонь насквозь.

- Больно было?

- Не очень.

- Но ведь могло быть заражение? Стрела наверняка втыкалась в землю, а это опасно.

Андрей с заколотившимся сердцем повернулся к девушке, лицо ее было рядом. Рита... Неужели это она рядом с ним на скамейке, в этих темных сенях, где так опьяняюще пахнет смолистыми досками и полынью, и пальцы ее, прохладные от воды, в его руке?

- Ты что так смотришь на меня, Андрей?

- А ты разве видишь, что я смотрю?

- Вижу.

- Но ведь темно?

- Все равно вижу.

- Не могу понять.

- Что не можешь?

- Действительно это или сон. Ты и я, вдвоем. В этом домишке... Не верится. Ты же мне казалась такой далекой... - Андрей запнулся, подыскивая слова. - Чужой.

- Почему?

- Средний комсостав. И одна во всей части. А сколько сержантов!

- Сколько?

- Много.

- Но сержант Трубин - один.

- «Сержант» - не звучит. Угольники не кубики. Геометрия. А я не любил точных наук и даже институт для себя выбрал такой, где их нет.

- Геометрия. Чудак, - с укором сказала Рита. - Может быть, и мне она не по душе.

- Как сказать...

- Не веришь? - она вдруг в порыве подняла его руку, прижала к своей щеке. Щека ее горела. - Это тебе в доказательство, чтобы поверил.

Андрея как электрическим током пронзило. Жаркая волна ударила в лицо.

- Рита...

- Скажи, веришь?

- А лейтенант Киян?

- Лейтенант? Что лейтенант?

- Танцы с ним, прогулки, катанье на лодке.

Ревность, хотя и гораздо меньше, чем прежде, но дала себя знать, заставила Андрея насупиться.

- Ты все запомнил, - рассмеялась Рита, не отнимая его ладони от своей щеки.

- Все.

- А знаешь, почему я это делала?

- Не знаю.

- Из-за тебя.

- Из-за меня?

- Да. Чтобы расспросить о тебе, узнать побольше. Вы же оба члены комсомольского комитета. И он даже заместитель комсорга.

- Что же ты узнала? - поинтересовался Андрей.

- Все что нужно.

- А именно?

- Ты хочешь, чтобы я сказала, да?

- Мнение командира для меня небезынтересно.

- Киян сказал, что ты активный комсомолец, отличник боевой и политической подготовки. И что пишешь стихи...

- Больше ничего?

- И еще, что немножко гордый.

- Он не расшифровал, что означает это мое последнее качество? - спросил Трубин. У него было такое ощущение, как будто он взбирается по крутому головокружительному мостику вверх, все выше и выше. И все сильнее замирает сердце.

- Нет, - сказала Рита. - Но ведь это так? Ты немножечко гордый, правда?

- Не знаю.

- Гордый, - повторила она убежденно. - И упрямый.

- Ты это и ему сказала?

- Я сказала бы ему другое.

- Что?

Пальцы Риты дрогнули. На мгновенье она отвела его руку и тут же снова прижала к щеке.

- Что люблю тебя...

Нет, это все плохо походило на явь. Так только в сказках могло быть. Немыслимое, недосягаемое свершилось в один миг. Андрей ушам своим не поверил. Любит! Его любит! Неужели она это сказала?

Ему бы переспросить, убедиться, что не ослышался, но язык сделался непослушным. Но ведь ее глаза рядом: в них нет усмешки. Нет!

Андрей не очень смело привлек девушку к себе. Волосы ее, мягкие и пушистые, коснулись его лица. Он замер, на миг

у него перехватило дыхание. Это было счастье! То самое счастье, о котором поют песни.

Они завороженно глядели сквозь темноту друг на друга.

- Андрей, Андрюша, Андрейка, - шептала Рита. - Имя у тебя хорошее. Звучит по-разному. Для взрослого - Андрей. Для маленького - Андрюша.

- Твое тоже, Рита.

- Мне оно не нравится. Слишком торжественное: Маргарита.

- А я люблю.

- Только имя?

- Нет, тебя, тебя...

- Любишь?

- Очень! Как никогда до этого. Даже на воровство решился.

- Какое?

- Стащил с витрины в клубе твою фотографию. Вот она, - Андрей дотронулся до кармана гимнастерки.

- Погоди, - Рита остановила встревоженно его руку. - Ты сказал: как никогда до этого. А ты все-таки любил раньше?

- Наверное, нет. Были увлечения просто. Сейчас люблю.

- И я. Только сейчас.

- Значит, и от тебя нужны доказательства.

- Я первая призналась в своих чувствах. Разве этого не достаточно? Но ты не очень гордись. Просто обстоятельства заставили. В другое время я бы не сказала.

- К чему ты?

- Мы же военные, Андрей. И должны быть готовы ко всему. Возможно, завтра мы уже и не сумеем ничего сказать друг другу.

- Рита, не будем об этом.

- Не будем, - согласилась девушка. - Расскажи мне о себе, Андрей.

- Ты же знаешь. Сама сказала, что лейтенант Киян рассказывал тебе все. Лучше ты о себе.

- Обо мне?.. Знаешь, у меня ведь только фамилия украинская. А сама я сибирячка, что ни на есть коренная.

Рита вскинула голову, и Андрей не то что различил, а скорее представил, как сдвинулись ее пушистые брови.

- Родителей я плохо помню. Отца убили кулаки в двадцать первом году, во время восстания. Он был в деревне председателем кооперации. Бандиты сначала разграбили лавку, а по-

том тут же изрубили его шашками так, что невозможно было узнать.

После этого от переживаний маму разбил паралич. Работать учительницей она уже не могла. Перебрались мы к бабушке, в соседнее село. Мама вскоре умерла. Бабушка была старенькая. Остались мы с ней одни в хате, и ничего-то у нас не было. Жили почти одной картошкой, а летом грибами да ягодами. А сколько ягод в тайге, ты бы видел! Брусника и клюква по болотным кочкам как красные бусы, сплошь. Мы их собирали не руками даже, а специальными грабельками. А голубика, черника... Домой придешь, все синее - губы, пальцы.

Не знаю, как бы дальше сложилась моя судьба, но приехал из армии в отпуск мамин брат, командир. Посмотрел он, как мы с бабкой маемся, и забрал меня с собой. Своей жене поставил шутливо условие: «Хочешь, говорит, Варя, принимай нас двоих. Не хочешь, как хочешь».

- И жена согласилась: «Беру, говорит, обоих. Ладно, живите, куда вас денешь». И мы зажили.

Тетя Варя оказалась человеком замечательным. Меня не обижала. Командирская жизнь кочевая. Где только мы не побывали! В Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Карелии. Три года жили на Памире... Ты меня слушаешь, Андрюша? - встревожилась Рита.

- Ты говори, говори, - поспешил успокоить ее Андрей. - Я слушаю внимательно.

Он действительно ловил каждое слово. Ведь слова были о ней, о Рите.

- Ну, а остальное, как обычно. Училась в школе, увлекалась спортом, особенно лыжами. Выполняла комсомольские поручения. Мы всем классом собирались поступить в речной техникум. Но клятву не все сдержали. И я первая. Меня влекло военное дело. Я перечитала, что нашла, о Фрунзе, о Ворошилове. Картину «Чапаев» смотрела раз двадцать. Завидовала Анке-пулеметчице. В бою за пулеметом, лицом к лицу с врагом: было чему завидовать.

Дома по-разному относились к моим увлечениям. Тетя Варя посмеивалась: «Куда, говорит, нашему брату, бабам, в военные. Пусть уж этим делом мужчины занимаются». Но дядя одобрил: «Правильно, Маргарита, - он всегда называл меня полным именем. - Еще в пятнадцатом веке была женщина-полководец Жанна д'Арк. А почему сейчас не может быть? Дерзай! Вот только с училищем может не получиться. Пока не

принимают туда женщин. А ты надежды не теряй, стремись».

Я стремилась, но дядя оказался прав: ни в одно военное училище меня не приняли. Я даже в наркомат писала заявление, самому Клименту Ефремовичу. Не вышло.

Но в армию я все же попала потом, медиком. Служила в гарнизонном госпитале. Писала по всем инстанциям рапорты с просьбой перевести в строевую часть. И, как видишь, получилось. Вот и вся моя «одиссея». - Рита на минуту умолкла, прижавшись затылком к доскам, потом улыбнулась. - А знаешь, я поначалу здесь разочаровалась. Городишко крохотный. Знакомых - никого. В части все абсолютные здоровяки, в санчасть канатом не затянешь. Врач-женщина из летной части меня звала к себе. Обещала устроить перевод. И я уже совсем согласилась, а потом передумала.

- Почему?

- Дашу Султаеву встретила. И тебя. Одного из сотни сержантов, как ты выразился. Помнишь, в лесу? Даша тогда про тебя сказала: «Это наш поэт». И спросила: «Симпатичный, правда?». И знаешь, что я ей ответила? «А на меня симпатичные не производят впечатления». Соврала. Ты перед глазами стоял: подтянутый, серьезный, с волнистым чубом, - Рита чуть коснулась его волос, выбившихся из-под пилотки. - Я следила за тобой. Переживала. А ты, вредный, не сказал, что уезжаешь.

- Как же ты узнала?

- Друзья у тебя оказались внимательнее, чем ты.

- Я считал, что для тебя безразлично, уеду я или не уеду. Ты же слышала насчет геометрии.

- Чудак! Как ты мог подумать, ну как?

Они сидели в темноте, рассказывая наперебой взволнованным шепотом обо всем, что пережили, радуясь, что вся мучительная безвестность теперь позади. И не было для них в эти минуты ничего на свете важнее, чем эти взаимные откровения. Обо всем забыли, захлестнутые счастьем, которое чуть-чуть не прошло мимо. И то молчали, то принимались горячо шептаться, почти касаясь один другого губами. Потом губы их слились в поцелуе.

Рита с трудом оторвалась, отвела от себя его руки.

- Не надо, милый...

Она не прибавила ничего к этим словам. Он поднялся, нашел свалившуюся с головы пилотку, долго поправлял кобуру, съехавшую набок.

Рита тронула его плечо, осторожно, будто опасаясь, что он не примет этот жест. Андрей поймал ее пальцы, сжал их. Они с минуту молча держались за руки, как бы в знак окончания мгновенной отчужденности.

- Андрюша, ты хмуришься?

- Нет.

- Хмуришься. Я вижу. Не хмурься. Это же все ненадолго, правда?

- Что «все»?

- Война. Мы же не последний раз сидим с тобой вот так, как сейчас? Ты веришь?

- Верю.

- И еще будет ночь. Лучше. Скоро будет...

Андрей благодарно сжал ей руку.

- Будет?

- Будет, Андрюша. Хочешь, назову тебя мужем? Мой муж! Как это звучит! Мой муж - Андрей Трубин... - она прижалась щекой к его плечу.

- Ты устала? Усни, - сказал Андрей, в приливе необыкновенной, невыразимой нежности к девушке. - А я посижу, покараулю.

- Нет, ты усни, - возразила Рита. - Я же знаю, ты вторую ночь на ногах. Положи голову вот так, - она отодвинулась слегка, пригнула его голову к себе. Андрей почувствовал щекой квадратный выступ карманчика на ее гимнастерке.

- Ты спи, - повелительно говорит Рита и, сняв его пилотку, кладет к себе на колени. - Закрой глаза и не разговаривай.

- Хорошо. Если получится.

Андрей закрывает глаза и засыпает.

...Солнечная травянистая поляна, покрытая цветами. Теплый ветер мягко шевелит волосы. И странно, на лице он не чувствуется, только в волосах.

Андрей открывает глаза. Рита перебирает его волосы, чуть касаясь их пальцами.

- Ах, это ты? Мне показалось: ветер. - И снова засыпает. Перед глазами плывет все тот же луг.

Трава, цветы, мягкий шорох ветра. И вдалеке лесистые сопки, у подножия которых раскинулось село. Он идет туда, к этим далеким сопкам, взяв за руку Риту. Напрягаясь, вглядывается в пестрый ряд крыш, пытаясь разглядеть крутую, позеленевшую от времени крышу своего дома.

Где-то далеко-далеко лает собака.

нанту про совсем уже остывшую кашу, и следил за его кружкой, чтобы хоть чаю подлить.

Сидевшие здесь свободные караульные слушали рассказы пришедших с лейтенантом товарищей, с уважением поглядывали на уплетавшего за обе щеки постную уляшевскую кашу тоже изорванного и грязного Адамовича. Принявший от него рапорт Трубин успел рассказать Султаеву о похождениях «танкиста», хотя сам отчитал его за нарушение приказа.

Султаев отодвинул от себя кружку, позвал Андрея, достал из кармана пакетик, блеснувший слюдяной оберткой.

- Надо сберечь, - сказал он тихо. - Как самую большую ценность, как память...

И Андрей сразу узнал комсомольский билет своего друга. Только у Васи Коржова была прозрачная обертка из слюды.

Комсомольский билет, положенный лейтенантом на стол, первым взял в руки Пряхин. Бережно, чуть подрагивающими пальцами откинул корочку, посмотрел и молча передал стоявшему рядом Кучкильдину. Тот, в свою очередь, так же подержал билет в руках и передал дальше.

Андрей, как бы подчиняясь тому, что делали все, дождался, когда билет дошел до него, также взял в руки и вдруг почувствовал, что сейчас заплачет. Спазма, перехватившая горло, душила его. Он поспешил выйти из караульного помещения.

Успокоившись, Андрей прошел к курилке, опустился на скамейку, еще не просохшую от росы. До чего же нелепо, невероятно сознание, что Васи нет. Ведь только позавчера вечером они сидели с ним здесь, на этой вот скамейке, говорили, даже поборолись на прощание. А теперь его нет... Остался где-то в лесу набросанный руками товарищей холмик, да вот эта книжечка в слюдяной обертке, с фотокарточкой.

Мучительные раздумья Андрея прервало отчетливое в утренней тишине постукивание мотора. В следующее мгновение Трубин был уже на ногах. Как тяжело ни было у него на душе, он обрадовался. «Наши! Наши!» - билась в голове ликующая мысль. Наконец-то он дождался. Начался контрудар. Немцев погнали к границе. И теперь командиры, помня о карауле, послали кого-то.

Андрей с усилием сбрасывает дрему, выпрямляется, удивленный переменой. Сени, как рассохшаяся бочка, все в светящихся щелях. Лицо Риты кажется бледным в жидком свете раннего утра. Проспал...

А на улице ворчат, тренькают цепью о проволоку караульные собаки и неистово дребезжит сигнальный колокольчик над воротами.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Они сидели за обеденным до белизны выскобленным столом как гости. Перед ними выставлено было все, что нашлось съестного: жидкая пшенная каша, сухари и чай, заваренный ягодником. Из всего состава караула с ними за столом сидел один, тоже только что ворвавшийся в ворота вместе с Аветисяном, Адамович. Остальные, на правах хозяев, ждали очереди. Да на всех сразу все равно бы и не хватило посуды.

Никогда в стенах караульного помещения еще не появлялось подобного наряда. Ни один из всех завтракавших не подходил под понятие караульного по внешнему виду. Любого старшина Барабанов отправил бы без разговоров привести себя в порядок. Обожженные на пожаре, измотанные бессонной ночью, ходьбой по ночному лесу бойцы, пришедшие с лейтенантом Султаевым, успели лишь кое-как умыться. Младший сержант Аветисян и без того смуглый, а теперь еще больше почерневший, с повязкой на голове, не замечал, что у него на щеке пятном темнела смола, а в жестком, как сапожная щетка, ежике торчала сухая сосновая иголка.

Лейтенант Султаев и сам был неузнаваем. Он как будто похудел и постарел, скулы у него обострились, щеки запали, в спутанных волосах резко проступала седина, которой раньше Трубин у него не замечал. Всегда опрятная форма на Султаеве была изорвана, гимнастерка грязная.

И глаза у Султаева запали, потемнели, и, когда он приподнимал ресницы, в глазах тоже появлялось что-то незнакомое, напряженное. Рана у него, очевидно, сильно болела, судя по тому, как лейтенант морщился и трогал плечо рукой. Он почти

Он даже приостановился, и в этот момент из леса прямо на дорогу почти одновременно выскочили два мотоцикла, большие, незнакомой формы. Андрей успел различить солдат, по два на каждой машине. Один за рулем, второй в коляске; их каски, надвинутые на глаза, обмундирование, короткий блеск очков-окуляров. И понял: немцы!

Мотоциклы, казалось, приготовились к старту. Видно было, как они дрожат, стреляют выхлопными трубами. Немцы приглядывались к строениям склада, показывали на что-то руками.

Андрей на мгновение почувствовал себя будто скованным. Предательская слабость подгибала колени. Вот и встреча с врагом. Держись, старший сержант Трубин.

Внезапно воздух над головой у него колыхнулся, как от стремительно налетевшего вихря, и грохот, дробный и захлебистый, разметал тишину, эхом прокатился по поляне. Что-то упало, зазвенело позади. Пригнувшись к земле, Андрей кинулся к окопу, прыгнул в него. Ташаубаев уже приник к прикладу. Грохот «Дегтярева» ворвался в сдвоенный стук немецких пулеметов. Брызнул янтарно-желтой щепой прошитый очередью сосновый столб ворот.

Андрей с лихорадочной поспешностью нашарил в нише запасной диск, сунул его на бруствер перед пулеметчиком. Глянул - немецкие мотоциклы, плюясь сизым дымом, торопливо разворачивались назад. Вот рванулся один, второй едва не сшибся с ним, и оба скрылись в лесу, оставив смятые, исковерканные сосенки у дороги.

Ташаубаев послал вслед короткую очередь и снял палец с гашетки. Как сквозь ватные пробки доносилась трескотня удалявшихся мотоциклов.

Андрей только теперь заметил, что сжимает в руке взмокшую от пота рукоятку пистолета. Когда и зачем он его достал? Смущенный, сунул его в кобуру. Первый бой! Было хмельное чувство торжества: враг отступил! И еще сознание хотя и не полной, но приятной удовлетворенности собой, что хотя и растерялся в самый первый момент, но потом смог переломить себя, не плюхнулся лицом в землю. Это был экзамен, к которому он в душе все время готовился и которого - чего там скрывать - боялся.

Взбудораженные, не успевшие остыть от пережитого, они с минуту стояли в окопе, напряженно прислушиваясь и глядя на опушку леса, где все еще держалось облачко выхлопных газов.

Андрей будто сбросил тяжелую ношу, перевел дух.

- Удрали, Касым?

- Ушел, - кивнул хмуро боец. - Жалко, целый ушел. Плохо Ташаубаев стрелял, товарищ старший сержант. - Он сплюнул с досады. - Диск зря портил. Такой пулеметчик гнать надо. Давай другой первый номер. Белый свет патрон пускал. Какой толк? Командиру части сам буду говорить. Зря отпуск давал. На стрельбище - мог, в бою - не мог. Зачем такого домой отпускать? Какой отличник?!

Огорчение Ташаубаева было таким искренним, что Андрею стало жаль его.

- Ладно, - махнул он рукой. - Будет возможность исправиться. В другой раз будешь стрелять лучше. Придут они.

- Придут? - переспросил боец. - Конечно. Как волк. Один раз в кошару пришел, другой раз обязательно придет.

- Если бы только как волки. Хуже волков. - Андрей хотел сказать что-то еще, но к окну бежал запыхавшийся, непривычно возбужденный ефрейтор Кучкильдин.

- Товарищ старший сержант, давай скорей! Там лейтенант ранен!

Что прежде всего бросилось в глаза Андрею в караульном помещении - это осколки стекла на полу в передней. Сидя на корточках, Адамович складывал их в пилотку. В разбитое окно тянуло сквозячком. Уляшев тряпкой пытался собрать разлившийся по столу чай. Бледный, несмотря на смуглость, казавшийся особенно большеглазым младший сержант Аветисян держал в руках чайник, трогая пальцем загнутые внутрь рваные края пробоины. Красноармеец Бугаев, высокий, в порванной на спине гимнастерке, по-журавлиному склонив голову, зубами затягивал узелок на обмотанной носовым платком кисти руки.

Бойцы, толпившиеся тут же, молча посторонились, пропуская начальника караула.

- Там он, - опережая вопрос Трубина, кивнул Аветисян на комнату для отдыха наряда и торопливо объяснил: - Очередь в окно, понимаешь? Какой дурак, скажи пожалуйста, строил в ту сторону окно? Зачем? Могла всех положить, очень даже просто. В лейтенанта угодила. Бугаева чуть-чуть задела. Как будто специально лейтенанта выбрали, гады! Один раз ранен, второй раз.

Глаза Аветисяна загорелись яростью.

Трубин машинально тронул еще не остывший чайник и прошел мимо стола, в соседнюю комнату. Лейтенант Султаев лежал на топчане, лицом вверх. Набухшая, потемневшая от крови гимнастерка была сдвинута к подбородку. Пряхин, горбясь по-стариковски, подсовывал ему под голову скомканную шинель. Рита, стоя перед раненым, срывала хрустящую обертку с индивидуального пакета. Она глянула на Андрея, заслышав его шаги, но ничего не сказала, только закусила губу и взглядом дала понять, чтобы он молчал.

Андрей по заострившемуся, без кровинки лицу Султаева, по выступившим на лбу капелькам пота понял - положение серьезное.

Рита торопилась. Пряхин по ее команде осторожно подсунул под раненого ладони, чуть его приподнял, и Рита, перехватывая из руки в руку освобожденный от обертки индивидуальный пакет, перепоясала лейтенанта бинтом, тут же пропитавшимся кровью. Она хотела повторить движение, но Султаев вдруг открыл глаза и удержал ее руку. Губы его, плотно сжатые, тронула улыбка.

- Погоди-ка, доктор, - Султаев повел взглядом на начальника караула. - Что с противником, Трубин?

- Мотоциклисты это... немцы... Отогнали мы их, - поспешил ответить Андрей.

- Потерь нет?

- Нет, товарищ лейтенант.

- Из караульного помещения всех убрать. Подставляться противнику не будем - это первое. - Султаев перевел дыхание, шевельнул рукой. - Второе: нужно оружие. Всем. Где взять? Винтовки мы не найдем. Но гранаты и патроны есть. Хранилище номер пять. Возьмите сейчас же. Будете за командира взвода, Трубин!

- Есть!

- Ну вот, - Султаев закрыл глаза, - теперь, доктор, можешь действовать, если будет толк.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В стороне высоко пролетел самолет, сбросил листовки. Белые, невесомо-легкие, они долго кружили в полинялом от зноя небе и опустились в лесу. Один листок потоками воздуха донесло к территории склада. Он медленно, словно нехотя, снизился над оградой, на секунду повис на проволоке, пока-

чиваясь, как живой, и потом скользнул вниз, покорно лег в траву.

Караульные, с пригорка возле ворот, от окопов, заворожённо следили за падавшей бумажкой. Нетерпеливый Адамович вскочил, подбежал к забору, поднял листок. Возвращаясь, он успел на ходу пробежать взглядом написанное и вдруг, потеряв всякий интерес, странно вялым жестом положил листовку перед начальником караула.

- Не зря головы задирали: дар небесный, - без улыбки сказал Адамович и, немного отступив, ладонью потер шею, как бы в доказательство того, как она устала.

Трубин при виде звезды с серпом и молотом, жирно оттиснутой сверху листка, почувствовал радостный толчок в сердце. Наша!

От нетерпения строчки, набранные в одну широкую колонку, запрыгали перед глазами.

«Товарищи красноармейцы и командиры! Немецкие войска продолжают наступление. Танки противника заняли Вильнюс, Ригу, Тернополь и другие крупные советские города и промышленные центры и подходят сейчас к Минску. Авиация противника бомбит Москву и Ленинград. Часть наших войск разбита и взята в плен.

Не время говорить о причинах неудач Красной Армии. Виновники поражения - враги народа, будут выявлены и понесут наказание. Задача состоит в том, чтобы спасти оставшиеся силы. Наркомом обороны, с согласия товарища Сталина, отдан приказ об отходе. Сопротивление разрозненных групп превосходящему во много раз по силе противнику может привести в сложившихся условиях лишь к новым тяжелым и ненужным потерям. Надо отходить на восток! Там старая граница, там укрепрайоны, которые задержат противника, не дадут ему продвинуться дальше ни на шаг, и там Красной Армии обеспечена полная поддержка населения, ибо эти районы давно советские.

Товарищи красноармейцы и командиры! Отходите. Если отдельные лица, независимо от ранга и занимаемой должности, будут препятствовать отходу, знайте: они нарушают приказ. Главное теперь - спасти самих себя. Оставляйте материальную часть, бросайте оружие. Наша оборонная промышленность достаточно наковала его про запас.

Отходите лесами и болотами, там танки противника не страшны. Не падайте духом. Территория нашей страны велика. Потеря части ее еще ничего не означает.

Мы отойдем, но зато соберемся с силами для ответных ударов и победы.

Командование Красной Армии»

Андрей дочитал листовку со смешанным чувством недоумения и тревоги. Взялся перечитывать в надежде уяснить смысл. Мысли разбегались. Всем отходить. Бросать материальную часть. Что-то не то. Нет!

Он вопрошающе обвел взглядом караульных, вспомнил, что они еще ничего не знают, и отдал листовку стоявшему рядом Пряхину. Тот не спеша спрятал вынутый из кармана кисет, стал читать, хмуро сдвинув брови. Через несколько минут листовка так же молча перешла в руки Аветисяна, потом Кучкильдина, последним ее взял Клевакин. Своего мнения никто не высказывал, все молчали.

- Неужели Красная Армия разбита? - горестно произнес Зайцев. - Подпись - «командование».

- Какое «командование»? Ты знаешь? - взорвался Аветисян. - Есть командование дивизии, корпуса, военного округа. Нарком обороны есть. Почему не указывается конкретно? Фамилии почему нет? Кто писал? Мы не знаем. Может, вредитель какой, чтобы панику сеять.

- Что за самолет? Видел кто-нибудь? - спросил Трубин, обращаясь ко всем сразу. Но, оказывается, самолет, сбросивший листовки, никто не сумел разглядеть.

- Да-а. Значит, немцам дороги, а самим - лес да болота. Вежливо, ничего не скажешь, - Пряхин покачал головой, усмехнулся. В финскую войну так же вот маннергеймовцы про Ленинград писали: нечего, мол, торчать на перешейке, через доты да надолбы прогрызаться, а надо Ленинград спасать, отойти назад подальше. И все это под видом приказов нашего командования и с подписью.

- Товарищ Сталин велит оружие бросать? Кто поверит? Вранье! Зачем время терять на эту бумажку! - в запальчивости Аветисян попытался выхватить листовку у Клевакина, который продолжал внимательно ее рассматривать. Клевакин успел отвести его руку. Изрытое оспой лицо пожарного побагровело.

- Ты чего?

- Брось, слышишь? Смотреть не могу. Непонятно разве: фашистская листовка.

- А ты понял?

- Всем понятно.

- Отойди.

Минуту они стояли друг против друга, один - маленький, взъерошенный, с глазами, пылавшими возмущением; второй - на голову выше, с виду спокойный. Вспыльчивый, прямолинейный Аветисян и раньше нередко схватывался с пожарным, не выносил его. Схватки эти, в которых нападающим обычно был первый, кончались миром.

На этот раз так не получилось. Клевакин свернул аккуратно листовку, с явным намерением спрятать ее в карман. Геворк возмутился.

- Брось! Прошу, - сказал он, сдерживая кипевший гнев. - Слышишь!

Клевакин выдавил усмешку:

- Чего завелся?

- Противно. Сохранить хочешь? На память. Берешь за чистую монету, что здесь написано?

- У каждого своя голова.

- Значит, веришь?

- А если и верю?

- Ты веришь? - Аветисян даже отшатнулся изумленно. - Фашистам, выходит, веришь? Один. Никто больше не поверил. Ты только. А ну повтори, что сказал! Чтобы всем было слышно.

- А это еще поглядеть придется, кому надо раньше сказать насчет фашистов - мне или тебе, - засовывая листовку в карман брюк, сказал Клевакин, и лицо его стало бледнеть.

Это уже было больше, чем просто столкновение характеров. Пора было положить конец стычке.

- Всем по местам! - скомандовал Трубин. - Сержант Аветисян и младший сержант Клевакин, прекратить разговоры!

- А это разговор принципиальный.

- Повторяю: прекратить!

С трудом сдерживая себя, Аветисян бросил Клевакииу, отходя в сторону:

- Оставим объяснения до более подходящего момента. Но Клевакин не тронулся с места. Всем своим видом он показывал, что разговор прекращать не собирается.

- Младший сержант Клевакин, - Андрей повысил голос. - Вы слышали приказание? Марш на место!

- А я не вхожу в состав караула, товарищ Трубин, можешь не приказывать. Свое место я как-нибудь сам найду. Не здесь. И учти: о твоих тут прикрывательствах кое-кого... сообщу

куда положено. По-моему, мы на этот счет с тобой разговор имели. И я предупреждал. Отвечать тебе придется.

Клевакин скользнул взглядом вкось как-то, мимо начальника караула, и повернулся с видом человека, который сказал все, что надо было сказать. Он сначала вроде направился к окопу, но, не дойдя несколько шагов, вдруг круто повернул в сторону, к воротам. Шел медленно, уверенной походкой, как обычно ходил, но потом, чувствуя на себе взгляды товарищей, заторопился, словно боясь, что его могут остановить.

Все молча смотрели ему вслед, изумленные, сбитые с толку. И Андрей смотрел и чувствовал, как в груди начинает мешать дыханию какой-то клубок.

Андрей опустился в окоп, возле которого стоял. Все поняв, он тем не менее, еще надеялся, что младший сержант одумается, вернется. Это у него из-за безграничной веры каждой бумажке.

Но Клевакин не останавливался. Вот он уже возле ворот, вот откинул засов и вышел за территорию. Тут он на ходу стянул с себя, как ненужную вещь, сумку с противогазом и бросил, чтобы не мешала.

- Облегчается, - заметил Пряхин, делая ладонь козырьком. - Глядишь, и до сапог дойдет.

- Не зря листовку спрятал. Драпать решил как заяц, - возмутился Аветисян, загораясь неулегшимся гневом.

- Младший сержант Клевакин, назад! - Андрей крикнул хрипло, каким-то чужим голосом. - Назад, Клевакин! Стой! Слышишь?

Но тот не отозвался. Свернув с дороги, ускорил шаг, почти побежал напрямик, с расчетом сократить расстояние до леса.

Андрей до боли закусил губу. Никогда еще приказание его не повисало вот так впустую в воздухе. Надо было остановить Клевакина, заставить подчиниться и не ради себя, а во имя чего-то гораздо большего...

Мысли бились в голове, выстукивали. И вдруг Андрей обнаружил, что смотрит на убегавшего младшего сержанта через кольцо намушника. Спина у Андрея взмокла. Пот застлал глаза. И вдруг пелену как сдернуло. Воздух дрогнул от раскатистого щелчка, одного, второго.

Фигура в кольце намушника замерла, как в остановленном кинокадре. Клевакин словно наткнулся на невидимое препятствие. Секунду он стоял неподвижно, неестественно выпрямившись, потом качнулся, заковылял, запинаясь и оседая, как переломленный пополам.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Оказывается, человеческое внимание способно в момент самых острых потрясений замечать десятки посторонних, ничего не значащих, ненужных мелочей.

Продолжая глядеть в прорезь мушки, Трубин видел пожелтевшую от жары стрелку пырея, муравья, пробиравшегося между комочками глины, крохотную божью коровку, которая упорно карабкалась вверх по винтовочному ремню. И медленно тянул на себя затвор. С перехваченным дыханием ждал: звякнет стреляная гильза.

Патрон подавался неохотно. Вот он, наконец, весь. Тускло блеснуло острие пули. Цель! Значит, стрелял не он. Андрей оторвал взгляд от неподвижной фигурки Клевакина за оградой, посмотрел на опушку леса. Там были немцы. Фыркал приглушенно мотор автомашины, доносились голоса команд, громкие и отрывистые, как ругань. Что-то ослепительно блеснуло за одной из сосен, наверное, стекла бинокля.

Почуяв чужих, залаяли разноголосым хором караульные собаки. Все бойцы напряженно смотрели на поляну за проволокой, на опушку знакомого леса.

Щуплый Геворк совсем сжался, окаменел от напряжения за низким бруствером. За Аветисяном из окопчиков чуть виднелись головы Ташаубаева, Зайцева, Адамовича, Кучкильдина и всех остальных бойцов караульной команды Трубина. Красноармейцев, приведенных лейтенантом, Андрей разместил в окопах на флангах и с тыла. Пряхин, лежа справа от Андрея в трех шагах, в суровой сосредоточенности трогал прицельную планку, отсвечивавшую на солнце. Вынутые из подсумка обоймы желтели под рукой, как обломки большого латунного гребня. Пряхин приготовился к бою. Но, несмотря на суровую углубленность в себя, он не оставлял незамеченными переживания начальника караула, и Андрей это почувствовал. Стало легче от мысли, что лежавший рядом с ним усатый человек спокоен. Значит, все идет как надо.

- Вот как оно бывает, - как бы про себя произнес Пряхин. - От чего бежишь, возле того окажешься. Думалось человеку, что беду позади оставляет, а она - навстречу... Ну что, старший сержант, - чуть повернулся он к Трубину, - встречать надо гостей-то, пожаловали.

- Приготовиться к бою! - приподнявшись, скомандовал Андрей.

- Стрелять-то, однако, далековато, - заметил Пряхин. - Подождать придется.

- Огонь без команды не открывать! - крикнул Трубин.

Надо было, наверное, что-то еще добавить. Но что? Что еще должен сделать командир перед боем? Провести разведку. Положено иметь сведения о численности противника. Но с этим теперь уже поздно.

Прицурившись, Андрей прикинул расстояние.

- Дистанция! Прицел! - отдавал приказания Трубин, как на стрельбище.

Им начало овладевать нетерпение. Скорее бы уж атака, чтобы не ждать, не томиться. Дрожь растекалась по всему телу. Так бывало на экзаменах, когда тянул билет.

Ладонь прикипела к винтовке. До боли стиснуты зубы. А в воздухе все еще держалась тишина. Только тревожно лаяли собаки, чуя опасность.

Немцы высыпали на поляну сразу, как грузди из опрокинутой корзины. Побежали и, непрерывно стреляя из автоматов, растянулись в цепь по обе стороны дороги.

Андрей крикнул:

- Огонь! - и махнул рукой. Голос его потонул в грохоте выстрелов. Пряхин передернул затвор, и в траву, кувыркнувшись, упала гильза. Крикнув что-то по-армянски, выстрелил Аветисян. Заработал «дегтярев» Касыма Ташаубаева.

Андрей приник щекой к прикладу. Дрожь прошла, но сердце стучало с перебоями, заставляя подрагивать мушку. «Цель движущаяся - брать под обрез», - промелькнула заученная на тренировках по стрелковому делу фраза. Он нажал на спусковой крючок, целясь в одну из серо-зеленых фигурок. В плечо ударило - плохо прижал приклад. На мгновенье стало жутковато от сознания, что впереди все-таки не мишень, которую тянут веревкой спрятавшиеся в глубоком окопе красноармейцы, а живые люди. Но перед глазами возник комсомольский билет Васи Коржова с маленькой тускловатой фотографией, с голубыми страничками в оттисках штампиков; встало белое, без кровинки, лицо лейтенанта Култаева, и гнев оттеснил все остальные чувства. Он прицелился и выстрелил раз, другой, третий...

От толчков в плечо сползла на глаза пилотка. Андрей досадливо толкнул ее назад. Пилотка свалилась. Выстрел, еще выстрел.

Воздух над окопом трещал, его словно рвали на куски, как туго натянутую парусину. Рвануло над самым ухом. Взметну-

лась глинистая пыль с бруствера. Пули... Разрывные... Андрей запоздало отдернул голову, с досадой и злостью ловил выскочившую из полукружья намушника фигуру фашиста.

Немцы залегли. Огонь ослаб.

Потрескивали отдельные автоматные очереди. Значит, остановили их, прижали к земле. Трубин оторвался от приклада винтовки, оглянулся. Рядом, возле его окопчика, припав грудью к земле, лежала Рита. Видно, она только что подползла и часто дышала, выбившиеся из-под пилотки волосы прилипли к мокрому лбу. В руках у Риты была санитарная сумка.

Ему стало страшно за девушку.

- Осторожнее! - крикнул Андрей. - Голову ниже, голову!

В воздухе тонко и отрывисто тенькнуло раз, второй. Рита, опираясь на локти, придвинулась к брустверу, досадливо отвела рукой упавшую из-под пилотки на глаза прядку. Трубин ощутил на щеке ее горячее, прерывистое дыхание.

- Андрюша, ты цел? Я так боялась.

- Не поднимайся! Лежи! Как лейтенант?

- Он пытался выйти, как только услышал стрельбу. Я его уложила. Ты не волнуйся. Никто не ранен? - Рита как бы торопилась объяснить свое появление и вместе с тем успокоить его.

Андрей, позабыв, что сам только что предупреждал девушку об опасности, приподнялся, оглядел бойцов: все ли целы? Пряхин в соседнем окопе ворочался, искал опору для руки. Аветисян вставлял торопливо в затвор обойму. Чуть дальше торчала из окопа пилотка Ташаубаева. Кажется, все в порядке.

- Андрей, это началось? По-настоящему, да?

- Не знаю. Подожди.

Немцы лежали. Их почти не было видно, только по редким дымкам от выстрелов можно было угадать, где цепь. Теперь, когда они залегли, прижатые огнем, Трубину показалось, что их не так-то уж и много: взвод, от силы - два. Во всяком случае, меньше, чем он думал вначале. Ему радостно вдруг стало от того, что он и его бойцы не пустили врага вперед и что это хотя и небольшая, но уже какая-то победа. Пусть, может, через минуту, немцы встанут, сделают попытку приблизиться к складу, но сейчас-то лежат, не решаются!

Вместе с чувством торжества первой победы в бою пришла к нему уверенность в том, что они отобьют натиск фашистов, заставят их уйти.

- Стрелять-то, однако, далековато, - заметил Пряхин. - Подождать придется.

- Огонь без команды не открывать! - крикнул Трубин.

Надо было, наверное, что-то еще добавить. Но что? Что еще должен сделать командир перед боем? Провести разведку. Положено иметь сведения о численности противника. Но с этим теперь уже поздно.

Прицурившись, Андрей прикинул расстояние.

- Дистанция! Прицел! - отдавал приказания Трубин, как на стрельбище.

Им начало овладевать нетерпение. Скорее бы уж атака, чтобы не ждать, не томиться. Дрожь растекалась по всему телу. Так бывало на экзаменах, когда тянул билет.

Ладонь прикипела к винтовке. До боли стиснуты зубы. А в воздухе все еще держалась тишина. Только тревожно лаяли собаки, чуя опасность.

Немцы высыпали на поляну сразу, как грузди из опрокинутой корзины. Побежали и, непрерывно стреляя из автоматов, растянулись в цепь по обе стороны дороги.

Андрей крикнул:

- Огонь! - и махнул рукой. Голос его потонул в грохоте выстрелов. Пряхин передернул затвор, и в траву, кувыркнувшись, упала гильза. Крикнув что-то по-армянски, выстрелил Аветисян. Заработал «дегтярев» Касыма Ташаубаева.

Андрей приник щекой к прикладу. Дрожь прошла, но сердце стучало с перебоями, заставляя подрагивать мушку. «Цель движущаяся - брать под обрез», - промелькнула заученная на тренировках по стрелковому делу фраза. Он нажал на спусковой крючок, целясь в одну из серо-зеленых фигурок. В плечо ударило - плохо прижал приклад. На мгновенье стало жутковато от сознания, что впереди все-таки не мишень, которую тянут веревкой спрятавшиеся в глубоком окопе красноармейцы, а живые люди. Но перед глазами возник комсомольский билет Васи Коржова с маленькой тускловатой фотографией, с голубыми страничками в оттисках штампиков; встало белое, без кровинки, лицо лейтенанта Култаева, и гнев оттеснил все остальные чувства. Он прицелился и выстрелил раз, другой, третий...

От толчков в плечо сползла на глаза пилотка. Андрей досадливо толкнул ее назад. Пилотка свалилась. Выстрел, еще выстрел.

Воздух над окопом трещал, его словно рвали на куски, как туго натянутую парусину. Рвануло над самым ухом. Взметну-

лась глинистая пыль с бруствера. Пули... Разрывные... Андрей запоздало отдернул голову, с досадой и злостью ловил выскочившую из полукружья намушника фигуру фашиста.

Немцы залегли. Огонь ослаб.

Потрескивали отдельные автоматные очереди. Значит, остановили их, прижали к земле. Трубин оторвался от приклада винтовки, оглянулся. Рядом, возле его окопчика, припав грудью к земле, лежала Рита. Видно, она только что подползла и часто дышала, выбившиеся из-под пилотки волосы прилипли к мокрому лбу. В руках у Риты была санитарная сумка.

Ему стало страшно за девушку.

- Осторожнее! - крикнул Андрей. - Голову ниже, голову!

В воздухе тонко и отрывисто тенькнуло раз, второй. Рита, опираясь на локти, придвинулась к брустверу, досадливо отвела рукой упавшую из-под пилотки на глаза прядку. Трубин ощутил на щеке ее горячее, прерывистое дыхание.

- Андрюша, ты цел? Я так боялась.

- Не поднимайся! Лежи! Как лейтенант?

- Он пытался выйти, как только услышал стрельбу. Я его уложила. Ты не волнуйся. Никто не ранен? - Рита как бы торопилась объяснить свое появление и вместе с тем успокоить его.

Андрей, позабыв, что сам только что предупреждал девушку об опасности, приподнялся, оглядел бойцов: все ли целы? Пряхин в соседнем окопе ворочался, искал опору для руки. Аветисян вставлял торопливо в затвор обойму. Чуть дальше торчала из окопа пилотка Ташаубаева. Кажется, все в порядке.

- Андрей, это началось? По-настоящему, да?

- Не знаю. Подожди.

Немцы лежали. Их почти не было видно, только по редким дымкам от выстрелов можно было угадать, где цепь. Теперь, когда они залегли, прижатые огнем, Трубину показалось, что их не так-то уж и много: взвод, от силы - два. Во всяком случае, меньше, чем он думал вначале. Ему радостно вдруг стало от того, что он и его бойцы не пустили врага вперед и что это хотя и небольшая, но уже какая-то победа. Пусть, может, через минуту, немцы встанут, сделают попытку приблизиться к складу, но сейчас-то лежат, не решаются!

Вместе с чувством торжества первой победы в бою пришла к нему уверенность в том, что они отобьют натиск фашистов, заставят их уйти.

А немцы лежали, не возобновляя атаки. Так длилось с полчаса. Потом выстрелы с их стороны прекратились, донеслась команда. И фигурки в траве зашевелились, стали отползать к лесу.

Аветисян, не умевший сдерживать своих чувств, торжествующе воскликнул:

- Ура! Задний ход дают! Получили в зубы! Очень харрашо!

Немцы что-то волокли с собой, не то раненых, не то убитых. Вот они поднялись, скрылись за сосенками. От опушки леса простучала в последний раз автоматная очередь, опять донеслась команда, взревели, удаляясь, автомашины, и стало тихо.

В сумерках Андрея Трубина, обходившего выставленные на ночь посты, позвали к лейтенанту Култаеву. Его встретила Рита. Губы ее дрожали.

- Он хочет тебя видеть. Все время теряет сознание и просит пить. А ему нельзя. Очень плохо ему.

Андрей с занывшим сердцем перешагнул порог.

Лейтенант лежал на топчане, укрытый шинелью, с руками, вытянутыми вдоль тела, с плотно закрытыми глазами. Когда Андрей приблизился, он приподнял веки. Стоявший рядом Пряхин придвинул Трубину табуретку.

- А, комендант гарнизона, - сказал Култаев едва слышно, пытаясь улыбнуться сухими, обметанными жаром губами. - Все командование в сборе. Да, командование, - повторил он, видимо, уловив недоумение на лице сержанта. - Командир. - Култаев чуть повел глазами на Пряхина. - И комиссар. Все правильно. Докладывайте обстановку.

Андрей коротко рассказал про бой с немцами, про то, что на ночь усилены посты и послана разведка.

- Гранаты взяли? - перебил Култаев.

- Взяли.

- Патроны?

- Тоже.

- Ну, дальше. - Судя по взгляду, лейтенант слушал. Но, после того как Трубин умолк, отозвался не сразу, молчал, словно возвращаясь из какого-то далека.

- Я рад, - наконец сказал он. - Рад, что бойцы караульного взвода встретили врага достойно. Передайте мою благодарность всем. И скажите...

Султаев, словно упустив нить мыслей, нахмурился. На лбу заблестела испарина. Видно, нелегко давалось ему каждое слово. Андрей растерянно смотрел на военфельдшера.

- Товарищ лейтенант, а может быть, потом. Мы подождем.

Султаев остановил его движением руки.

- Скажите. Пускай всем не кажется бессмысленным то, что мы, в окружении, держимся за какой-то склад... Это не фанатизм. Война всенародная... Задача - уничтожать врага, где только возможно... Мы уничтожим здесь, сколько сумеем... Наш склад станет, хоть и маленькой, но крепостью. Таких крепостей на пути врага много. И это для нас теперь не просто территория склада казенного имущества... Это часть нашей земли... Частица родины...

Он помолчал, потом, собрав последние силы, оперся на локоть и сказал, четко чеканя слова:

- Старший сержант Трубин, приказываю: удерживать территорию до последних сил. Уничтожать врага. Ждите прихода наших войск. Если же немцы прорвутся к складам - отходите. Склады взорвать.

Султаев умолк в изнеможении, испарина блестела теперь по всему лицу. Рита склонилась над ним с полотенцем. Лейтенант попросил пить, и она поднесла к его губам кружку с водой.

- И еще. Насчет того, что Красная Армия разбита... Пусть фашисты не врут. Не разбить ее никому... Мы еще будем праздновать победу. Невиданную победу. Не может не победить тот, кто прав... А правда за нами.

Он помолчал и тихо закончил:

- Только не дожить мне. А жалко, - голос Султаева дрогнул, - не пришлось повоевать, и не придется.

- Мы еще повоюем вместе, товарищ лейтенант. Повоюем, - попытался успокоить его Пряхин.

- Нет, старина, нет. Я чувствую. - Султаев попытался сделать протестующий жест и не смог, уронил руку. Рита успела придержать его голову, начавшую съезжать с изголовья. Лейтенант застонал.

Андрей, постояв с минуту над неподвижным телом лейтенанта, вышел в сени, нашарил в темноте знакомую скамейку с бачком для воды, присел, щекой прислонился к шершавой дощатой стене.

Вышла Рита. Заметив, что он здесь, остановилась рядом, беспомощно всхлипнула.

- Андрей, я ничего не могу сделать, ничем помочь.

- Успокойся, - Трубин дотронулся до ее плеча.

- У меня же ничего нет, кроме бинтов и йода.

- Сядь, - сказал Андрей, подвигаясь на узенькой скамейке и освобождая возле себя место. - Посиди, тебе надо отдохнуть. Пряхин там побудет.

Рита послушалась. Молча сидели они, занятые горькими мыслями, в темноте касаясь друг друга плечами и словно поддерживая друг друга. А с улицы, как и вчера в эту пору, доносились лягушачья перекличка, бульканье перепелов, и, как вчера, накаленные за день солнцем доски стены густо пахли смолой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Выход на дорогу не входил в задачу Адамовича. Цель разведки, в которую он и на этот раз напросился сам, была проще: узнать, ушли ли немцы из леса. Но командир не ограничил его в действиях. Разрешил поступать по обстановке. Сам Адамович поставил перед собой дополнительное задание: раздобыть оружие и, по возможности, продуктов. Как это сделать, он пока не знал. Но именно с этой целью направился к шоссе.

Добравшись, Адамович залег близ обочины, в кустах, вынул из-за пазухи врученный Трубиным наган.

По шоссе перед его глазами проносились машины, набитые фашистами. Шли танки, испятнанные камуфляжем, тягачи с пушками, катили слоноподобные штабные автобусы, автоцистерны с горючим - и все туда, за откатывающимися на восток боями. «Не то, не то», - шептал Адамович, пропуская машины.

Уже вечерело, горел над лесом закат. Надвигалась ночь, вторая ночь войны. На дороге показался конный обоз. Странным, будто из старины всплывшим показался он после потока техники. Десятка полтора длинных тяжелых фур, в которые были впряжены рослые, гнедой масти кони, катили по дороге, держась обочины, чтобы не мешать основному транспорту, наполняя вечерний пронизанный пылью воздух перестуком кованых скатов.

Видно, это была какая-то хозяйственная команда, двигавшаяся за передовыми частями. В фурах громоздились бочки, ящики, мотки кабеля. Ездовые в расстегнутых мундирах, в пилотках, сбитых на затылок, свесив через борт ноги, лени-

во подергивали вожжами, поглядывали вокруг с таким видом, словно собрались по обычным крестьянским хозяйственным делам. В некоторых повозках поверх клади сидели по одному, по два солдата, которые спокойно дремали или курили, оставляя в воздухе сизые завитки дыма. Сквозь стук колес и цоканье подков слышался немецкий говор.

Последняя фура задержалась, видно, разладилась упряжь. Ездовой остановил лошадей, крикнул что-то остальным и, соскочив с передка, стал возиться с постромками. Сначала он делал это стоя сбоку, потом перемахнул через дышло, протиснулся между лошадями, наградив ту и другую шлепком по массивным куцехвостым крупам.

Лежавший в повозке на спине солдат приподнял голову, видимо, спросил, в чем дело. Ездовой ответил ему, и тот снова улегся, подложив локоть под голову, надвинув на глаза пилотку.

Внезапно возникшее решение заставило Адамовича внутренне сжаться. Обоз укатил уже на порядочное расстояние и скрылся за выступом леса. Позади шоссе тоже пусто. Повозка одна, до нее рукой подать. Сначала по кювету, ползком, потом - бросок! Можно успеть без шума. Да если и шум, тоже не страшно.

Адамович сунул за пазуху наган. Собрав силы, он бесшумно пробрался через кусты, пополз по оплетенной травой канаве. Все его чувства как бы сконцентрировались в одной точке - на лице немца, закрытом пилоткой, и на торчавшем из повозки карабине. Адамович даже о самом немце думал меньше, чем об этом карабине: не пропустить момент, успеть овладеть им раньше, чем немец за него схватится.

Он немного промахнулся из-за поехавшей из-под ног облитой маслом травы и не смог сразу дотянуться до борта повозки: схватился за кованый обод колеса и, сохранив огромным напряжением равновесие, рванул на себя карабин.

Остальное произошло мгновенно. Он ударил прикладом немца, который лежал в повозке, и уже потом выстрелил в побелевшего от ужаса ездового. Повернуть лошадей, съехать с шоссе - было делом недолгим. Минуту спустя он был в лесу, и колеса повозки подскакивали на выпиравших из земли корневищах. Потом он бегло оглядел груз и остался доволен. Неизвестно, что в тюках, но в продолговатых ящиках определенно автоматы! Операция проведена не зря, ребята получат оружие.

Повеселев от этой мысли, Адамович подобрал вожжи и, заметив, что вокруг уже посветлело, поспешил тронуться в путь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Под утро лейтенант Култаев умер. Успокоив, как мог, плакавшую Риту, Андрей с тяжелым чувством вышел из помещения конторы во двор. За воротами стояла зеленая повозка на высоких колесах, запряженная парой крупных коней с подрезанными хвостами. Подводу окружали бойцы. Адамович в сдвинутой назад, будто прилепленной к затылку пилотке, что-то доставал из повозки. Заметив начальника караула, он принял положение «смирно», поставив к ноге короткий, со светлым ремнем немецкий карабин.

- Прибыл, товарищ старший сержант! Задание выполнено. А это, - он повел слегка выпуклыми глазами на бричку, - трофей.

Злой на Адамовича за его долгую отлучку, Трубин готов был учинить разгон, но сдержался.

- Что это? Где взял?

- Одолжил, товарищ старший сержант, у хозяйственников Гитлера, безвозвратно. - Адамович окинул взглядом караульных, в явном расчете на поддержку. - Разрешите показать?

Он подтянул один из ящиков к борту повозки, стволом карабина приподнял заскрипевшую гвоздями крышку.

Бойцы ждали с нетерпением: что-то будет. А Адамович, запустив руку в ящик, подозрительно медлил, шуршал бумажной упаковкой, звякал чем-то и, наконец, со сконфуженным видом извлек какой-то странного вида предмет. Это была металлическая, шириной в ладонь, продолговатая, с отверстиями по всем четырем углам планка, с одной стороны чистая, а с другой - покрытая крупными белыми буквами по голубой выпуклой эмали.

Адамович сам больше всех остальных был поражен содержимым ящика. Растерянно держал он в руках планку, изумленно глядя на надпись. Планка пошла по рукам. Когда она попала к младшему сержанту Аветисяну, он прочитал вслух: «Вильгельмштрассе».

- Улица Вильгельма, - перевел он, вспомнив значение слова «штрассе».

- Так это же вывеска, название улицы! - удивленно сказал он. - Вот тебе и оружие.

- Да-а, - произнес Пряхин, разглядывая трафарет и постукивая по эмали ногтем. - Штука аккуратно сделана. Запасливые люди: везут на наших улицах вешать.

Теперь назначение дощечек дошло и до сознания остальных бойцов. Аветисян, не умеющий себя сдерживать, швырнул планку под ноги. А Адамович, ожесточившись, взламывал остальные ящики, все еще надеясь найти оружие. И надежда его оправдалась. В последнем, незабитом ящике лежали четыре тщательно смазанные автомата, магазины и патроны россыпью. Видно, обозные везли их кому-то специально.

Обрадованные находкой, бойцы забыли о конфузе Адамовича. А он, не ожидая благодарностей, схватил вожжи, погнал тяжеловоз. Кони понесли затарахтевшую повозку под горку, мимо караульного помещения в дальний угол двора, к проволочной ограде, вызвав беспокойный лай караульных собак.

Обсудить событие не успели. Из леса снова донеслось урчание автомашин и чужие слова команды. Бойцы бросились по местам. Трубин сунул немецкий автомат Аветисяну. Подумал и передал второй Кучкильдину, третий - Адамовичу. Четвертый взял себе. Уложил его поудобней на бруствер, вырыл в стенке окопа нишу, положил в нее запасные магазины и на пилотку горку патронов, присмотрелся. Немцы накапливались на опушке леса.

Задача - уничтожать врага, мы уничтожим здесь, сколько сумеем, - припомнились слова лейтенанта. Андрей прицелился и дал длинную очередь. Автомат упруго бил в плечо отдачей. Дружно стреляли и остальные красноармейцы.

- Ахтунг! Ахтунг! - покрыл грохот выстрелов голос. - Внимание! Внимание! Говорит представитель командования германской армии.

«Громкоговоритель», - догадался Андрей. А голос продолжал, с подчеркнутой правильностью выговаривая слова:

- Гарнизону военного объекта русских. Слушайте. Германское командование предлагает вам капитулировать. Мы ценим вашу верность долгу и знаем от нашей разведки о вашем умении обороняться. Но к чему ваше упорство? Красная Армия отступает по всему фронту. Зачитываю сводку за вчерашний день: «Германские войска на минском и ряде других направлений продвинулись к вечеру на 50-100 километров, ломая повсюду сопротивление противника. Передовые танковые части подходят к Риге...».

Как видите, сменить вас некому, равно как и оценить ваше мужество. Сдавайтесь. В противном случае, погибнете все. Что вы сделаете против целой армии? Вы на пороховой бочке, один наш снаряд - и взлетите на воздух. Решайте. Даем вам пятнадцать минут.

В репродукторе опять щелкнуло, зашипело. Диктор умолк. Андрей невольно взглянул на часы. Пятнадцать минут. Повернулся к соседнему окопу, который, как и накануне, занимал Пряхин. Тот неторопливо, словно ничего не произошло, раскладывал возле себя обоймы и, как бы отвечая на молчаливый вопрос начальника караула, сказал:

- Красная Армия отошла, верно. Но как отходит она - по канонаде слышно. Успели, видать, убедиться, оттого и уговаривают. И склад им наш нужен в целости. Видал, вежливые какие: ценят верность долгу. Мать их...

Аветисян прокомментировал ультиматум проще:

- Посмотрим еще, кто раньше отправится с визитом к предкам! Пусть фашисты сами идут сюда, здесь поговорим на близкой дистанции. Пожалуйста!

И Андрей, вдруг успокоившись, почти хладнокровно оглядел окопы, скомандовал:

- К бою!

Немцы были точны во времени. Едва минутная самодельная стрелка на больших «кировских» часах Трубина, вставленная Васей Коржовым взамен утерянной, миновала последнее деление, громкоговоритель на опушке леса ожил.

- Срок истек. Дается еще пять минут. Дополнительно. Зачем безумство? Вывешивайте белый флаг, и мы не будем открывать огонь!

- Агитирует. Зачем агитировать? Сказано, пусть идут сюда на разговор. А если я глухой, не слышу на расстоянии? - ворчал возмущенно Аветисян.

Пять минут прошло. С опушки леса застучали наперебой выстрелы, рождая эхо, и следом показались немцы. Цепь серо-зеленых фигурок, более густая, чем в первый раз, вытягивалась в стороны, образуя полукруг. Воздух словно стал плотнее, ощутимее от переполнявших его звуков. Как и вчера, немцы вели огонь с ходу. Но в этот раз они вроде бы не торопились. Едва отделившись от леса, стали замедлять шаг.

Андрей недоумевал: в чем дело, что заставило наступающих так быстро остановиться? И вдруг все стало понятно. Из-

за деревьев на дорогу, приминая росшие на опушке сосенки, вырвалась с ревом, слышным сквозь выстрелы, пятнистая, приземистая, почти квадратная, похожая на танк машина. Трубину с первого взгляда она танком и показалась, правда, странной формы, будто со срезанной башней. Холодок неприятно пополз по спине. Танку нипочем проволочная ограда.

Но, приглядевшись, он различил колеса, и на душе стало легче: не танк. Так вот почему немцы медлили...

- Бронетранспортер, - определил Пряхин, не отрываясь от винтовки. - Такую холеру не возьмешь сразу. Броня по бортам от пуль. Одно средство - угодить в амбразуру, а с ближайшей дистанции - гранатой. Пехоту свою хочет прикрыть.

Так оно и оказалось. Цепь немцев разорвалась, освобождая дорогу, и едва машина проскочила в этот разрыв, снова сомкнулась сзади. Бронетранспортер, на мгновенье приостановившись словно для разбега, рванулся с места, выбросив клочья черного дыма, покатил, покачиваясь на неровностях дороги. Немцы побежали следом. В треск выстрелов ворвался новый перекрывший их звук: точно по железной доске застучало гулко, прерывисто - бронетранспортер бил из крупнокалиберного пулемета. Грохочущая, в сизом облаке выхлопных газов, в пыли, выплескивая смертоносный огонь, машина грозно накатывалась. А следом бежали немцы, стараясь поскорее под прикрытием бронетранспортера достичь ограды.

Стремительно - так казалось Андрею, напряженно следившему за машиной, - сокращалось расстояние. Вот уже бронетранспортер на полдороге, вот еще ближе. Взлетают, мечутся перед бруствером окопов фонтанчики пуль.

Думая о предстоящем бое, он рассчитывал только на атаку пехоты, на такую, как вчера. Как же быть теперь, что предпринять? И лейтенант Султаев не поможет, не слышит и не услышит он этого боя.

Андрей с болью в душе оглянулся на домик конторы, на окно с прикрытой ставней... Выход подсказал Пряхин:

- Отсекать пехоту. Пулеметом отсекать! - прокричал он, продолжая стрелять.

Андрей понял. Вскочив, побежал к окопу Ташаубаева, пригибаясь, не глядя на бешено мечущиеся по пригорку пыльные всплески от пуль. Вот они взметнулись почти у ног, Трубин упал, и вихрь пролетел у него над головой. Но окоп пулеметчиков был уже рядом.

- Касым, бей по пехоте! Отсекай их! Слышишь? Ташаубаев в ответ только чуть скосил прищуренными глазами, и плечо его задергалось от заработавшего пулемета.

А бронетранспортер приближался. Он оторвался от наступающих. Вот он в ста метрах от ограды, вот в пятидесяти... Четко виден белый крест на броне, утюгообразный закрытый радиатор, виден квадрат амбразуры впереди, откуда бился, не прерываясь, клубок желтоватого пламени. Еще минута, две - и удар в ворота... А немцы бежали со стрельбой, с криками, захваченные азартом боя.

И тут с бронетранспортером, готовым сокрушить ограду, что-то случилось: он вильнул вбок, съехал с дороги, задергался, как запалыженный бык, и замер, накренившись, упершись радиатором в проволоку. Желтое пламя в амбразуре погасло. Не зря, наверное, целился в амбразуру машины невозмутимый Пряхин.

Лишившись прикрытия, прижатые огнем ташаубаевского пулемета, немцы остановились, залегли. Атака захлебнулась.

Стало слышно, как внутри бронетранспортера судорожными толчками дорабатывал мотор.

Не веря еще передышке, бойцы прятались за брустверами. Ташаубаев, не отрываясь от пулемета, поправлял съехавшую с головы пилотку. Зайцев, стоя рядом с ним в окопе, поспешно наполнял запасной диск патронами из наполовину вскрытой цинки.

Трубин, грудью налегая на землю, вытаскивал из-под себя давившую бок кобуру с пистолетом. Немцы лежали на выкошенной траве серыми бугорками. Точно так же три дня назад на этой же поляне темнели копенки сена, собранные Уляшевым. Только немцы располагались по-иному - полукругом, впереди реже, вразброс, позади поплотнее. Между этими отдельными бугорками ползали, наверное, санитары. «Есть убитые и раненые», - отметил Трубин равнодушно.

Ташаубаев вставил в пулемет новый диск, не спуская настороженных глаз с бронетранспортера, застывшего у ограды, усмехнулся:

- Везде кресты ставил. На самолете крест, здесь крест. Бога шибко верят фашисты?

Из бронетранспортера ударил оживший пулемет. Пули пронеслись над бруствером, хлестнули во что-то глухо, как мокрым бичом.

- Смотрите! Сбили, сволочи! - крикнул Зайцев. Андрей оглянулся. Красный флаг, привычно колыхавшийся на крыше караульного помещения, лежал, обмотавшись вокруг переломленного древка.

На упавший флаг обратили внимание и остальные бойцы. Аветисян выскочил из окопа.

- Геворк, назад! - крикнул Трубин, поняв его намерение. Но Аветисян уже бежал к караульному помещению, догоняемый пыльными фонтанчиками. Минута, и он скрылся за углом. Некоторое время его не было видно, но вот голова младшего сержанта в повязке-чалме показалась из-за конька крыши. Лежа животом на покатых досках, Аветисян одной рукой удерживался за самое острие конька, а второй приподнял флаг и пытался водрузить на место.

Теперь за ним следили с той и с другой стороны. Автоматные очереди ударили из-за ограды. Пулеметчик в бронетранспортере перенес огонь на караульное помещение. Тесовая крыша брызнула щепой. Но флаг уже полоскался на ветру, ярко рдея на солнце.

Геворк Аветисян уже скрылся и немного погодя перебежал к своему окопу. А пулемет из бронетранспортера продолжал бить длинными оглушительными очередями без перерыва. Андрей распластался возле окопа, вдавливался в землю. Немцы ожили, начали шевелиться - готовились к новой атаке. Как же остановить их при таком огне?

И вдруг Андрей увидел, как из окопа поднялся Тугаринов. Да, это был он - его пилотка, его широченные, туго обтянутые пропотевшей гимнастеркой плечи. Одним махом Тугаринов перебросил через бруствер свое богатырское тело и, распластавшись в траве, пополз к ограде навстречу зловеще трепетавшему в амбразуре бронетранспортера гремучему пламени, пополз по-пластунски, прижимаясь к земле и волоча за собой в одной руке связку гранат.

Возможно, вражеский пулеметчик в бронетранспортере сразу не заметил его: первая очередь хлестнула в сторону Тугаринова, когда он уже успел отползти шагов на десять от окопа. Веер сплошных фонтанчиков пыли на миг скрыл его от взглядов товарищей. Ташаубаев ахнул:

- Ай, пропал Паша! - и пустил короткую очередь по бронетранспортеру. Но Тугаринов уже свалился в лощинку, и фонтанчики проскакивали поверх него. Нет, не зря лейтенант Султаев мучил медлительного здоровяка-караульного пере-

бежками и ползаньем на тактических занятиях. Пригодился навык. Теперь он вел поединок с самой смертью, вел его расчетливо, хладнокровно. Моментами боец замирал, словно сливался с землей, покрытой в этом месте чахлой вытоптанной травой, но как только пулеметная очередь отбегала чуть в сторону, полз дальше. Давалось ему все это нелегко. Даже на расстоянии было видно, как потемнела, взмокла гимнастерка на плечах Тугаринова.

Немец-пулеметчик начинал нервничать. Понимая, что красноармеец вот-вот окажется в мертвом пространстве и его уже нельзя будет достать из пулемета, сыпал очередями все торопливее и беспорядочнее.

Но вот и мертвое пространство. Тугаринов только мгновение помедлил, чтобы перевести дыхание, и тут же приподнялся, взмахнул тяжелой связкой гранат.

Андрей успел увидеть острый клин огня, вырвавшийся из-под колес бронетранспортера, и крикнул:

- Огонь, Ташаубаев!

Немцы поднялись в атаку.

Первым вскочил офицер в высокой фуражке. Было видно, как он кричал, оборачиваясь назад, приказывая солдатам бежать за ним, размахивал зажатым в руке пистолетом. Немцы вскакивали один за другим, бежали, приседая, вели огонь. Но по их цепи ударил пулемет Ташаубаева, стучали выстрелы остальных караульных.

- За Васю. За друга Васю Коржова, - сквозь стиснутые зубы шептал Андрей, стреляя короткими очередями. - А это за лейтенанта Култаева. За его гибель!

Еще одна атака отбита бойцами караульного взвода. Снова наступила передышка. Рита в одном из окопов перевязывала раненого красноармейца Абсалямова. Солнце поднялось, стало жарко. Дым от догоравшего немецкого бронетранспортера щипал горло.

Андрею хотелось пить. Глотая горькую слюну, следил он за противником. В голове билась мысль - что еще предпримут немцы? Когда? А враг, убедившись в безуспешности лобовой атаки, решил изменить тактику. С опушки леса донесся слабый хлопок. И сразу за оградой, неподалеку от чадившего бронетранспортера, сверкнуло коротко пламя, и в грохоте возник косматый черный куст.

- Артобстрел, товарищ старший сержант! Из пушки ударили! - крикнул Ташаубаев.

- Миномет это, - поправил Зайцев. - Из миномета стреляют.

Миномет! В сознании Андрея сразу всплыло насмешливое: «самоварные трубы», как называли у них в части восьмидесятидвухмиллиметровые минометы. Андрей раз или два мельком осматривал миномет, не вызвавший у него особого восхищения. Труба, круглая рубчатая плита, которую минометчики в походе взваливали на загорбок... Как-то уж чересчур примитивно, ничего общего с пушкой.

Помнится, он недоверчиво посмеивался над словами приятеля-минометчика, когда тот говорил, что они стреляют точно в цель. Хотелось самому глянуть на стрельбу «самоварников». И вот увидел.

А от опушки леса донесся опять хлопок, и черный огненный куст поднялся у самых ворот. Было видно, как колючая проволока изгороди разорвалась и концы ее, извиваясь, свернулись в клубок. Клубы бурого дыма понесло на окопы.

- Из одного бьют. Пристрелка. Поберечься надо, осколки разлетаются, - сказал опять Зайцев, чуть склоняясь за бруствер.

- Минометный обстрел! Не высовываться из окопов! - крикнул Андрей, и голос его потонул в громе нового разрыва. На этот раз мина угодила в бурьян рядом с конторой склада. Подброшенные высоко вверх комья земли забарабанили по крыше.

В следующую минуту уже несколько мин разорвались с треском одна за другой перед окопами. В воздухе завыли, разлетаясь, осколки. От дыма и пыли стало сумрачно. В уши ударило туго и оглушающе сразу со всех сторон. А вдогонку еще не покинувшему землю грому уже неслись новые, бьющие по нервам взрывы. Взбудораженный воздух наполнился шепелявым фырканьем летящих мин.

Андрей оглядывался в тревоге: где Рита?

- Пряхин ранен! Старший сержант, к Пряхину!

Его зовут! Трубин хотел вскочить, но его рвануло, приподняло с места и тут же бросило на землю. Он оторвал лицо от земли и открыл глаза. Удушливо пахло жженой гребенкой. Ломило в ушах. По подбородку текло, щекотало шею.

Андрей провел по лицу ладонью. Кровь... С трудом пошевелил отяжелевшей головой, приподнялся на локте. За бруствером, метрах в четырех, желтела вывороченной глиной глубокая с рваными краями лунка. Дернины вокруг, казалось, были

изодраны когтями. Валялись комья земли. В воздухе держался вонючий дымок, перемешанный с пылью, забивал дыхание.

Андрей кашлял, сплевывал попавший на зубы песок. Преодолевая тяжесть, давившую тело, придвинулся к окопу. Ташаубаев, обсыпанный землей, ладонью сердито вытирал пулемет. Зайцев лопаткой наспех подправлял бруствер. Целы!

- Я к Пряхину!

Ползком, постепенно преодолевая скованность в теле, Андрей пробрался к окопу Пряхина.

- Звал, Павел Васильевич? - почему-то на гражданский лад назвал он бойца, плохо слыша сквозь звон в ушах самого себя. Пряхин медленно повернул к нему голову, и бескровность его лица поразила Трубина. Усы казались приклеенными над побелевшими губами.

- Ты ранен, Павел Васильевич? - тронул за плечо бойца Трубин. - Слышишь меня?

Пряхин набрал в себя воздуха.

- Кузьмич, - он тоже назвал его так, как ни разу до этого не называл. - Командуй отбой, сержант. Надо уходить, пора. - И с усилием перевел дыхание. - Слушай, что скажу... Лейтенант как меня назвал? Комиссаром. Вот и скажу тебе как комиссар. Долг мы свой выполнили. Фашистов побили... Теперь отходить надо. Через территорию, в лес...

Разорвавшаяся мина заглушила его голос. Забарабанили, падая, ошметки глины.

- Видишь? - Пряхин повел взглядом. - Молотят. Бой этот не последний. Трудно первый выдержать. А мы его выдержали. Огнем себя испытали. Пригодится... Пора отходить. - Он закашлялся. Потом продолжал совсем отрывисто, с трудом. - Они сказали... Пороховая бочка... Вот и надо доказать... Пусть на себе убедятся... Понял меня?

- Понял, Павел Васильевич.

- Вот и ладно.

Опять упала мина. Просвистели осколки. Бруствер брызнул колючей пылью. Андрей оглянулся на шиферные, белые под полуденным солнцем крыши хранилищ. Которое же из них выбрать?

- Кузьмич, - напомнил тихо Пряхин, - время в обрез... Командуй отход. К складам они огонь не перенесут... Целиком хотят взять... Надеются... Успеете...

Трубин молчал. Нет, он не мог приказать людям покинуть оборону. Это же значит сдать позиции врагу. Сдать!!! Он не

мог пойти на это. Он знал, впитал в себя, как закон: Красная Армия не сдается. Красная Армия побеждает. Так его воспитывали в школе, этому учили в армии. Он покачал головой.

- Мы не уйдем! Нельзя нам отступать.

- Нет, отступишь! - Пряхин даже приподнялся. - Отступишь, чтобы людей сберечь. Чтобы потом наступать. Понял? - Он протянул белую, с налипшей на пальцы глиной руку и положил на руку Андрея. - На войне и отступают. Понял? Даже Красная Армия, когда нужно, отступает. Сейчас нужно. Командуй. Командуй!

Андрей проглотил застрявший в горле ком. Поднялся. И вяло, почти механически, крикнул:

- Аветисян, передать: отход! Всем отходить! Через внутренний двор! Военфельдшера сюда!

- Не надо, - приподнял протестующе руку Пряхин. - Не надо. Меня не трогайте. Уходите.

- Павел Васильевич...

- Нет, - твердо, почти жестко произнес он. - Ступайте... Прикрою отход... Сколько могу... Автомат дай.

Пряхин опять закашлялся, молча повел взглядом, и Андрей только теперь заметил на боку у него темное пятно, широко расплывавшееся сквозь гимнастерку.

- Сейчас военфельдшер перевяжет... Быстро... - заторопился Андрей. Но Пряхин замотал головой. Он подгреб к себе оставшиеся патроны, подтянул автомат, уложил его рядом с винтовкой и навалился на бруствер.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Разводящий караульных собак ночь скоротал на ногах. По привычке таежника Уляшев мог спать урывками, вполглаза. На охоте да еще зимой возле костра, в чащобе, полной опасностей, - какой уж сон! Привык.

Оттого, наверное, и обвыкся здесь сравнительно легко после всех своих мытарств по разным подразделениям. Работы здесь хватает. С виду должность спокойная, забот, вроде, мало, а на самом деле - полно. Накормить, напоить собак и выставить на пост - половина дела. Главное в другом - приноровиться к ним. Животина животиной, а характер у каждой свой. И обязанность разводящего - знать эти характеры. Собаки военные, и служба у них военная. Он же при них - командир. А

у командира и ответственность, и беспокойство. В общем, не до сна ему.

Занятый своими делами, Уляшев время от времени подходил к дверям собачника, где сидел пленный, которого ему поручили караулить, проверял засов, прислушивался. Хотя запертый в тесной, темной полуземлянке немец был чужим, недобрым человеком, и Уляшев, безусловно, осуждал его за жестокий поступок, но вражды, как к врагу, к нему не чувствовал.

Движимый чувством сострадания, он сначала бросил немцу охапку свежего сена, потом принес и подсунул под дверь кружку воды и кашу в миске, отделив ее от своей порции: человек ведь голоден, небось. Фашист схватил кружку, выпил воду. Пустую кружку отбросил подальше. Потом подтянул к себе миску и съел все остывшее варево Уляшева.

Напившись и наевшись, он заснул... Из забытья его вывели выстрелы, глухо доносившиеся сквозь стены собачника. Пока ефрейтор соображал спросонок, стрельба смолкла. Но зато, когда на следующий день снова услышал перестрелку, понял: пришли свои, конец плену. Он торжествовал: сейчас русские разбегутся, и он будет свободен. Но стрельба не прекращалась, и, когда о землю забухали взрывы, холодок тревоги кольнул его. Русских выковыривают артиллерией, не иначе. А если снаряд угодит в землянку? Никто же не знает, что здесь он, стрелок-радист германских воздушных сил. Нет, скорее вон отсюда.

Тревога переросла в панический ужас. Ефрейтор вскочил, ударился головой о низкий потолок. Присел. Толкнулся в закрытую дверь. А взрывы ухали, сквозь доски сверху сочилась сухая глина. Не дай бог - попадание: все рухнет... Готовая могила.

Часовой был на месте. Как быть? К черту принципы. Что-нибудь попросить, обратиться? Лишь бы вырваться. Сейчас все годилось. Сказать бы! Но этот русский язык: в памяти ни одного слова. Да и все равно не слышно в грохоте. Он схватил из-под ног кружку, начал бить в дверь. Часовой услышал, взялся за щеколду.

Ефрейтор сжался, собрал все силы. Едва дверь приоткрылась, он толкнул ее и пинком в живот опрокинул русского. Путь был свободен. Он кинулся из землянки, еще не сориентировавшись в направлении, лишь с одной мыслью - поскорее прочь. Но то ли от долгой неподвижности занемели ноги, то

ли просто запнувшись, он упал, и когда попытался вскочить, почувствовал на себе живую тяжесть. Что-то рвануло его остервенело за спину, в правую лопатку гвоздями вошла боль. Опалила догадка - собака!

Несколько секунд ефрейтор лежал ошеломленный и только втягивал голову в плечи, стараясь уберечь горло. Потом, собрав силы, рывком перевернулся на живот, подмял под себя пса, лихорадочно шаря одной рукой вокруг себя в надежде найти что-нибудь такое, чем можно ударить.

Уляшев, придя в себя, поднял голову: в пяти шагах от него валялась распластавшаяся на земле Пальма с раскроенным черепом, а над ней, на коленях, с топором в руках стоял немец.

«Оставил топор, оставил раззява», - успел упрекнуть себя разводящий. Его потряс вид убитой собаки. В первое мгновенье он был захвачен чувством жалости. И только потом явилось опасение: «А ведь уйдет! Уйдет, однако. Проморгал, рассупонился, дурень».

Он повел рукой за винтовкой, которая завалилась за дверь, когда открывал ее. Вот она - упала вместе с ним. Подтянул к себе. Гнев помог ему позабыть все: близкое уханье мин, перехватывающую дыхание боль в животе и то, что он, староверкержак, впервые в своей жизни поднимает оружие на человека. Уляшев обо всем забыл, и, когда ефрейтор Курт Кениг, заметив, что часовой очнулся, вскочил с топором, палец его с охотничьей непоколебимостью нащупал спусковой крючок.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

А Пряхин истекал кровью. Он не видел своей раны, но знал, что ранен смертельно и что это конец.

Щемящее ощущение предсмертной тоски прошло, и он уже не думал о себе, подчинившись неотвратимости конца. В прошлом году, когда он вот так же лежал, поваленный в снег пулей шоцкоровца-кукушки в карельском лесу, была непоколебимая уверенность, что его подберут, вылечат. Теперь же надежды не было. Он твердо знал это. Еще немного, и все будет кончено, он останется лежать здесь, в окопчике, непохороненным, и это его огорчало, хотя он и понимал, что для мертвого безразлично, как и где лежать.

Всю свою не очень легкую тридцатилетнюю жизнь Пряхин прожил в степи, скупой на красоту, малоприветливой, почти суровой степи Северного Казахстана, не знавшей тени в зной-

ные дни. Кругом на десятки километров не было ни кустика - только камышовые гривы редких озер да стертые временем курганы древних могильников. И даже улицы центральной усадьбы МТС не радовали глаза зеленью. Ежегодно здесь высаживали деревья, но все они засыхали, потому что место было солонцовое. Вода в озере, из которого брали воду, и то отдавала солоноватым привкусом.

Пряхин все подумывал переехать куда-нибудь в другое место, где бы можно было хоть чаю нормального напиться. И лишь теперь понял, что это были просто намерения, не больше: никуда бы он не уехал, потому что степь, сто раз им руганная и помянутая недобрым словом, была дорога ему. Оказывается, он не только мирился, но и по-своему ее любил и думал о ней в эти свои последние минуты с болью.

Удивительна мысль человеческая. В мгновенья она способна обежать годы, воссоздать с поразительной ясностью картины минувшего. Вот и сейчас, за считанные минуты Пряхин успел обо всем передумать: перебрал в памяти огорчения и радости прошлого. Вспомнил трактор, видавший виды колесник ХТЗ, который он помогал ремонтировать молодому трактористу перед самым отъездом в армию.

Его не предупредили о призыве. Просто с нарочным вызвали из бригады в контору МТС, и он оставил раскиданным задний мост, надеясь к концу дня вернуться и собрать. А в конторе лежали повестки из военкомата ему и еще двум механизаторам, имевшим, как и он, отсрочку. Им пришлось тут же собраться, потому что шла как раз попутная полуторка до райцентра. Так и уехал он второпях, на часок заскочив домой и едва успев проститься с домашними, уверенный, что вызывают его всего лишь на сборы.

Незабытая досада за эту чрезмерную поспешность вернулась к нему сейчас снова, и он упрекал себя за то, что не смог провести с семьей хотя бы еще один день. Он жалел, что только неделю назад отослал домой письмо, в котором писал, что к осени приедет, и просил сообщить, чтобы в МТС имели это в виду и оставили за ним бригаду. Письмо наверняка дошло, и дома думают, что он жив-здоров, и будут его ждать, хотя и война, тем более что он, кажется, не проставил на письме дату отправки.

Первый раз за все время обманул он жену несбыточным обещанием. И хотя обманул не по своей вине, ему все равно было неловко перед ней. Тяжело и больно за то, что все так

вышло. Жена напрасно будет его ждать, и если никто не сообщит ей о его гибели, то она вообще не узнает, что с ним, а это хуже всего.

Он думал о жене, представил, как она каждый день, возвращаясь с фермы, спрашивает, нет ли вестей от него и, огорченная, берется за дела по хозяйству, подавив тревогу и не расставаясь с надеждой на завтрашний день. Трудно ей сейчас, и будет еще тяжелее. И вообще, как она будет жить одна, с ребятишками, разрываться на все стороны: и припасти топливо на зиму, и заготовить сено, и собрать осенью детей в школу.

Мысли о доме, о близких мучили бойца больше всего, но и они начинали ускользать, путаться. Наплывали отрывочные видения. Ему мерещились то гонимые ветром степные травы, то слышалось постукивание трактора на отдаленном загоне, то доносились голоса людей, знакомые и неузнаваемые. И становилось все труднее и труднее отгонять от себя бред, удерживаться на зыбкой грани действительности.

Пряхин вдруг почувствовал на спине забытый ожог от удара кнутом: то хозяин, хуторской богатей дед Куличенко, у которого он батрачил на пашне, учил его, двенадцатилетнего парнишку, уму-разуму, чтобы не зевал, не пускал быков в пшеницу.

Сиротское, безрадостное детство кончилось для него в ту памятную метельную зиму 1928 года, когда на хутор к ним приехал с попутным обозом из города полузамерзший за долгую дорогу парень в красноармейской шинели и в буденовке - уполномоченный комсомола. Отогревшись и отоспавшись на полатях у приютившего его избача, уполномоченный принялся за организацию на хуторе ячейки РКСМ. Он не стал дожидаться, пока к нему придут будущие комсомольцы, а сам ходил по домам и искал их. Его, Пашку Пряхина, нашел он на куличенковской заимке в момент, когда тот задавал корм хозяйскому скоту, и, оставшись ночевать, за долгую ночь разговорами о новой жизни как бы раздвинул стены беспросветной бедняцкой доли, давившей батрачонка.

Хлопотами уполномоченного комсомольца Пряхина послали тогда на курсы трактористов в только что созданный неподалеку зерносовхоз, а когда на следующую весну в хуторе организовался колхоз и появился добытый в рассрочку благодаря стараниям того же уполномоченного, приезжавшего теперь уже по вопросу коллективизации, первый трактор «Фордзон», - Пряхин сел за руль. Первую борозду, проведенную им

на тракторе, вышли смотреть всем хутором. До самого конца полосы не отставала толпа: люди недоверчиво приподымали пласты, замеряли глубину вспашки и даже нюхали землю. Был пущен слух, что после пахоты трактором земля будет пахнуть керосином.

А он, радостный, вел машину, и ему казалось, что он не целину вспарывает лемехом, а старый деревенский мир с его бедностью и недавним кулацким засилием опрокидывает и приваливает пластами на веки вечные.

Память воскресила лицо уполномоченного. На короткий миг с поразительной отчетливостью вспомнилась их последняя встреча. Он уже не так был молод, тот паренек из города, взбудораживший когда-то застойную тишь степного хутора. Беспокойная должность партийного секретаря наштриховала морщинок вокруг глаз, заметно подсеребрила виски. Но осталась та же улыбка, тот же веселый прищуренный взгляд и крепкая дружеская рука.

- На, тракторист, держи, - сказал он, подавая твердую, казавшуюся маленькой в его широкой ладони книжечку с ленинским профилем на корочке. - Это тебе компас на всю жизнь. Ты хоть и правильно идешь, но сверяй все равно время от времени свой курс. Держи борозду, чтобы была она у тебя прямая до самого последнего поворота.

Так сказал он тогда, секретарь райкома... А держал ли свою борозду прямо он, Пряхин? Старался держать. А поворот - вот он, последний поворот на его пашне... И теперь главное сделать все как надо, без огреха...

А немцы все еще не теряли надежды захватить склад в целости и поэтому не переносили огонь в глубь территории. Разрывы мин внезапно смолкли. Пряхин в своем забытьи не слышал этого, но он увидел, как фашисты поднялись с земли, и понял - атака. Теперь-то они пройдут, теперь огонь уже не прижмет их к земле. Он один здесь, в окопе. И все-таки кому-то он не даст добежать, пусть двум-трем, пусть одному... Должен не дать.

Пряхин невероятным усилием поворачивает туловище, оглядывается назад: успели ли уйти свои? И вдруг видит Уляшева. Разводящий караульных собак лежит в соседнем окопе и неторопливо, с сосредоточенным видом набивает обойму патронами, словно где-нибудь на учебных стрельбах. Внезапное появление его не столько удивило, сколько рассердило Пряхина.

- Ты почему тут? Ступай назад... Отползай! - прохрипел Пряхин. Собаковод, видно, услышал, мотнул головой, крикнул:

- Теперя поздно, паря, не побежишь, однако, подстрелят. - Он припал к прикладу, прицелился и выстрелил в вырвавшегося вперед коротенького, широкоплечего немца.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Трубину казалось, что он услышал последние сдвоенные выстрелы своих караульных, оставшихся в окопах лицом к лицу с немцами. Сила, которая все время, пока он отходил, отстреливаясь, через территорию склада, держала и тянула его назад, как бы вдруг иссякла, и Андрей упал возле кирпичной теневой стены хранилища.

На короткий миг его охватила слабость. Андрей провел шершавым, выпачканным землей рукавом гимнастерки по мокрому от пота лицу, приподнялся.

Рядом, тяжело дыша, лежал Зайцев. Коротко остриженная голова шофера, без пилотки, белела повязкой. Рассеченное ухо заплыло сгустившейся кровью. В одной руке Зайцев держал карабин, в другой - сумку с гранатами.

- Эта? - шофер, раздувая ноздри, повел взглядом на массивную дверь хранилища.

- Она, - подтвердил кивком Андрей. - Идем.

Он вскочил первым. Вот оно, святая святых: объект, куда еще два дня назад не было хода ни одному постороннему человеку. Дверь хранилища - замок, печать пломбы... Неприкосновенность! Кажется, все это тотчас отзовется тревогой, стоит лишь прикоснуться. Но была только прочность запоров, ненужная сейчас.

Андрей в нетерпении рванул фанерку с круглым наплывом мастики. Ключи на стене, в конторке. Но зачем теперь ключи?.. Он ударил рукояткой пистолета по замку. Это было кощунством, нарушением всех и всяческих правил: бить около склада по металлу. Сюда и входить-то разрешалось не иначе как в валяной обуви - гвозди на сапогах могли высечь искры. А он ожесточенно колотил и колотил пистолетом, и удары глухо отдавались в недрах хранилища.

Видя, что с массивным замком ничего не поделать, Андрей со злости выстрелил в отверстие для ключа. Замок закачался и раскрылся. Андрей рванул тяжелую половинку дверей. В лицо

пахнуло прохладой, запахом оружейной смазки. Что-то сверкнуло в полумраке, тускло и угрожающе. Андрей остановился на наклонном трапе. Зайцев, войдя следом, чуть отстранил его с дороги.

- Пусти-ка, товарищ старший сержант, - сказал он глуховатым от напряжения голосом.

- Ты что хочешь?

- Один пойду. Вдвоем незачем. Да не сомневайтесь, справлюсь. Не зря два года трубил в госпитании, знаю, что к чему. Только торопиться надо, - шофер оглянулся на приглушенную стукотню выстрелов, перехватил сумку с гранатами и решительно шагнул вниз. Андрей прислонился на минуту плечами к холодной стене. Зайцев уже был в конце трапа.

- Иди, сержант, - сказал он, не оглянувшись. - Я быстро... Догоню.

Андрей, чтобы не заслонять света, отступил от порога. Прислушался. Теперь пальба совсем близко. Это Ташаубаев, а с ним и остальные бойцы сдерживали немцев огнем. Они били с высотки, от второго поста. «Молодец, Касым! Только чтобы теперь сумел отойти вовремя и подальше, не опоздал бы!»

По выступавшему над дверью карнизу чиркнула пуля. Порхнуло облачко красноватой кирпичной пыли. Андрей оглянулся. Пулемет Ташаубаева продолжал бить очередями. Вот он умолк и снова застучал. Касым сменял позицию. Значит, все собрались к северной стороне территории, к проходу в ограде. Как он велел. Для них с Зайцевым оставлен второй проход, ближе.

Теперь время отсчитывалось секундами. Трубин отполз к проволочной ограде, лег, повернувшись лицом к хранилищу, дожидаясь шофера. Здесь, в чахлой траве, обычно пахло смолой и креозотом, которым были пропитаны столбы. Сейчас он не чувствовал запахов. Все его внимание было сосредоточено на двери хранилища. Он с нетерпением ждал, когда в них появится Зайцев. Но тот не показывался. Секунды текли. А шофера не было. Что там? Неужели у него ничего не получается?!

Звякнула, задребезжала задетая кем-то проволока. Трубин оглянулся. Рита! Но почему она возвратилась, зачем?

- Назад! - крикнул Андрей. - Сейчас же назад!

Но девушка или не услышала его или не послушалась: проскользнула за ограду, подползла, с трудом переводя дыхание, волоча за собой санитарную сумку.

- Андрей...

- Ты зачем вернулась? Я приказал уходить, всем! Всем! Марш назад! - прокричал, перебивая ее Трубин, заметив мелькнувшую вдали зелено-серую фигуру немца.

- Андрюша, ты ранен? У тебя на лице кровь. Я перевяжу.

Рита придвинулась, расстегивая сумку, которую волочила за собой.

Андрей перехватил руку девушки, потянувшуюся к его щеке с куском бинта.

- Рита, прошу тебя... Беги немедленно! Пробирайся к лесу...

- А ты?

- Я дождусь шофера. Он скоро будет... Мы двинемся следом за тобой. Не теряй время!

- Я испугалась за тебя, Андрюша. Думала, с тобой что случилось. Тебя нет и нет...

- Беги! - повторил Андрей. - Слышишь?

- Вместе. Только вместе! - Рита схватила его за плечо. - Ты сам можешь не успеть.

- Там шофер. Я же сказал - догоню. Иди!

- Мы вместе уйдем. Я тебя не оставлю. Не могу оставить.

- Ступай, кому говорят! - Андрей сердито толкнул девушку. И в это время из-за угла хранилища показался немец. Он, видимо, был ошеломлен, оказавшись перед пустым открытым пространством один, и поэтому на какой-то миг остановился, разгоряченный бегом, не зная, что делать дальше.

Миг был коротким. Но фигура немца, возникшая на фоне кирпичной темно-красной стены хранилища, четко отпечаталась в сознании Трубина. Это был крепкий приземистый парень, с загорелым широколобым лицом, в коротком френче нараспашку, под которым белела нижняя рубашка. Он стоял, как стоят моряки на палубе в качку, циркулем расставив крепкие ноги в сапогах, в мешковатых брюках с напуском, уставив перед собой висевший на ремне автомат.

Все, вплоть до черных пятен на коленях немца, успел охватить коротким взглядом Андрей.

Немец заметил их тоже. От неожиданности он подался назад, тупой ствол автомата в его руках дрогнул. Из-за угла выбежали еще три солдата, еще и еще. Теперь они уже не рассредоточивались, сбились в кучу. Андрей и первый немец нажали на спуск одновременно, выстрелы слились в один звук. В этот же миг позади немцев вдруг возник огненно-дымный смерч. Земля дрогнула, взметнулась вверх.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Вода в омуте черная, как деготь, и вся в водорослях. Скользкие, упругие, они щупальцами обвивают тело, хватают за руку, тянут на дно. А воздуха мало, в голове звон.

По губам скользит холодок, тает во рту. Льдинки! Крохотные прозрачные льдинки, похожие на иглы! Значит, уже осень. Но почему она осенью купается?

Последним усилием Рита поднимает веки, жадно хватает воздух. Никаких льдинок. И никакого омута. Над ней зелено-голубая крыша, недосягаемо высокая.

«Так это же сосны, - приходит догадка, - а вверху небо. Я лежу на спине и смотрю вверх, только и всего».

Девушка с трудом поворачивает голову и сквозь поплывшие перед глазами круги видит склонившееся знакомое скуластое лицо. Ташаубаев! Конечно же, он! Но что у него в руках: узелок, не узелок, мокрый.

- Касым, - вспомнив имя бойца, еле слышно произносит Рита, - ты?

- Я, товарищ военфельдшер. Я, - кивает казах, и губы его обрадованно расплываются в знакомой улыбке.

- Касым, живой?

- Живой. Все в порядке.

- Что это ты держишь?

- А, это? - Ташаубаев смущается. - Пилотка, товарищ военфельдшер. - Вода черпал, вместо кружки. Пришлось, - он отводит руку в сторону, выплескивает на землю остаток воды, встряхивает темную, потерявшую форму пилотку. Смущение на его лице сменяется выражением сочувствия и хмурой озабоченности.

- Тебе плохо было, товарищ военфельдшер. Совсем плохо. Лежал все время, как неживой. Я боялся, - Ташаубаев вздохнул, покачал головой и тут же улыбнулся. - Ну, теперь ничего, мал-мал лучше. Правда? Вода помогал. Хорошая вода. Из ключа брал. Прямо кумыс.

Слова бойца окончательно возвращают Риту к действительности. Она чувствует на лбу повязку, тугую и горячую, и, пошевельнув рукой, вытянутой вдоль тела, натыкается на шероховатую, липкую от проступившей смолы сосновую жердь. Такая же жердь возле нее и с другой стороны. Что-то пружинистое, жесткое упирается в спину и под коленки, давит бока. «Носилки», - догадывается Рита и, подталкиваемая смутной

тревогой, делает усилия, пытаясь приподняться. Рука Ташаубаева удерживает ее.

- Лежать надо, товарищ военфельдшер, лежать. Вставать будешь, плохо будет.

- Касым, где мы?

- В лесу. Привал делали, мал-мал отдыхать.

- Куда идем? Зачем?

- Надо. К своим идем.

- А кто с нами? Где они? Не вижу.

- Все здесь.

- Кто «все»? Ты говори.

- Да, конечно, говорю. Кучкильдин, Адамович, Тугаринов, Ольховский. Потом всех называю, другой раз. Отдыхай, товарищ военфельдшер. Тебе покой надо, спать надо. Вредно разговор...

- Касым, - в нетерпении прерывает бойца Рита. - Ты не все сказал. Не про всех.

Перед глазами у нее всплывает фигура немца, барабанные перепонки раздирает чудовищный грохот. Минуту она молчит. Потом спрашивает:

- Что со старшим сержантом? Ты не сказал, Касым. - И ждет ответа, стиснув зубы.

- Порядок старшим сержантом. Глухой был мал-мал, теперь хорошо.

- Правда?

- Да.

Черные-черные, узко прищуренные глаза Ташаубаева смотрели прямо, не ускользнули, не ушли в сторону. Так смотрят, когда говорят правду. И все-таки Рита переспрашивает:

- Ты не обманываешь меня, Касым?

- Зачем обманывать? Говорю, все хорошо. Сама будешь видеть.

- Спасибо, Касым. Ты как брат милосердия.

- Брат? - не понял Ташаубаев.

- Санитар. По-прежнему это «брат милосердия», - поспешила объяснить Рита.

- Конечно, - закивал боец. - Сейчас еще воды принесу. Хочешь? Быстро схожу. - Ташаубаев сделал попытку встать, но Рита успела чуть коснуться пальцами его руки, удержала.

- Касым. Я ранена? Почему меня несут на носилках? Серьезно ранена, скажи?

Ташаубаев покорно опускается на корточки рядом с носилками, смотрит на мокрую пилотку, хочет надеть на голову, но передумывает, кладет на колено, прихлопывает смуглой ладонью, широко и успокаивающе улыбается.

- Немного ранена, товарищ военфельдшер. Совсем мало. Отдыхать будешь, все будет порядок.

Рита нашла рукой порванное место на гимнастерке, хотела приподняться, посмотреть и упала, стукнувшись плечом о носилки.

...Было раннее утро. Небо за навесом мокрых сосновых лап чуть светлело. Рита открыла глаза. Дождь перестал. По лесу клубился туман. Грибная прель, сырость, запах хвои щекотали ноздри. И далеко-далеко куковала кукушка. Как в огромном пустом зале, эхом, гулко отдавалось ее неторопливое: ку-ку!

Поблизости за деревьями разговаривали. Донесся обрывок фразы, сказанной по-командирски твердо:

- ...Значит, через дорогу прорываемся... Дальше по обстановке. - Так это же голос Андрея! Конечно же, его!

По отвороту шинели пробежал муравей. «Где-то поблизости муравейник», - подумала Рита и сама удивилась этой своей мысли, такой далекой от действительности.

Рита обвела вокруг себя взглядом. Носилки стояли под сосной, разметавшей широко по сторонам ветви, унизанные дождевыми каплями. К стволу был прислонен ручной пулемет, зеленела коробка с дисками, потемневшие от дождя сумки противогазов топорщились натолканными в них гранатами. А за сосной, на полянке, большой, круглой, стояли в строю бойцы караульного взвода, словно собравшиеся в наряд. Вот они все, ставшие для нее, Риты, за эти дни родными: всех она теперь знала по имени и в лицо. Сухощавый, неразговорчивый ефрейтор Кучкильдин; Адамович, в своей изрядно потрепанной, но втянутой под ремень танкистской гимнастерке, с немецким автоматом на плече поверх винтовки; угрюмоватый, по-медвежьи большой Тугаринов; Аветисян в потемнелой повязке-чалме под пилоткой; веснушчатый, похожий на девушку Василь Тимошенко; высокий, на голову выше товарищей, красноармеец Бугаев с перевязанной рукой; Касым Ташаубаев...

И Андрей Трубин... Он стоял спиной к ней, Рита не видела его лица, видела только затылок и плечи, обтянутые темной, непросохшей после дождя полинялой гимнастеркой. Он был не тот, что раньше, милый ее Андрей, не тот - по плечам,

будто потяжелевшим, испробовавшим на себе не юношескую ношу, по жестам, скупым, сдержанным, и по голосу, который звучал тоже по-новому - чуть глуше и тверже.

- Ну, все! Проверить оружие! Дозор - вперед! Ржаницын, Ольховский - к носилкам!

«Про меня. Меня нести», - догадалась Рита. «Нет, - подумала она протестующе сквозь звон в висках, - только не носилки».

- Нет! - повторила она уже вслух. - Нет! Я сама... Рывком она скинула ноги с носилок, села. В глазах потемнело, боль перехватила дыхание. Рита почувствовала, что сейчас опрокинется навзничь, потеряет сознание и, чтобы опередить этот момент, протянула руку, наткнулась на дерево, обхватила его, навалилась на ствол всей тяжестью тела.

Худо ей было. Земля качалась, устремленная в небо крона сосны плыла и опрокидывалась, слабость ломила пальцы, готовые разжаться. Но Рита уже превозмогла себя и знала, что не упадет.

МАНЬЧЖУРСКИЙ ДНЕВНИК
Записки боевого офицера-артиллериста

15 июля 1945 г.

Лида, ты просила меня вести дневник, чтобы, как сказала ты, «я все о тебе знала». Сборы, путь, да и то обстоятельство, что я никогда дневниками не занимался до сих пор, мешали мне выполнить твою просьбу. Но теперь я решился и дневник начал. Получится ли он у меня, не знаю, как не знаю, совершенно не знаю, где ты сейчас, и прочтешь ли когда эти мои строчки.

Итак, пишу. И первое, что нужно отметить и что каждому уже ясно - едем мы на Дальний Восток, для больших дел.

20 июля

Мы в Гродеково. Месячный путь из Восточной Пруссии закончен. Вот уже больше часа стоим на разгрузочной площадке, а я все еще не могу привыкнуть к твердой земле. Хожу по перрону, и все кажется мне, что вот-вот дернется поезд, нужно за что-то ухватиться. Так привилась во мне за эту дорогу привычка к эшелонной жизни.

Над станцией висит сдержанный гул разгрузки. С платформ скатывают пушки, взад и вперед снуют люди с ящиками снарядов на спине, точно застоявшиеся кони фыркают «Студебеккеры».

Я слежу за работами, а в глазах у меня пестрый калейдоскоп неулегшихся дорожных впечатлений. Реки, города, станции - все-все перемешалось, но сознание огромности расстояния, которое отделяет теперь нас от Москвы, от Свердловска, даже от Новосибирска и Иркутска, - вполне ясно. Далече мы заехали.

Дальний Восток, суровый, почти легендарный, воспетый в стольких песнях, наш Дальний Восток встретил новых своих защитников, как мы, приветливо. Все время, пока мы разгружались, сияло жаркое солнце, и фиолетовые тучки точно в нерешительности выглядывали из-за горизонта, изломанного зелеными горбами сопок.

За несколько часов до нашего приезда лил дождь и, глядя на солнце, бойцы шутили:

- Молодцом, старина, уважил фронтовиков.

Был уже вечер, когда мы, отъехав немного от станции, на окраине города расположились на ночлег.

Пока солдаты разбивали палатки и готовили ужин, я взобрался на мелкую сопчонку, чтобы оглядеть окрестности.

Картина, представшая моему взору, показалась мне величественной.

Если снизу можно было видеть часть сопок, то отсюда, с возвышения, видны они были во все стороны.

Как темное, несметное войско богатырей подступали они к городку, белые домики которого начинали тонуть в густом тумане, окутывавшем долину.

На юге и востоке сопки были поменьше. Зато на севере, и особенно на западе, увеличенные вечерними сумерками, казались они бесконечно высокими.

Вид этих сопок с вершинами, окутанными белой чалмой облаков, ярко напомнил мне другой уголок моей Родины - Северный Кавказ, где три года назад, вот так же вечером стоял я на обрыве, с обидой и злобой слушал сквозь плеск Терека лающий грохот немецких танков.

Какими свежими и вместе с тем далекими показались мне эти воспоминания. С каким удовольствием и гордостью смотрел я на бивуачные огни, золотыми цветами раскрасившие долину.

Три года назад немцы хвастали, что Красной Армии не существует. И что же вышло на самом деле? Мы уничтожили немецкую армию и донесли славу победы на своих штыках до этих дальневосточных рубежей. Если надо будет, увеличим и приумножим ее и здесь, пронесем ее дальше, куда угодно.

Стояла уже ночь, когда я спустился с сопки. Первая сырая ночь в Приморье. Надо было спать. Рано утром снова в путь, на запад, вглубь сопок...

23 июля

Вот мы и в самой гуще сопок, которыми я три дня назад любовался из Гродеково. Наш КП приткнулся к подножию огромной мохнатой Медвежьей горы, в самом деле похожей на медведя, и стоит вторые сутки, расстреливаемый мелким, бесперебойным дождем.

Но даже сплошная мутная сетка дождя не в силах скрыть всего великолепия дикой природы этого края. И я, приоткрыв полы палатки, любуюсь ею.

Прямо впереди, за извилистой, как змея, желтой дорогой, лежит падь.

Глубокая, похожая на трещину в могучем теле горного массива, она вся заросла буйной порослью дубняка, ветлы и клена и скрывает в своих маленьких джунглях быструю речушку, плеск которой доносится до меня.

А в какой роскошно-богатый наряд одеты сопки. Дубки и клены, малинник и дикий виноград, смородина и какие-то еще неизвестные для меня деревца и кустарники, все низкорослые, широкие и курчавые, делают крутые склоны сопок абсолютно непроходимыми.

Мне очень хочется побродить по этим сопкам, но этого делать не позволяет погода. Даже когда и не было дождя, солнца нельзя было увидеть по целым дням. Здесь, над этой горной страной с раннего утра стягиваются тучи, в пади садится туман и растекается по ним точно дым по трубам.

Вершины сопок прячутся в облаках, и кажется в такое время, что у сопок срезаны вершины, а что осталось - тупыми конусами висит в воздухе.

Только вечерами, когда тучи, будто утомясь за день, поднимутся вверх, над верхушками сопок далеко на западе голубеет небо, напоминающее окно в землю, лежащую за этими горами.

Своеобразная, покоряющая сердце человека своими законами природа. Мне она нравится.

27 июля

Погода резко изменилась к лучшему. Сегодня опять будет хорошая звездная и теплая ночь, с тусклым серпиком месяца и белой дорогой млечного пути.

Здесь, на Дальнем Востоке, все как-то непонятно. То туманы и дожди, то знойная погода. Цветы не имеют запаха, на горах можно встретить тряское болото, на голых камнях - деревья.

Вот час назад хлестал проливной дождь, а сейчас тучи стоят высоко над сопками и обнажают широкую полосу вечернего небосклона. Красив этот небосклон, который нам не часто удается видеть. Такой голубой, такой чистый, он кажется нарисованным акварелью... И над ним, точно хмурые брови над ласковыми голубыми глазами - тучи, эти вечные тихоокеанские тучи, про которые нельзя не упоминать все время.

Я пробродил сегодня весь день. Побывал на батареях, взобрался на Медвежью гору и как девушка, вернулся обратно с

огромным букетом причудливо ярких дальневосточных цветов.

В батареях идет боевая учеба, на случай новых боев. С гребня Медвежьей горы в бинокль впервые смотрел я на Маньчжурскую границу. Собственно никакой границы видно не было. Видны были пограничные сопки. Островерхие, казавшиеся еще выше, чем наши, они загадочно голубели вдали.

Это оттуда, с них, постоянно грозили нам японцы войной и разбоями, это оттуда, с тех сопок шла на нашу землю коричневая опасность, это у тех сопок стерегли рубежи родины наши героические пограничники. Как нуждался наш дикий и богатый край в тишине, покое и безопасности. Какой родной почувствовал я, глядя на чужие сопки, землю, на которой я стоял.

Во мне росла твердая уверенность в том, что неспроста мы приехали сюда с Дальнего Запада, что наступает пора, когда Красная Армия поможет пограничникам в их тяжелом труде, раз и навсегда покончив с наглым соседом. Пусть только будет приказ, а за нами дело не встанет.

29 июля

Да, покой и безопасность Дальнего Востока будет обеспечена. Сегодня снова всю ночь к границе шли войска. Автомашины, танки, тракторы, пушки и пехота. Огромное, не поддающееся воображению количество техники и людей. И все это уходит, пропадает где-то в сопках. С радостью ощущаешь, что весь этот стальной кулак наш народ заносит над головой врага.

Осталось одно, одного ждали - этого удара. Скорее бы этот удар, чтобы раздавить японскую гадину. Я сегодня смотрел на японские пограничные сопки. Мы теперь от них так близко, что можно видеть их простым глазом. С какой злобой, наверное, следят за нами раскосые самурайские глаза.

Пусть смотрят! Не страшно. Все равно скоро ослепнут!

1 августа

Мы еще ближе придвинулись к границе, до нее от нас километра четыре. Масса наших войск здесь еще заметнее. Вчера вечером вышел я из палатки и был поражен открывшейся передо мной картиной. Вся обширная падь внизу была залита огнями тысяч костров.

Возле меня стояли два бойца.

- Не маскируются, - заметил один из бойцов.

- А что маскироваться, - ответил другой, - нам нечего скрывать свою силу. Пусть смотрит япошка, может сон потеряет.

И добавил уверенно и зло:

- Понахальничали сигиленцы, довольно. Теперь наш черед объяснить им, перед кем они свои собачьи когти точили. Устроим им такую баньку, как немцам под Кенигсбергом, вот и ладно будет.

И бойцы, раскуривая цигарки, принялись вспоминать незабываемый поход по Восточной Пруссии от Волхова до Кенигсберга и Пиллау.

Я подошел к ним. Это были хорошо мне знакомые солдаты.

Оба работали телефонистами, оба дружили неразлучно и имели разницу в летах, какую имеют редкие друзья.

Тот, что заговорил первым, имел за плечами двадцать лет и назывался «Малышом»; тот, что возразил ему, - пятьдесят три, и был самым пожилым человеком в полку. Его фамилия была Грибов, но многие об этом не знали и все как один называли его «батей».

Батя любил казаться суровым, хотя на самом деле был человеком доброй души. Не в пример другим «старичкам», его сверстникам, он никогда не заговаривал о доме, между тем каждый знал, что он давным-давно мастерит для себя дорожный чемодан.

И теперь, когда я спросил его, охота ли ему домой, он почтительно и строго ответил:

- Как вам сказать, товарищ лейтенант, родной край тянет к себе, конечно, однако служба свое требует. Прикажут ехать домой - поеду, не прикажут - не поеду. На все приказ.

- А как японцы? - спросил я.

- Японцы? Что японцы? Японцев - побьем.

- И тогда уже домой обязательно.

- Приказ будет - поедем.

Мы уселись на траву, и Грибов, угостив меня махоркой, принялся скупо рассказывать о боях с японцами за Спасск и Раздольную, в которых он в молодости принимал участие, будучи красноармейцем.

- Был у нас ротный командир Исаченко, - говорил он, попыхивая цигаркой, - добрый к людям и храбрый в бою был человек, убили его японцы. И убили как. Больного тифом захватили в медицинской хате и прикончили. Всего клинками порубали,

голову отсекли, а в распоротый живот заместо кишок овса натолкали. Не по христиански кончили человека. Жалко. Двадцать пять лет прошло, а все еще жалко того человека. За него ребята немало положили косорылых, да что, вернешь ли этим человека?

Грибов помолчал и продолжил об этом же:

- Чужой он, Исаченко-то, человек, а обида и злость за его смерть до сих пор жива у меня в сердце. Пословица она хоть и верно говорит: «Кто старое помянет, тому глаз вон», да не совсем. Японцам, кстати, ах как кстати, старое вспомнить. Я-то все своими глазами видел, как они на нашей земле хозяевали, пешком от Иркутска до Владивостока протопал, все видел...

Я посидел возле старика, послушал его, хотя и сдержанные, но гневные воспоминания и, пожелав ему спокойной ночи, завернул к комполка на огонек. В машине у него горела яркая лампа. Сам он по-домашнему одетый, без кителя и фуражки, возился с радиоприемником.

- Ты чего это мыкаешься? - спросил он меня, не поворачивая головы и едва выговаривая из-за зажатой в зубах какой-то проволочки.

Я сказал, что впервые слышу на новом месте звуки музыки. Хорошая музыка, в самом деле, в моем представлении не гармонировала как-то с этими горами, падями и массой костров во тьме.

Майор выплюнул проволоку изо рта и, обернувшись ко мне, погрозил пальцем:

- Смотри у меня, не слышал. А мой приемник для чего? Да я им Лондон, если хочешь, поймаю. Ты думаешь, мы уже так и вовсе оторвались от жизни? Ничего подобного. Слушай.

Майор с видом победителя копнулся еще раз во внутренности приемника, и я, не без удивления, услышал московские позывные.

Ни для кого не было секретом, что комполка чуть ли не полмесяца исправляет своими силами радиоприемник, который сам же до этого привел в негодность.

Из Москвы передавали песни советских композиторов.

Послушав с минуту, майор сказал:

- Поют. И не где-нибудь, а в Москве за десять тысяч километров. Это не что-нибудь.

Я понял, что это «не что-нибудь» - не факт заслуги радиовещания, а то, что он все-таки наперекор всему исправил радиоприемник.

Я хотел что-то сказать, но майор перебил меня:

- И, несмотря на тысячи километров, Москва все же близка, с нами...

Да, Москва была с нами и от сознания этого на душе сделалось сразу как-то легко и все понятно.

Мне вспомнилась поговорка, которая ходит среди солдат: «Путь домой лежит через Токио».

Токио не Токио, но через Маньчжурию, знал каждый, он лежит, наш последний солдатский путь к победе над дальневосточной акулой.

Снова захотелось одного, чтобы все поскорее началось.

5 августа

Я только что возвратился с высоты Котельникова, куда ходил вдвоем с начальником разведки капитаном Рябцевым. На этой высоте десять лет назад пролилась кровь наших пограничников, защищавших границу во время одного из многочисленных инцидентов, затеваемых японцами в районе Ново-Алексеевки. Здесь смертью храбрых погиб командир отделения Котельников, не отступив ни на шаг с высоты, носящей его имя. Старший лейтенант-пограничник, сослуживец Котельникова, показавший нам места боев, рассказал, как нахально вели себя японцы на этом участке границы.

Разнузданность самураев достигла предела в 1941-42 годах, когда Красная Армия на Западе истекала кровью в борьбе с немецкими ордами.

Выжидая удобного момента для нападения на советский Дальний Восток, японцы, не боясь последствий, часто, даже днем нарушали границу.

Они переходили ее в одиночку и целыми подразделениями, обстреливали советских пограничников и мирное гражданское население.

Японские офицеры днем хвастливо разъезжали возле границы верхом и с любопытством туристов разглядывали наши сопки в бинокль.

- Впрочем, - под конец сказал ст. лейтенант, - особенно в этом году, после разгрома немцев, соседи наши приутихли. Видимо, поняли, что за все их выходки придется должным образом расплачиваться.

- Вон, посмотрите, - показал он в сторону границы, - видите вышку? Она у них сейчас пуста. А раньше на ней без всякой маскировки день и ночь торчал наблюдатель. Да и на

офицерской высоте. Теперь они попрятались, а, бывало, ихние офицеры целые балы устраивали на ее вершине, обедали за столиками на виду, бокалы поднимали... Там у них большой дот. А мы смотрели и копили ненависть и злобу. Проучить нахалов не было возможности.

Я слушал пограничника и чувствовал сам, как злоба, годами оседавшая на сердце этого скромного пограничника, переходит на меня и постепенно пропитывает меня всего.

Ничего, скоро самураи щедро расплатятся за все оскорбления, которые нанесли они нашему великому народу. За кровь наших пограничников, за смерть Котельникова, за все.

Уже спускаясь с высоты, заметили мы, что у ее подножия артиллеристы устанавливают пушки.

Длинные стволы орудий угрожающе смотрели в сторону границы на высотку, на офицерскую высотку.

Скоро они поговорят с японцами на очень вразумительном и точном языке.

8 августа

То, что мы все с нетерпением ожидали, - наступило. Наше правительство, верное союзническому долгу, стремясь обезопасить наши дальневосточные границы, объявило войну заклятому врагу нашей Родины - агрессивной Японии. Это всех нас радостно взволновавшее известие получили мы в полдень. Митинг в нашей части прошел с большим подъемом. Все высказывания сводились в единое мнение - пора проучить наглых японских захватчиков. На митинге нам было зачитано обращение военного совета армии:

«Товарищи! Красноармейцы и сержанты, офицеры и генералы! Славные воины советской Отчизны! - говорилось в нем. - Войска Красной Армии получили боевой приказ - уничтожить японского агрессора, ликвидировать очаг войны на Востоке и обезопасить Великого вождя и Верховного Главнокомандующего, Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина.

Наша Родина одержала победу над опаснейшим врагом советского народа и всего человечества - немецким фашизмом. Мощными ударами Красной Армии и армий наших союзников гитлеровская Германия разбита и поставлена на колени. Очаг войны в Европе ликвидирован. Но неспокойно у наших восточных рубежей, пламя войны бушует у наших городов и сел. Не можем мы без тревоги смотреть на Восток, пока здесь

существует очаг войны и агрессии - империалистическая Япония. Жадная до чужого японская военщина многие годы носится с сумасбродными планами - захватить советские земли вплоть до Урала, превратив их в колонии японских самураев. Японские захватчики не раз покушались на исконные русские земли. Еще в 1904-06 годах они захватили принадлежавшие России, важные для ее безопасности земли, - южную часть острова Сахалин, порт Дальний и крепость Порт-Артур. В период гражданской войны японские хищники оккупировали советское Приморье. Огнем и мечом прошли они по нашему Дальнему Востоку, разграбили, разрушили и сожгли десятки городов, сотни сел и деревень, замучили и расстреляли, уморили голодом и пытками, сожгли в паровозных топках тысячи советских патриотов.

В 1931 году японские захватчики набросились на Маньчжурию. С присущей японцам жестокостью прошли они по маньчжурской земле, поработили ее народы, провокационным способом захватили построенную руками русского народа Китайско-Восточную железную дорогу.

Захватив Маньчжурию, японские разбойники создали плацдарм для нападения на Советский Союз. Этот плацдарм, как отточенный нож направлен сейчас в самое сердце советского Дальнего Востока.

И не было спокойного дня на наших дальневосточных границах с тех пор, когда разбойничья японская армия оккупировала Маньчжурию.

Разбойничья японская армия - армия отъявленных головорезов и бандитов - устраивала налет за налетом на наши границы. Это она вторглась на нашу землю в 1938 году в районе озера Хасан. Это она покушалась захватить территорию нашего доброго соседа - Монгольской Народной Республики в 1939 году в районе Халхин-Гола. Это она постоянно нарушала нашу границу в дни напряженной борьбы с немецкими захватчиками. Много обид и горя японские империалисты нанесли великому русскому народу. Япония весь период Отечественной войны была верным союзником Германии. Два разбойника сговорились: как только один займет Москву, Ленинград или Сталинград, другой ударит по Советскому Союзу с Востока. В самое напряженное время борьбы с Германией, Япония напала на наших союзников - Америку и Англию.

Япония всеми силами и средствами помогала Гитлеру в борьбе с Красной Армией, по существу вела войну с нами. Мы

не можем допустить, чтобы и дальше коварный, кровожадный японский хищник оскаливал свои клыки на нашу границу, угрожал оружием. Кончилось терпение советского народа. Настало время расплаты. Разгромить японскую разбойничью армию в Маньчжурии, обезопасить свои границы - наш долг перед Родиной, наше святое дело. Мы вступили в бой за справедливость, за возвращение своих земель и богатств. Все родное, русское мы должны вернуть России. Мы должны смести с лица земли японские плацдармы против нашей Отчизны, освободить попавшие под японское иго народы Маньчжурии и Кореи. Смело и решительно взламывайте оборону врага, стремительным действием, искусным маневром разрубайте на части его армию. Окружайте и истребляйте сопротивляющиеся гарнизоны и группы. Пусть вас не останавливают никакие преграды и уловки японцев. Используйте на полную мощь первоклассную советскую технику. Проявляйте в бою отвагу, героизм и красноармейскую сметку. Геройскими подвигами умножим боевую славу советского оружия. Помните: на ваших знаменах боевые ордена Родины, завоеванные в жестоких боях с немецкими захватчиками. Не посрамите славных боевых традиций ваших полков и дивизий. Покажите фронтовую храбрость и военное мастерство. Вместе с нашими союзниками Америкой и Англией уничтожим империалистическую Японию - очаг войны, реакции и мракобесия на Востоке. Смерть кровожадным японским разбойникам - заклятым врагам советского народа. За Советскую Родину, за Сталина, за безопасность наших дальневосточных границ! Вперед к победе, товарищи!»

В батареях царит сосредоточенное оживление, готовят к походу машины, проверяют пушки и пулеметы.

Завтра в пять часов утра - наступление. Переход через вражескую границу, хотя дело и не новое, но не легкое. Каждый знает об этом, каждый серьезен и думает об этом. Боевой путь и, возможно, путь трудный, лежит через Маньчжурию, распятую и растерзанную японскими захватчиками. И надо обдумать, все предусмотреть и приготовить, чтобы пройти этот путь с честью. Впереди тяжелые походы и бои в сопках. Но хмурых лиц не видно. Для солдат нашей дивизии, прошедшей от Орши до Кенигсберга, война не в новинку, она многому научила и закалила их.

Я разговаривал с одним солдатом «старичком», подлежащим демобилизации в первой очереди.

- Ну как, - спросил я, - настроение у вас не испортилось, Чернов? От дома-то ведь снова удаляемся.

- Наоборот, - задорно ответил усач, - приближаемся к дому. Отсюда, если домой ехать, надо обратно возвращаться в Ворошилов, да потом ехать через Хабаровск. Круг большой. А тут, бог даст, до КВЖД, и по ней прямехонько на Читу.

И убежденно прибавил:

- Ничего, война эта необходима нам. Солдат знает, поздно или рано, а драться с японцем все равно придется. Так уж лучше сейчас, пока кулак тянется дать им по морде.

Он прав. Я сегодня получил письмо от матери. Гонялось за мной полтора месяца. Спрашивает старушка, где я. Уже и отвечать некогда, да и писать не знаю, что.

Я там, мать, где сорок лет назад молодым солдатом воевал мой отец. Я начинаю войну с тем же врагом, с которым воевал и он. Но эта война будет другой войной. Ни мне, никому другому, уже не придется рассказывать своим детям со слезами обиды за свою Родину, как нам рассказывал когда-то отец о русско-японской войне. Да, отец до самой смерти помнил эту обиду, помнил и ненавидел врага, нанесшего эту обиду нашему народу. Это будет война, которая смоет позорное пятно, сорок лет марающее героические страницы нашей истории. Это будет месть за героев Порт-Артура и Чемульпо, месть за Сергея Лазо. Это будет война за прекращение всяких войн на границах нашего Дальнего Востока. Для меня это будет, кроме всего, месть за кровь моего отца, пролитую им сорок лет назад на гаолянных полях под Ляо-Яном.

9 августа

Война началась. В ночь перед наступлением почти никто не спал. Мы, несколько офицеров, сидим у подножия сопки и, в силу выработанной на фронте привычки, курили в руку и, разговаривая вполголоса, ожидали начала.

Ночь была теплой и беззвездно темной. Хороша была эта последняя ночь у границы, ночь, в которую наши пограничники передали судьбу дальневосточных рубежей регулярным, закаленным в битвах фронтовым дивизиям.

Еще несколько часов и на головы проклятых самураев обрушатся сокрушительные удары стального русского кулака. Я ждал залпов с Котельниковской высоты. И ровно в пять высота заговорила. Сначала грянул один, первый залп, а следом за ним, разрывая в клочья установившуюся прохладную тишину

утра, загремели сотни залпов. Началась артиллерийская подготовка.

Грохот орудий даже для привычного уха был поражающе сильным. Казалось, дрогнув, разломилась земля и одна сопка валится на другую.

Качаясь от воздушных толчков, мы с Рябцевым поднялись на вершину сопки, где был оборудован наш НП. Отсюда сверху открылась нам незабываемая панорама. Все вокруг лежащие сопки, тонущие еще в серых сумерках, были опоясаны сплошным поясом желтых вспышек орудийных залпов.

Стреляли с Котельниковской высоты, с Каменной, с Болагана. Вся местность, казалось, извергала огонь.

Воздух дрожал и стонал. Множество снарядов с воем, свистом и писком неслись через наши головы и рвались на японских пограничных высотах.

Сразу же я, сколько ни смотрел, в сплошном дыму и пыли не мог увидеть ни наблюдательной вышки, ни офицерской высоты.

И между тем, пока грохотала артиллерия, по дорогам и без дорог, точно гигантские насекомые выбирались на склоны сопок из затопленных туманом падей, двигались к границе на исходный рубеж для штурма сотни танков с десантами автоматчиков на броне. Рев канонады и гул моторов танков слились воедино, заполнив воздух сплошным непередаваемым грохотом.

Невозможно было ни говорить, ни встать во весь рост, ни даже думать. Грохот и толчки поглощали всего тебя, заполняли каждую клетку тела, владели тобой и нельзя было ничего сделать, когда с каждым выделявшимся из общей массы звуком начинали сами собой закрываться глаза и появлялось желание нырнуть куда-нибудь поглубже в землю, чтобы ничего этого не слышать.

Потом пошла авиация.

Петляковы, Илы, юркие Яки и тяжелые Дугласы заполнили и без того донельзя взбудораженный воздух.

Японские сопки совсем скрылись в черном дыму разрывов.

Через час артиллерийский огонь был перенесен вглубь обороны. Танки и пехота ринулись в атаку. Граница Маньчжурии была перейдена.

Когда мы снялись с огневых позиций и двинулись к границе, бой кипел уже на вражеской территории.

От переправы через тряское болото, которую саперы навели за одну ночь перед самим наступлением, видны были столбы черного дыма, поднимавшиеся над лесом. Это в глубине оборонительной полосы японцев горели дзоты, подожженные нашими огнеметчиками.

Густой кленовый и буковый лес был полон гулких выстрелов. Оглушенные, разметанные и разогнанные артиллерийским огнем и бомбежкой с воздуха японские солдаты разбежались по лесу и теперь уничтожаются там отрядами прочесывания. Передовые части нашей пехоты ушли вперед, и оттуда доносились приглушенные расстоянием звуки боя. Еще совсем рядом прятались солдаты противника, граница отстояла всего в нескольких метрах позади, а на распаханных танками лесных дорогах, которые подводились японцами для своих целей, устанавливался привычный фронтовой порядок. Саперы рубили деревья и ровняли полотно дороги, урчали дежурные тягачи, охотно предлагавшие свои услуги любой застрявшей в грязи машине, а на перекрестке, ловко размахивая флажками, расположилась краснощекая регулировщица.

Переправа и, неизвестно на какое расстояние дороги за ней, были запружены в три ряда бесконечным потоком автомашин. Это шла артиллерия, минометы, штабы и понтонные части, колонны с боеприпасами, продовольствием и мотопехотой.

Наши батареи влились в общий поток и черепашьими темпами стали подвигаться к переправе. Дожидаться, пережидать весь этот поток транспорта было немыслимо, и мы втроем: я, Рябцев и комсорг полка Вася Сильверстов по концам бревен перебрались на ту сторону переправы.

Постояв немного на том месте, где три часа назад проходила граница, и, поделившись переживаниями, мы отправились на Офицерскую высоту, которой к тому времени уже овладела наша пехота. Близкая издали, Офицерская высота, когда мы стали пробираться к ней, оказалась на довольно значительном расстоянии. Остроконечная, поросшая дубовой шапкой, окутанной дымом пожара, сопка походила на огромный зеленый факел, воткнутый в белесое августовское небо.

Мы продирались сквозь густые заросли кустарника, колючие, незнакомые листья и ветки которого были покромсаны и вмяты в землю разрывами снарядов и гусеницами танков.

Некогда высокая, густая трава, теперь вытоптанная и примятая множеством ног, красноречиво говорила нам, что мы идем по полю недавнего боя. У самого подножия сопки мы

с любопытством остановились. На узенькой лесной тропе в кучах и как попало валялись в большом количестве наши красноармейские шинели, скатки, вещевые мешки, пилотки и фляги.

Возле имущества с автоматом на шее прогуливался старшина.

Мы спросили его, откуда взялся этот вещевой склад.

- Обычное дело, - махнул старшина рукой, - набросали имущества, а старшина теперь стой и карауль. Они дерутся, а ты торчи вот из-за своей собачьей должности.

Мы посмеялись и посочувствовали несчастному старшине и принялись расспрашивать, как была взята офицерская высота.

- Видите, - рассказывал старшина, - наши бежали досюда по кустам, а дальше не могли, из сил выбились. Туда вперед начинается крутой скат. Залегли тут, где кто мог. Японец с сопки здорово из пулемета резал. Надо вперед, а он режет и режет. Головы не поднимешь ни черта. Тогда комбат приказал сбросить с себя все лишнее и ползком... Ну солдаты побросали - и вперед. До середины сопки ползком, а там во весь рост и на «Ура». Между прочим повозиться пришлось с сопчонкой. Там у них, знаете, укрепления из гранита, при помощи огнеметчиков выкуривали самураев.

Старшина попросил у нас закурить и, затянувшись дымом, с сомнением махнул рукой:

- Наши, поди, далеко теперь, а я тут, черт возьми...

И он с ненавистью посмотрел на охраняемое имущество.

Мы оставили его заниматься своим делом и по одному из многочисленных следов танков пошли в сопку.

Пройдя метров триста, мы поняли, для чего потребовалось пехотинцам бросить на тропке такие необходимые предметы, как шинели и вещмешки.

Несмотря на сравнительно ранний час, день стоял жаркий, и здесь в лесу в безветрии зной казался совершенно невыносимым. Сколько не хитря и не прячась в тень деревьев, мы устали и вымокли, как после изнурительной работы. И вот тут, едва ворочая ногами от усталости, увидели мы первых пленных японцев. Мы вышли из-за поворота и, столкнувшись с ними лицом к лицу и, не видя следующих позади них конвоиров, невольно схватились за оружие.

Японцы попятились. Их было трое, этих когда-то наглых, а теперь покорно понурых воинов Ямато, которые, быть может,

не нынче, как в прошлом году стреляли из-за куста в наших пограничников и в детей, играющих на лужайке возле какой-нибудь нашей пограничной деревушки. Мы внимательно, с интересом и вместе с тем с омерзением смотрели на них. Каждый из нас много раз видел и живых, и мертвых фрицев, но японцев лицезрели мы впервые. Одеты пленные были в желтые суконные шаровары и в такого же цвета кургузые куртки. На ногах были надеты тапочки, а на голове аляписто сидели низкие фуражки из сукна, похожие на финские шапки, на которых странно было видеть желтую пятиконечную звездочку.

Все время, пока мы рассматривали их, японцы угрюмо молчали. Желтые, лимонного цвета лица их ничего не выражали, и только изредка бросали они на нас короткие взгляды, в которых так и сверкали недобрые чужие огоньки...

Удивительно походили эти самураи на цепных собак, растравленных донельзя, а потом накрепко связанных и бессильных в своей ярости.

У пленных руки были накрепко закручены за спиной. У одного, крайнего справа (они все были как один низкого роста, плотные и большеголовые), рука была перебинтована серым лоскутом, а на куртке спереди лоснилось большое темное пятно.

- Что это с ним, ранен? - показывая на японца, спросил я конвоиров.

- Черта с два ранен, сам себя ножом резанул, - пояснил сержант, - все трое сидели в доме и отстреливались. А когда наши подобрались к дому с тыла, эти двое пустились наутек, но их сцапали. А тот забрался в подвал и ни чертом, ни богом нельзя было его выудить оттуда. Стреляет в дверь, а больше к нему и проникнуть неоткуда.

Ну потом наши ребята все же сообразили. Отвернули половицы в комнате и туда зажженную паклю. Чтоб, значит, дымку поглотал.

Так что же он, сволочь, решил сделать? Решил себя распполосовать, «харакири» по ихнему называется, решился над собой устроить. Да не успел. Наши его прикладом по башке, ну у него и нож из рук. Немного все же задел.

- А что же, все у них этак над собой «харакири» устраивают? - спросил я.

- А черт их знает. Говорят не все, а смертники. Это такие особые самураи, которым хоть лопни, а за Микадо умереть надо, - пояснил сержант.

Смертники. Для меня это было понятие новое. Надо было полагать, что они встретятся и впереди. Ну что же, против смертников ведь есть средство - убивать их. Надежное средство.

На Офицерскую взобрались мы усталые и насквозь мокрые от пота. На сопке, особенно на обращенных к противнику скатах, царило большое оживление. Здесь размещался наблюдательный пункт артиллерийского корпуса, отсюда уже руководили уходившим на запад боем.

Между деревьев, на помосте, сооруженном на скорую руку, стоял тучный артиллерийский генерал и, наблюдая в бинокль, раздавал приказания. По расчищенным песчаным аллейкам вокруг сновали «Виллисы» и ходили солдаты. Повсюду слышалась громкая русская речь.

Рябцев пошел куда-то узнавать обстановку, а мы, подойдя к помосту, стали смотреть в сторону переднего края.

Странно, сколько мы ни напрягали зрение, ничего особенного разглядеть нам так и не удалось. Перед нами до самого горизонта тянулись в точности такие же, как и на нашей стороне сопки, разве только с той разницей, что покрыты они были уже не кустарником, а густым и высоким лесом.

Бой шел где-то недалеко в лесу. Эхо в горах не успевало отдавать звук многочисленных выстрелов и взрывов. Протяжно стрекотали пулеметы, ухали пушки, глухо били минометы. И все это происходило где-то не на виду, скрытое лесом и сопками. Мне почему-то казалось, что и генерал, как и я, ничего не видит, хотя и смотрит в бинокль, но генерал, вероятно, все видел отлично и, судя по деловому порядку на наблюдательном пункте, умело управлял боем. От него и к нему то и дело уходили и подходили люди, одетые в полосатые маскхостюмы, пищали зуммеры телефонов, работала рация.

Незримая воля командования руководила в этом трудном бою каждым подразделением, каждым солдатом.

На соседних сопках раз за разом вскидывались вверх дымные столбы, и мощные взрывы рвали воздух. Саперы разговаривали на своем языке с жившими еще огневыми точками и дотами противника. Знойный, голубоватый воздух плескался и, как вода, от этих ударов расходился волнами.

Внизу у подножия высоты по дороге и без дороги, пригибая и вырывая низкий дубняк, двигались к переднему краю войска... Пехота, тащившая на своих плечах минометы и станковые пулеметы, пушки, танки и полковые обозы.

Войска шли вглубь Маньчжурии.

Мы дождались Рябцева и, на ходу слушая его сообщение об обстановке на нашем фронте, отправились на вершину высоты.

На Офицерской высоте у японцев была погранзастава. Надолго, навсегда думали обосноваться здесь самураи. Склоны сопки были разрезаны аллейками и обсажены ровненько подрезанной акацией. Внизу, в зеленой, теперь затянутой горьким дымом лощине, белели домики военного поселения. Солдатские казармы, склады, офицерские домики. Вокруг пестрели цветами аккуратные газончики, цвели в огородах подсолнухи, горох и картошка.

Артиллерийский обстрел застал японцев врасплох. Пушки Котельниковской высоты не совсем деликатно нарушили утренний сон детей восходящего солнца. Окна и двери домов, настежь открытые и неприкрытые, красноречиво говорили об этом. По полу и вокруг квартир, по аллейкам валялись обмундирование, солдатское и женское белье, тапочки и сапоги, мешки с рисом и бумага.

Догорали солдатские казармы. Вонючий дым расходился по лесу, зияли большие и маленькие воронки и земля, вывороченная взрывами, напоминала бугорки возле мышиных нор на пашне.

Осиное гнездо, откуда столько лет шла пакость на нашу землю, было разворочено и потревожено основательно. На самую вершину сопки вела поскрипывающая деревянная лестница.

Всю отлогую вершину сопки занимали оборонительные сооружения. Посередине, невидимый даже с близкого расстояния, громоздился угрюмого вида форт, выложенный из тесаного гранита с продолговатыми амбразурами во все стороны.

Грозное сооружение уходило глубоко в землю, выставляя над поверхностью ее одну холмообразную крышу, над которой мирно раскачивались высокие клены, впрочем, все опутанные разного вида проводами. Вокруг форта концентрическими окружностями, одна ниже другой, зияли изрядно поврежденные снарядами глубокие траншеи с вделанными в них огневыми точками, огороженные колючей проволокой.

Кроме форта на этой сопке у японцев помещался наблюдательный пункт важного значения. Невидимый с нашей стороны, давал он прекрасный обзор наших сопок на много километров вокруг.

Теперь он представлял груду обгорелых балок и железных листов, а ведь вчера еще отсюда следили за каждым нашим движением.

Здесь, как и на склонах высоты, царила деловая суетливость. Просторный форт готовили для какого-то штаба. Убирали мусор, расчищали амбразуры, саперы возились с проводами, свисающими с деревьев, как снасти с парусного корабля.

Форт сильно пострадал от артиллерийского огня. Стены его во многих местах зияли пробоинами, железные двери, сорванные с петель, валялись в стороне. Факел, каким казалась нам высота издали, продолжал чадить и нам, чтобы не задохнуться в дыму, приходилось прижимать ко рту носовые платки.

Мы в сопровождении какого-то саперного капитана бродили, осматривая траншеи и блиндажи. На дне траншей и в огневых точках валялись трупы в желтых штанах и куртках. Ветерок трепал и гнал по траншеям обрывки газет. Блокнотные, испещренные иероглифами листочки, бледные открытки и фотокарточки. В песчаной земле тускло поблескивали медью винтовочные патроны и жесткие пулеметные ленты...

От старых хозяев высоты остались одни мертвые следы. Такая участь настигла тех, кто столько лет еще худшую участь готовил нам, нашему Дальнему Востоку.

Мы осматривали высоту, а лесной бой уходил от нас все дальше и дальше. Там наши солдаты преподносили соседу урок о том, как опасно баловаться с огнем...

10 августа

Стояло раннее утро, когда наш КП въезжал в военный городок - первый, сравнительно крупный населенный пункт врага на нашем направлении.

Широкий, извилистый и не очень хороший грейдер взобрался на горбатый хребет перевала, и мы, бросив последний взгляд на наши советские горы и пади, голубеющие вдали, стали спускаться вниз. Городок, раскинувшийся по дну обширной пади, горел. Казармы, склады и фанзы его тонули в густом, сизом дыму. Отступающие самураи подожгли все имеющие мало-мальское значение здания, и они догорали теперь, испуская удушливую гарь шерсти, камышовых циновок и кожи.

И в этом дыму то исчезая, то появляясь вновь, шла наша техника и люди. Машинами, танками и пушками забиты были все дороги, все улочки городка. Темные, извилистые тела колонн видны были по ту сторону городка и исчезали в сером полумраке падей.

Войска шли вглубь Маньчжурии, туда, откуда доносился раскатистый грохот боя. Но бой продолжался и в самом городке. Тарахтели пулеметы, щелкали винтовочные выстрелы и автоматные очереди. Это в центре городка из домов и подвалов казарм выбивали засевших там японцев. Выстрелы доносились и с соседних сопок. Японцы оставались там, запершись в дотах, и продолжали с упорством фанатиков сопротивляться.

На рубеже городка, вдоль границы, у японцев проходила долговременная оборонительная полоса. Она состояла из большого количества железобетонных и гранитных огневых точек и дотов, имела широко развитую систему траншей, проволочных заграждений на металлических кольях и подземных ходов, часто соединявших между собой несколько оборонительных точек, даже отстоящих одна от другой на большом расстоянии.

Чуть ли не на каждый километр приходилась батарея крупнокалиберных мортирных и гаубичных орудий, приспособленных для кругового обстрела в горах. Вчера нам удалось посмотреть такую батарею. Она располагалась недалеко от дороги и с первого взгляда ничем не выдавала себя. На дне лощины, в тени деревьев, стояло четыре, похожих один на другой домика из теса, самого безвинного дачного типа с зеленой крышей и нарисованными окнами. В домиках стояли пушки. Это были массивные 305-мм мортиры с толстыми и короткими, точно огромные бочки, стволами, установленные на специальных кольцеобразных рельсах, которые позволяли вести огонь из орудия вкруговую. При стрельбе стены домиков, а также крыша, легко раздвигались. На каждые два домика был оборудован погреб для снарядов, соединенный с ними бетонированной дорожкой. Снаряды к орудиям подавались на специальных тележках. Безобразные, тупорылые стволы мортир обращены были в сторону нашей границы. Тут же аккуратным рядком стояли черные туши снарядов. Несколько из них лежало на тележках по пути из погреба к домику. Самураи готовились этими снарядами, из этих пушек кромсать нашу землю и убивать наших людей.

Не удалось, не вышло у них это. Наступление Красной Армии было настолько неожиданным и стремительным, что японские артиллеристы не успели произвести из своих пушек ни единого выстрела. Они бежали, бросив батарею на произвол судьбы. Только троим из них не удалось удрать. Они

находились в артиллерийском погребе, когда наша авиабомба упала прямехонько туда. Погреб взлетел на воздух и теперь вокруг зияющей ямы в опаленной траве валяются где рука, где нога незадачливых японских артиллеристов.

Оборонительную полосу держали солдаты и офицеры-смертники. Я вчера услышал об этом, сегодня же мне рассказали больше. Вот что представляют из себя эти самурайские смертники. Оказывается, готовясь к войне с Советским Союзом, японское командование Квантунской армии сосредоточило на наших границах отборных, насквозь пропитанных самурайским духом вояк. Эти головорезы, давшие специальный обет отдать жизнь за бога и возлюбленнейшего Микадо, именовались смертниками. Смертники предназначались для первых решительных боев при прорыве нашей пограничной обороны в качестве живых мин из толовых шашек и просто сознательно ищущих смерть людей-автоматов.

Все они обязаны были умереть на войне. Поэтому эта часть армии была поставлена в наивыгоднейшие условия. Им предоставлялись всевозможнейшие льготы, поблажки, позволялись щедрые излишества, им выдавалось лучшее обмундирование, для них были устроены публичные дома. Для солдат - отдельно, для офицеров - отдельно. Их выращивали и откармливали как свиней на убой. Их воспитывали в духе фанатичной преданности императору, из них старательно выделывали жестоких, заранее обреченных на гибель головорезов и палачей. Их практиковали в кровавом ремесле убийц над партизанами-китайцами. Их учили держать нож, гранату и пистолет, как детей учат в школе держать ручку. Это был невиданный в истории, чисто азиатский, первобытный метод воспитания солдата, солдата предназначенного служить слепым орудием завоевания и порабощения других народов, насилия и издевательств над ними, каннибальских зверств и уничтожения.

Скоро мы увидели такого смертника. Перед самым входом в городок с недалеко отстоящей сопки наша колонна была обстреляна из пулемета.

Колонна остановилась и люди залегли в кюветы.

То ли не позволяло расстояние, то ли стрелки оказались неважными, только пули не достигали дороги. Они рикошетили недалеко о камни и, высекая искры, противно визжали.

В это время подошла 152-мм самоходка и стала прямой наводкой бить по сопке. Огонь оттуда после нескольких выстрелов из пушки прекратился. Я с большой группой солдат

отправился на сопку, с которой нас только что обстреляли. На зеленом склоне сопки неразличимая издали темнела низенькая стенка дота. Замолкнувшая, она снова ожила, едва мы приблизились к ней. Теперь слышны были оттуда только винтовочные выстрелы. Мы окружили дот. Подобравшись по густой траве к самой амбразуре огневой точки, один боец кинул в нее противотанковую гранату. Раздался взрыв. Срывая листы кустарников, полетели куски бетона и камня. Выстрелы смолкли.

Через минуту оттуда выскочил японец и, ошалело озираясь по сторонам, бросился бежать. Убежать ему не удалось. Сообразив, что выбраться из окружения невозможно, японец остановился. Быстро сбросил с себя куртку, нижнюю рубашку и на наших глазах всадил себе в живот снизу вверх кинжалообразный винтовочный штык. Когда мы подбежали к нему, японец еще бился в агонии. Он лежал на спине с кинжалом в животе совсем желтый, водя по нам черными, подернутыми пеленой смерти узкими глазами. Кишки, вывалившись из распоротого живота, смешались с травой и листьями, и все это кровавое месиво ворочалось и напоминало клубок отвратительных червей...

Ни в глазах, ни в выражении лица, не удалось нам прочесть того блаженства, которое полагалось иметь смертнику на своем челе после проделки над собой «харакири» ради благополучия святейшего Микадо.

Предоставив самураю возможность отойти на тот свет без посторонних свидетелей, гурьбой отправились мы осматривать дот. Эта точка имела своеобразную конструкцию. Высеченная в сплошном камне, в скале, она имела из железобетона только одну переднюю стенку с тремя расположенными по полуокружности амбразурами-щелями. Имея обстрел на три стороны, дот был так искусно подделан под фон сопки, что даже привычному глазу нелегко было его различить. Сверху он не имел колпака. Перекрытием ему служила многометровая толща горы, которую не смогла бы, пожалуй, повредить самая мощная авиабомба. Зато передняя стенка с амбразурами оказалась не в состоянии сопротивляться ударам наших снарядов. 152-мм снаряды самоходки вдребезги разбили бетонированный слой стенки и теперь из него, как ребра скелета, торчали во все стороны железные прутья арматуры.

Через массивную броневую дверь проникли мы внутрь дота. В узких темных коридорчиках укрепления пахло сырос-

тью и пироксилиновым дымом. По цементному полу валялось обмундирование и белье в таком количестве, что можно было подумать, что гарнизон дота удрал отсюда нагишом.

Прочесывая автоматными очередями темные закоулки, прошли мы в боевой каземат, из которого стреляли по нам. Здесь все было перевернуто вверх дном. Попавший в амбразуру и, видимо, разорвавшийся внутри каземата снаряд исковеркал все на свете. Гранитные стенки каземата были исколупаны осколками. Два станковых пулемета, установленные перед амбразурами на специальных подставках, представляли из себя бесформенные куски металла, в разорванных в клочья пулеметчиках невозможно было признать людей. Даже стальная толстая плита, прикрывавшая люк патронного погреба, была сорвана с петель и валялась в стороне, как огромная сковорода.

Японцы, погибшие у пулеметов, были смертниками. У гашетки одного из пулеметов болталась тонкая и прочная стальная цепь с браслетом на конце, в котором еще висела бледная кисть руки со скрюченными пальцами. Защитники дота были прикованы к своим пулеметам, они не могли уйти отсюда. Но остальной гарнизон бежал. Мы принялись искать следы его бегства. Вскоре мы их нашли.

Растерянные патроны и листки бумаги привели нас к глубокому колодцу в одном из закоулков дота. Фонариком мы осветили внутренность колодца. Дна не было видно. По квадратным стенкам его сруба, уходя во мрак, поблескивали металлические скобы. Было ясно, что гарнизон ушел по этому колодцу или в соседний дот, или в сопки. Мы бросили в колодец несколько гранат, завалили его сверху каменной плитой и возвратились на дорогу к своим машинам.

На улицах городка видны были следы вчера прокатившегося тут боя. Догорали приземистые, словно ящики, кирпичные казармы, утыканные с боков множеством высоких труб, дымились головешки на месте пакгаузов и складов, по улочкам краснели сгоревшие и раздавленные японские автомашины с железными кузовами.

И всюду - на дороге, под колесами машин и пушек, в кюветах, в мелких окопчиках возле домов - валялись трупы японцев с лимонными лицами и красными петличками на воротниках.

Бой за городок был стремительным и коротким. Вышибленные с границы самураи не успели опомниться и организовать оборону, как в городок ворвались наши танки. Не оказав

дружного сопротивления, японцы разбежались, и бой сразу же принял характер боя по отдельным очагам, где задача наших войск заключалась в уничтожении отдельных, разрозненных групп противника, засевших в домах и казармах. Основные очаги сопротивления были вскоре же ликвидированы и наши танки смогли ринуться дальше по дороге в направлении Китайского базара.

Первым советским бойцом, ворвавшимся в городок, был разведчик-красноармеец Светличный. Он лично уничтожил в уличном бою больше десятка самураев и погиб сам, убитый пулей, пущенной ему в спину спрятавшимся на чердаке дома японским солдатом.

Наш КП остановился за городком, на низкой сопчонке, у перекрестка дорог, вздрагивающих от беспрерывного потока транспорта. Здесь, у самой дороги, высится свеженасыпанный могильный холмик. Скромная надпись, наспех сделанная на куске фанеры руками ушедших вперед товарищей, гласит:

«Здесь похоронен рядовой Светличный, павший смертью храбрых в боях с японскими захватчиками. Он был героем. Много можно было бы написать о его подвигах. Но некогда. Идем вперед. Вечная ему память».

Мы наспех устроились на новом месте, развернули рацию и связались через нее с батареями, и вот я, вернувшись из разведки огневых позиций, пишу эти строки, сидя на камне рядом с могилой русского воина Светличного, которого я не знаю, но который дорог мне как воин, солдат, как русский человек.

Он был храбрым бойцом, не боялся смотреть смерти в глаза, а вот враг его был трусом, он убил его трусливо, в спину, побоявшись схватиться с русским богатырем один на один в открытом бою.

Я целый день здесь, встречался и говорил со многими ранеными, возвращавшимися с переднего края, все они говорили о зверской тактике японцев. Избегая и боясь открытого боя, они пользуются тактикой нападения из-за угла, одиночных убийств и дорожного разбоя. Подразделения японцев этой хваленой Квантунской армии в панике разбежавшись при одном появлении наших передовых частей, прячутся по лесам и сопкам, выжидая удобных моментов для нападения на отдельные машины и людей, следующих по дороге.

Да я и сам был свидетелем азиатских выходок японцев.

Утром со мной в разведку ходил один лейтенант, кажется, командир батареи соседней части полевой артиллерии. В од-

ном месте он отстал от группы и завернул в отдельно стоящий домик с намерением использовать его как помещение штаба.

Не знаю, как получилось, что этот лейтенант ушел, никому не сказав об этом. Только сделал он большую ошибку. Едва он переступил порог домика, как на него набросились трое японцев. Лейтенант не успел вытащить пистолет, как был повален на пол и получил ножевую рану в шею. А когда на крик его подоспели мы, он был серьезно ранен. Разбойники, конечно, не скрылись, но лейтенанта пришлось отвезти в госпиталь, и состояние его сейчас тяжелое. По-моему, виноват тут прежде всего сам лейтенант. Он так неосмотрительно, даже без оружия в руках один вошел в дом. Ничего, своей воровской тактикой японцы многого не выиграют. Против этого есть средство - бдительность. Бдительность и осторожность на каждом шагу. Об этом надо всегда помнить.

11 августа

Сегодня я ничего не успел записать в дневник. Наша часть на целый день задержалась в городке, прикрывая скопление войск от воздушных атак противника. Передовые части ушли далеко вперед и ведут бои за город Хэбей. Я целый день провел на ногах и теперь, когда выбрал время взяться за тетрадь, уже вечереет, и мои карандашные строчки расплываются в сером сумраке. Сижу у той же могилы Светличного, и передо мной, наполняя вечерний воздух шумом моторов и резкими выкриками сирен, идут и идут машины. Я смотрю на них, и чувство тревожное и грустноватое овладевает мною. Опять война, опять фронтовые дороги, такие же, как два года назад, дороги, по которым шли и встречались наши с тобой судьбы, Лида.

Как ты сейчас, почему тебя нет здесь, дорогой, незабвенный мой товарищ. Я смотрю на дорогу, и кажется мне, что вот-вот появишься ты, запыленная, с неизменной санитарной сумкой через плечо и устало сядешь рядом со мной. Но проходят машины, идут люди, а тебя все нет...

Да ты и не придешь, ты далеко.

Я улыбаюсь своим мыслям, и хочется мне написать тебе большое, теплое письмо. Но куда писать? Кто мне скажет твой адрес? Я пишу в тетрадь, эти строки, если останусь жив, сохранятся, и ты когда-нибудь узнаешь, как мне грустно и больно без тебя, как сильно тебя люблю и переживаю нашу странную разлуку. Нет, лучше приеду и сам обо всем тебе расскажу.

А ты пожелай мне сейчас чего-нибудь хорошего, скажи мне какое-нибудь теплое слово и я его услышу, пойму и мне будет легче завтра идти вперед по суровым фронтовым дорогам.

12 августа

Сегодня пасмурный, серый день. Лохматые облака ползут и ползут низко над землей, закрывая сопки и образуя над падью, по которой мы едем, непроницаемую, живую крышу.

Ночью шел дождь. Неважная японская военная дорога раскисла, и через нее во многих местах хлещут грязные водяные потоки.

Но слякоть ни на одну секунду не задерживает движение. Колонна автомашин, как горная река, то несется стремительно, то запруженная останавливается с размаху и начинает взбухать и шириться. Машины выстраиваются в два и три ряда. Пробки образуются возле переездов. Во время отступления или еще заранее японцы подпилили все мосты, и они теперь, тяжело рухнув в воду толстыми бревенчатыми балками, разрезают дорогу на большие и маленькие куски.

Но отсутствие мостов ненадолго задерживает движение. Воя и разбрызгивая грязь, машины минуют мосты и идут через ручьи и речки вброд. И за бродом опять, точно прорвавший плотину поток, несется гремящая автоколонна.

Швыряясь липкой желтой грязью, наш газик с установкой ДШК целый день ехал по обочине, обгоняя колонну. Зенитчикам отдавали предпочтение. Никто очень не ругался, если, стремясь вне очереди проскользнуть к переправе, газик наш дружески ударялся кузовом о кузов соседа. Зато уже, когда мы один раз свалились в кювет, нам тоже было оказано предпочтение - вызволить машину из беды своими силами. В китайском базаре (так называлась группа фанз неподалеку от дороги) встретили мы первого жителя земли этой - старика-маньчжурца.

Мы остановились залить воды в радиатор, когда один незнакомый боец предложил нам посмотреть на китайца. По узенькому двору, обставленному какими-то сараями и заваленному соломенными циновками, прошли мы к низенькой глинобитной фанзе.

Черепичная крыша фанзы по виду напоминала ель с загнутыми на концах ветками, но как не походила эта первая, виденная мною китайская фанза на те красивые, нарядно увешанные бумажными фонариками, которые любил я рассмат-

ривать в детстве на чайных чашках. Мы подошли к дверям и, не переступая порог, заглянули внутрь фанзы. То, что увидели мы после минутного разглядывания во мраке, оказалось выше всякого представления о человеческом жилье. Это был хлев ни хлев, конюшня ни конюшня, это было что-то гораздо худшее любого помещения для скота. Низкое, темное и тесное помещение не имело ни пола, ни окон, ни печки. Шершавые глиняные стены, усеянные мухами, зияли сквозными трещинами, дым расположенного посреди пола очага выедал глаза и из-за отсутствия трубы, не успевая выйти в щели и дверь, стоял под потолком темным и неподвижным облаком. Покрытые вековечной копотью стойки едва удерживали прогнувшийся потолок и из-за дыма походили на ноги какого-то странного и чудовищного существа. От знаменитых теплых китайских канав, в которых, по словам писателей, можно сутками греть бока, не было и помина. Сырой спертый воздух, никогда и ничем не прогреваемый, бил в нос запахом плесени и тяжелой вони, точно из разверзлой могилы.

Китаец, которого пришли мы посмотреть, лежал в дальнем углу фанзы на циновке, брошенной на возвышение из досок, напоминающее нечто подобное нарам.

Старик был, по-видимому, болен. Он лежал, свернувшись в комочек и отвернувшись к стене, и стонал. Мы не захотели его тревожить, но он сам, заслышав наши голоса, поднялся, сел, подобрав под себя ноги и, морща улыбкой худое, обросшее пепельной щетиной лицо, показал на место рядом с собой - что означало, как мы поняли, приглашение присесть с ним.

Лохмотья, в которые был одет китаец, не поддались бы, пожалуй, никакому описанию. Это была какая-то роба, составленная из радуги разноцветных заплат, между которыми зияло желтое, грязное тело. Приглашением китайца сесть рядом с ним мы не торопились воспользоваться, а, оставаясь стоять в дверях, сделали попытку заговорить с ним.

То один, то другой, а то и все вместе стали мы забрасывать его вопросами. Спрашивали, как звать, что он тут делает, где японцы? Я, стараясь припомнить и использовать те редкие слова, которые остались у меня в памяти от рассказов отца о Маньчжурии, долго пытался разузнать у китайца про его жизнь при японцах.

Разумеется, китаец меня не понял, потому что, сколько я не пытался вставить в свою речь китайские слова, их все же оказывалось очень мало, да и, возможно, они были еще и не те,

что было нужно. Да и у всех нас результат первого разговора с китайцем оказался весьма неважным. Ни он нас, ни мы его не поняли ни капельки. Мы говорили, а он, не зная, что требуют от него, только кланялся нам и лепетал одно и тоже:

- Лусска, здлавствуй!

И показывал рукой на запад.

Этот жест поняли мы, уже отойдя от фанзы и осмотрев весь поселок, в котором, кроме валявшихся трупов японских солдат, не было видно живой души. Японцы угнали население поселка вглубь страны.

Бедность и убогость остальных фанз была такой же, как и первой. Больше незачем было спрашивать, как жили китайцы под властью устроителей нового порядка в Азии. Эта жизнь была налицо и была далеко-далеко незавидной.

Живые факты вскоре подтвердили это наше заключение. За китайским базаром местность несколько изменила свое лицо. Высокие, угрюмые сопки, наступавшие на нас всю дорогу, вдруг широко раздвинулись, и дорога свободно побежала по широкой равнине. Лежащая по обе стороны дороги местность показалась мне огромным лоскутным одеялом, сшитым из лоскутков зеленого цвета с разными оттенками. Вся эта, со всех сторон, как высоким забором окруженная сопками равнина, была разрезана на тысячи мельчайших участков земли, занятых огородами, бахчами и пашнями.

Ярко зеленели залитые водой рисовые поля, переливаясь желтизной, качались на ветру клинышки пшеницы и ячменя, белели длинные, узкие полоски кукурузы и незнакомого мне высокого гаоляна. Жалкие полоски и клинышки покрывали склоны сопок, на которые, казалось бы, нельзя было взобраться без альпинистских ботинок, и карабкались по кручам чуть не до самых вершин.

Мне вспомнились учебники географии, где писалось, что в Китае не хватает земли. Да, в Китае не хватает земли, но здесь, где хозяевами всего были японцы, земли было, наверное, особенно мало. Здесь нередко не хватало земли даже для того, чтобы построить фанзу, и я своими глазами видел деревню, построенную на сваях над тряским руслом речушки. Неудобно, чтобы войти в дом, надо было карабкаться по лестнице, зато для огорода или пашни сохранялся лишний кусочек земли.

Здесь, в этой равнине, впервые нам стали встречаться китайцы.

Сначала это были отдельные пешеходы, устало бредущие по дороге, потом их стало больше, и, наконец, под Хэбеем навстречу нам потянулись целые толпы.

Это шли китайские жители, угнанные японцами в тыл. Мужчины, молодые и старые, женщины и дети, освобожденные из рабства Красной Армией, они возвращались по домам. Вид их поражал своей неприглядностью. Это были не люди, а какое-то собрание невиданно худых и оборванных, усталых и изможденных существ. Они брели по обочинам дороги, с трудом переставляя опухшие от голода и страданий ноги. Плелись мужчины с мешками за плечами, пристроенными на специальных рогульках, целые семьи везли на себе тачки, нагруженные убогим домашним скарбом, женщины несли привязанных за спиной детей.

У большинства идущих сохранилась лишь кожа да кости, у многих не было рубах, и они шли как дикари, едва прикрывая бедра бахромой рваных тряпок. Босиком были без исключения все. Казалось вышла эта людская масса из какого-то огромного лагеря смерти, где специально доводилась до состояния скелетов, и теперь, пущенная по дорогам сеять голод и нищету. Мне вспомнился фантастический роман какого-то, не помню, французского писателя, где рассказывалось об использовании японцами миллионов жителей Азии на подземных работах по осушению Тихого океана. Точно такими, какими видел я теперь, описывались китайцы, работавшие под дном океана.

Книга была фантазией. Но то же самое я видел теперь наяву, на божьем свете. И всех этих людей до состояния живых мощей довели японцы. Результаты создаваемого самураями «нового порядка» в Азии были налицо. В этих толпах китайского крестьянства виден был весь ужас, вся каннибальская жестокость завоевательной политики японских империалистов. Нас китайцы встречали восторженно. Они останавливались чуть ли не перед каждой машиной и, стоя у дороги, с изумлением глядя на нашу технику, каждый по-своему выражал восхищение и благодарность русским воинам.

Они махали руками, кланялись, брали под козырек или, поднимая палец вверх, гортанно выкрикивали «шанго», что означало одновременно “хорошо, замечательно и изумительно”.

У каждого на рукавах, на груди, на фуражках были нашиты кумачовые лоскутки. И вообще, среди них было ужасно много красного. Они несли на длинных палках красные флажки

- большие и маленькие, женщины были в красных платках, флаги трепыхались на тачках и арбах, точно на них везли боеприпасы.

Возле регулировщика наша машина была остановлена потоком самоходных орудий, шедших наперерез нам по перпендикулярной нашему шоссе дороге.

Не успели мы сойти на землю размять затекшие ноги, как нашу машину окружила толпа китайцев. Это уже были люди другого сорта. Это была молодежь, юноши примерно от 16 до 20 лет. Они особенно восторженно кричали «шанго», просили пожать руки и низко, по-рабски, кланялись. Мы стали спрашивать, откуда они идут. Нашелся один старый китаец, который безбожно коверкая русские слова, рассказал нам, что эта молодежь была взята японцами на оборонительные работы и в армию. С оборонительных работ их вызволила Красная Армия, а кто был солдатом в армии Пу-и, марионеточного императора Маньчжоуго, при первом же столкновении с нашими частями побросали оружие и сдались в плен.

Я спросил бывших солдат Пу-и, почему они так плохо воевали.

- Воевать с Красной Армией нельзя, Красная Армия принесла Китаю свободу, - перевел старик ответ одного из солдат, - мы будем японца воевать. Пу-и и японца надо убивать на хрен.

Все они - и солдаты, и рабочие - рабы, работавшие в темных норах Хэбейских каменоломен, возвращались по домам. На некоторых еще сохранились желтые штаны военного образца, но большинство, из ненависти ко всему японскому, побросали военное обмундирование и шли почти голые. Все это, впрочем, не помешало среди них скрыться одному переодетому японцу. Никто как-то не заметил этого желтолицего оборвыша, а, возможно, и видели, да не обратили внимания, только он смог выждать подходящий момент, чтобы сделать то, для чего скрывался он в толпе китайских юношей.

Это был один из тех смертников, которые задолго до войны были обречены на слепую смерть за процветание страны хризантем. Он представлял из себя живую мину, как такие же смертники-летчики выполняют роль живой бомбы, разбиваясь вместе с самолетом о намеченную цель. Он имел при себе тол и, выждав, когда к перекрестку, заставленному машинами, приблизилась тяжелая самоходка, бросился под ее гусеницы.

Никто не предотвратил самурайского прыжка - так он был сделан неожиданно и стремительно. Еще миг, и гусеница самоходки разлетелась бы вдребезги. Но японец сплоховал сам. Он неудачно ступил ногой и споткнулся. В тот же миг щелкнул пистолетный выстрел одного из рядом стоящих офицеров, и японец упал посреди дороги. Скрежеща тормозами, остановилась самоходка, а следом за этим раздался оглушительный взрыв.

Взрывной волной мы вместе с китайцами были сброшены в кювет. Газик наш весь вздрогнул от толчка, и по смотровому стеклу разошлась паукообразная трещина. В воздух полетел щебень, клочья тряпья. Когда мы опомнились, в ушах еще звенел грохот взрыва, а к яме на дороге сбегались уже люди. Глубокая воронка посередине проезжей части дымилась и испускала запах гари.

Глубиной она была с полметра. Вокруг нас и даже далеко по обочинам, за кюветом валялись куски черного, кровоточащего мяса. А на броне невредимой самоходки, вздрагивая, как живая, лежала желтая кисть со скрюченными пальцами. Смертник нашел для себя достойную смерть. Наши машины и люди не пострадали. Мы постояли, повозмущались случившимся, и через несколько минут по дороге через наспех засыпанную яму возобновилось движение. Пораженные китайцы испуганно озирались.

В Хэбее (Сяосуйфинхэ) шли бои, доколачивались засевшие на продовольственных складах и в отдельных домах японские группы, когда наш газик выехал на первую улицу города.

Это была японская деловая, административная и жилая часть города. По обе стороны шоссе высились двухэтажные и трехэтажные кирпичные дома, прячущие свои окна в тень тополей, мрачные корпуса магазинов, напоминавшие большие спичечные коробки с вертикальными рядами паукообразных иероглифов на вывесках, какие-то конторы и мастерские.

Видны были свежие следы уличного боя. Стены особняков зияли рваными пробоинами, мостовая была усеяна битым стеклом и обломками кирпича, некоторые дома горели и в воздухе, горьком от дыма, черными бабочками порхал пепел многочисленных бумаг.

Людей нигде не было видно.

Было как-то тесно и тяжело в дыму, хотелось поскорее выйти из лабиринта мертвых, чужого вида домов.

Но вот позади остались японские кварталы, машина спустилась с горы и тихо пошла по длинному белому мосту через узкую и до головокружения быструю реку Лючжаньдейгоу.

Справа, вдали, как отверстия огромных печей, в склонах сопок виднелись входы в знаменитые Хэбейские каменоломни, слева совсем близко, через ту же речку Лючжаньдейгоу, горбился синий железнодорожный мост. По этому мосту через этот город проходила линия Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Дороги, построенной руками русских людей по трассе, представляющей из себя исключительные трудности.

Сколько еще в детстве слышал я рассказов об этой дороге. Мой дед строил ее, отец ездил по ней на войну, старший брат в 1929 году воевал за нее с белокитайцами. Целые этапы истории нашей семьи связаны были с этим краем и с этой дорогой. Увидев дорогу, я обрадовался ей как чему-то необыкновенно дорогому. Остановив машину, я дошел до нее и, взобравшись на высокую насыпь, долго ходил по шпалам.

Немало, помнится, даже романтических мыслей пробежало у меня в голове за эти минуты. Но больше всего радовало меня сознание того, что эта дорога после всего, что было, снова наша, русская. И я, внук русского человека - моего деда, своими руками возводившего эту насыпь, снова, сорок лет спустя стою на ней, а те, кто пытался воспользоваться трудами и потом тысяч таких русских мужиков, как мой дед, валяются под насыпью...

За рекой, в низине, упираясь окраинами в отвесные склоны сопок, лежала китайская часть города. В ней там и сям виднелись пожары, но их было меньше, и ветер отгонял дым за реку, к японской стороне. Здесь, где жили китайцы, не было видно ни магазинов, ни контор, ни особняков. Это была сплошь пролетарская, более того нищенская слободка. Кривые узенькие улочки, такие кривые, что двум встречным трудно разойтись, подслеповатые и полуразрушенные фанзы. Грязь, мусор и вонь. Вот что представляла из себя китайская часть Хэбея.

Ни одного деревца, просторного, не загаженного отбросами переулка и двора. Теснота, лишения и ужасающее бескультурье. По улицам растекаются помойные ручьи, в смрадных лужах вместе со свиньями и курами ползают голые ребятишки. Это был китайский базар - первый свидетель нищеты маньчжур, только гораздо больших размеров. Тут был в лохмотьях не один старик-китаец, тут в лохмотьях ходили почти все,

почти все население слободки, все, кто добывал кусок хлеба своими руками, кто работал на японцев.

Зато не было тут того мертвого безлюдья, которое встречало нас в японской резиденции. Китайцам нечего было бояться, незачем было убегать от наступающей Красной Армии. Густые толпы китайцев стояли по бокам шоссе, и каждый по-своему приветствовал освободителей. Быстро нельзя было ехать. Люди перебегали дорогу, совали нам цветы, саблевидные маньчжурские огурцы, помидоры, арбузы. Кричали «шанго», махали руками и рваными шляпами.

Они искренне радовались. Радовались свободе и той человеческой жизни, которую везли для них пыльные и усталые люди на машинах.

13 августа

Наша дивизия, приданная одной из армий дальневосточного фронта, действует на Муданьзянском направлении и движется сейчас к маньчжурскому городу Мулин. Едем почти в походном порядке. Японская авиация не проявляет пока никакой активности. Раза два сегодня в голубом небе на большой высоте проплывали японские «Сони», да и те пустились наутек от юрких «кавалеров» - наших «Яков». Безраздельно господство наших летчиков в «пятом океане» Маньчжурии. По целым дням по-хозяйски плавают они в лазури небес, охраняя горные дороги. Местность пошла снова гористая. Горы и горы, куда ни глянь. Одни похожие друг на друга сопки. Дороги тяжелые. О, что это за дороги. Эти военные дороги Маньчжурии, по которым совершала свой победоносный путь Красная Армия, нами, участниками этого похода, никогда не забудутся. Перевалы и спуски, крутые повороты и мостики, на честном слове висящие над безднами, трясины и броды, места, где с первого взгляда не только проехать, невозможно было и пройти пешком, где машины и пушки по несколько километров подряд тащили и вытягивали на себе, навеки останутся памятны.

Дорога. Узкая, вся в ухабах и колдобинах, похожая на рельсы фуникулера, взбирается черт знает на какую кручу и с нее стремительно сбегает вниз в зеленую падь. С ревом и стоном, кажется, готовые разлететься вдребезги от чрезмерного напряжения, ползут по этой дороге машины. Люди идут следом за ними с деревянными колодками, готовые в любой момент подставить их под колеса, если машина в силу чего-либо остановится.

Шофер млеет от напряжения. Один неосторожный поворот руля - и машина ринется под гигантский откос, с которого большие деревья внизу кажутся жалкими кустиками.

Но вот и вершина перевала. Люди переводят дух, чтобы начать новую борьбу за спасение машины, пушек при спуске с перевала. Опять колодки, опять неимоверная настороженность и усилия.

И так все время. Весь путь. Потому что перевал идет за перевалом...

Но люди побеждают все. Движение на дорогах не прекращается ни на минуту.

Зато иные уголки дикой природы хочется навсегда сохранить в памяти. Глубокие долины, где в зарослях черемухи и ив звенят призрачные горные ручьи, кленовые и дубовые рощи, причудливые скалы, утыканные гнездами ласточек, - все это довольно живо напоминает природу нашего Кавказа.

Только немало угроз таит в себе эта буйная зелень. Разрозненные группы японцев продолжают, как голодные волки, бродить в сопках и делать по ночам бандитские налеты на дорогу. Иные смертники появляются на дороге даже днем. Сегодня утром я ехал с одним орудийным расчетом нашего полка. Дорога огибала сопку и выходила на равнинную долину, уставленную копнами сена. Внезапно, едва мы выехали из-за поворота, из-за ближайшей копны раздался винтовочный выстрел. Мы остановились. Сержант, командир орудия, побежал к копне, но вынужден был лечь. Японец из-за копны кинул в него гранату. Граната перелетела его и разорвалась в кювете. Тогда японец выскочил из-за укрытия и с гранатой в руке бросился к машине. Автоматная очередь сержанта свалила самурая. Японец упал. Граната разорвалась у него в руке. И этому смертнику пришлось послужить живой миной только для подрыва самого себя.

Обыскав труп, мы взяли у него несколько рассованных по карманам гранат и длинный, остро отточенный кинжал. А вчера вечером взводу лейтенанта Лебедкина пришлось выдержать с дорожными налетчиками целый бой. Я встретил Лебедкина, и он мне коротко, на ходу рассказал о подробностях стычки. При въезде на гору у него с одной из машин случилась авария. Не желая оставлять орудие, возле него остановился и второй расчет. Пользуясь остановкой, люди принялись готовить ужин, этот-то момент и выбрали самураи для нападения. Они сначала обстреляли расчеты из пулемета с ближайшей со-

пки, а затем, забросав дорогу гранатами, бросились из кустов в атаку.

Расчет японцев на внезапность оказался неверным. Бойцы быстро залегли по кювету и открыли по наступающим ружейно-автоматный огонь. Японцы повернули и, попрятавшись за деревьями на склоне сопки, продолжали обстрел машины. Тогда Лебедкин приказал открыть огонь из пушек. Автоматический огонь пушек быстро обратил самураев в бегство, а подоспевшая пехота прочесала лес и подорвала замаскированный на сопке дот.

Как бы ни скрывались японцы по лесам и горам, разбойничать по дорогам им долго не придется. Японские смертники и группы разбитых гарнизонов не пользуются у местного населения никакой поддержкой. Наоборот, китайские крестьяне с ненавистью относятся к ним и при первой возможности выдают Красной Армии их тайники и берлоги. За разъездом Сангагоу в одной деревушке попали мы на похороны. Хоронили мужчину, женщину и троих малолетних детей - семью, вырезанную ночью японцами за то, что китаец-отец указал нашим танкистам склад с горючим, в котором скрывалась большая группа японских солдат.

Убитые лежали посреди узенькой деревенской улочки, в большущих, как ящики, дощатых гробах, прикрытых циновками. Убийство было совершено зверским образом. В гробу для взрослых мы увидели какую-то бесформенную массу окровавленного человеческого мяса, положенную на сухую ароматную траву, по виду напоминавшую употребляемую при похоронах в наших деревнях богородскую траву.

Это были останки самого китайца и его жены, зверски изрубленных палашами. У детей были отрублены головы и лежали рядом с телом, похожие на какие-то ненужные, черные шарики. Вокруг гробов в мрачном молчании толпились жители деревни. Старый китаец в черной длиннополой одежде, напоминавшей монашескую сутану с непомерно широкими и длинными рукавами, и в черной шапочке на коротко подстриженных седых волосах, видимо священник что-то гневно говорил, показывая рукой то на убитых, то на небо.

Мы попробовали узнать, о чем он говорил. Но никто из стоявших не знал ни слова по-русски и мы, ничего не добившись, умолкли. Но было и без слов ясно, что старик в черном одеянии произносил гневную речь, направленную против японцев. Может быть, он призывал односельчан к мести за погибших

людей, к мести тем, кто так долго издевался и держал их в рабстве.

Еще 13 августа

Уже сейчас, под вечер, догнала нас радостная весть. Японцы запросили мира. Понятно, что очень радоваться еще не время. Окончательная победа еще впереди. Япония заявила о своем согласии капитулировать с просьбой, чтобы победители не тронули суверенных прав их Микадо. Хитро, но между прочим, не совсем умно. Что значит не тронуть суверенности японского императора? Это значит оставить в самой Японии все так, как было. Ну, нет. Нам ясна эта самурайская просьба с улыбочкой. И ясно прежде всего то, что командование Квантунской армии думает и надеется выкроить из этой дипломатической трепатни своих министров известную стратегическую пользу. Оно надеется на то, что Красная Армия, ее командование окажется дурнее их и приостановит военные действия. А тем временем Симидзу отведет из гор остатки своей разбитой армии и постарается удержаться у Муданьцзяна.

Как бы не так. Кому-кому, а уж нам известно, что японцев можно заставить капитулировать не дипломатией, а силой оружия, ударами по башке да побольнее. С волками поступают по-волчьи. Никаких приостановок в военных действиях Красная Армия делать не намерена. Мы будем лупить самураев до тех пор, пока их рука не потеряет способность держаться за самурайские мечи, до тех пор, пока они не встанут на колени. Никаких оговорок для Микадо. Вперед и вперед. Красная Армия двигается вперед.

14 августа

Вчера под вечер впереди своей части на попутной машине подъехал я к Мулину и сразу попал в бой. Большое подразделение нашей пехоты выбивало японцев из развалин кирпичного завода и продовольственно-вещевых складов, преградивших движение к городу по основной дороге. Надо было объехать где-то старой проселочной дорогой, но мы слишком далеко заехали и очутились в непосредственной близости от места боя.

Шофер машины, на которой я ехал, почуяв опасность, стал было разворачиваться в обратную сторону, но японцы уже нас заметили и открыли по машине пулеметный огонь. Сразу же

кабина была прошита короткой очередью, а водитель ранен в руку. Ничего не оставалось делать, как спешиться и убраться в какое-нибудь укрытие. Мы оставили машину и легли на дороге. К нам, пригибаясь и грозя кулаком, подбирался по кювету незнакомый мне лейтенант.

Он подбежал, упал перед нами на живот и начал нас ругать самым беспощадным образом, зачем мы перлись по этой дороге, когда в километре отсюда стоял маяк и все движение направлялось в объезд.

Мы виновато его слушали, хотя никакого маяка, признаться, не встречали.

Потом лейтенант, излив на нас всю свою ярость, вдруг умолк и попросил закурить. Мы отползли в кювет и все трое закурили. И вдруг я стал всматриваться в лицо лейтенанта, пыльное и потное, но показавшееся мне страшно знакомым. Я забыл про папиросу и все смотрел, смотрел на него.

Лейтенант смущенно наклонил голову и спросил, чего это я нашел примечательного в его образине. И когда он наклонил голову, этим, давно для меня знакомым упрямым кивком, я узнал его.

На войне приятно и радостно встретить не только друга, но и даже мало-мальски знакомого человека. А этот лейтенант был для меня далеко не мало-мальски знакомым. Это был Гошка, самый дорогой, самый лучший друг моего детства и школы. Георгий Васильев. Четырнадцать лет не видел я его, но детская память где-то по закоулкам сохранила память о товарище, особенно этот упрямый кивок головой, и я узнал его. Четырнадцать лет назад, оставшись без отца и матери, убитых кулаками, уехал Гошка из нашего села, и с тех пор пути наши ни разу не пересеклись. Я долго, помнится, скучал без него, писал ему письма в г. Фрунзе, куда он, по его словам, уехал к тетке. Ответа на мои письма не приходило. Жизнь поглотила и упрятала далеко моего маленького друга и упорно не хотела мне его выдавать. Потом я стал забывать его и забыл. Забыл нашу дружбу, наши игры и увлечения, но образ его самого сохранился в моей памяти нетронутым временем. Я почему-то всегда надеялся его встретить и вот встретил.

- Гошка! - крикнул я ему, едва от радости не вскочив на ноги, - да ведь это ты, дьявол, я узнал тебя!

Лейтенант непонимающе моргал глазами. Но я был страшно возбужден и обрадован, и не терпелось, чтобы и он узнал меня.

- Я Борька, Петров, помнишь? Наш дом на углу, возле почты... без палисадника, - запинаясь, как маленький, говорил я.

- Ты следопыт, кожаный Чулок? - вдруг спросил Гошка, еще чаще моргая белесыми ресницами.

В детстве, увлекаясь чтением Купера, мы любили называть себя куперовскими героями. Гошка это вспомнил.

- Следопыт, конечно. А ты Пленитель моря...

Верно. Так это значит ты, черт, - удивился лейтенант.

Мы обнялись, даже поцеловали друг друга и, не выпуская рук, принялись закидывать друг друга вопросами.

Где-то совсем близко оглушительно и громко хлопали противотанковые пушки, трещал пулемет и нам, чтобы расслышать друг друга, приходилось кричать на ухо. И мы кричали. Так кричали, что шофер тут же возле нас, бинтовавший себе руку, удивленно смотрел на нас.

В шуме и грохоте я узнал о Гошке немного. Уехав из нашего села, он в самом деле попал во Фрунзе, но никакой тетки там не нашел, а, прожив пять или шесть лет в детском доме, ушел в Красную Армию, где сначала был воспитанником, а потом бойцом-пограничником. Год назад окончил пехотное училище, воевал в Восточной Пруссии, а сейчас служит начальником штаба батальона, уничтожающего японскую группировку в Кирпичном заводе. Я его хотел расспросить о сестре, но он вдруг спохватился и махнул рукой.

Пока, пока. Я побегу назад. Меня ведь комбат на минуту посылал прогнать вашу машину. С самураями закончим, поговорим.

Уехать без шофера я не мог, а сидеть в кювете мне не хотелось, и я попросил друга взять меня с собой.

- Это куда, куда? - удивился Гошка.

- Туда, куда ты идешь.

- Да ведь там черт знает что...

- И я знаю что там, берешь или нет?

Гошка посмотрел, посмотрел на меня и махнул рукой.

- Ладно, двинулись. Только, чур, за тебя не отвечаю.

Сначала по придорожным буеракам, а затем полем, засеянным темными кустами касторки, добрались мы до наблюдательного пункта батальона. НП помещался в разбитом доте, на небольшой высотке метрах в трехстах от первых зданий кирпичного завода. В яме, заваленной обломками железобетона, упираясь ногами в ее стенки, стоял человек с плащ-палаткой на плечах и, высунувшись по плечи из-за бруствера и не

отрывая глаз от бинокля, кричал телефонисту какие-то приказания... Видимо, данные для полковой артиллерии.

Гошка назвал его капитаном, сказал, что машина не может уйти с дороги, так как ранен шофер, и показал на меня.

- Черт с ним, пусть стоит, - не оборачиваясь крикнул капитан то ли по адресу моему, то ли про машину и, поправив каску, продолжал наблюдение.

Мы с Гошкой уселись на дно ямы с намерением продолжить обоюдные расспросы. Но в это время комбат крикнул:

- Сейчас начнем атаковать!

Гошка вскочил и встал рядом с ним. Я тоже встал и из-за их голов посмотрел на поле боя.

Черные, закоптелые стены Кирпичного завода показались мне очень близкими. Из выбитых окон, как из труб, валил клубами черный дым, а где-то на крыше, внутри корпусов и прямо на виду, ударяясь в толстые стены, рвались мины. Они лопались с глухим треском, точно футбольные камеры, освещая на мгновение темные стены желтыми вспышками огня. Из горящих зданий беспрестанно стрекотали пулеметы и слабо бухали винтовочные выстрелы. Наших бойцов не было видно, они лежали где-то недалеко от завода в траве.

Вдруг высоко над нашими головами зашипели и рассыпались зелеными искрами две сигнальные ракеты. Это было начало атаки. Вслед за этим сразу потухли желтые вспышки минных разрывов на стенах и, поднявшись из бурьянов, к заводу побежали, склонившись, бойцы Гошкиного батальона. Они быстро пересекли стометровое пространство до корпусов, и вскоре многие из них скрылись в проломах и окнах. Оттуда, как из бочки, стали доноситься гулкие взрывы гранат и автоматная дробь, точно били горохом о жестяные листы. Бой уходил вглубь завода.

Но в завод проникли только наступавшие в середине, должно быть одна рота, а фланги точно такой же численности попали под сильный пулеметный огонь и все еще не могли достичь стен. Было хорошо видно, как по наступающим ротам бьют трассирующими несколько пулеметов, и роты, замедляя темп атаки, постепенно залегают у самых стен...

- Тарасов-черт зарывается, а остальные отстают. Беги передай, чтобы пулеметы подавили, не то людям хана, - к немалому моему удивлению совсем спокойно сказал капитан. Был он, видимо, умелым, видавшим на своем веку всякие переплеты командиром.

Я не успел оглянуться и понять, к кому были обращены его слова, как Гошка уже выбрался из ямы и, не пригибаясь, побежал к заводу. Во мне вдруг появилось чувство, которое бывает у взрослого человека по отношению попавшего в беду ребенка. Мне почему-то показалось, что без меня с Гошкой обязательно что-нибудь случится, и я, приняв на себя роль взрослого, хотя и был с Гошкой одного года, кинулся следом за ним.

Гошка дорог был мне как Гошка - просто как товарищ детства и, кроме того, как родной брат Лиды, человека, которого я любил. Не знаю, послал ли его со мною комбат, был ли он из какой-нибудь роты, только помню, когда я добежал до завода, пристал какой-то пожилой боец и неотступно следовал за мной как телохранитель все время, пока я бегал по корпусам. Вместе с ним через окно, в которое на наших глазах впрыгнул Гошка, пролез я в первый корпус. Он горел. Удушливый дым заполнил его всего и мы, ничего в этом дыму не разглядев и едва не задохнувшись в нем, стремглав выбежали на двор.

Обширный двор, в котором мы очутились, был пуст. Только весь изрыт был воронками, среди которых точно мыши возле нор, валялись несколько убитых японцев. Схватка происходила дальше, в дальнем углу двора, в следующем цехе. Оттуда слышались крики «Ура!», выстрелы, хлопки гранат и истошный, точно резали поросенка, вопль какого-то японца. Мы кинулись туда. Но пока добежали, бой отодвинулся еще дальше, к продовольственным складам.

В дымном, пахнущем порохом полумраке помещения мы увидели несколько японских трупов и того самого самурая, который лежал в углу за кирпичами и все орал. Возле дверей двое наших санитаров бинтовали голову какому-то сержанту...

Гошки не было видно.

Я спросил о нем у санитаров, они показали вперед. Пока мы пересекли пространство от кирпичных цехов до продовольственных складов, наше «ура» стало раздаваться не только впереди нас, но и по бокам. Видно Гошкина миссия достигла цели: Тарасов-черт не стал зарываться, а остальные роты подтянулись.

Я вынул пистолет и побежал вслед за удаляющимся боем, который никак не мог догнать. Не знаю, что меня заставило, осторожность или любопытство, оглянуться влево на открытую дверь одного из складов, но это меня спасло. Едва я по-

вернул голову к этому складу, из-за двери кинулся на меня японец и с непомерной ловкостью, схватив меня за горло, другой рукой занес надо мной сверкнувший кинжал.

Я видел японца. Может быть, в самый последний миг я все же заметил его, но его прыжок оказался, однако, таким неожиданным и стремительным, что я, почувствовав на горле его пальцы, а над головой нож, едва не упал в обморок.

Что скрывать, это так и было. Но вот что интересно, мысль моя ни на тысячную долю секунды не прекратила свою полезную работу. Она жила, она одна не растерялась и заставила меня бороться за жизнь. О, как быстро работала эта мысль! За тот короткий миг, в течение которого рука японца с кинжалом опускалась на мою голову, я успел подумать о смерти, о прелестях жизни, о Лиде, о Гошке, и даже, помнится, о прошлом.

Это было так быстро, что я успел все это передумать и спустить курок пистолета в живот врага, а японец все еще наносил мне удар. Выстрел вызвал в моих глазах красные круги, может быть, от того, что японец последними усилиями сжал на моем горле пальцы. Я не понял, отчего эти красные круги. Мне показалось на мою голову обрушился удар японского кинжала.

А удар пришелся действительно. Только он уже не был таким метким, как рассчитывал враг. Конец ножа полоснул о мое плечо, разрезал погон и гимнастерку и неглубоко вошел в тело. Вслед за этим, не веря сам себе, я почувствовал, как пальцы японца разжались на моем горле, и сам он тяжелым кулем свалился на землю.

Кажется, я очень был взволнован и растерян, потому что когда ко мне подбежал шедший со мною солдат, моя рука, державшая пистолет, безбожно тряслась.

Солдат спросил, все ли в порядке. Я ответил, что все, и спросил в свою очередь, почему он не убил бросившегося на меня японца.

- Да ведь вы сами, товарищ лейтенант, в ту же секунду кокнули его, - объяснил боец.

Я не верил себе. Неужели все мысли промелькнули у меня в голове так быстро.

Японец был еще жив. Он ворочался и, не выпуская из рук кинжал, скрипел зубами.

- От сука, - выругался боец, - вьется, как червь, не подыхает.

Он выпустил по японцу очередь из автомата, швырнул гранату в дверь склада, и мы побежали дальше, вперед.

До конца боя Гошку я так и не нашел. Когда я в сопровождении все того же солдата вернулся на НП батальона, Гошка был уже там. Он сидел на дне ямы, еще больше потный и грязный, доставая из марлевого мешочка малюсенькие японские галеты и жуя их, что-то писал в разложенном на коленях блокноте.

Моему приходу он удивился и обрадовался.

- А я думал ты остался здесь, - сказал он, виновато моргая белесыми ресницами.

Я рассказал ему схватку с японцем, но умолчал, что пошел в бой следом за ним и за него боясь.

Гошка сделал мне дружеский выговор за излишний риск, а сердитый капитан, тоже уплетавший галеты, проворчал:

- Это черт знает что такое, бежать куда не просят.

И предложил мне запустить руку в его мешок с галетами.

Я отказался. Мне страшно хотелось пить, и я остался ждать, пока солдат принесет воду.

Командование батальона сохраняло грозное молчание, но видно было, что и капитан, и лейтенант довольны были исходом боя и каждый по-своему радовался этому.

Скоро солдат принес в каске холодную колодезную воду, я напился, с полчаса еще поговорили с Гошкой, записали друг у друга номера полевых почт, пообещали писать при возможности, и я направился к дороге, по которой ехали уже пушки нашего полка. Гошка пошел меня провожать. Перед тем как расстаться, я спросил у него, пишет ли ему сестра. Гошка сказал, что давно уже не получал от нее писем и, как мне показалось, с лукавой улыбкой посмотрел на меня. Не знаю, известно ли ему было о наших взаимоотношениях с Лидой. Я ему не сказал ничего.

Мы ночевали на западной окраине Мулина, и сейчас весь наш полк продолжает стоять на месте. Получена задача занять огневые позиции в районе станции Даймагау, но до начала марша еще целый час, и я смогу записать дневные впечатления. Собственно, вернее сказать, утренние впечатления, потому что сейчас еще только 12 часов дня. Но я поднялся рано, успел побывать в городе и посмотреть все, что меня интересует.

Лежу в траве, желтой от солнца (здесь давно не было дождей) и темно-бурой от многослойной пыли и, прикрыв голову и тетрадь газетой, пишу эти строчки. Метрах в двадцати от меня проходит дорога. По ней в облаках ни на минуту не

оседающей пыли снуют машины, пыль относится от дороги и ветер гонит ее прочь по холмистой местности, как дым степного пожара.

Очень сильно воняет трупами. Это жарятся в дорожных кюветах на августовском солнце незадачливые самурайские вояки.

Нашему привалу здесь я рад.

Я успел сделать то, чего не мог выбрать время сделать за все время наступления. Умылся, сменил белье и постригся. Теперь снова чувствую себя легко и готов куда угодно, хоть в самый Харбин.

Настроение хорошее, если не говорить об огорчении, которое нанес мне сегодня наш «аккуратный» почтальон.

Этот тип почти всем принес письма, а мне нет. Да, писем от Лиды все нет и нет. Уже три, нет, больше, четыре месяца не знаю я, где она и что с ней. Осталась ли она в Германии или приехала, как я, сюда, на Восток. Кто скажет об этом? Как хочется получить от нее хотя бы две-три строчки. Пусть даже одну. Пусть бы написала: «Жива, здорова», и был бы спокоен. Я часа два назад в городе встретил одну девушку. Как она походила на Лиду, до чего я обрадовался, увидев ее. Я остановил ее и ошибся. Она очень напоминала Лиду, но это была не Лида.

Что бы только не отдал я, только за то, чтобы хоть разочек взглянуть на тебя, Лидочка! Я не знаю твоего адреса, но я часто пишу тебе письма. Все, что запишу я в своем дневнике, это одно большое письмо тебе. Пиши и ты мне, чтобы я не ссорился с почтальоном. Он у нас добрый малый, и очень обижается, если ему выговаривают за то, что не принес письма.

- Что я сам напишу их или бросаю где, - возмущается он.

Ну, малый ход. Я, кажется, опять заговорился со своей далекой и вредной Лидкой. Не пишет, значит, так надо. Я вовсе не обижаюсь.

Ладно, я ведь намеревался записать кое-что. О чем же? Ага, вспомнил. О Мулине.

Город Мулин один из важных городов провинции Муданьцзян и крупная станция КВЖД, называемая Мулинчжаном, лежит в узкой долине на берегу узкой, но быстрой реки Мулинхэ. Со стратегической точки зрения Мулин как город имеет немаловажное значение. В нем скрещиваются шоссейные дороги, идущие от советской границы через горные хребты Тайпинлина, которые мы уже преодолели, и хребты Лаолин

и Контэй-Алинь, которые предстояло нам преодолеть. Сам по себе небольшой город Мулин насчитывает в себе около полутора десятков тысяч населения. Это, преимущественно, китайцы, японцев жило здесь немного. Гарнизон, офицерские семьи, колонисты - всего несколько сотен, что, однако, не мешало японцам чувствовать себя хозяевами не только города, но и обширных окрестностей его. Китайцы жили на положении рабов. Их удел был один - работать на господина-японца военного или гражданского. Драконовскими мерами прививали завоеватели китайскому населению рабские привычки. Я шел по улице, и мне становилось не по себе, когда попадавшиеся навстречу китайцы, молодые и старые, отвешивали мне земные поклоны.

Но, кроме маньчжуров и японцев, в этом городе жили и русские. Русские белогвардейцы и их отпрыски, шедшие рука об руку с японцами к войне против Советского Союза. На одной из улиц мне попалась в руки русская газета, издаваемая каким-то белоэмигрантским комитетом в Харбине. Гнусный и жалкий листок. Как распинались в нем эти русские отщепенцы перед японскими хозяевами, как льстили, как раболепствовали и пресмыкались перед ними, точно побитая собака пред хозяином. Все страницы газетки были буквально заняты портретами неуклюжих японских министров, генералов и прочих знаменитостей. В газете японцы даже не назывались японцами, а каким-то, черт знает откуда взятым, именем Ниппон. И это делали русские, деды, отцы и братья которых проливали кровь в войне с ихними хозяевами за честь русской национальности.

Противно и стыдно было за этих пресмыкающихся тварей, которые лижут пятки отвратительным самурайским паукам и после всего этого не забывают называть себя русскими. Впрочем, нетрудно было понять, что русскими они называли себя с большой осторожностью. Они боялись японцев. Они готовы были бы с великой радостью сменить свои русские фамилии на какие-нибудь самурайские Сигимицы, Мацуоки и Танаки...

Да, мне было противно и стыдно за них, и вместе с тем какую гордость чувствовал я за тех русских, которые с благородными намерениями пришли оттуда, из-за горных хребтов, из России. Это были действительно русские. Они не побоялись по всей Европе пронести великое и гордое слово Русский человек. И они несут это слово теперь здесь, по горам и долинам Маньчжурии. А эти белогвардейцы, как плесень в закоулках

чистой и светлой комнаты, сохранившие свою гнилую вонь, вонь старого строя и ненависть к новой Родине Русского человека... Они не были русскими.

Тот, кто не может сохранить честь нации, стоит ли называть того человеком этой нации.

Тот, кто боится произнести вслух свою нацию, можно ли называть его русским человеком?

Я проходил по широким, похожим на наши деревенские улочки, улицам русских кварталов Мулина. В домиках с палисадниками с русскими занавесками на окнах жили русские.

Но вид милого с детства деревенского домика не волновал меня. Это были не наши, чужие дома. Взрослые из этих домов ушли с японцами. Но семьи некоторых ренегатов остались. Они со страхом смотрели на нас, русских, они боялись нас. Но настоящие русские не мстят женщинам и детям. Хотя в домах на нашей Родине многие не позабыли до сих пор бородатых карателей, удравших за границу Китая и навеки связавших свои преступные судьбы с судьбами азиатских бандитов - японских империалистов.

Наши бойцы и офицеры проходили мимо домиков с русскими палисадниками и занавесками на окнах...

Китайская часть города поразила меня своей оживленностью. Город жил, хотя из окрестностей не были изгнаны все японцы. Из города были отчетливо слышны артиллерийские залпы и голоса гвардейских минометов, добивающих большую группировку самураев северо-восточнее города. Улицы кишели народом. Мужчины в черных одеждах, с кумачовыми бантиками на шляпах и красными повязками на рукавах, женщины с крохотными ножками, такими маленькими, что казалось, дунет ветер и они попадают на мостовую, дети с красными флажками на длинных древках - все эти пестрые толпы свободно разгуливали по улицам, будто день назад на этих улицах не кипели бои.

Город ликовал. Еще бы: после тринадцати лет темного рабства наступила свобода. И какая свобода, настоящая свобода, навсегда, навеки!

Нам, военным, нельзя было пройти. Нас окружали, кричали «шанго», тянулись пожать руки, разглядывали и ощупывали, точно мы были людьми сна, хорошего, неправдоподобного сновидения, могущего рассеяться и пропасть каждую минуту.

Но беспорядка не было. В городе чувствовалась дисциплина. По улицам расхаживали комендантские патрули, регули-

ровщики деловито размахивали флажками, сновали машины. Возле белого здания комендатуры толпились китайцы. Они входили и выходили оттуда. Комендатура руководила жизнью города. Удивительное учреждение эта наша комендатура. Не успеют в городе затихнуть бои, а она уже, часто под огнем, начинает свою с первого взгляда скромную, но поистине героическую деятельность по восстановлению нормальной жизни в городе.

Следы деятельности комендатуры видны были на каждом шагу. Много китайцев бродило и стояло на улицах, но немало их было и занято делом. В городе кипела работа. Расчищали улицы от развалин, починяли мостовые и тротуары, работали на восстановлении железнодорожного узла. Китайцы известны своим трудолюбием. Но теперь, в дни свободы, работали они с особым подъемом. Восстанавливался город, который отныне не будет придавлен пятой жестоких поработителей. Эти первые кирпичи, вкладываемые в тротуары, камни в выбоинах мостовых, первые лопаты земли были для китайцев началом новой, свободной жизни, которую имели они возможность для себя построить.

Начинала функционировать и местная полиция из китайцев. Правда, полицейские действовали по старинке, но они помогали комендатуре. Я видел в одном месте, как китаец-полицейский огрел бамбуковой палкой другого китайца, тащившего на дрова лакированный книжный шкаф. И нарушитель порядка ничего не сказал блюстителю его, только почесал ушибленное место и отнес шкаф туда, где взял.

Я долго бродил по узеньким улочкам города. Заглядывал в дома китайских бедняков и кули, видел, как они двумя зажатыми между пальцами палочками ели отваренный рис, наблюдал их быт и всюду, на каждом шагу, поражался бедности, в которой они жили.

Тут, в городе, беднота выглядела нисколько не краше, чем в фанзе китайского базара и в китайских кварталах Хэбея. Такие же низкие, темные и грязные фанзы, узкие двери, грязь и вонь. Но, как и везде до этого, русский человек в каждой фанзе был желанным гостем. Меня приглашали к столу, предлагали овощи, табак и ханжу.

Однако мне не удалось узнать содержания многочисленных вывесок в центральной части города. Длинные вертикальные строчки иероглифов были непостижимы для моего ума. Прочесть их я не мог. Да и вряд ли, подобно мне, многие из

китайцев могли это сделать. На весь город существовала всего одна китайская школа, да и то не для всех. Японцы не хотели грамотных рабов. Грамотность могла развить их непослушание.

На мосту через Мулинхэ встретился мне один китаец. Я остановился закурить, но спичек у меня не нашлось и я, держа папироску в руке, прислонился к перилам, ожидая курящего. Китаец это заметил и, неслышно подойдя ко мне, предложил огня из своей длинной глиняной трубки.

Я прикурил и спросил китайца, куда он идет. К моему удивлению старик довольно правильно по-русски сказал:

- Моя бога пошла молиться, - и прибавил, показывая на небо, - китайского бога.

В самом деле, в руках у него были какие-то узенькие полоски из серого картона, которые он назвал свечами и даже поджог одну из них. Свечка закурилась голубым ароматным дымком и горела довольно плохо, не давая пламени.

Кроме того, старик нес под мышкой охапку листового табаку, которым поспешил меня угостить.

Я от табака отказался и спросил у него все время интересующий меня вопрос, как жили они под японским игом.

- Японза? - переспросил китаец и громко, с матерными выражениями выругался по-русски, - мать их так. Черти. Всем японза надо так валяться, как вон тот японза солдат.

Он показал мне на труп японского солдата, валявшегося под мостом, и стал рассказывать о своей жизни за последние годы.

А жил он в последние годы плохо. Японцы, как я говорил уже, чувствовали себя полными хозяевами на землях покоренных маньчжур. Они вели себя не только как завоеватели и колонисты, но и как самые настоящие рабовладельцы. Жестоко эксплуатировалось ими китайское население. Года три назад в районе города строился укрепрайон. На постройку его были мобилизованы жители города и окрестностей, разумеется, только маньчжуры. Строительство продолжалось все лето с ранней весны и до поздней осени. Рабочие-китайцы работали от зари до зари. Обращение же с ними было бесчеловечным, жестоким и издевательским. Китайцы не пользовались абсолютно никакими правами. Они не смели ни говорить за себя, ни возражать приказаниям. Японцы ввели для них палочную дисциплину, палочную без всякого переносного смысла. Все, кто на взгляд японских надсмотрщиков не проявлял в работе

достаточного усердия или был строптив, тут же на месте подвергался беспощадному наказанию. Его били палками по голым пяткам. Местные жители очень хорошо помнят это строительство потому, что после него наступил голод. Проработав все лето на казенной стройке, жители не смогли подготовиться к зиме. Они не смогли ни посеять, ни убрать загородние участки огородов. Кроме того, японские хозяева не уплатили никому из них за работу ни одного габи, точно это были не вольнонаемные рабочие, как называли их сами японцы, а рабы какого-нибудь персидского сатрапа. Да и разве один этот факт? Произвол и насилие продолжались на протяжении тринадцати лет.

Старик рассказал, каким образом японцы собирали жителей на работу. Рано утром, чуть свет, в квартал кули и рабочих врывались японские солдаты и прикладами выгоняли их на улицы. Дело не было самураям, если кто из китайцев, поднятый с постели, не успевал одеться. Промедление при сборах на работу не допускалось. Не успел одеться, отправляешься в таком виде, как есть. Японцы, сами до мозга костей пропитанные дурацким духом самурайской воинственности, требовали и от своих рабов той же четкости, быстроты. Замешкавшихся кололи штыком.

Это в городе. Не лучше, а, пожалуй, похуже, доставалось крестьянам. Маньчжурия - страна горная. Она во всех направлениях исхлестана горными кряжами. Плодородной земли, особенно в северо-восточной ее части, очень мало. Я уже писал, с какой точностью, без всяких меж, была разделена одна из горных долин. Так и везде. Земля в Маньчжурии, как и у нас в старину, составляла самую заветную мечту крестьянина.

И еще потому, что ее мало. На каком-то крохотном гектарном наделе должен был маньчжурский крестьянин возделывать все необходимые для существования семьи продукты. Тут и пашня, и огород, и усадьба.

Земляной голод, спокон веков вечный голод без земли - вот что такое жизнь маньчжурского крестьянина.

Такой она была до прихода японцев. Она стала во много раз тяжелее и хуже при них, потому что завоеватели отобрали у крестьян все их лучшие земли. И теперь здесь такая картина. Пройди по полям и ты увидишь разнообразные культуры, растущие на щедрой земле Маньчжурии. Но далеко не все культуры идут на пользу производителя.

Китаец имел право сеять только картофель, ячмень и кукурузу. Все остальное, что родит земля, - пища японцев. Особенно рис. Как ни странно, но это факт. Японцы запрещали китайцам употреблять рис в пищу и жестоко преследовали нарушителей этого закона. На станциях Санчакоу, Селимхэ и Мацеохи я видел огромные склады риса. Целые горы соломенных мешков с рисом, награбленных и свезенных сюда за счет голодного существования тысяч китайских семей. Рис, растущий на земле Китая, возделывавшийся руками китайцев, целиком забирался японцами и отправлялся к себе в метрополию.

Да, рис запрещали китайцам употреблять в пищу. Идя сюда, к месту возле одного из наших госпиталей, расположенных в городе, я увидел такую сцену. Из деревни привезли в госпиталь смертельно раненого китайца. Ранили его японцы. Был ли он партизаном или просто патриотом своей страны - этого не знал никто. Мне удалось узнать только вот что. Китаец указал нашим бойцам на японских солдат, прятавшихся в деревне. Японцы были выловлены, но, видимо, не все. А может быть, и другие, и им кто-нибудь донес о поступке китайца. Только японцы решили отомстить патриоту. Вечером, накануне, напали на него шесть японских солдат. Дело происходило вдали от деревни, на дороге, по которой китаец возвращался с поля, кроме того, японцы были вооружены, а китаец кроме лопаты никакого другого оружия не имел. Но он не струсил и не уклонился от схватки. Дрался он, как лев. Он изрубил лопатой и задушил четверых, но и сам получил несколько пулевых и ножевых ран. Его спасли наши бойцы, проезжавшие по дороге и прекратившие эту смертельную схватку одного с шестью.

Китаец был при смерти. Он лежал на носилках весь в крови и лохмотьях с закрытыми глазами. Возле него на коленях стояли жена и два мальчика. Никто из них не плакал. Только китаянка все время раскачивалась над носилками, точно хотела упасть на них и все пыталась рвать на себе волосы. Девушка-медсестра не давала ей этого делать и, удерживая за руки, со слезами в голосе просила:

- Ты лучше плачь, плачь. Понимаешь? А зачем же волосы дергать?

Китаянка ее не слушала.

Через полчаса китаец-герой умер. Приехал какой-то другой китаец, видимо родственник, и положил труп на арбу, запряженную одним старым-престарым быком. Его спросили, есть

ли у жены покойного кто-нибудь, кроме этих двух мальчиков. Китаец ответил, что у ней пятеро детей, а кушать (пошевелил он скулами) нет. Тогда завхоз госпиталя, толстый суетливый капитан, распорядился погрузить на арбу несколько кулей трофейного риса. Но китаец и вдова, узнав об этом, наотрез отказались взять этот рис. Они не соглашались, несмотря на уговоры всех нас стоящих. Мы упрашивали, недоумевали и ничего не могли понять. Тогда китаец стал нам что-то быстро-быстро говорить.

Общими усилиями мы наконец разобрались в чем дело. Он сказал, что женщина не может взять рис, потому что, если японцы увидят в ее доме рис, они ее убьют. Рис - пища японцев. Мы горячо принялись убеждать его в том, что ни ему, ни ей японцев уже бояться нечего и что все китайцы могут кушать безбоязненно все, что пожелают.

Но китаец был неумолим и не поддавался никаким доводам. Он согласился взять кукурузу или чумизу, но только не рис. В конце концов ему принесли два мешка чумизы и незаметно сунули в арбу мешок с рисом. Китаец низко поклонился во все стороны и погнал своего вола. Следом поплелась убитая и согбенная горем китаянка.

На мосту в разговорах с китайцем простоял я долго. Я добивался у него значения отдельных китайских слов, их произношения и записывал их на клочке бумаги. Просил назвать улицы и прочитать иероглифы. Наконец спросил, где он научился так хорошо говорить по-русски.

Лицо старика, сотканное из паутинки морщинок, расплылось в улыбке.

- Владивосток, - сказал он, таинственно подняв палец вверх.

Оказалось, он родился и вырос во Владивостоке, оставил там дочь, а сам с остальной семьей пятнадцать лет назад приехал сюда работать на железной дороге.

Я поинтересовался, согласился ли бы он снова вернуться во Владивосток.

- А как же, - воскликнул он, - хотел бы...

И с сожалением добавил:

- Как поедешь, туда не пускай.

Мы дружески пожали руки, и я заторопился к себе в часть.

Старик вслед мне восхищенно крикнул:

- Русский «шанго»!

15 августа

Не знаю, сколько сейчас времени. Когда я гашу фонарик, при свете которого пишу, вижу только, что все еще ночь. Ночь, а как хочется, чтобы она поскорее кончилась, чтобы прошло это проклятое клевание носом, чтобы можно было ехать дальше. Мы, то есть я и Рябцев, сидим в кабине неизменного газика посреди дороги, недалеко за станцией Мадаолин. Рябцев, по природе своей беспечный человек, несмотря на все мои протесты, все же заснул, и теперь, привалившись на мое плечо, самым спокойным образом посвистывает носом.

Но спать обоим нельзя. Я закрыл дверцу кабины, занавесил смотровое стекло шинелью и все же отчетливо слышу, почему нельзя сейчас спать.

Нас, вернее Рябцева, послал командир полка к переднему краю узнать в штабе корпуса обстановку. Я же приставлен вроде как помощником к моему страшно уравновешенному другу.

Часов до двенадцати ехали мы довольно хорошо, без всяких злоключений, а потом пошло одно за другим. Сначала у нас отлетел глушитель. Встали, отыскали его и приставили к месту. Затем спустил баллон. Ну и после этого застряли мы основательно. Камеру клеили при свете электрических фонариков, а заклеив, дальше не поехали.

Началась обычная в этих местах заваруха. Днем, как тараканы по щелям, прятавшиеся в сопках, японцы с наступлением темноты подобрались ближе к дороге и назойливо стали напоминать о себе.

Ехать по дороге одной машине становилось опасно. Мы пристали к какой-то автоколонне и остались с ней ожидать утра. Вот сейчас я пишу, а за кабиной, точно на стрельбище, трещат выстрелы. По бокам дороги сопки, покрытые лесом. Мы стоим на дне пади, у ручья, и звуки выстрелов, собираясь возле нас в фокус, напоминают удары палкой по бочке. Нам как арьергардной машине досталось больше всех. Японцы все время обстреливают нашу машину, но нас спасает темная ночь.

Сижу и, черт знает, прилетит шальная пуля - и каюк. Может случиться, что найдешь для себя таким образом конец. Умереть так, как сейчас, на виду противника, было бы слишком глупо. Японцы боятся подойти близко к машинам. Они ведут по нас огонь с сопок и их выстрелы не причинили пока колонне вреда.

Мы возле своей машины устроили круговую оборону. Люди наши все на постах, под машиной, по кюветам и у пулемета.

Пусть самураи потешатся последнюю ночь. Завтра, говорят, приходят сюда отряды прочесывания. Они их прочешут, как полагается. Теперь вообще о положении на фронте. Наши передовые части на нашем направлении ведут бои за Муданьцзян, а, может быть, даже взяли его. На других фронтах дела идут тоже замечательно. Войска Забайкальского фронта преодолели пустыни внутренней Монголии, перешли представлявший страшные трудности хребет Большой Хинган, и танковые части подходят уже к Мукдену и Чаньчуню.

Адмирал Юмашев со своими морячками овладел корейскими портами Сейсин и Расин, а дальневосточный фронт форсировал Амур и Сунгари и с севера движется к внутренним провинциям Маньчжурии. Но больше всего радует меня то, что наши войска дают самураям прикуривать на Сахалине и Курильских островах. Эти исконно русские земли снова станут нашими. Кончится изоляция Дальнего советского Востока от Тихого океана. Наш народ-богатырь давно рвется на просторы океана. Теперь это время близко. Все хорошо, все идет так, как надо. Значит, скоро русский флаг заполощется над легендарным Порт-Артуром. Как бы хотелось быть одним из счастливцев, на долю которых выпадет честь первыми ступить на землю, когда-то политую святой кровью русских людей.

Да, Порт-Артур. Предания об этом городе-герое с детства почему-то сильно волнуют меня. В прошлом году я прочитал историческое повествование Степанова «Порт-Артур». Переживания от этой книги свежи во мне до сих пор.

Мне вообще трудно читать о бедственных фактах родной истории, а о японской войне 1904-05 годов особенно. Как мне было обидно за свою страну, потерпевшую поражение в этой войне, обидно было за народ, вина которого заключалась лишь в том, что он терпел над собой власть насквозь прогнившего самодержавия, накликавшего на страну позор проигранной войны.

Но особенную обиду и горечь испытывал я за отважных защитников Порт-Артура, вынужденных после стольких месяцев кровопролитных боев приспустить русский флаг с твердыни крепости.

Порт-Артур. Священные могилы русских солдат и матросов, разбросанные по голым сопкам Ляотешаня, Электричес-

кого утеса и фортов, останутся вечными свидетелями мужества и любви русского человека к своей Родине. Соратники Борейко, павшие при защите порт-артурских фортов и люнетов, боевые друзья генерала Кондратенко и спящего на дне океана адмирала Макарова, ждите, русские солдаты и моряки снова займут порт-артурские облитые вашей кровью твердыни и в почтительном молчании, обнажив головы, придут к вашим могилам.

Это будет скоро...

Кончаю. Вдруг вспрянул ото сна Рябцев и начал ворчать, зачем я это жгу свет, а сейчас требует во что бы то ни стало закурить.

Дам ему закурить, покурю сам - и на пост. Теперь уже надолго. Четыре часа, начинает светать.

17 августа

Я дважды принимался сегодня писать дневник, и все безуспешно. Первый раз у меня отобрала и спрятала карандаш и тетрадь, едва я взял, молоденькая сестра с решительным и очень строгим лицом, предупреждая, что мне следует лежать спокойно, а второй раз я не смог писать сам. Тряслись руки, и шла кругом голова. Но сейчас, кажется, я все же запишу, что надо.

Правда, голова у меня и теперь кружится, будто кто-то помимо моей воли поворачивает ее набок, но я стараюсь ее держать в одном положении, и это мне почти удается. С руками лучше, руки твердо держат карандаш. Итак, пишу.

Во-первых, начну сам себе объяснять, почему упомянул сестру, которая не дает мне писать. Я в госпитале, в самом настоящем госпитале, в удобной кровати и на чистой постели, хотя мне и самому в это не верится. Лежу я один в просторной палате с несколькими слюдяными окнами и настежь распахнутым входом. На улице, очевидно, полдень и очень жаркий. В палате душно, и сквозь брезент искрящимся кругом видно стоящее в зените солнце.

Мне видно в окошко квадратный кусок неба с белым краешком облака на нем, а через стенку слышно, как в траве монотонно и устало звенят цикады. Выстрелов, сколько я ни напрягаю слух, не доносится. Значит, бой ушел далеко вперед, и я лежу в тылу как самый настоящий больной.

И лежу уже третьи сутки. Об этом мне сообщил навестивший меня сегодня утром капитан Рябцев. Он принес мне кучу

новостей и парочку маньчжурских огурцов такой величины, что они не смогли поместиться в тумбочку и покоятся теперь на табуретке, пугая меня своими размерами. Милый и простой Рябцев. По его мнению, я как больной больше всего нуждаюсь в этих огурцах. То, что нужно папиросы, - он позабыл принести, и, я уверен, позабыл без всякого умысла. Рябцеву попало тоже. У него перевязана голова, и он в этом бинте страшно походил на какого-то сарта, что раньше на ярмарках ходили по проволоке с самоваром на голове.

Я сказал ему об этом сравнении. Он обиделся и хотел уйти. А потом вдруг позабыл об этом и принялся рассказывать, что и как сейчас в части.

Оказывается, наша дивизия вслед за 5-ой армией повернула с Харбинского направления влево и находится теперь в районе боев за город Нингуту (Нинонь).

Он засиделся у меня, болтая всякую всячину, пока не вошла сестричка с решительным лицом и не выпроводила его.

- Вечером за тобой приедут, - сказал Рябцев на прощание, - валяться тут тебе некогда и нечего. Командир полка приказал тебя взять, дома, говорит, отлежишься.

И совсем дружеским тоном прибавил:

- Увезут или увлекут тебя куда-нибудь, Боречка, вгонят нас в печаль.

Я погрозил ему кулаком. Он состроил сестричке ужасную рожу, так что едва не получил от нее затрещину, бросил мне на стол пачку трофейных «Лебедей» и, улыбаясь, вышел, едва не стукнувшись о притолоку своим сартовским тюрбаном. Это все - во-первых. Во-вторых, что же со мной случилось вообще?

После бессонной ночи возле станции Мадаолин мы отправились к Муданьцзяну на розыски штаба корпуса. До станции Толихэгжань наш «Газик» шел в колонне «Студебеккеров», везших на передний край боеприпасы для гвардейских минометов. За станцией колонна свернула вправо, а нас, километр спустя, остановил регулировщик. Дорога на станцию Эхо была закрыта - там шел бой. Мы с Рябцевым выбрались из машины и отправились на высокий холм недалеко от дороги. С высоты холма, покрытого пыльной обгорелой травой, мы впервые увидели Муданьцзян, город, о котором шло столько разговоров с самого начала наступления.

Большой, затянутый дымом, лежал он в огромной котловине, окруженный со всех сторон мохнатыми сопками и обве-

денный с трех сторон сверкающей лентой реки того же названия. Справа виднелась станция Эхо - пестро-красное скопище казарм и домов - последняя станция перед городом, впереди и слева, как зеленое море, пред городом расстилались рисовые поля. Они начинались у подножия холма и тянулись ровными квадратами и клиньями до самой реки и дальше за ней, до городских окраин.

В дальнем углу поля, разрезая его на две неравных половины, желтела шоссейная дорога, усеянная черными кубиками и лохматыми качающимися деревьями, нашими танками и разрывами снарядов японской артиллерии. Наши танки, захватив южную дорогу, прорывались к городу со стороны станции Эхочжань.

Такие же темные кусты и деревья закрывали и противоположный берег реки. Там проходил передний край японской обороны, обстреливаемый нашей артиллерией и танками с хода.

Над городом висели наши самолеты, и оттуда то и дело доносились глухие рвущие воздух хлопки авиабомб.

По рисовым полям шла наша пехота. Ее было много, и отдельные люди казались нам маленькими черными точками. Эти черные точки двигались очень медленно. Она шла по пояс в воде и грязи, ибо к тому времени с рисовых полей не была еще спущена вода. За город шли бои. Грохот их доносился со всех сторон, и трудно было разобраться, где находится направление главного удара. А еще труднее было найти штаб корпуса. Мы стояли на холме и, ломая головы, не могли ничего придумать.

В конце концов решили обратиться к регулировщику. Регулировщик, разумеется, как и надо полагать, ничего ответить нам не мог. Он хорошо знал, какая дорога куда ведет и сколько километров, например, до станции Дайжогоу, но где находится штаб корпуса - этого он не знал, как и мы.

Тогда мы просто сели на крыло машины и стали ждать. А кого ждать - и сами не знали. Наконец регулировщик сжалился и пропустил нас по дороге на Эхо, предупредив, что нас скоро все равно остановят. И нас километра через три в самом деле задержали.

Но эта остановка была удачнее. Возле регулировщика стоял «Виллис» и ехавший в нем майор-пехотинец объяснил нам, как отыскать штаб корпуса.

Оказалось, мы ехали вовсе не по той дороге, по которой надо было.

Штаб находился в маленькой деревушке, километрах в пяти от нас, до которой от нас был один путь - через рисовое поле.

Добраться туда на машине нечего было и думать, и мы решили отправиться пешком. Пешком так пешком, это привычное занятие нас вовсе не пугало. Мы и не подумали, до чего чертовски мало удобств в этой ходьбе по рисовым полям.

Мы поблагодарили майора за ориентировку, взяли с собой двух автоматчиков и двинулись в поход. И что это за путь оказался. Рябцев взмолился метров через десять, я минуту спустя. Ярко-зеленые, красивые заросли риса оказались страшно коварными, как зыбучее болото.

После нескольких шагов по ним я почувствовал холодную воду не только в левом худом, но и в правом, совершенно исправном сапоге, в который вода влилась просто через голенище. Да, вода и грязь доходила тут выше колен.

Проклятое рисовое поле, никогда мне его не забыть. Особенно грязь. Видывал я грязь и на дорогах южного фронта, в которую по дифер садились автомашины, и на Украине, но такой ужасной и отвратительной грязи мне еще не доводилось встречать. Этот желтый глиняный слой грязи был просто каким-то бездонным. Под ним не было твердой почвы. Поставленную ногу надо было немедленно вырывать. Оставаться на одном месте было немыслимо и рискованно. Она засасывала с жадностью крокодила, и, казалось, постой на месте минуту, ты уйдешь с головой в это болото.

Но не только стоять, но и двигаться, переставлять ноги стоило величайших усилий. Рисовые, похожие на пшеницу стебли, смятые до нас наступающей пехотой, представляли дополнительные трудности. Они путали и хватали за ноги точно колючая проволока, и мы - то один, то другой, частенько погружались в грязь не только ногами, но и руками. В редкие мгновения, когда мои сапоги появлялись над поверхностью грязи, я ужасался их виду. Ноги мои походили на лапы бегемота и весили, наверное, по несколько пудов каждая.

Потерять сапог не стоило никакого труда. Мы два раза останавливались и принимались вылавливать рябцевский сапог. Мы шарили в грязи, а он стоял на одной ноге и, балансируя равновесие, с ужасом ждал, что вот-вот потеряет точку опоры и рухнет в грязь. Я смеялся, но в самом деле ничего смешного

не было. Мы прошли от дороги не более пятисот метров, а я уже устал и насквозь пропитался потом. Теперь мне было понятно, почему впереди идущая пехота двигалась так медленно. Мы шли просто, а каждый из наступающих имел при себе немалый груз. Пехота несла на себе и пулеметы, и минометы, и боеприпасы. Героическая и неудержимая пехота Красной Армии. Пусть история как немалую заслугу припишет тебе и этот неимоверно тяжелый путь по залитым водой рисовым полям у Муданьцзяна. Для тебя не существует преград, русский солдат-пехотинец. Но пусть каждый знает, каких трудов стоили тебе все те победы, которые принес ты родной стране в эти годы.

Через час пути, казалось нам, что идем мы десять часов, а часа через два - целые сутки. Мы брели и брели, а идти все еще было далеко.

Мы выбились из сил, а тут к великому нашему огорчению рядом с указанной деревней появилась вторая точно такая же деревушка, и ни я, ни Рябцев, убей, не могли припомнить, в которую же из них надо было нам идти. Конечно, это не так бы нас огорчило, мы могли зайти в одну, а затем в другую деревушку, но деревни лежали одна от другой на расстоянии километра, а то и больше, и это расстояние нас пугало. Брести лишний километр по рисовому полю. Тут было над чем подзадуматься. Наконец, решили поступить так. Зайти в одну деревню, а если в ней штаба корпуса не окажется, пойти в другую.

Но, видно, судьба не начертала мне побывать в этот день в злополучном штабе.

Неизвестно, то ли наврал нам майор, то ли мы пошли не туда, только в деревне, до которой мы добрались насмерть усталые, никакого штаба не оказалось, в ней просто-напросто сидели японцы и отстреливались. Оказалось, через эту деревню проходила дорога, по которой легко было добраться и в следующую деревню, и что по дороге уже ездили, и только минут десять назад в деревне появились японцы и перерезали дорогу. Об этом сообщил нам старый китаец, сидевший на корточках за танком и все показывавший на одну из крайних фанз. Надо сказать, что кроме этого танка, тридцать четверки, потерпевшего какую-то аварию, нас четверых да десятка десантников-автоматчиков, поблизости около деревни никого и не было. И вот, посоветовавшись, мы решили провести бой за овладение деревней. Я лично возражал. Неизвестно было, сколько японцев засело в деревне. Но Рябцеву ужасно не хо-

телось брести опять по рисовому полю, и он настоял на своем. Наш отряд включился в штурмовую группу. Рябцев как старший по званию принял на себя руководство операциями, сержант, командир танка, становился командующим мотомех. группой, и мне было уступлено место начальника рябцевского штаба. Все это было сказано шутя, но бой мог вылиться в серьезное дело, и мы всяк по-своему стали к нему готовиться. Прежде всего, наш командующий почел нужным разуться, очистить портянки от грязи, потом минут несколько молчал, как делал всегда, если о чем-нибудь думал серьезном, и, наконец, один отправился в разведку.

В разведку он пошел недалеко. Просто отполз в сторону за кочку и дал по фанзе выстрел из винтовки. Тотчас оттуда застрекотал пулемет. Рябцев быстро вернулся к нам и объявил:

- Японцы в одном доме с пулеметом.

Я возразил. По моему мнению, противник мог сидеть и в других фанзах, но просто молчал с целью.

Рябцев обиделся. Он вообще не переносил, если ему перечили в вопросах разведки. Разведчиком он себя считал отличным. На мой взгляд, его деятельность заслуживала немного меньшей оценки.

Рябцев принялся было спорить со мной, но в это время по броне соскользнул к нам командир танка и объявил, что машина исправлена и готова к бою.

Рябцев сразу сделался ужасно серьезным.

- Ну, третий Белорусский, не подгадить, - сказал он тоном человека, решившегося на что угодно.

- Не подгадим. Под Кенигсбергом воевали, - ответил один из десантников.

- Тогда вот что, сказал танкист, - я сейчас проведу арт. подготовку, а потом двинемся на штурм. Идет? А пока ложись.

- Ложись, - приказал Рябцев.

Все легли. Сержант исчез в танке, и через минуту бабахнула пушка. Танк вздрогнул и дернулся назад. Перед кирпичной фанзой, где засели японцы, взвился черный столб дыма и пыли.

- Промазал, - крикнул с досадой Рябцев и тотчас же прижался головой к земле. Из фанзы длинно-длинно застучал пулемет. Над нами с противным визгом пролетели пули. Одна срикошетила о башню танка и с каким-то фырканьем шлепнулась недалеко от Рябцева.

- Вот сволочи, из крупнокалиберного бьют, - возмутился он и закричал в танк: - Стреляйте, черт бы вас побрал...

Грохот выстрела заглушил его голос. Мне пушка заложила уши, точно ваты туда понатолкали. Второй снаряд танкистов угодил в угол дома. Полетели кирпичи. Широкая черная трещина прошла через весь фасад.

Но из фанзы снова забил пулемет. Рябцев искренне возмущался.

- Шляпы соломенные, - ругал он танкистов, - с места бьют и попасть не могут. А что тогда с хода от них требовать. Безобразие.

Третий выстрел, кажется, понравился и ему. Еще бы. От этого выстрела каменная фанза села как-то сразу на один бок, черепичная крыша ее, точно гриб с корня, съехала на землю, а следом и вся фанза с треском обрушилась.

Пулемет захлебнулся.

- Пошли, - высунувшись из танка крикнул сержант.

Рябцев вскочил и, размахивая пистолетом, первым побежал за танком.

До деревни было, пожалуй, метров триста, не больше, и мы расстояние это по дороге пробежали сравнительно легко. Возле только что разбитой танком фанзы, которая теперь горела, мы остановились. Идти дальше было нельзя. По нас снова стреляли, только уже не из пулемета, а из винтовок. И огонь велся откуда-то из других фанз.

Помнится, танк, стреляя во все стороны, двинулся по улице, побежали и мы за ним. Помню еще и то, как я и Рябцев одновременно следом за танком вбежали в одну из продырявленных танком фанз. Как Рябцев в упор застрелил обезумевшего от ужаса японского солдата, и последнее, что врезалось в мою память, черный комочек гранаты, упавший мне под ноги и юливший между бревнами до тех пор, пока не лопнул с сухим треском и ослепительным языком огня...

Меня сильно, точно доской, ударило в голову, и я провалился в черную пустоту...

Осколками той же гранаты ранило и Рябцева. В меня не попал ни один осколок. Меня спасли бревна, в которые впились почти все осколки. Я был контужен.

Конец боя получился таков. Победила наша маленькая армия. Танк проутюжил почти все фанзы, и самураям не пришлось удирать из-под развалин. Сколько их там было, черт знает. Известно одно: все они остались под бревнами и кирпичами.

Вечер уже, побледнел голубой квадрат окошка, а Рябцев-собака не едет. Неужели позабыл? Ну и пусть. Я ему еще как-нибудь наломаю шею. Лежи вот тут, в пустой палатке, считай назойливых маньчжурских мух да еще как бесплатное приложение выслушивай мораль этой сестрицы с решительным лицом.

До чего она мне надоела сегодня. Ворчит и ворчит.

Второй раз отбирает у меня тетрадь и карандаш. Отберет да еще отчитает.

- Вот, - бурчит, - говори не говори, вы все свое продолжаете. Сказала писать нельзя, вредно - вы пишите. Подниматься нельзя - вы поднимаетесь. Вечно эти раненые показывают свой характер. Вы, - спрашивает, - контуженный или писать письма сюда приехали?

- Писать письма, - в тон ей говорю я.

Она еще больше злится.

- Я вас серьезно спрашиваю.

- А я вам серьезно отвечаю.

- Вот возьму в таком случае, - грозит она, - и отдам ваше неоконченное письмо доктору. Он прочитает, а девушка ваша пусть ждет.

Девушка, письма. Черт, сестричка, ничего же ты не знаешь, а надоела пуще горькой редьки.

Я сержусь на нее сам, но чтобы от нее избавиться, выбираю другой способ выпроводить ее. Я начинаю иронизировать.

- Неужели, - спрашиваю, - ваш доктор любит читать чужие письма?

- Любит, - фыркает сестра, - только он вашу писанину еще и читать не станет.

- Почему?

- Потому. Никто в такой толстой тетради письма не пишет.

- А вот я пишу.

- Ну и с богом.

- Значит, писать мне можно? В таком случае возвратите мне мою тетрадь и карандаш.

- Ничего вы не получите. И писать ничего не будете до тех пор, пока находитесь у нас.

- У вас?

- В нашем госпитале.

- Так-так, - говорю я, недовольный тем, что мой разговор не достигает цели, и спрашиваю.

- Сестричка, вас не Верой звать?
- Нет.
- Ну тогда Галиной.
- И не Галиной. Меня звать Феклой.
- Ах вот что, Феклой. А я думал Галиной. Ну ладно, Фекла, вы пишите письма?
- Нет.
- Никогда?
- Реже, чем вы.
- А вы их доктору показываете?
- Это не ваше дело.
- Не мое? Странно, вы в этом уверены?
- Совершенно.
- Тогда скажите, почему у вас такой решительный подбородок?
- Перестаньте, больной, или я пожалуюсь доктору, - выходит она из себя и уходит.

Я торжествую. Я встаю, забираю в столике свою тетрадь и сажусь к тумбочке. Но она, кажется, следит за мной, потому что едва успею я проделать путь от столика до кровати, она уже тут как тут, и все начинается сначала.

Она мне надоела, но я не сержусь на нее. Это ее решительное выражение лица чем-то напоминает мне Лиду. Та, пожалуй, тоже бы так поступала с больными, как эта девушка. Мне даже почему-то кажется, что ее и звать тоже Лидой. Я нарочно не спросил у нее имени, буду считать, что ее имя Лида.

Лида. Как все-таки часто я про нее вспоминаю. И сегодня думал о ней. А во время бреда или во сне, не помню точно, все почему-то звенела у меня в ушах песенка, которую часто пела Лида, играя на гитаре:

На заборе чепуха
Кушала варенье,
Муха съела петуха
За мое почтенье.

Песенка детская, ерундовая, но почему-то в связи с ней Лида мне кажется особенно дорогой и близкой. И только такой, какой она была в тот холодный апрельский вечер под Пововилейкой, когда вернулась с передовой усталая, но довольная и ласковая. Мы сидели в землянке у открытой печурки и золотые отблески горящих углей ложились на ее лицо. Лицо от этого, казалось, горело, глаза сияли, а сама она, исполняющая эту песенку, походила на маленькую-маленькую девочку.

Где она теперь и что с ней? Я оставил ее в госпитале тяжело раненой в боях за Пиллау и с тех пор ничего не знаю о ней. Жива ли, здорова ли? Встретятся ли еще когда-нибудь наши пути? Соединятся ли, как мечтали мы, в вечном союзе наши жизни? Или разошлись наши дороги?

Нет, я не верю в это. Я верю и буду верить в то, что все будет так, как мы хотели, о чем думали.

Может быть, и не скоро, но будет.

18 августа

Рябцев, дьявол, заявился только сегодня утром. Он ввалился на грузовике на территорию госпиталя, оборвал у какой-то палатки веревку и, не обращая внимания на протесты дежурной сестры, принялся собирать меня в дорогу.

Меня не отпускали, требовали повременить, чтобы оформить какие-то аттестаты. Рябцев ничего этого и слушать не хотел.

- Привезли к вам его без всего и увозим также, - заявил он и чуть ли не на себе вытащил меня из палатки.

- Покажу тебе город, - говорил он мне, подводя к машине, - я уже тут кое-что разведал.

Он усадил меня в кабину, сам встал на подножку, и мы двинулись в город. У меня сильно кружилась голова и ныла рука, но я мужественно решил вытерпеть экскурсию до конца. Город, на который японским командованием возлагалось столько надежд, город, который, по расчетам японцев, должен был встать стеной перед нашими войсками, чтобы не пропустить их внутрь Маньчжурии, наконец, город, на улицах которого вместе со всем своим штабом сдался в плен Красной Армии хвастливый командующий 5-ой японской армией генерал Симидзу, - посмотреть стоило.

При въезде на большой деревянный мост через широкую и мутную реку Муданьцзян у нас проверили документы и, пропустив на мост, предупредили ехать потише.

Пока наша машина по поскрипывающему настилу проходила мост, я, опустив стекло дверцы, озирался по сторонам.

С обоих концов моста при въезде и съезде серели приземистые каменные башни, напоминающие башни средневековых замков с несколькими рядами продолговатых бойниц. Эти бочкообразные средневековые чудовища, оказывается, служили убежищем для караула, охранявшего мост.

Между прочим, такие башни я встречал и до того. Возле каждого моста, завода и аэродрома, всюду торчали подобного вида сооружения. Видно, не совсем спокойно жилось японским захватчикам на порабощенной земле, коль приходилось прятаться за полуметровую толщу бетона и гранита.

Река Муданьцзян охватывала город полукольцом. Подходя к городу с севера, она огибала восточную и южную окраину его и, круто свернув, шла дальше строго в южном направлении.

Таким образом, водный рубеж служил естественной преградой для наступающих частей Красной Армии. Японское командование, порешившее во что бы то ни стало удержать Муданьцзян в своих руках, возлагало много надежд на этот водный рубеж, как и на горный характер местности в окрестностях города.

Генерал Симидзу, незадачливый японский полководец, стянув из сопок остатки своей армии, долго надеялся просидеть в Муданьцзяне, задерживая движение наших войск на Нингуту и Харбин. Город со всех сторон был хорошо укреплен. В городе собрано было огромное количество продовольствия и снаряжения, а также боевой техники. Наконец, за городом находился крупнейший в Маньчжурии аэродром с подземными ангарами и мастерскими, самолеты с которого могли поддерживать и прикрывать с воздуха наземные части. Именно с этого аэродрома собирались японцы пускать на наши дальневосточные города сотни бомбардировщиков. И в первую очередь на Ворошилов и Владивосток, до которых от Муданьцзяна насчитывалось четыре-пять сотен километров.

Не вышло. Ничего не вышло ни у Симидзу, ни вообще у всего Квантунского командования. Мудрено было, очень мудрено Симидзу с его дрянными пушченками задержать Красную Армию, форсировавшую столько больших и малых рек на Западе, пред этой мутной Маньчжурской рекой. А японской авиации, оказалось, совсем не под силу соперничать с нашим могучим воздушным флотом.

С первого же дня боев за Муданьцзян у японских самолетов были подрезаны крылья. Наши летчики били желтокрылую азиатскую саранчу на их же аэродромах. Река Муданьцзян была форсирована. Наши войска ворвались в город с северо-восточной части, со стороны станции Эхо и завязали уличные бои.

Разбитые в уличных боях японские части не сложили оружие. Они из южной части города отступили через реку и здесь, в районе станции Эхочжань, попытались задержать наступление наших войск на Нингуту. Но и эта затея самураев не увенчалась успехом. Наши подразделения, двигаясь стремительно, как снежный ком с горы, следом за противником ни на минуту не отрывались от него, вторично форсировали реку и вышли к станции Эхочжань.

Танки по тому самому мосту, по которому ехали мы теперь, прорвались к самому аэродрому и занялись своей опустошительной работой, утюжа живую силу и укрепления врага.

Японцы на берегу реки в южной части города понастроили немало долговременных оборонительных сооружений. Ими, огневыми точками и дотами, как ласточкиными гнездами, был утыкан весь обрывистый берег. Но на славу поработали над этими «гнездами» наши штурмовики и артиллеристы. Обрывистый берег теперь весь изрыт и вспахан воронками, и из-под глинистой земли, как старый частокол, торчат одни железные прутья арматур смертоносных огневых точек. Мертв и пустынен аэродром. На огромном зеленом поле его догорали желтые японские истребители и бомбовозы, не успевшие подняться в воздух, дымится развалина служебных помещений, и, как черные огромные камни, там и сям молчат железобетонные ангары...

Зенитные пушки, предназначенные для охраны аэродрома, тоже мертвы. Они точно длинные обгорелые пальцы задрали свои стволы в небо и глядятся в него хоть и грозным, но уже абсолютно безопасным взором...

Справа, за рекой, виднелись и столь памятные мне рисовые поля. Как они невинно зеленели издали. Я отыскал на них ту деревушку, за которую три дня назад дралась Рябцевская армия и показал на нее Рябцеву. Капитан заворчал. Оказывается, он еще раз проделал по рисовому полю такой же изнурительный путь, только с той разницей, что кроме всего прочего, нес еще на себе меня, добираясь до машины.

Милый, простой и замечательный капитан! Он на своих плечах столько километров тащил меня по тому ужасному болоту. Как я был не прав, так часто иронизируя над ним!

Миновав мост, мы по ровной и широкой шоссейной дороге въехали в город. Муданьцзян - большой, хорошо распланированный город европейского типа. Со скверами, площадями и прямыми, часто асфальтированными улицами. Но это касалось

только центра. Окраины, заселенные китайской беднотой, ничем не отличались от таких же окраин Хэбея, Мулина и других городов этой провинции. Узкие, едва пройдешь, улочки и переулки с тротуарами, под которыми текут мутные помойные ручьи, низенькие глинобитные держащиеся на честном слове фанзешки с бумажными окошками, густо как селедка в бочке забитые худыми и оборванными людьми.

Бедность, ужасающая бедность и нищета, куда ни глянь. Да и как не прижиться ей здесь, в этом голодном мире забитых и обездоленных людей.

Я не буду говорить много, приведу только один пример, ярко характеризующий жизнь китайского населения в японском Муданьцзяне.

Навстречу нам, едва мы свернули в первую улочку, вывалила толпа китайцев. С криками и бранью окружили они кого-то, грязного и маленького. Мы остановили машину и спросили, в чем дело. Из толпы наперебой несколько человек стали объяснять нам причину своего поведения.

Оказывается, то грязное и маленькое существо, вокруг которого бушевала толпа, был видным японским владельцем часовых мастерских. В его мастерских работало много десятков опытных часовых мастеров-китайцев, которые подвергались со стороны хозяина жестокой эксплуатации. Мастера работали с утра до вечера, а получали за свой квалифицированный труд мизерную заработную плату.

- Сорок габи, - сказал нам один пожилой китаец-часовщик, - сорок габи платил мне мой хозяин в месяц и ничего больше.

Сумма эта была очень маленькой. Ее едва хватало для того, чтобы пропитать семью одной чумизой. А у китайца была большая семья. И этот опытный мастер, который у нас бы мог заработать большие деньги, вел полуголодный образ жизни.

Я спросил его, почему он не открывал свою мастерскую.

Китаец покачал головой.

- Японза не разрешал. У нас был контракт на 15 лет.

Не только часовое дело находилось в руках японцев. Аптека, продажа лекарств и то было монополией японских компаний. Некоторое время спустя я стал обращать внимание на то, что буквально все стены и заборы на улицах, точно заштампованы были портретом не то китайского, не то японского генерала в наполеоновской треуголке и эполетах. Я сначала подумал, что это портрет Микадо или марионеточного Пу-и, и спросил об этом у одного китайца. Каково же было мое удив-

ление, когда китаец мне пояснил, что это вовсе не Микадо и не Пу-и, а владелец одной аптечной фирмы, рекламировавшей портретом своего хозяина какие-то новые глазные капли.

Между прочим, и право рисовать на стенах города рекламу тоже являлось монополией этой компании. Кроме них никто не имел право поместить на строениях города свою рекламу.

Посоветовав китайцам увести своего бывшего, каким-то образом не сумевшего удрать хозяина в советскую комендатуру, мы двинулись дальше вглубь китайских кварталов Муданьцзяна.

И опять потянулись кривые узкие улицы, толпы китайцев, приветствующих наши войска. А войск здесь много. Особенно техники. Китайцы все еще не привыкли к такому количеству машин и вооружения и целыми днями простаивали у своих фанз, разглядывая удивительную военную армаду русских. Они взволнованы происходящим, кричат «шанго», машут руками и флагами. Еще бы. Ведь к этому забитому, темному люду только два дня назад пришла свобода...

Но вот китайские, заполненные беднотой кварталы остались позади. Асфальтовая, обсаженная декоративными деревьями мостовая ведет к центру города. Картина тут совершенно иная. Вместо убогих фанз - большие многоэтажные дома европейского типа, магазины, учреждения и особняки. Всюду, где только можно написать, - на стеклах витрин, над дверями и окнами - огромные паукообразные буквы вывесок. В городе много разрушенных домов. Не потухли еще пожары - следы бессильной злобы японцев, по примеру немцев пытавшихся уничтожить все за собой. Горят склады, железнодорожный вокзал и просто жилые дома. Горит центр - учреждения и кварталы японцев, надеявшихся огнем замести следы своих преступлений и подозрительной деятельности. Сизый, горький дым тянется по улицам, как падающий снег оседает на землю серый пепел... Но жизнь в городе есть, и жизнь вовсю. Это не только за счет наших солдат и офицеров, на улицах много китайской публики. Не говоря уже о деятельности комендатуры, следы которой видны на каждом шагу. На стенах ярко пестреют свеженаклеенные приказы и плакаты, рассказывающие о цели нашего прихода в Маньчжурию, говорящие о китайско-советской дружбе и о ненависти к завоевателям-японцам, портреты т.Сталина и Чан-Кай-ши.

Возле плакатов и портретов чернеют толпы китайцев.

Рябцев остановил машину возле одного огромного серого здания с вывеской на фанере у подъезда.

- Городская управа, хочешь посмотреть, - обратился он.

Возле подъезда, над которым кроме вывески полоскались два флага: наш - красный, и китайский национальный - красный с синим солнцем посередине, стояла большая толпа китайцев. У всех озабоченно-строгие лица и красные повязки на рукавах с надписью по-китайски и по-русски.

«Члены организации помощи сов. военной комендатуре по наведению порядка и нормальной жизни в городе». В этой патриотической организации, видимо, состояли люди разных профессий. Заключить можно по костюмам. Тут были люди, одетые от европейской, аккуратно выглаженной тройки до бедняцкого одеяния - рваных штанов, куртки и огромной конусообразной соломенной шляпы, какими рисовали китайцев в старых учебниках. Все эти люди о чем-то говорили между собой, спорили, входили и выходили из думы и расходились по улицам, видимо, выполнять какие-то задания.

- Городская гражданская милиция, - пояснил Рябцев, - у китайцев тут своя власть устанавливается.

Мне не совсем было понятно, откуда у моего друга появились столь конкретные познания в китайских вопросах. Но я решил ему в этот день не возражать ни в чем.

Мы сошли с машины и подошли к толпе. Китайцы поклонились нам и быстро нас окружили. Среди них нашлись немного говорившие по-русски, и мы разговорились. Китайцы больше жаловались на тяжелое существование при японском владычестве. Человек в сером костюме с седыми висками оказался ювелиром. Его имя известно было всему городу. Японцы довели его до нищенского состояния. Он не имел возможности брать заказы, какие хотел. Он должен был и вынужден был работать на японцев. За бесценок изготавливал он браслеты и кольца для японских офицеров и их жен.

- Теперь, - сказал он, - дело пойдет совсем иначе. Я просил советского коменданта разрешить мне открыть ювелирную мастерскую. И он мне разрешил. Теперь я буду знать цену своим рукам.

Многие поделились с нами своими радостными перспективами от пришедшей свободы. И вообще, не ошибкой будет сказать, что все они, стоявшие перед нами, имели вид только что народившихся на белый свет людей. Жить под игом японского империализма - не считалось жизнью, это были годы,

которые не стоило вспоминать. Они были вычеркнуты из жизни навсегда.

Я спросил, почему не видел я девушек с маленькими ногами и почему китайцы не носят косы.

Мне ответили, что и то и другое запретил Гоминьдан.

- Впрочем, - добавил ювелир, - маленькие ноги у женщин-китаянок не выгодны были и для японцев. Японцам нужны были рабочие. Много рабочих. А женщина с такими маленькими ножками не могла работать.

Мы долго стояли в толпе, спрашивая то об одном, то о другом, в конце я спросил одного молодого парня, показав на портрет Сталина, знает ли он, кто это.

Парень широко заулыбался и сказал:

- Сталин.

А потом прибавил:

- Сталин - шанго, и Чан-Кай-ши - шанго.

Оставляем городскую управу и едем дальше. Немного погодя Рябцев снова останавливает машину и, просовывая голову в нее, говорит:

- Посмотрим парикмахерскую.

Идем осматривать парикмахерскую. В светлой комнате цирюльного заведения, ничем особенно не отличавшегося от наших парикмахерских, скучая, сидело без клиентов несколько мастеров. Они, едва мы вошли, встали, как по команде, и верно, как делали при входе японских офицеров, отвесили нам низкие поклоны. Затем стали наперебой предлагать занять нам места в креслах.

Рябцев было уже провел рукой по лицу с намерением побриться. Я остановил его.

- Сначала понаблюдаем, - предложил я.

Мы сели в сторонку и закурили. Ждать пришлось недолго. Скоро, приседая в поклонах, вошло в парикмахерскую трое китайцев, и, спросив нас, не займут ли они места русских капитанов, улеглись в кресла. Я говорю улеглись, потому что в китайской парикмахерской в кресле не сидят, а лежат, вытянув ноги.

Мастера принялись за бритье.

О, что это было за бритье!

Меня выворачивало всего при виде бессовестного попирания мастерами всякой мало-мальской гигиены бритья. У них все было просто до ужаса.

Кисточки для намыливания у них не было. Это раз. Они просто брали общий для всех кусок мыла, окунали его в воду

и терли им бороду клиента до образования пены. Сам процесс работы с бритвой ничем, кажется, особенно, не отличался от нашего. А вот уже дальше следовало совершенное безобразие. Побритому клиенту начинали устраивать компресс из такого грязного полотенца, одного на всех мастеров, как и мыло, что у того текли за ворот черные струйки грязи. Впрочем, грязь на физиономии клиента нимало не смущала брадобрея, он продолжал свое дело спокойно и быстро. Главное - быстро, потому что это полотенце нужно было другому мастеру.

Я не вытерпел и возмущенно спросил одного из мастеров, как они работают в такой грязи.

Китаец удивился.

- Глязи, какой глязи? У нас неду глязи. У нас шанго.

У них «шанго». Ничего себе «шанго»!

Я посмотрел на Рябцева. Он тер подбородок и хлопал глазами.

- Пожалуйста, товарищ капитан, брейтесь, - засмеялся я.

Рябцев махнул рукой, и мы двинулись из парикмахерской.

После этого мы заехали в китайский театр. Но тут оказалось поинтереснее. На доске у входа в большое облупленное белое здание, осаждаемое толпой китайцев всех возрастов, висела афиша с надписью красками по-русски: «Китайский театр. Сегодня с 9 часов утра - спектакль. Для русских вход - бесплатно». И в скобках: особенно для русских офицеров.

Мы прочитали эту афишу и вошли в театр. В вестибюле или фойе, если можно было так назвать, большую комнату, в которую мы попали с улицы, толпилось много народа. Это была очередь в кассу за билетами. У входа в зрительный зал на низенькой скамеечке сидел тучный пожилой китаец в черной длиннополой одежде и проверял билеты. Увидев нас, он не встал и не поклонился (у него не было одной ноги), а только, быстро подняв палец вверх, гортанно сказал «шанго» и, пропуская нас, попридержал напирающих китайцев.

Двери в зрительный зал были открыты, и я подумал, что спектакль еще не начали. Каково же было наше удивление, когда мы убедились, что спектакль давно уже идет.

Оказывается, в отношении театра у китайцев существовали иные правила. Тут не было никаких ни звонков, ни антрактов. Каждый мог входить в зрительный зал и уходить из него, когда ему заблагорассудится. Да и само представление шло по целому дню без перерыва. Менялся состав актеров и состав зрителей, но нить спектакля тянулась сама собой. Так что

право зрителя не придерживаться никакой театральной дисциплины было вполне законным. Попробуй, высиди в театре с утра до вечера. Когда мы вошли, партер оказался довольно густо заполненным зрителями, и нам долго пришлось, стоя у дверей, выискивать для себя места.

Но в театре, оказалось, имелся блюститель порядка, что-то вроде распорядителя. К нам подошел китаец с белой повязкой на рукаве и пригласил следовать за ним. Мы пробрались на первые ряды и уселись на никем не занятые до нас места, видимо, специально предназначенные для русских.

На сцене между тем происходило что-то для нас вовсе непонятное. Что там было, пьеса или опера, мы так и не разобрались до конца. На сцену, которая представляла как бы сплошную авансцену, так как никакого занавеса не было, то и дело выходили артисты, загримированные самым диким образом, разговаривали громко, пели и смеялись. Больше всех мелькала перед нами какая-то девушка с длинной, черной бородой. Она расхаживала по сцене крупными мужскими шагами, на всех кричала и все время поддерживала рукой бороду, которая, очевидно, плохо была приклеена и отваливалась. К ней беспрестанно подходили разного вида мужчины, становились на колени, брались то за лоб, то за сердце, плакали и о чем-то умоляли.

Один раз по сцене продефилировал здоровенный детина в маске осла и тоже встал на колени перед бородатой девушкой, и тоже молил и плакал. Потом, преломив над головой широкий деревянный меч, бросил обломки к ногам неумолимой женщины и удрал за кулисы.

И так без конца. Бегали, плакали, пели и говорили, исчезали и вновь появлялись.

Мы с Рябцевым хлопали глазами. Не понимали мы ни черта решительно, и сколько ни допытывали сидящих рядом китайцев, ничего от них не добились. Соседи наши одобрительно кивали головами, улыбались на наши вопросы и, казалось, готовы были отдать самих себя за то, чтобы только «русские капитаны», как они называли всех наших офицеров, поняли, какой хороший спектакль. Но дело в том, что «русские капитаны» ни слова не могли понять из любезных объяснений соседей.

В конце-концов мы согласились с Рябцевым девушку с бородой считать невестой, а всех мужчин, падающих пред ней на колени, - просящими ее руки женихами. Мы объяснили все

просто. Невеста отказывает многочисленным женихам. Это выглядело вполне правдоподобно и убедительно. Одного мы не смогли осмыслить - для чего невесте понадобилось цеплять на себя бороду.

Между тем пока мы занимались выявлением сути спектакля, спектакль продолжался. Теперь на сцене виднелась одна только невеста - девушка с бородой. Она сидела на стуле и, раскачиваясь из стороны в сторону, о чем-то жалобно пела. Пение ее сопровождалось оркестром. В жизни не встречался мне такой оркестр. Вовсе не походил он на наши оркестры. Просто за круглым столом преспокойно восседали человек пять музыкантов и наяривали на волынках и каких-то длинных дудках. Играли они по нотам, но до чего вольно. Перед этой капеллой на столе стояли чашки, графин с какой-то подозрительной жидкостью, разрезанный арбуз, и музыканты то один, то другой, частенько отставляли в сторонку свои инструменты и принимались утолять жажду, упитывая арбуз или прикладываясь к графинчику. Иные из них по несколько раз вовсе уходили со сцены, и тогда заунывно пилил на волынке один мальчишка, которому как самому младшему просто, видимо, было запрещено следовать примеру старших.

Музыканты шлялись, закусывали, фальшивили, но певица ничего этого не замечала, и, раскачиваясь точно былинка на ветру, тянула свою заунывную мелодию.

Потом на сцене снова показался детина с мордой осла, и сидящие в зале громко зааплодировали. Детина снова держал в руках деревянный меч, опять стоял перед девушкой на коленях и, так же, как и в первый раз, изломал и бросил меч, и удрал со сцены. А девушка перестала петь и, повернувшись к публике спиной, преспокойно стала переодеваться.

И вообще, странностей в этом театре было больше, чем достаточно. Например, во время хода пьесы святая в наших театрах сцена, на которую никто, кроме непосредственно занятых по ходу действия артистов, не имели права выйти, у китайцев рассматривалась совершенно по-иному. Артисты играли, а за их спинами, а иногда и впереди, расхаживали служители, подметавшие сцену и расставлявшие стулья. Сами актеры все время стояли спиной к публике, а один раз, в тот момент, когда невеста отшивала очередного жениха, на сцену вышла маленькая девочка и громко плача, стала кого-то звать. И ее никто не прогнал. Она бродила по сцене до тех пор, пока ей не надоело. А что только в это время не творилось в зрительном

зале! Зрители по примеру актеров созерцали спектакль в полнейшей свободе. Курили, лузгали семечки и орехи, плевали на пол, не стесняясь быть услышанными или помешать кому-либо, громко высказывали свои впечатления, в одном месте даже затеяли скандальный спор, и возле спорщиков посреди партера собралась порядочная толпа.

Распорядителя, указавшего наши места, не было где-то видно. Между рядов расхаживали продавцы сигарет, орехов и дикого винограда и громко, как на базаре, выкрикивал цены.

За час мы вдоволь насмотрелись на китайский театр и по обоюдному согласию поспешили покинуть его.

Рябцев еще долго возил меня по городу, все показывал, объяснял, неизвестно откуда будучи осведомленным во всем этом, и в конце-концов завез меня на рынок. Китайский рынок, как и театр, посмотреть стоило. Мы оставили машину с шофером в переулке и смешались с толпой.

Что это была за толпа, представить трудно. Столько тут было шума и крику, что у меня голова пошла кругом, и я, чтобы не упасть, схватился за Рябцева.

Кричал каждый из многих сотен толкавшихся на рынке. Кричал, расхваливая свой товар, кричал, споря с покупателями, кричал, наконец, разговаривая с приятелем или знакомым, потому что в общем крике было бесполезно разговаривать обычным голосом. Расположившийся прямо на улицах рынок напоминал растревоженный муравейник. И, честное слово, глядя на эти всевозможные лотки, печки и ларьки, трудно было поверить, что в этом городе, на этих самых улицах каких-то два дня назад гремели бои. Сами китайцы мало, а то и вовсе не пострадали от войны. Свободу им принесли со стороны в готовом виде, без капли крови за нее, и китайцам стоило только войти под благодатную сень этой свободы.

Думая об этом, я невольно вспомнил другую свободу, свободу нашего народа, которую мы четыре года подряд отстаивали в кровопролитных боях. Чего стоила нам свобода, ценой каких потерь мы ее для себя сохранили. Нам ее никто не приносил из-за рубежа, из-за рубежа пришли фашисты, чтобы отнять ее у нас.

Вечно отцы, их дети, их дети и внуки в Маньчжурии будут и должны помнить тех, кто изгнал из их страны поработителей и вернул им свободу. Китайцы молиться должны за тех русских людей, кто, преодолевая неимоверные трудности, донес до их городов и сел эту свободу.

В этом городе два дня назад шли бои, а теперь идет бойкая торговля. Как это не походило на наши города-мученики, над которыми еще долго будет гонять ветер пыль да пепел. Что бы ни говорили о Китае, но нет таких мук, которыми можно будет заслонить муки нашего народа на территории, захваченной немцами в недалекие, но страшные годы.

Я много уже писал о нищете и бедствиях китайского населения в порабощенной японцами Маньчжурии. Но вот, что хочется сказать мне: китайцы не пережили того за все тринадцать лет японского владычества, сколько пережил наш народ за три года хозяйничанья немцев на нашей земле. Несмотря на это, наш народ вернул свободу и себе, и этому забитому азиатскому народу. Ну какую славу воздать нашему народу? Как надо гордиться тем, что я, все мы принадлежали к этому великому и изумительному народу!

Кажется, я отвлекся. Вернусь к рынку. Следует, между прочим, отметить, что китайцы большие любители торговать. Может быть, в этом они видели спасение от прущей на них со всех сторон нищеты? Не знаю. Только у них каждый продавал что-нибудь. Овощи, посуду, какие-то пестрые тряпки, шнурки для ботинок, расчески, японские сигареты, а то и просто носил и предлагал, кому ни попадя, пару карандашей или несколько перламутровых пуговиц. И кричал, кричал, как и все. Мы, едва появившись в толпе, были буквально атакованы этим мелким купечеством. Нас взяли в кольцо. Каждый предлагал, показывал и совал в руки свой товар, иногда абсолютно никуда не годный, и мы, не успевая отвечать всем, просто отмахиваясь от продавцов, как от назойливых мух, ринулись вырываться из окружения.

Мы, привыкшие к нашим скромным базарам военного времени, просто были поражены обилием всякой продаваемой чепухи. Вот именно, чепухи, так что все сбываемое или ищущее сбыта тут ничего не стоило. Видно было, что китайская беднота хваталась за торговлю как утопающий за соломинку. Это вряд ли спасало кого. В городе было немало купцов с капиталом, которые не позволяли дохнуть этой торгующей мелюзге. И бессильные в тяжбе с ними бедные торговцы только напрасно тратили время, целые дни просиживая над своими пуговицами и карандашами. У них ничего не покупали.

Между прочим, купцов большой руки можно было встретить и теперь. В их ларьках, хотя и с осторожностью, продавались далеко не пустяковые вещи. Базар кипел, но покупа-

телей было мало. Большинство толкущихся на рынке только толклись, покупать у них было не на что. Потому-то и атаковывали здесь каждого русского, едва он появлялся на рынке. Предлагали все, и за все, что ни спроси, брали одну цену - пять рублей. Пять рублей - и за карандаш, и за пачку вонючих сигарет, и за фунт орехов, и за довольно хорошие брюки. Цену русским деньгам китайцы еще не знали. Над рынком, такой же густой и утомительный, как крик, стоял смрадный запах горелого масла. Это на темном растительном масле пекли всевозможные дрянные лепешки и пироги. Не пекли, а варили куски грязного теста в кипящем масле, а потом предлагали, суя в нос эти истекавшие олифой коржи. Немало встречалось дельцов, которые пытались заработать не торговлей, а игрой. Они не играли сами, они содержали игорные заведения. Это были что-то вроде уличных аттракционов с копеечными разыгрываемыми вещами. Мы из любопытства подошли к одному из таких аттракционов. Посреди веревочной загородки, напоминавшей площадку ринга для боксеров, на соломенных циновках были разложены по одной и по паре дешевеньких японских сигарет, спички и зубные порошки. Тут же вокруг них с нанизанными на руку бамбуковыми кольцами расхаживал хозяин и приветливо приглашал попытать счастья.

«Испытание счастья» заключалось в следующем. Желающий брал у хозяина кольцо, платя по габи за каждое, и кидал эти кольца на циновку, стараясь покрыть ими какой-нибудь, на выбор, из разложенных предметов. Многие китайцы бросали, и очень немногие выигрывали.

Решил попытать счастья и Рябцев. У него нашлись габи, и он взял несколько колец. Кольца были легкие, бросать их было неудобно. Но Рябцеву повезло. Из шести колец он удачно накинул четыре. И к великому неудовольствию владельца аттракциона выиграл три пачки сигарет и две коробки с зубным порошком. Рябцев, победно улыбаясь, рассовал по карманам выигрыш, и мы под одобрительный гул толпы двинулись дальше прочь, от аттракциона.

Мы пробродили по рынку еще несколько минут и на оставшиеся у Рябцева габи решили сделать покупки. Рябцев набрал разной ерунды: цветной женский халат, длинную китайскую трубку, шарф сомнительного качества и перчатки, шершавые и некрасивые, которые, однако, почему-то казались ему ужасно удобной вещью, и он на пари утверждал, что сработаны они не просто из кожи, а из кожи самой настоящей очковой

змеи. Я взял костяной веер, изящный и очень хитроумно раскрывающийся, почему-то пленивший меня своей раскраской, палочки для кушанья риса на память о Китае и шарф и не какой-нибудь, а голубой шелковый шарф для Лиды. Кроме того, мы накупили орехов, пару большущих пестрых арбузов и каких-то сладких-пресладких незнакомых ягод, которые мы после боялись есть, полагая что они собачьи.

При выходе с рынка на улице нас вежливо остановил старый тучный китаец, прилично одетый, почтительно и тихо начавший о чем-то лепетать.

Мы, ничего не понимая, смотрели на него.

- Ты что-нибудь понимаешь, - спросил меня Рябцев серьезно, будто я в самом деле мог что-то понять из слов китайца.

- Ничего, а ты?

- Я понимаю кое-что, но не все, - вдруг заявил мой капитан, делая многозначительную мину, - хочешь скажу, что он нам говорит? Правда, мой перевод не будет точным...

Я расхохотался, а он обиделся.

- Чего ты ржешь раньше времени.

Китаец повторял одно, как его, слово, сейчас вспомню: чен. Чен - деньги. Он просит у нас денег.

- Будто бы, - усомнился я, не понимая, какого черта Рябцев валяет дурака.

Но нелегко было разубедить моего друга. Он вынул из кармана габи и показал китайцу. Старик утвердительно заулыбался, закивал головой, но поднял два пальца.

- Вот видишь, - восторжествовал Рябцев, - он просит у нас два габи.

Но вывод его снова подвергся моему сомнению.

Тогда Рябцев подозвал идущего мимо молодого китайца в роговых очках.

- Ты говоришь по-русски? - спросил он его.

Китаец утвердительно закивал.

- Мала-мала могу.

- Переведи, - попросил я его, - о чем говорит нам этот старик.

Молодой прохожий обернулся к старому и с минуту о чем-то говорил с ним.

- Этот мужчина Ну-Линь-Жень, - перевел он, - приглашает русский капитан публичный дом ходи. Город знает этот дом. Он имеет хороший репутация.

- Куда-куда? - в один голос воскликнули мы.

- В публичный дом.

Мы не знали, что ответить. Мне вдруг сделалось неудобно и, кажется, я покраснел даже. Пришел в замешательство и Рябцев.

- Пошли его к черту, - предложил он переводчику и первым пошел прочь.

Я догнал Рябцева и, душась от смеха, кольнул его:

- Ну что, два габи он у тебя просил?

- Да ведь черт его знал. Он про деньги мне говорил. Чен - это деньги, точно, готов на пари.

И Рябцев так искренне развел руками, что едва не выронил арбузы.

Потом спросил меня:

- А что, если бы я ему дал в морду?

- Кому это? - удивился я.

- Ну тому старику, чтобы в другой раз подобного предложения не строил. Подумать ведь только. Предлагает посетить публичный дом, неужели он думает, что кто-то из нас последует за ним. Я на китайских женщин вообще смотреть не могу, ходят в каких-то ватных брюках, женщина не женщина, не разберешь, а тут еще... Нет, все-таки зря я ему не заехал по ряшке...

- Ну, этого делать нельзя, - возразил я, - не забудь, ты не дома, а за границей. У нас за такое предложение не только можно было, но и надо было бы съездить по физиономии, а тут, брат, Китай, страна с другими порядками.

- Начнешь ты мне мораль читать. Капитализм, проституция - его порождение. Для меня это ноль. Мне хоть Америка, а раз меня оскорбили как человека...

Рябцев начинал серьезно волноваться, но я поспешил его прервать.

- Ты лучше расскажи, - предложил я, - где ты так блестяще успел освоить китайский язык?

Я со смехом посмотрел на Рябцева, он на меня, и мы оба громко расхохотались.

19 августа

За палаткой ночь. Теплая маньчжурская ночь, полная грохота выстрелов и ослепительного фейерверка ракет. Что это, снова бой, как вчера у переправы, на которую налетели двенадцать японских пикировщиков, - хочется спросить мне самого себя, и не верится, ей богу не верится, что за палаткой ни-

какого боя нет, а что там гремит салют в честь новой Победы славного русского оружия. Победа, снова победа. Какое это замечательное слово, как оно дорого всем нам - людям фронта. Мы думали об этой победе с самого начала и надеялись ее одержать с первых дней наступления. Каждый знал, что война скоро кончится, но никто не мог сказать, в какой день можно будет произнести это гордое слово. И вот сегодня настал этот день. Сегодня можно уже говорить, можно радоваться и кричать об этой победе. Не знаю, как я счастлив сегодня! Хочется петь, танцевать, смеяться. Еще бы! Ведь самураи согласились принять акт о безоговорочной капитуляции в таком виде, в каком мы хотели. Без всяких оговорок для Микадо и прочей своры. Квантунская армия складывает оружие и сдается в плен. Конечно, это еще вовсе не значит, что боевые действия закончились, и можно быть спокойными и беспечными. Впереди, я уверен, нам еще предстоят бои. Японцы - враг коварный, и не все из них согласятся покорно сложить оружие. Этих бандитов до черта скрывается еще по лесам и сопкам, и теперь, наверное, видя наш салют, молятся своему японскому богу, но ничего, этих «зайцев» выловят скоро.

Главное произошло. Япония сдалась на милость победителям и на суше, и на море, и в воздухе.

Сегодня наши батареи уже не вели огня по ниппонским «красавицам»: «Соням» и «Тоням». Они летели выполнять задание уже не своего, а нашего командования, разбрасывая листовки разрозненным группам японцев по лесам и сопкам. Да что писать, в общем, победа, и от того замечательное настроение.

До чего сильно гремят салюты. Вспышки выстрелов, видные сквозь брезент палатки. Стрельба идет из всего, что только вообще способно стрелять.

Я и то сделал несколько выстрелов из своего пистолета. А мой неизменный товарищ Рябцев так и сейчас стреляет где-то.

Забегу немного назад. Свой полк мы догнали у Нингуту и только выбрались из машины - сразу попали на митинг по поводу капитуляции Японии. После митинга еще раз попали, только на этот раз уже к командиру полка, и получили от него изрядную пропорцию за слишком деятельное участие во взятии деревушки под Муданьцзяном. Впрочем, больше попало Рябцеву, я как больной был пощажен.

Да, я больной, печально, но факт. Сейчас отдыхаю и на положении больного ничего не делаю. Контузия моя проходит.

Уже гораздо меньше стала кружиться голова, и только рука еще по-прежнему дает о себе знать. Словом, вхожу в порядок, как любит выражаться наш начштаба майор Алешин. Одно плохо по-прежнему: до сих пор нет писем ни из дому, ни особенно от Лиды.

Впрочем, достаточно. Я, чего доброго, могу опять расфилософствоваться. Это тоже иногда бывает полезно, но вряд ли теперь.

В палатку вваливаются друзья-офицеры, прощай мой дневник. Рябцев, харя, уже заметил, что я пишу, и надо полагать, что публично начнет меня просить сию минуту зачитать что-нибудь из продуктов - как он выражается - моего творчества.

Офицеры, конечно, собираются организовать небольшую вечеринку. Тут и доктор, наш эскулап, любитель тостов, и Попов, и Сеня, и даже Петька с баяном.

Сегодня выпью и я. Плюю я на запреты эскулапа, сегодня победа, сегодня можно поздороваться с Бахусом.

21 августа

Продолжаем продвигаться на юг вглубь Маньчжурии, попутно разоружили небольшие гарнизоны врага на аэродромах, населенных пунктах и мостах. Самураи ведут себя по-разному. Многие беспрекословно складывают оружие, но иные упрямятся, и нам приходится разъяснять смысл капитуляции чисто военным языком, без канонов дипломатии. Вообще-то, пленных очень много. Только за вчерашний день на нашем фронте сложило оружие и сдалось в плен 55 тысяч японских солдат и офицеров. Мы едем, и с боковых дорог на магистраль выходят длинные вереницы пленных, конечно, под соответствующим эскортом. Неважно выглядят в своем новом положении заносчивые ниппонские вояки. От их нахальства и чисто азиатской надменности не осталось и следа. Понуро, с глазами в землю, бредут они пыльными маньчжурскими проселками в сторону советской границы, но не для ратных дел, не для самурайских подвигов на чужой земле, а просто в лагеря для военнопленных.

На нас и на нашу технику смотрят они с видом людей, сначала ударенных по затылку доской, а потом толкаемых лицом на горящую головешку. Удивление, любопытство и не остывший ужас, как печать, видится на их серых от пыли лицах.

Не думали и не гадали эти низенькие, очкастые людишки, на весь мир оравшие на своем тарабарском языке о своей

мощи, что найдется сила и на их силу. И это русская сила переломила силу японскую.

Мы спросили одного японского солдата, говорившего по-русски, как он смотрит на капитуляцию Квантунской армии и японских вооруженных сил в целом. Щупленький, пожилой японец, вытягивая грязные руки по швам, замотал непонимающе головой:

- Я хожу как во сне. Я ничего не могу понять. События эти подобны землетрясению. Их не сразу воспринимаешь.

Он ходит как во сне. Он сравнивает разгром японской армии с землетрясением. Небось, если этому дохлому самураю пришлось участвовать в походе на Россию, он бы не спал. И не говорил бы о землетрясении. Многие самураи, как быки на бойне, не в состоянии еще оправиться от затрещины. Да ничего. Время для того, чтобы прийти в себя, у них еще будет.

Местность в этих краях несколько изменила свой лик. Сопки стали гораздо ниже, безлеснее, раздвинулись и теперь все чаще и чаще попадаются навстречу долины и плодородные поля. Картины, впрочем, вокруг знакомые. Бедные китайские деревни, обнесенные глинобитными стенами для защиты от хунхузов, фанзы с почернелыми от времени камышовыми крышами, люд, многочисленный оборванный люд. Они по целым дням семьями простаивали у дороги и, приветствуя войска, смеялись и плакали от радости.

Мы завалены всевозможной зеленью. Нас просят взять, а чаще всего просто суют в руки и бросают в машины всевозможные овощи. Огурцы, помидоры, арбузы, маленькие маньчжурские дыни и многое другое.

Один китаец бросил в нашу машину связанную утку и ни за что не хотел взять ее обратно. На все наши протесты говорил одно и тоже:

- Моя японза брал. Все даром брал. Неду - все равно брал. Меня бил, бабу побил. Русский солдат и капитана несет китайзу свобода. Русский шанго! Бери, кушай утка.

В маленьком городке на улице, запруженной не успевшими удрать красными японскими автомашинами, из толпы выбежала молодая, празднично одетая китаянка и смущенно протянула моему другу Рябцеву пышный букет из белых и красных маков. Она что-то хотела сказать, но в это время к колодцу недалеко подвели партию пленных японцев, девушка посмотрела на них и узкие черные глаза ее загорелись гневом. Показывая на кого-то из пленных пальцем, она сердито и быстро стала говорить по-китайски.

Рябцев попытался ее успокоить, но подошел к нам из толпы пожилой китаец и, приложив руку к полям шляпы, сказал:

- У этой девушки большое горе. В прошлом году японцы повесили на стене крепости ее отца-партизана и убили мать за то, что она была женой партизана. Девушка несколько месяцев провела в тюрьме за то, что была дочерью партизана. Ее только вчера освободила Красная Армия.

В толпе японцев она узнала офицера, который мучил ее в тюрьме.

Пока китаец говорил, девушка плакала, вся вздрагивая.

- Она боится того офицера, - пояснил переводчик.

Мы попросили его сказать девушке, что ей теперь уже нечего бояться японцев и, поблагодарив за цветы, подошли к колонне пленных. Конвойные разрешили нам поговорить с тем офицером, на которого указала девушка. Японец пил воду из ведра, когда мы позвали его к себе.

Услышав, что его зовут, он не спеша отставил ведро, вытер платком губы и, подойдя к нам на крепких кривых ногах, козырнул и опустил руки по швам. Это был пожилой самурай. Из-под аляповатой, точно солдатский котелок, фуражки виднелись посеребренные сединой волосы, широкие обветренные скулы и черные, пушистые с проседью усы. Глаз его из-под большого козырька фуражки не было видно. Японец был в чине майора, как говорили об этом поперечные погоны на широких развитых плечах, а на левой стороне кителя блестело несколько орденов.

Майор имел развитое телосложение и, вообще, все говорило в нем за бывалого, закаленного солдата. Это был старый и, очевидно, в совершенстве знающий свое ремесло бандит. Как истукан стоял он перед нами, и ни один мускул, ни одна жилка на его коричневом лице не выдавала внутреннего переживания. Это была какая-то каменная маска безразличия, присущая людям, которые на своем веку немало своими руками выпустили человеческой крови. Строгое, безразличное и ужасно скучное было это лицо.

Мы долго молча разглядывали его. При виде этой коренастой фигуры и усатой физиономии мне вспомнился штабс-капитан Рыбников из рассказа Куприна. Люди с такими каменными лицами могли заниматься чем угодно. Шпионажем, убийствами, обманом - лишь бы это приносило жертвы алтарю войны, которой посвятили они свою жизнь.

Нам хотелось поговорить с японцем, но тут дело обстояло еще сложнее, чем с китайцами. Там мы знали хоть несколько слов, а по-японски кроме «банзай» - ни единого.

На пальцах и жестами все же решил я кое о чем спросить пленного. Каково же было мое удивление, когда японец, едва я привел в действие интернациональный язык, сказал чисто по-русски:

- Я говорю по-русски. Спрашивайте, что вам от меня угодно.

- Как ваша фамилия? - морща лоб сказал Рябцев.

- Майор императорской армии Сато Набояси из Киото, - четко ответил японец.

- Хорошо. А что вы делали в этом городе?

- Я здесь служил.

- И палачествовали над местным населением?

Набояси пожал плечами.

- К сожалению, господин русский капитан, для меня неизвестно слово «палачествовать».

- Неизвестно? - переспросил Рябцев, и я заметил, что он начинает выходить из себя.

Меня тоже немало злило надменное поведение самурая.

- Не знаете? - опять переспросил Рябцев, - тогда скажите, сколько вами лично и по вашему приказанию убито и замучено китайцев?

- Мы вели борьбу с бандитами, нарушавшими мирную жизнь страны. Ну и, разумеется, без строгих мер борьба эта не обходилась, - сохраняя каменное выражение лица, четко сказал Набояси.

- Бандитами называете всех партизан, патриотов-китайцев, которые поднялись на борьбу с поработителями Родины.

- Партизан? - переспросил Сато, - и пожал плечами, - сожалею, что приходится говорить вам, то, что я уже сказал вам однажды. Слово «партизан» - я не знаю.

- Опять не знает, вот... - закипятился было Рябцев, но я прервал его.

- Скажите, - спросил я Набояси, - кем вы служили в этом городе?

- Я был начальником гарнизона.

- А тюрьма?

- Нет. Но, разумеется, поскольку тюрьма была военной тюрьмой, начальник тюрьмы мне подчинялся.

- Вот эта девушка, - показал я на китаянку, - говорит, что вы мучили ее в тюрьме. Не начальник тюрьмы, а вы. Разве прилично начальнику гарнизона, офицеру императорской армии выступать в роли палача и мучителя беззащитной девушки?

Я заметил, как глаза майора, которые он вскинул на меня, загорелись огоньками гнева, но продолжал:

- Вы собственными руками мучили и истязали людей, пачкали себя кровью, что это входило в обязанности начальника гарнизона?

Сато Набояси впервые сменил на своем лице маску безразличия на выражение откровенной злости.

- Я бывал в тюрьме как лицо инспектирующее. Китайские свиньи врут.

Глаза майора горели бешеной злостью. С какой бы радостью удушил и растерзал бы он меня в этот момент!

Мне хотелось плюнуть в его каменную рожу.

Потом Рябцев спросил его мнение о капитуляции Японии.

- Я как солдат обязан был выполнить волю императора, но... Набояси замялся.

- Но продолжали сопротивляться? - спросил один из конвоиров.

- Да, я не знал, вернее, поздно узнал о решении нашего командования капитулировать.

- Он врет, собака, - сказал кто-то из-за моей спины, ему сколько листовок набросали, но он продолжал драться...

Набояси покосился.

- Ну а где ваш гарнизон, господин майор? - спросил успокоившийся Рябцев.

- Гарнизон? Гарнизон здесь, со мной. Собственно, не весь. Часть людей осталась там, в городе.

- Что, все еще сопротивляются?

- Нет, они...

Дальше все было и без слов ясно. Просто большинству набоясовских солдат Красная Армия вразумительно объяснила, как печально уклоняться от выполнения воли их возлюбленного Микадо.

На вопрос, где он так хорошо научился говорить по-русски, Сато Набояси сказал:

- В свободные минуты я занимался изучением иностранных языков. Я интересуюсь жизнью и бытом других народов.

Да, самурай интересовался бытом других народов, только для чего? Для того, чтобы получше поработить и уничтожить

их. Для чего вор подбирает ключик к замкам? Для того, чтобы лучше и проще влезть в квартиру. Для того самого и этот «штабс-капитан Рыбников» изучал иностранные языки. Он тоже искал такого воровского, бандитского ключа к свободе и счастью соседей.

Он не рассказал нам, что первые навыки в знании русского языка привил он себе давно, еще в 1918-1922 годах, когда будучи младшим офицером участвовал в оккупации советского Дальнего Востока. «Я нес гарнизонную службу», - ответил он на наш вопрос о его деятельности в Приморском крае. Гарнизонную службу... Это мог он сказать, но в эти слова трудно было поверить. Кто скажет, сколько эти его крючковатые руки убили и повесили наших людей за то, что они не желали иметь его своим хозяином. А кто скажет, что не он в 1920 году стрелял из пушек по улицам Хабаровска, что не он бросал в паровозную топку легендарного героя Дальнего Востока Сергея Лазо, что не он, этот почтительно вытянувшийся перед русскими офицерами японец, хотел снова поохотиться за человечиной на нашей земле?

Мы поблагодарили конвойных за предоставленную аудиенцию с самураем и побежали догонять своих.

Я чувствовал нехорошее, злое состояние после разговора с майором Набояси. Рябцев ворчал, сожалея, что не довелось ему отправить на тот свет этого усатого любителя лингвистики.

Мы едем, но радостные вести догоняют нас. Вчера нашими авиадесантными частями заняты крупнейшие города Маньчжурии - Харбин и Мукден.

Отец, как жалко, что не дожил ты до этих радостных дней! В те гористые места, где сорок лет назад воевал ты, снова пришли русские солдаты. Только на этот раз как победители. И я, твой сын, горжусь, что иду по твоим следам, по следам русского солдата, защищающего далекие рубежи родной России.

Спи, отец! Позорное пятно, которое столько лет лежало на чести нашего отечества, смыто теперь. Враг разбит, и кровь твоя, старик, отмщена.

23 августа

У меня сегодня сразу три радости да еще какие. Первая, общая для всех радость: по радио передали приказ т.Сталина дальневосточным войскам - благодарность за успешные боевые действия против Японии, и в приказе, между прочим, от-

мечена наша дивизия. Сталин похвалил и поблагодарил нас. Разве возможно не порадоваться этому. Вторая радость - тоже, конечно, общая, но почему-то, кажется для меня особенной. Наши войска взяли Порт-Артур. Героическая крепость, о которой сорок лет распевал русский народ песни грусти и гордости за ее защитников, снова наша. Опять над ее твердынями реет русский флаг, красный флаг моей Родины. Русские моряки вернулись в крепость. Они не отдадут ее никому больше.

И, наконец, третья новость, и уже моя собственная - я получил письмо от Лиды. Не знаю, как я сейчас счастлив, как рад! А вышло все вот как. Утром встали мы бивуаком возле одной, даже не запомнил название, речушки, недалеко от Гирина. Дальше, до наведения переправы ехать было нельзя. Отступая, японцы взорвали мост через реку. Съехали с дороги, подготовили пушки к ведению огня и стали ждать саперов.

Мы с Рябцевым прилегли отдохнуть в нашей поставленной посреди картофельного поля палатке, когда внезапно заявился к нам Гошка Васильев. Я его не встречал после боя под Мулином, и его визит явился для меня полнейшей и приятной неожиданностью.

Я вскочил, едва увидел его, но Гошка, такой же запыленный, как и в первый раз, протянул руку Рябцеву, а на меня набросился с руганью.

- Борька, собака, что ты наделал, черт тебя побери, отвечай сейчас же, или я убью тебя, - закричал он на меня, точно я в самом деле в чем-то перед ним провинился.

- Сдаюсь, но ничего не понимаю, сказал я, удивленный и сбитый с толку состоянием друга.

- Не понимаешь? Он не понимает, - обратился Гошка к Рябцеву, - натворил черт знает что и теперь притворяется невинной овечкой. Все, брат, начинаю драться и без всякой пощады.

- Рябцев, заступись, что он! - взмолился я.

- Ага, пощады запросил, - продолжал наступать мой приятель, - трусишь? Нет, ты отчитайся передо мной. Скажи при свидетелях, как у родного брата сестру украл.

- Сестру? Какую? - воскликнул я, поняв, что отныне Гошке известно все, что было и есть между мной и Лидой.

Гошка присел к столу и, состроив горестную мину, обратился к Рябцеву.

- Тов. капитан, скажите, ну не свинья ли этот человек? Я четырнадцать лет не видел сестру, думал встречу после войны, обниму ее крепко и вдруг. Все мои чистые надежды летят

к черту. Этот субъект, оказывается, уже завладел моей сестрой и чуть ли даже на ней не женится.

Таиться дальше не было смысла, и я закричал Гошке:

- Ты получил письмо от Лиды, барбос, подавай мне его сию минуту.

Но Гошка и внимания не обратил на мой порыв.

- Верите, продолжал он жаловаться Рябцеву, - у них так далеко зашло дело, что моя сестричка совершенно вскружилась, и, заехав в родной городок, остановилась ни у кого-нибудь, а у родных этого прохвоста.

«Лида у моих родных?» Это было так невероятно и хорошо, что дальше выслушивать выламывания Гошки я не мог. Я бросился к нему и, душа его в объятиях, потребовал все толком и немедленно рассказать. Но он был неумолим. Пряча письмо, он продолжал скорбеть о потере сестры.

- Рябцев, Женя, заступись хоть ты, - взмолился я капитану, - будь другом, не слушай эту собаку.

Но Рябцев тоже оказался хорошим. Он и не подумал прерывать Гошкины жалобы. Наоборот, он весь превратился в слух и внимание. Недаром он столько времени допытывался, от кого я с таким нетерпением ждал писем. Теперь ему наклевывалась богатая пища для злословия и донимания меня семейными вопросами.

- Лейтенант, я вас слушаю, - обратился он к Гошке, - этого типа, - показал он на меня, - следует давно проучить. Ужасно темная личность.

Становилось ясно, что мои друзья прекрасно поняли друг друга и затевают против меня длительную волынку.

Письмо Лиды, которое, я был уверен, имелось у Гошки, я должен был прочитать во что бы то ни стало. И я от обороны перешел к нападению. Я просто-напросто решил прибегнуть к физической силе. Когда-то, помнится, в детстве я всегда борол Гошку, но теперь это сделать мне не удалось.

Мы схватились, и к ужасу Рябцева, увлекая за собой стол, на котором стояла бутылка японских чернил для самопишущей ручки, повалились на пол. Пехотинец оказался сильным и ловким, как черт, кроме того у меня болела нога, так что я скоро оказался внизу.

Но пока Гошка торжествовал победу, раскладывая меня на лопатки, я пошел на хитрость и незаметно вытащил у него из кармана письмо. Продолжать борьбу дальше не имело смысла. Я перевернулся на спину, зажал конверт в руке и, несмотря

на усилия обоих друзей, не выпустил его. В конце-концов противники мои сдались, меня отпустили.

Гошка, махнув рукой и попросив меня читать в письме определенные, меня касающиеся места, принялся прилаживать оторванный погон, а Рябцев, горестно причитая и ругаясь, сливал в маленький пузырек оставшиеся в бутылке чернила.

С какой радостью и вниманием принялся за чтение знакомых Лидиных строчек.

Письмо было целиком посвящено брату, обо мне сказано было всего несколько слов, но и этого для меня было вполне достаточно. Я один знал, что скрывается за этими простыми словами.

"Ты и не подумаешь, Гоша, писала Лида, где я сейчас нахожусь. В нашем старом, милом Щучинске. Приехала из Германии - получила отпуск после госпиталя, и вот живу, и знаешь, у кого? У родных Бориса. Ты знаешь его, он был когда-то твоим закадычным другом. Я тебе ничего не писала, да и он о моем приезде в Щучинск ничего не знает. Но теперь все решено. С ним я во что бы то ни стало должна быть вместе..."

Лида у моих родных. Как это смело, какая она у меня молодчина!

Я вздыхал, перечитывая письмо, смеялся, ерошил волосы и снова перечитывал. Она писала, что еще до сих пор, то есть до приезда к моей матери, не знала моего адреса, но теперь уже напишет мне письмо.

Значит, не сегодня-завтра я его получу. Значит, недалеко теперь и наша встреча, и наше счастье, которое столько времени шагало по военным дорогам и все казалось таким далеким. Война кончилась. Впереди - мирная жизнь. Иди, шагай по ней.

Не знаю, сколько бы времени я провздыхал над письмом, если бы Гошка не отобрал его у меня.

- Ну хватит, хватит, в порядке твоя Лидочка. Ты бы хоть на меня обратил внимание. А то черт знает что получается, отобрал у меня сестру, нет, хуже - украл у меня сестру - и теперь на меня, отныне уже родственника, ноль внимания.

- Да пойми ты, дьявол...

Но он не хотел и слушать меня.

- Требую свадьбу, требую свадьбу, - твердил он при одобрительных кивках Рябцева.

- Гошка, помилуй, какая тут может быть свадьба, - протестовал я, - когда мы столько времени друг друга в глаза не видели.

- Я требую калым. Понимаешь - вот такой, - Гошка щелкнул себя по горлу, - а вы как, т. капитан?

Ну еще бы Рябцев был против. Он уже почуял, что в воздухе запахло живым. Он был, безусловно, «за».

Я вынужден был капитулировать. В батареях достал спирту, организовал «магарыч».

Поднимая стакан, Гошка сказал:

- Пью за вечный союз моей сестры с моим другом. Желаю им счастья. Для себя хочу выторговать одно - поцелуй сестры.

- И для меня тоже, - заявил Рябцев.

Я пообещал удовлетворить просьбу того и другого и, после того, как выпили друзья, выпил и сам.

Я пил за Лиду, за нашу встречу и за жизнь вместе...

Потом мы долго вдвоем с Гошкой бродили по берегу реки и, как тогда под Мулином, засыпали друг друга вопросами и говорили, не слушая друг друга.

Перед уходом Гошки (его часть стояла за рекой) мы выкупались и, одевшись, долго лежали молча на песке в тени серебристых, развесистых ив.

Гошка сосредоточенно кидал гальки в воду и, следя за расходившимися кругами, мурлыкал под нос какую-то песенку. Я курил. Расставаться не хотелось обоим. Я перебирал в памяти прожитое и думал о том, что ждало меня в будущем. Я думал о нашей дружбе с Лидой и был доволен, и до отказа полон тем счастьем, которое выпало на мою долю. Я после трех войн остался жив, у меня есть человек, который любит меня, который поможет создать хорошее, человеческое счастье, по которому я так соскучился и изболелся.

Я думал. И от этих мыслей не такой чужой казалась река, струящая свои воды у моих ног, не таким незнакомым казалось белесое маньчжурское небо, да и вся жизнь тут, на чужбине казалась не такой тяжелой, как до этого.

Я начинал снова жить мечтами о будущем, которое, мне казалось, я заслужил.

Август-сентябрь 1945 года.
Маньчжурия

ГОЛУБАЯ ПАДЬ
Повесть

Три девушки-регулировщицы в выжженных солнцем гимнастерках стояли на дороге и молча глядели вслед удаляющейся машине. Они только что сошли с этой машины, чтобы здесь, в долине, которая называлась Голубой падью, организовать новый регулировочный пост.

Пост должен был расположиться на развилке дорог, неподалеку от бревенчатого моста, перекинутого через безымянную горную речку. Это было оживленное место. По дороге, наполняя тихую падь разноголосым шумом, беспрерывно двигались вглубь Маньчжурии наступавшие советские войска.

Красный и желтый флажки в руках девушек должны были подчинить движение их воле, сделать так, чтобы оно ни на один миг не теряло своей стремительности. Это было нелегко, и одна из девушек, старшая поста - сержант Лиза Черницкая, вместе с подругами следившая за уходящей машиной командира взвода, озабоченно думала о предстоящей задаче.

Своих подчиненных Лиза почти не знала. Одну из них, Галю Межову, она раза два встречала, а со второй даже познакомиться как следует не успела. Ее включили в состав поста перед самым приездом сюда, и все, что было Лизе о ней известно, это ее имя и фамилия: Тамара Каценко.

Лиза чувствовала себя неуверенно, не знала толком, как заговорить с девушками, и поэтому ей самой показались неуместными слова, которыми она первая нарушила молчание:

- Ну вот, девочки, мы и дома.

- Хороший дом, - вздохнула Межова, ковыряя дорогу носком сапога, - глушь, дичь и ни одного живого существа.

- А мне Голубая падь нравится, чем тут плохо? - сказала Тамара, глядя вокруг восхищенным взглядом.

Глухая горная падь в это августовское утро действительно выглядела красиво. Длинная и извилистая, сжатая с боков сопками, она еще не успела впустить в себя солнце и лежала вся в прохладных тенях, полная свежих ароматов неизвестных цветов и трав. Солнце слегка золотило лишь самые вершины сопок, падь же, казалось, спала, и плеск воды в речке походил на ее сонное дыхание.

Кругом, куда ни взглянешь, буйно курчавились заросли, щедро обрызганные крупными каплями ночной росы. Высо-

кая, густая трава, запыленная и притоптанная с краю колесами, стеной подступала к дороге. Перемешанная с кустарниками, она тянулась до самых сопок, которые, казалось, похвалялись одна перед другой пышностью и густотой своих зеленых одеяний.

Сплошное море зелени расстилалось вокруг, без единой прогалины обнаженной земли или голого камня. И только дорога разрезала это зеленое море извилистой, коричневой полосой по всей его длине.

Лиза невольно залюбовалась природой, слушая, как Тамара мечтательно говорила:

- Построить бы домик среди этой красоты. Купаться бы, загорать на солнце, книги читать...

- В общем, жить барыней? - заметила Межова с иронией, - глупости ты говоришь, Тамара.

- Почему? Разве мы за войну не заслужили себе отдых?

- Война, к вашему сведению, не кончилась.

- Она скоро кончится.

- Тебе сообщили по прямому проводу?

- Причем тут провод? Знаешь, наши войска сейчас уже где? В Порт-Артуре!

- Все равно нам здесь не жить. Мы сюда не на жительство приехали. Покончим с самураями и назад.

- Ну, правильно. Я знаю. Не понимаю, чего только ты на меня набросилась.

- Я, Тамара, не люблю, когда люди о пустяках говорят. Домики нам надо строить не здесь. Помнишь Белоруссию? - Межова вдруг нахмурилась, свела белесые пушистые брови. - Видела, там в каких землянках люди живут? Потому что немцы все деревни пожгли...

- Немцы и у нас в Ельце были. Правда, недолго, - сказала Тамара. - А только и здесь хорошо.

- Нет, я не согласна, - возразила Межова, - дома я каждый цветок, каждую травинку знаю, а здесь все как-то на одно лицо, красивое, а не интересное... И вся природа - сопки да небо. У меня к этой тесноте никогда душа не привыкнет...

- Посмотрите, девочки, дом!..

Тамара показала рукой в сторону сопок, и Лиза, вглядевшись, увидела там крышу домика, едва выступившую из-за деревьев.

- Китайская фанза, - определила Тамара, - может быть, сходим туда, посмотрим.

- Некогда нам, товарищи, - сказала Лиза, - пора за дело браться. Каценко, вы встанете на пост. Оборудуете его и приготовитесь к пропуску транспорта. Межова со мной, строить шалаш и грибок, - распорядилась она строго, по-командирски.

- Как мне надоели эти пути-дороги, знали бы вы, товарищ сержант, - печально вздохнула Тамара, направляясь к перекрестку и на ходу разбирая сигнальные флажки.

Межова промолчала. Она вслед за Лизой подошла к куче досок, сваленных в кювет, разглядывая их, недовольно проворчала:

- Ивлев - скряга, и на доски пожадничал. Разве нам хватит этих досок?

- Ничего, как-нибудь обойдемся, - сказала Лиза.

Ей и самой было ясно, что досок мало, на шалаш и грибок их не хватит, но делать было нечего, и Лиза, пораздумав, распорядилась:

- Примемся сначала за шалаш, а на грибок что останется. В крайнем случае, обтянем его плащ-палаткой.

- Правильно, - согласилась Межова. - Мне, товарищ сержант, дайте топор, я им умею орудовать. Покажите, что делать.

Ó

Тамара, напевая вполголоса, расставляла на перекрестке столбики с указателями. Белые, гладко обструганные, они еще пахли смолой, а фанерные стрелки с надписями походили на руки, протянутые в разные стороны.

Вкапывая их в землю, Тамара приговаривала:

- Эта рука сюда, эта сюда. Стоять прямо, иметь бодрый вид, ну! - И старательно трамбовала черенком лопаты сухую, комковатую глину.

Когда она ставила последний столбик, с грохотом подползла огромная пыльная черепаха - танк Т-34, с башней, убранной засохшими ветками березы. Лениво подминая дорогу широкими гусеничными лапами, танк выкатился на перекресток и остановился возле регулировщицы.

- Чего ты встал, проезжай, - закричала Тамара выглянувшему из переднего люка черномазому водителю.

- Не ругайся, дорогуша, - губы танкиста растянулись в улыбке, - лучше скажи, далеко ли до Харбина?

- Близко, за следующим поворотом. Там тебе откроется и Харбин и Токио. Быстро доберешься, только уезжай с дороги поскорее...

- Ох ты, какая грозная. А я вот возьму и нарочно с места не тронусь.

- Попробуй только.

- И попробую. Столкни, если сил хватит.

- Ну, ты не валяй дурака, - рассердилась Тамара, - позади тебя машины идут. Пробку создашь.

- Будешь злиться, встану тут и точка. Правда, товарищ лейтенант?

Водитель спрятался. В башенном люке показался другой танкист, с погонами лейтенанта на синем брезентовом комбинезоне.

- Обойдемся без ссоры, - кивнул он Тамаре, выбираясь на броню башни, - регулировщик для нас - закон. Но у нас небольшая авария и по этому случаю разрешите возле вашей, так сказать, начальственной особы...

- А без болтовни не можете? - строго, но уже не так официально сказала Тамара.

- Можно и без этого. Вы - без серьезности, мы - без лишних слов. Договорились?

Лейтенант спрыгнул на землю, оправил комбинезон, приказал водителю:

- Левшин, принять с дороги.

Внутри танка застучало, показался голубой едкий дым. Лязгая гусеницами, танк медленно, как будто нехотя, пополз с дороги.

- Черт его знает, километра три уже вот так дымит, - подходя к Тамаре, сказал лейтенант, - вы в машинах, случайно, не разбираетесь?

- Я во всем разбираюсь, - улыбнулась Тамара, кося любопытным взглядом на рослого, подтянутого лейтенанта.

- Как живете тут? - не расслышав ее ответа, спросил лейтенант.

- Мы только собираемся здесь жить.

- Не страшно одним?

- Кого нам бояться?

- А японцев? Они теперь, как дичь, водятся по сопкам. Драться в открытом бою у них духу не хватит. Вот они прячутся, ждут, когда кто-нибудь из нас попадется им в одиночку, без оружия... Смотрите, как бы к вам они не пожаловали.

- На западе покрупнее гости попадались.

- Еще бы! - согласился лейтенант.

Тамаре лейтенант понравился. Она уже собралась заговорить с ним на другие темы, но в это время на дороге показалась длинная колонна «студебеккеров», и лейтенант поспешил перебежать через дорогу, к танку. А когда машины прошли, он вместе с водителем возился возле танка и на регулировщицу не обращал внимания.

Тамару это обидело. Она с досадой сунула флажки за голенища кирзовых сапог и, отвернувшись в сторону, принялась напевать вальс:

Тихо вокруг, ветер туман унес,
На сопках Маньчжурии воины спят.

...Маньчжурские сопки. Думала ли она, ничем не приметная девчонка из маленького городка на Орловщине, побывать когда-нибудь на этих сопках. А теперь эти Маньчжурские сопки вокруг нее...

Невероятно, как во сне.

И вообще жизнь в этом году несется подобно стремительному водовороту.

...Бои за Берлин, регулировочный пост на углу загроможденной развалинами Вильгельмштрассе. Затем стремительный, без отдыха и сна, марш через горы в Чехословакию. Усаженные темными каштанами улицы Праги. И, наконец, после месячного пути через весь Советский Союз - Маньчжурия, другой край света.

Очутиться бы теперь дома, рассказать подругам обо всем виденном и пережитом, поверили бы или нет? Что-то они делают там? Конечно, как всегда, все вместе идут на работу, и Физа Кочнева, милая, хорошая Физа, стучится в окошко и спрашивает у матери: «От Тамары что-нибудь есть?».

Домой захотелось так, что больно защемило сердце. Тамара оперлась плечом о столбик указателя, закрыла глаза и задумалась. Вспомнилась фабрика. Тамара мысленно прошла по цеху до своего рабочего места возле окна, подумала, кто мог работать вместо нее, и решила: «Вернусь - обязательно встану на свое место». Потом вспомнился просторный фабричный клуб, где когда-то, едва научившись танцевать, руководила кружком коллективных танцев.

«Итак, товарищи, начнем, раз-два, раз-два...»

...Резкий автомобильный гудок оборвал хорошие, далеко убежавшие мысли. Мимо, пахнув в лицо бензиновой гарью,

шмыгнул приземистый «виллис». Какой-то офицер, в развевающейся за спиной плащ-палатке, привстал на сиденье и погрозил Тамаре пальцем.

За «виллисом» тянулась вереница других машин. Дорога оживала, мечтать было некогда.

Тамара посмотрела вслед удалявшемуся «виллису», расправила флажки и, выйдя на центр перекрестка, застыла в привычной, подтянутой позе.

I

К Лизе и Межовой, занятым сооружением шалаша, подошел танкист - молодой паренек с погонами старшины на гимнастерке, закурил. Критически оглядывая проделанную девушками работу, спросил:

- Над чем потеете, друзья?

- Плотину строим! - недружелюбно ответила Межова, откидывая ладонью спадавшую на лоб светлую прядь волос.

Старшина не обиделся.

- Плотину на сухом месте? И это дело. Разрешите помочь?

Он несколько раз глубоко затянулся дымом, бросил папиросу и, подойдя к Лизе, попросил лопату:

- Отдохните, сержант, а я поковыряю за вас. Лиза сказала:

- Спасибо, как-нибудь сами.

- Отказываться от помощи товарища в боевой обстановке нельзя, - заметил старшина, принимаясь копать яму для столба.

- Жилище? - спросил он немного погодя, - а материала у вас не маловато?

- На сколько хватит, больше взять негде.

- Ерунда, вон материал, пожалуйста, - кивнул он в сторону одинокой фанзы под сопкой, - сейчас мы разведаем.

Старшина достал бинокль, приладил к глазам, разглядывая фанзу, сказал:

- Хижина, видимо, необитаема. Сделать туда парочку рейсов - и дело в шляпе. Досок набрать, жести. Ну, что, пойдет со мной кто-нибудь?

- Я схожу, - согласилась Лиза, - вы, Галя, останетесь за меня.

Лиза взяла автомат, вскинула его на ремень и молча направилась в сторону фанзы.

Старшина крикнул в сторону танка:

- Товарищ лейтенант, я отлучусь на полчаса - девчатам помогу.

И он пошел вслед за Лизой. Поравнявшись с ней, спросил:

- Давно вы в этих местах?

- Сегодня с утра, а что?

- Так. Травища тут, видите, какая, что твоя тайга. Разрешите, я пойду впереди.

Лиза уступила. Высокая, густая трава была до плеча и, чтобы идти по ней, надо все время раздвигать ее руками, как камыш. Ноги мягко, точно по ковру, ступали по мху и каким-то лежачим стеблям, которые гулко лопались под ногами.

Через несколько минут Лиза не узнала свои сапоги. Обсыпанные цветочной пыльцой, они из бурых сделались золотыми. Пробираться по траве было нелегко, но приятно. Согретая солнцем падь стряхивала с себя сонное безмолвие, и этот вид просыпавшейся природы радовал сердце.

Лиза, шагая за старшиной, посматривала вокруг, слушала разноголосые трели невидимых птичек, которыми, казалось, был полон воздух, и думала, что нет ничего лучше, как в такое вот утро, с полотенцем через плечо, пойти на речку купаться. Окунуться с головой в прозрачную холодную воду, а потом лечь на солнцепеке и, под звон кузнечиков и мирный шелест листьев березы над головой, думать о самом дорогом, что есть у тебя в жизни.

- Вы чего молчите? - не вытерпел старшина, оборачиваясь к Лизе.

- Задумалась, - призналась Лиза, - природой залюбовалась.

- Нравится?

- Очень.

- У меня у самого натура неравнодушная к таким вещам. Я до войны работал с геологами, три года бродил по Алтаю. А горы там разве такие? Против них эти сопки ерунда. Да и природу не сравнишь. В общем, полюбил природу. У меня даже фамилия, по странному совпадению, вроде как бы природная - Кедров. От слова кедр. Знаете такое дерево?

Старшина шел молча, потом спросил:

- Вас как зовут, можно узнать?

- Лиза.

- А я думал Вера. Не угадал. Обычно я всегда точно угадываю имена.

- Это как же, по лицу или по характеру? - усмехнулась Лиза.

- И по лицу, и по характеру, - засмеялся он. - А вообще, это ерунда, конечно, от нечего делать. На войне вы, Лиза, давно?

- Нет. С каким трудом в военкомате упросила, - весело ответила она. - Только без привычки на войне трудно.

- Страшно, хотите сказать?

- Хотя бы...

Старшина пошел рядом с Лизой, раздвигая перед ней траву, сказал:

- Если кто скажет вам, что он привык и не боится на войне, - не верьте ему, Лиза. Все это чепуха. Умирать никому неохота, все боятся. Только некоторые не умеют подавить в себе страх, не могут в нужный момент скрыть его от людей. Все дело в силе воли. Обладаешь таковой - все в порядке. Кроме того, убеждение. Если ты знаешь, за что воюешь, - страх тебя не возьмет. В атаке, например...

- Мы, кажется, дошли, - сказала Лиза, первая ступив на узенькую, малозаметную тропинку, ведущую в сторону фанзы.

Фанза стояла посреди выкошенной поляны, под кущей молодых дубков, бросавших на нее густую тень. Неподалеку виднелся огород, заботливо обнесенный заборчиком из жердей. В огороде росла кукуруза, утомленно склонившая набок спелые, желтые початки. Между грядок с капустой зеленели высокие стебли гаоляна.

Старая глинобитная фанза носила следы недавнего разгрома. Один угол и часть соломенной крыши были тронуты начинавшимся пожаром.

Сорванные с петель двери валялись в стороне. В единственном окошке зияла пустота, и утренний ветерок по-мышиному шуршал клочьями бумаги, заменявшей стекла.

Старшина и Лиза сначала обошли вокруг фанзы и только после этого заглянули внутрь. Фанза состояла из одной продолговатой комнатушки, полутемной и неуютной, как сарай.

Один угол ее занимала фанерная ширма, разрисованная полустершимися цветами. Посреди пола серели закопченные камни первобытного очага, возле стен валялись затоптанные ногами соломенные циновки. Пахло паутиной, золой и застоялой копотью.

Бедность и убожество жилья поразили Лизу.

Остановившись у порога, и сама не зная отчего вдруг расстроившись, она без всякого любопытства осматривала фанзу

и ей никак не удавалось представить жизнь в подобных условиях.

Чем-то очень далеким, страшным повеяло на нее при виде этой фанзы. Так вот как живут люди за границей...

Старшина, пройдя за ширму, позвал оттуда Лизу.

- Идите сюда, сержант.

Лиза подошла. За ширмой валялся, видимо сорванный со стены, шкафчик с битой посудой, а вокруг на циновке темнели какие-то расплывчатые, засохшие пятна.

- Обратите внимание, - сказал танкист, - здесь происходила борьба. Кто-то кого-то ранил. Пятна на полу - это кровь.

- Кровь? - переспросила Лиза, невольно бросая обратно поднятую с пола фарфоровую чашечку, - чья же это кровь?

- Обождите, - насторожился танкист, - в фанзу кто-то вошел. - Он нагнулся и посмотрел в щелку, потом вытянул пистолет из кобуры и, дав знак Лизе следовать за собой, вышел из-за ширмы.

В дверях фанзы, чуть согнувшись в учтивом поклоне, стоял старый китаец. Он, казалось, ожидал русских, потому что едва Лиза и танкист показались из-за ширмы, желтое, как дряблая корка дыни, лицо его растянулось в широкой приветливой улыбке.

- Здласытуй, - нараспев заговорил он, - моя видела вас, моя лаботай оголода, вы ходи сюда, потом я ходи сюда, моя вам лада...

- Кто ты такой? - строго спросил танкист.

- Моя бедный китайза... Лаботай много, кусай мало, плохо зыви...

- Что ты здесь делаешь?

- Моя зыви тута. Дылугой фанза нету...

- Значит, хозяин этого дома?

- Хозяин, хозяин...

Китаец закивал головой и, смущенно опустив руку, посторонился от порога. Лиза из-за спины танкиста внимательно оглядывала китайца. Ее встревожили его глаза, которые как-то не по-старчески живо блестели и бегали в косом разрезе век. В остальном он ничем не отличался от той массы полуголодных и грязных китайцев, которых не раз приходилось видеть девушке за время езды по маньчжурским дорогам.

Китаец был бос, без головного убора, и единственной новой вещью в его одеянии была красная повязка на правом рукаве.

Заметив на себе взгляд девушки, старик низко поклонился в ее сторону и, еще шире открыв желтые кривые зубы, пропел:

- Лусыкий девусыка? Шибко шанго, холосо...

И, подняв кверху большой палец, затряс им в воздухе.

- Где японцы? - спросил старшина.

- Японзы помилай... Лусыкий ходи, все японзы убивай...

- Где убивай, здесь?

- Да, да. Моя фанза забегай пиять японза. Потом лусыкий ходи фанза. Лусыкий бух, бух. Японза моя шибко боялся, моя гаолян сиди...

Китаец показал рукой в сторону огорода.

- А тебе их не жалко? - допытывался старшина, - может быть, пожалел. Они ведь тут у вас долго хозяйничали.

- Моя японза жалко? - возмутился китаец. - Моя сама думай убивай японза. Японза плохой шибко. Моя бил, детка моя бил, гаолян забирай, чумиза забирай. Японза - собака, не шанго.

- Самураев, значит, не перевариваешь, ну а русских? Может быть, тоже?

Китаец отрицательно замотал головой.

- Нету, нету. Лусыкий шанго. Лусыкий китайза товалис...

- Ишь ты, политик. Где же твоя семья, товарищ, дети где, жена?

- Моя семья нету. Семья помирай голоду, моя одна...

- Ну, ладно, - решил старшина, пряча пистолет в кобуру, - давай, старина, о деле поговорим. Ты знаешь, зачем мы пришли к тебе?

- Ваша буди говоли, моя буди знай, - поклонился китаец.

- Нам надо из твоей фанзы вот эту фанеру, эту старую ширму, ничего не имеешь против, если мы ее у тебя унесем?

- Моя согласна, моя лусыкий жалко нету.

- Ну, вот и договорились. Лиза, вы постойте, а я быстренько разберу эту ширмочку.

И старшина с большой ловкостью принялся отрывать и складывать на пол квадратные листы фанеры, китаец наблюдал за работой. Он только один раз скользнул по девушке коротким взглядом, и Лиза опять не могла не обратить внимание на странный блеск его узеньких, черных глаз.

Ей не понравился этот китаец, и она, сколько ни пыталась, не могла подавить в себе неприязненное к нему чувство. Пока старшина разбирал ширму, китаец говорил нараспев:

- Японза плохо воюй, лусыкий холосо воюй. Лусыкий мыного танки, мыного пушки. Японза мала. Японза конец...

- Однако довольно, - прервал его старшина, кончив с перегородкой, - пойдем, Лиза.

Он взвалил фанеру себе на плечи и следом за китайцем пролез в дверь. Лиза шла позади. Китаец проводил их до высокой травы. Кланяясь, он говорил:

- Гуляй моя гости. Моя здеся холосо. Ёзя помидорка, капусыка... Мои будет угощай.

- Спасибо, - сказала Лиза, - придем.

- Сичасливый пути...

- Интересный китаец, - отойдя несколько шагов, сказал танкист, - не спросил я его, почему он в фанзе не живет. Вам он понравился?

- Ничего старик, - уклончиво ответила Лиза.

Ї

К полудню на дне пади стало невыносимо жарко. Высокое белесое небо, круто опрокинутое над падью, дышало томительным зноем. Солнце, окруженное оранжевым кольцом, казалось, неподвижно стояло на одном месте.

Затянутые в поголубевшую зелень, сопки обдавали жаром, словно раскаленные колосники, да и вся падь сделалась похожей на огромную печь, полную сиреневой дымки.

Лиза изнывала...

Она спряталась под грибком, не дававшим, впрочем, никакой защиты от зноя, и, то и дело отирая ладонью струившийся по лицу пот, как избавления ждала, чтобы пронеслась мимо машина и обдала бы ее пыльной прохладной волной.

Но машин, как нарочно, не было. И Лиза тщетно вглядывалась в извилистую даль дороги. За два часа, в течение которых она стояла на посту, ей успела приглядеться так очаровавшая ее утром природа, и ее теперь не занимали ни красиво протянувшиеся сопки, ни зелень, ни расплывчатая перспектива долины.

Пыльная придорожная трава наводила скуку, а от металлического звона цикад кругом шла голова. Только речка, лениво побулькивая, дразнила своей холодной свежестью, заставляла думать о воде.

Лизе хотелось пить. Она сняла с гвоздика, вбитого в столбик, алюминиевую фляжку, потрясла возле уха, снова убеж-

даясь, что она пустая. Ей не хотелось беспокоить подруг, но жажда становилась все настойчивее, и Лиза, уступая ей, крикнула:

- Галя, идите сюда.

Из шалаша тотчас же выбралась Межова и, на ходу подбирая волосы под беретку, подошла к ней. Лицо у Межовой было красное, помятое, на веснушчатом носу блестели капельки пота. Видно было, что полуденный зной мучил и ее.

- Жарко? - участливо спросила Лиза.

- Собиралась отдохнуть, товарищ сержант, да разве в такой бане заснешь? И без того дышать нечем, а тут еще мухи привязались, измучилась. Вы чего меня звали?

- Будьте добры, Галечка, принесите мне попить. Межова вернулась к шалашу, взяла ведро и по траве пошла к речке.

- Будьте осторожны, Галя, - крикнула Лиза вслед.

Межова вернулась без воды. Фыркая и тряся головой, она еще издали заворчала:

- Ну и край. Тут все какие-то гадости, фу...

- Что вы, Галя? - тревожно спросила Лиза.

- Не могу, товарищ сержант, не могу, меня сейчас вырвет, - застонала она в ответ.

Межова села на опрокинутое ведро под грибком, долго отплевывалась. Лиза тормошила ее. - Да расскажите, в чем дело?

- Фу... Прихожу я к речке, на то самое место, где утром воду брала. Зачерпнула полное ведро, поставила его на берег, а сама в воду. Стою по колено, напилась, голову намочила. Вода такая холодная, прозрачная, галька на дне... И вдруг вижу... Что бы вы думали, увидела? Китайца мертвого между корягами.

- Мертвый китаец? - переспросила Лиза, чувствуя, как мурашки поползли по спине, - что вы говорите, откуда он мог там взяться?

- Не знаю. Вы бы видели, у него весь живот распластан... Межова содрогнулась всем телом и, рассматривая свои руки, словно на них остались следы, сказала:

- Подумать только. Китаец, может быть, неделю целую квасился в речке, а я эту воду пила. Ужас!

- Вы и утром там же брали воду? - сама чувствуя подступившую к горлу тошноту, спросила Лиза.

- Ну, конечно, но китайца не заметила...

Î

Как ни было жарко и непривычно, день прошел для девушек все же незаметно. С утра до вечера через перекресток сновали машины, и разноголосый рокот и урчанье их разнообразили жизнь обитателей регулировочного поста. Поэтому-то под вечер, когда за крутыми поворотами дороги скрылась последняя машина и через узкую падь протянулись длинные черные тени сопок, девушки приуныли. Никто не пожаловался и не высказался об этом вслух, однако перемена настроения заметна была у каждой.

Межова, несмотря на то, что скоро должна была заступить на дежурство, продолжала рыть начатый колодец. Тамара, сидя на обочине дороги, задумчиво курила сигарету, что делала, как говорила сама, только в том случае, когда на сердце «ложилась грусть».

Лиза отдыхала в шалаше. Она не спала. Прикрыв глаза, сквозь чуткую полудремоту следила за наступлением чужого, маньчжурского вечера. Нагретая за день солнцем фанера успела остыть, и в шалаш через все щели, словно вода, сочилась вечерняя свежесть. Пахло травой, чуть-чуть сыростью и больше всего тем, особенно приятным и каждому человеку знакомым запахом, который исходит от зелени, распаренной солнцем, при наступлении сумерек. Было тихо. Изредка только, разрывая спокойные мысли девушки, стучались о фанеру какие-то жуки, и, оглушенные ударом, долго скребли по дереву жестяно-жесткими крылышками. Не слышно было даже речки, и Лиза, стараясь уловить ее плеск, вспомнила рассказ Межовой о мертвом китайце.

Этот китаец почему-то весь день не выходил у Лизы из головы. Ей казалось, что между ним и той фанзой, в которой они с танкистом брали фанеру, существовала какая-то непонятная связь. Она старалась найти обоснование многим своим предположениям и догадкам, но, так ни до чего и не додумавшись, махнула на все рукой.

Это ведь только она, конечно, думает о китайце, потому что убитые для нее не успели стать обычным явлением войны. Небось вон Тамару не тревожат подобные вещи.

Лиза открыла глаза и прислушалась. Тамара разговаривала с кем-то, но слов нельзя было разобрать, и Лиза, снова закрывая глаза, подумала. «Опять какой-нибудь лейтенант на радость нашей Тамаре».

- Товарищ сержант, вы не спите? Выйдите на минутку, - раздался голос Межовой.

- Что там такое?

- Да вы выйдите, выйдите, - рассмеялась Межова. Лиза торопливо встала, прибрала волосы и, пригнувшись низко, нырнула в тесную дверцу шалаша. Гость удивил и встревожил Лизу.

Это был тот самый китаец, которого видела она в фанзе. Грязный и оборванный, он сидел на откосе кювета, смешно наморщив желтое скуластое лицо и посасывая длинную тоненькую трубочку.

Рядом с ним стояла круглая соломенная корзинка и в ней, прикрытые листьями гаоляна, лежали какие-то бугристые предметы.

Увидев Лизу, он поспешно поднялся, вынул изо рта трубку и низко-низко поклонился в ее сторону.

- Добрый день, - пропел он гортанным голосом. - Моя зови ваши ходи гости. Чито ваша не ходи?

- Некогда нам, у нас, видите, - за Лизу ответила Тамара и показала флажками на дорогу.

- Моя не понимай, - улыбнулся китаец.

- Некогда, говорю. Работа у нас.

- Лабота? Женьчина нету лабота. Лабота долыжен музчина. Вы надо отдыхай...

- Нет у нас мужчин, сами все делаем, - засмеялась Тамара. - товарищ сержант, я просто восхищена вашим знакомым, честное комсомольское.

- Подожди ты восхищаться, - оборвала ее Межова, со стороны наблюдавшая за разговором, - по-моему, надо узнать, для чего этот старик притащился сюда. Разрешите, товарищ сержант, я с ним потолкую.

- Говори, - кивнула Лиза.

Межова подошла к китайцу.

- Ты для чего пришел сюда? - сказала она строго.

- Моя зачем? - переспросил китаец и еще приветливее и шире улыбнулся, - моя бедный китайза. Японза была - моя жила плохо. Кушай нету, сывобода нету, моя мала-мала не помирай... Лусыкай бедный китайза давал сывобода, моя говори ему сипасибо, лусыкий. Ваше тозе лусыкий. Моя вам мала-мала неси подарка, вота.

Китаец поднял корзину и сбросил с нее гаоляновые листья. В корзине вишнево-зеленой горкой грудились спелые крупные помидоры и кривые серпообразные маньчжурские огурцы.

- Это нам? - изумилась Межова.

Китаец утвердительно кивнул.

Вам, моя. Моя высе отдавай, моя дари вам.

Девушка запротестовала:

- Ну, нет, мы не возьмем, с какой стати...

Лицо китайца выразило огорчение.

- Ваше не бери. Моя будет шибко обижай...

- Что будем делать, товарищ сержант? - в нерешительности спросила Межова.

- А что делать? - вмешалась Тамара, - взять и все! Нельзя же, в самом деле, отказываться, если человек предлагает такое добро. Возьмем да скушаем за его здоровье.

- Не в этом дело, - возразила Межова, - человек, может, последнее принес, а мы...

- Ну, и что же? Мы ведь не просим у него и не отбираем, делает он все это по доброй воле. Как никак, Советская Армия ему принесла свободу, а это подороже овощей. И вообще глупо отказываться от подарков.

- По-моему, тоже можно принять подарок, - сказала Лиза, - сварим сегодня борщ со свежими овощами.

- Вот это дело, - засмеялась Межова, - а ну-ка, старина, давай сюда свою посудину.

Она схватила корзину, мигом слетала к шалашу и, вернувшись, возвратила китайцу пустую корзину.

- Вот, папаша, возьми за свои овощи, - сказала она, бросая на дно корзины два мешочка с японскими галетами.

Китаец благодарно изогнулся.

- Спасибо, балысня... И ваша спасибо, - поклонился он в сторону Лизы, - теперя моя пойдет. - Он повесил корзину на руку, сунул трубку в рот, и еще раз отвесив низкий поклон, зашаркал в сторону моста.

- Да ты, старик, не в ту сторону подался, где твоя фанза! - со смехом окликнула его Межова.

Китаец обернулся.

- Моя надо ходи один товалиса, туда ходи, - махнул он рукой вдоль дороги, - далеко зыви товалиса, моя фанза его ночию приходи. Назад ходи буду утыром.

Говорить с ним больше не стали, и китаец, выжидательно постояв с минуту, медленно побрел по дороге, тяжело переставляя в пыли босые ноги.

Посещение поста китайцем помогло девушкам забыть про уныние, навеянное наступающим вечером. Живо обсуждая разговор с китайцем, долго просидели они вместе на обочине дороги.

- Честное комсомольское, старик мне понравился, - ладонью разглаживая на коленях смятые флажки, говорила Тамара.

- Ну, уж, положим, забавного в нем не так-то и много, - возразила Межова, - а вот овощи, действительно, ничего.

Огурцы и помидоры лежали на разостланной плащ-палатке соблазнительной грудой.

- Ого, сколько! - восхищалась Тамара.

- Идите, Каценко, - сказала Лиза, - вы же знаете, что пост нельзя оставлять ни на минуту.

- Эх, горе, - вздохнула недовольно Тамара, но возражать не стала. Прихватив с собой пару огурцов, она пошла к грибку.

- Галя, давайте, попробуем сварить борщ с помидорами.

- Давайте, с чего начнем?

- По-моему, начнем с воды.

- Принесу.

- А как речка? Вы же не хотели ходить туда за водой?

- А я и не пойду. Я колодец свой докопала, и в нем вода уже отстоялась. Вот, попробуйте, какая замечательная вода.

Межова схватила ведро и стремглав побежала к колодцу. Лиза принялась чистить картошку. Тамара, расхаживая по дороге, напевала вполголоса:

И к ней придешь,
И ко мне придешь,
С кем гулять пойдешь -
Неизвестно.

«Странная она, а вообще неплохая девушка», - подумала Лиза.

Галя вернулась с водой быстро, точно слетала по воздуху.

- Попробуйте, товарищ сержант.

Лиза отпила глоток и похвалила воду. Межова просияла.

- Вот видите! Ну, я принимаюсь за костер.

Она взяла топор и принялась тесать щепки, и несколько минут спустя перед шалашом, раздвигая сумерки, весело затрещал багрово-красный языкастый костер.

- Хорошо, как на покосе, - вздохнула Межова, приставляя к огню закопченную алюминиевую кастрюлю. - Вы любите покос, товарищ сержант?

- Я не была на покосе, я ведь, Галя, из города и больше всего люблю, когда весной в нашем парке распускаются деревья, - немного мечтательно сказала Лиза, вспомнив небольшой, но уютный садик в своем городе.

- А мне нравится покос. Когда я была еще совсем маленькой девочкой, отец меня брал смотреть, как сено косят. А потом выросла, стала сама работать в колхозе и полюбила сенокос. Никогда не забуду, какие вечера бывали. Тихие, душистые, теплые... Помните, трава, когда растет, не так пахнет, а как скосишь ее, идешь вечером с работы, а кругом под ногами скошенная трава хрустит и так пахнет, голова кружится, точно мед в воздухе разлит... Перепела кричат, звезды в небе - замечательно! Так замечательно, что и не расскажешь. Мы, девчата, на работу и обратно всегда с песнями ходили. Как заведем, бывало, «Рябину» или «На закате ходит парень», - в соседнем колхозе слышно. Наших девчат так и звали - голосистые. На областной олимпиаде наш хор первое место занял. Ох, и старались же! - Межова замолчала, обхватила колени руками, посмотрела куда-то в небо, вздохнула:

- Скучаю я, товарищ сержант, домой хочется, на покос, работать с девчатами. Надоела мне эта заграница, как горькая редька. Сердце у меня лопается от ихних порядков. Разве это жизнь, если на людях как на лошадях разъезжают? Вы помните тот городишко, возле самой границы? Мы в него с Тамарой попали первыми, с разведкой. И сразу на вокзал. А там поезд ожидали. И китайцев этих с тележками - рикш - человек двадцать стоят, пассажиров поджидают. Увидели нас, «шанго» кричат, предлагают - садитесь, мол, увезем куда угодно, бесплатно. Все мы, конечно, отказались. В это время подходит какой-то господин, хорошо одетый, морда - во, с чемоданчиком. Одного ощупал рикшу, другого, взобрался на коляску, усаживается. Ребята спрашивают китайцев, что эта за человек. Оказывается, американец, не то купец, не то служащий какой. А рикш осматривает, чтобы выбрать покрепче, ехать ему далеко, километров пять. Возмутились ребята. Подходят к нему: «Слезай»! А он и не думает, развалился на мягком сиденье, в зубах сигарета: «Я, - говорит, - иностранец, лицо неприкосновенное, меня нельзя трогать». А его и не тронули, - Межова усмехнулась, - ребята наши знают порядки, просто вытряхнули, а рикш всех - по домам.

- Галя, пора спускать картошку, вода кипит, - смеясь, сказала Лиза.

- Сейчас...

Межова встала, выложила нарезанную Лизой на фанерке картошку в кастрюлю и, снова усевшись у костра, стала подкладывать дрова в огонь.

Лизе хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, ласковое, и она, глядя на прыгающее пламя костра, подбирала слова. Но нужных слов не приходило на ум. Лиза подумала о своем друге Викторе. Где он теперь, и жив ли? Он с самого начала шел с наступающей армией. От мысли, что он мог сейчас быть убитым или раненым, у нее больно защемило сердце, и Лиза больше для себя, чем для подруги, сказала:

- Ничего, Галя. Вернемся домой, работать будем, любить, все будет так, как нам мечтается. Я тоже соскучилась по школе. Я ведь, Галя, учительница.

È

За разговорами не заметили наступления ночи. Темная и мягкая, она как-то осторожно прокралась по сопкам и сразу заполнила падь непроницаемо-чернильным мраком. Было так тихо, что треск костра напоминал сухие пощелкивания далеких выстрелов. В дрожащем красно-голубом отблеске огня казались фантастически причудливыми окружающие предметы. Дорога походила на широкий, чуть наклоненный, дощатый забор.

Трава напоминала колеблющийся над водой тростник, а искры от костра улетали вверх и долго сияли во мраке яркими золотыми звездами.

Ужинали на разостланной перед шалашом плащ-палатке. Межова хвалила борщ:

- Не блюдо, а объедение. Дай бог здоровья этому китайцу за его доброту, а нам за то, что умело сварили. Правда, товарищ сержант?

Пользуясь тем, что все были в сборе, Лиза сказала:

- Дежурить ночью будем по двое. Сейчас Межова и я - на пост. Вы, Каценко, можете вздремнуть. Ясно?

После ужина, быстро собравшись, Лиза и Межова отошли от костра.

- Будем ходить по дороге, - сказала Лиза, - так не захочется спать.

- Давайте, товарищ сержант, мы с вами продежурим до утра.

- Да? Ну, что же, до утра, так до утра, - согласилась Лиза.

Разговаривая, они дошли до грибка. Вдруг Галя тревожно схватила подругу за руку.

- Что это такое, смотрите?

Лиза взглянула в ту сторону и невольно вздрогнула. В темной траве, за дорогой и дальше, до самых сопок, точно огоньки бесчисленных папирос, вспыхивая и потухая, двигались зеленые точки.

Ничего не понимая, девушки смотрели с минуту молча, очарованные и немного перепуганные этими странными, невесть откуда взявшимися огоньками. Потом Межова отошла в траву и вернулась, смеясь.

- Вот они, папироски, - сказала она, разжимая кулак. На ладони у нее лежал крошечный, похожий на уголек, зеленый комочек и точно так же, как все остальные в траве, потухал и загорался слабым, точно мерцающая звездочка, светом.

- Да ведь это же светлячки, - догадалась Лиза, - малюсенькие такие жучки...

Она потянулась рукой, но светлячок выскользнул из-под пальцев и, вспорхнув, исчез в темноте.

- Улетел, - сожалеюще вздохнула Галя, - и рассмотреть не успели. Забавные насекомые, почему они светятся, товарищ сержант?

- Фосфор у них на крыльях, - пояснила Лиза.

- Можно подумать, что в траве тысячи самураев прячутся. Я испугалась, - созналась Межова. - Давайте о чем-нибудь говорить, товарищ сержант?

- О чем же мы будем говорить?

- А давайте помечтаем о чем-нибудь интересном, далеком. Я люблю мечтать! У меня, когда я мечтаю, на сердце как-то легче. А у вас не бывает так?

- Ты, Галя, все какие-то странные вещи говоришь, я даже не знаю, что тебе ответить. Мечтать, так мечтать, с чего начнем?

- С будущего. Я вот всегда думаю, вернусь с войны и случится со мной что-нибудь необыкновенное...

- Что же случится?

- Не знаю. А думаю, почти уверена, что случится. Может быть, это глупость, и ничего со мной особенного и не будет.

- Будет, Галя, обязательно будет. Приедешь домой, встретишь хорошего человека, полюбишь его. Вот тебе и необыкновенное. Любить человека, Галя, это тоже необыкновенное явление в жизни.

- Нет, товарищ сержант, у меня этого не будет. Мне в жизни не везет, я несчастливая.

- Неправда, Галя, - возразила Лиза. - Ты, наоборот, очень счастливая. Ты такую войну прошла и осталась жива. Разве это не счастье? А потом, сколько тебе лет, у тебя вся жизнь впереди.

- Учиться я поеду. Мне еще до войны предлагали ехать в город, в сельскохозяйственный техникум. Не поехала тогда, а теперь обязательно поеду.

Девушки вернулись к грибку и некоторое время стояли молча. Лиза смотрела на догорающий костер, и ленивые языки пламени костра казались ей взмахами крыльев какой-то очень красивой птицы.

Пламя то спадало, то высоко вскидывалось вверх, словно птица пыталась подняться в ночную темь, трепыхая красными изломанными крыльями.

В шалаше, укладываясь спать, Тамара напевала:

На заре туманной,
На рассвете сером,
Не придет мой милый,
Не придет за мной.
Парень небывалый,
Ласковый, хороший,
Он, наверно, ходит
С девушкой другой...

«А где-то теперь Виктор?» - подумала Лиза и зябко поежилась.

Сразу как-то стало прохладно. Девушка хотела сходить за плащ-палаткой, но в это время Межова, вздохнув, сказала протяжно:

- Лу-у-на ско-о-ро взойдет...

Лиза рассмеялась.

- Вы, Галя, что-то говорить стали нараспев, не спать ли хотите?

- Нет, не хочу, а вы?

- Мне, Галя, одна мысль на ум пришла. Знаете какая?

- Скажите, товарищ сержант...

- А что, если нам...

- Обождите, - остановила ее Межова, - по-моему, через мост кто-то прошел.

- Да? А вы не ослышались?

- Честное слово, будто кто подошвами шаркал...

Девушки замерли на миг, прислушиваясь.

Но ничего постороннего не уловил их слух. Только речка привычно журчала, и кроме нее ни единого звука не вплеталось в спокойную плотную чернь ночи.

- Неужели мне показалось? - разочарованно протянула Межова, - верите, товарищ сержант, слышала я это шарканье, и знаете, какое? Вечером, помните, китаец шел по дороге? Так вот он так шаркал босыми ногами.

- Не знаю. Во всяком случае, надо быть наготове. Давайте-ка, Галя, оружие поставим на боевой взвод.

Лиза сняла с плеча автомат. То же сделала и Межова.

- Будем, как настоящие часовые, вот так, - рассмеялась она, - почему так долго луны не видно?

- Может быть, тучи на небе?

- Я тоже думаю. Звезд не видно, а может, здесь и вовсе звезд не бывает?

Лиза промолчала. Встревоженная смутным предчувствием опасности, она до боли в глазах всматривалась в слепую темень ночи. Раза три от шалаша до грибка прошли они молча. Потом Межова сказала:

- Наш знакомый что-то не возвращается.

- Ты про китайца, что ли?

- Ну да. Напился, наверное, своей ханжи и дры... - Она не договорила. Над мостом на один миг блеснуло клинообразное белое пламя и сразу погасло, расплескавшись на множество проворно забегавших по бревнам радужных язычков огня...

От моста, отчетливо обрисовавшегося на фоне сопок, испуганно шарахнулась темнота...

- Мост! - сдавленно крикнула Лиза, до боли стискивая руку Межовой. Изумленная и ошарашенная, она на время лишилась способности что-либо соображать и широко открытыми глазами смотрела на огонь. Но сознание опасности оказалось сильнее страха, и это быстро вывело девушку из состояния оцепенения.

- Это японцы, слышишь! - крикнула Лиза, хотя подруга стояла рядом, - беги! Галя, разбуди Тамару, нам надо что-то делать...

Она не знала еще, что надо делать, но понимала необходимость какого-нибудь действия. Лиза с силой толкнула девушку назад, а сама, не чувствуя под собой ног, кинулась к мосту. «Ну, вот, и началось», - подумала она на бегу.

«Куда я бегу, а если на мосту японцы?» - резанула острая, тревожная мысль. Лиза придержала шаг, охваченная холодным, отнимающим силы страхом. Хотелось упасть на дорогу, отползти в траву, спрятаться...

Но Лиза переборола себя и, закусив губы и до боли в пальцах стиснув автомат, снова побежала вперед.

Пожар разгорался на середине моста. Отдельные огоньки успели уже слиться в одно широкое пламя, которое со змеиным шипением лизало сухой бревенчатый настил моста. Далеко на траве и курчавой зелени ветел качались ребристые тени перил...

«Надо броситься в пламя, топтать и тушить его», - совсем отчетливо подумала Лиза. Она хотела обернуться и крикнуть подругам, чтобы они не забыли захватить ведро и веревку, но в это время очень длинная на фоне огня тень человека метнулась в ее сторону, и Лиза, увидев ее, замерла. Всего один миг стояла перед ней эта кривая тень, но и этого было достаточно, чтобы девушка узнала в ней знакомого старика-китайца.

Лицо китайца не улыбалось. Оно было все искажено гримасой злобы, страшное, как маска. В руках у него сверкнул нож. Мысль о том, что китаец ударит ее сейчас ножом, собрала всю волю девушки. Лиза изо всех сил вдавила пальцы в выступ спускового крючка и, не целясь, пустила длинную очередь из автомата. И в тот же миг почувствовала удар и жгучую боль в плече.

Вскрикнув, она отскочила в сторону, а китаец упал, ткнувшись лицом в дорогу. Он даже не шевельнулся и, как упал, так и остался лежать полусогнутый, словно кошка, вытянув перед собой руку с длинным винтовочным ножом. С минуту Лиза стояла неподвижно, как приросшая к месту, и, не в силах успокоить бешено колотившееся сердце, смотрела на убитого. Руки ее, державшие автомат, тряслись.

Она не заметила, как прибежали подруги. Тамара, придерживая на бегу растрепавшиеся волосы, пробежала прямо к огню. Межова остановилась возле Лизы.

- Боже, китаец наш? - изумленно воскликнула она, склоняясь над трупом, - он ранил вас? Сильно, товарищ сержант?

- Это не китаец, это японец, он обманул нас своими овощами, - стуча зубами от пережитого нервного напряжения, сказала Лиза, - он, собака, выдавал себя за китайца, которого сам же и прирезал...

Девушки замерли на миг, прислушиваясь.

Но ничего постороннего не уловил их слух. Только речка привычно журчала, и кроме нее ни единого звука не вплеталось в спокойную плотную чернь ночи.

- Неужели мне показалось? - разочарованно протянула Межова, - верите, товарищ сержант, слышала я это шарканье, и знаете, какое? Вечером, помните, китаец шел по дороге? Так вот он так шаркал босыми ногами.

- Не знаю. Во всяком случае, надо быть наготове. Давайте-ка, Галя, оружие поставим на боевой взвод.

Лиза сняла с плеча автомат. То же сделала и Межова.

- Будем, как настоящие часовые, вот так, - рассмеялась она, - почему так долго луны не видно?

- Может быть, тучи на небе?

- Я тоже думаю. Звезд не видно, а может, здесь и вовсе звезд не бывает?

Лиза промолчала. Встревоженная смутным предчувствием опасности, она до боли в глазах всматривалась в слепую темень ночи. Раза три от шалаша до грибка прошли они молча. Потом Межова сказала:

- Наш знакомый что-то не возвращается.

- Ты про китайца, что ли?

- Ну да. Напился, наверное, своей ханжи и дры... - Она не договорила. Над мостом на один миг блеснуло клинообразное белое пламя и сразу погасло, расплескавшись на множество проворно забегавших по бревнам радужных язычков огня...

От моста, отчетливо обрисовавшегося на фоне сопок, испуганно шарахнулась темнота...

- Мост! - сдавленно крикнула Лиза, до боли стискивая руку Межовой. Изумленная и ошарашенная, она на время лишилась способности что-либо соображать и широко открытыми глазами смотрела на огонь. Но сознание опасности оказалось сильнее страха, и это быстро вывело девушку из состояния оцепенения.

- Это японцы, слышишь! - крикнула Лиза, хотя подруга стояла рядом, - беги! Галя, разбуди Тамару, нам надо что-то делать...

Она не знала еще, что надо делать, но понимала необходимость какого-нибудь действия. Лиза с силой толкнула девушку назад, а сама, не чувствуя под собой ног, кинулась к мосту. «Ну, вот, и началось», - подумала она на бегу.

«Куда я бегу, а если на мосту японцы?» - резанула острая, тревожная мысль. Лиза придержала шаг, охваченная холодным, отнимающим силы страхом. Хотелось упасть на дорогу, отползти в траву, спрятаться...

Но Лиза переборола себя и, закусив губы и до боли в пальцах стиснув автомат, снова побежала вперед.

Пожар разгорался на середине моста. Отдельные огоньки успели уже слиться в одно широкое пламя, которое со змеиным шипением лизало сухой бревенчатый настил моста. Далеко на траве и курчавой зелени ветел качались ребристые тени перил...

«Надо броситься в пламя, топтать и тушить его», - совсем отчетливо подумала Лиза. Она хотела обернуться и крикнуть подругам, чтобы они не забыли захватить ведро и веревку, но в это время очень длинная на фоне огня тень человека метнулась в ее сторону, и Лиза, увидев ее, замерла. Всего один миг стояла перед ней эта кривая тень, но и этого было достаточно, чтобы девушка узнала в ней знакомого старика-китайца.

Лицо китайца не улыбалось. Оно было все искажено гримасой злобы, страшное, как маска. В руках у него сверкнул нож. Мысль о том, что китаец ударит ее сейчас ножом, собрала всю волю девушки. Лиза изо всех сил вдавила пальцы в выступ спускового крючка и, не целясь, пустила длинную очередь из автомата. И в тот же миг почувствовала удар и жгучую боль в плече.

Вскрикнув, она отскочила в сторону, а китаец упал, ткнувшись лицом в дорогу. Он даже не шевельнулся и, как упал, так и остался лежать полусогнутый, словно кошка, вытянув перед собой руку с длинным винтовочным ножом. С минуту Лиза стояла неподвижно, как приросшая к месту, и, не в силах успокоить бешено колотившееся сердце, смотрела на убитого. Руки ее, державшие автомат, тряслись.

Она не заметила, как прибежали подруги. Тамара, придерживая на бегу растрепавшиеся волосы, пробежала прямо к огню. Межова остановилась возле Лизы.

- Боже, китаец наш? - изумленно воскликнула она, склоняясь над трупом, - он ранил вас? Сильно, товарищ сержант?

- Это не китаец, это японец, он обманул нас своими овощами, - стуча зубами от пережитого нервного напряжения, сказала Лиза, - он, собака, выдавал себя за китайца, которого сам же и прирезал...

- Вы ранены, у вас кровь, - перебила ее Межова, - я перевяжу сейчас...

- Надо тушить огонь, - нетерпеливо сказала Лиза, - тушить огонь, чтобы спасти мост. - Она взглянула на свое плечо, на котором Межова разорвала гимнастерку, увидела темную, стекающую ручейками кровь.

- Я сейчас, сейчас, - торопливо зашептала Межова.

- Пожар надо потушить во что бы то ни стало, - стиснув зубы, сказала Лиза.

Только теперь, когда Межова прикоснулась к ране, Лиза почувствовала сильную боль. Рана вдруг так загорелась и заныла, что Лиза невольно заплакала.

Ей было обидно за свою слабость, она отворачивалась, стараясь не показать Межовой слезы, торопила ее.

- Вам надо лечь, товарищ сержант, я отведу вас в шалаш, - говорила Межова, затягивая узел бинта.

- Надо тушить огонь, понимаете? - сердито сказала Лиза и, высвободившись из рук Межовой, побежала на мост, где уже металась фигура Тамары Каценко.

Рано утром к мосту подошла машина командира взвода.

Лиза, вся почерневшая от копоти, смертельно усталая, доложила лейтенанту:

- Пожар ликвидирован, мост готов к пропуску транспорта, среди личного состава поста потерь нет.

И торопливо, тылом ладони, смахнула выступившие на глазах непрошеные слезинки.

...Светало. На бледно-розовом небе постепенно вырисовывались ломаные очертания сопок. В Голубой пади начинался новый день.

РАССКАЗЫ

СОЛОВЕЙКО

Женщинам - участницам войны.

Она случайно попала к нам в эшелон...

Мы возвращались из Германии с победой. В Бресте цвела сирень: голубая душистая кипень бушевала на станции, на прилегающих улицах города, израненного войной.

И там, в стране поверженного врага, откуда мы ехали, хозяйничала весна, цвели опаленные огнем возмездия сады. Но там была чужбина, а здесь - своя земля, Россия, и звездчатые медвяные гроздья сирени ввергли нас в хмельную радость встречи с родиной.

Тогда еще подвиг защитников Бреста не был так широко известен. Мы не знали, что совсем рядом с городом вздымались руины легендарной крепости, принявшей первые удары фашистских захватчиков, и, используя недолгую стоянку эшелона, в каком-то счастливом опьянении, наламывали сирени, охапками таскали ее в вагоны. В дверях мы передавали букеты молоденькой светловолосой девушке, в суматохе как-то не замечая того, что она совсем чужая, незнакомая. А когда хватились, поезд уже тронулся.

Так она и осталась в вагоне, эта, невесть откуда взявшаяся дивчина, с одинокой медалью «За отвагу» на застиранной до белизны солдатской гимнастерке. Нет, мы не стали проверять у нее документы, не стали допытываться, кто она, мы просто обрадовались, это было здорово: полный вагон сирени и девушка!

Впрочем, незнакомка сама о себе рассказала. Санитарка одного из полевых госпиталей, она ехала домой в город Лисичанск, в Донбассе. Нашелся братишка - один из всей, некогда многочисленной ее шахтерской семьи, и ей дали отпуск из части для устройства семейных дел. А так как пассажирский поезд отходил только на следующий день - рискнула забраться в попутный эшелон, чтобы не терять времени: свои - военные, авось не прогонят. Отпуск-то всего-навсего десять дней!

Имя у нее было красивое: Оксана. И оно так шло к ней: к пшеничного цвета косе, едва вмещавшейся под пилоткой, к певучему по-украински голосу, к большим застенчивым глазам под круто выписанными бровями - настоящим очам.

Мы не успели опомниться, как оказались на положении подчиненных у случайной нашей попутчицы. По ее команде в вагоне моментально был наведен порядок: под откос полетел всякий трофейный хлам, хозяйственно прихваченный хлопцами. Сама она взялась за веник, потом расставила цветы и, когда все было готово и уже нечего было больше делать, довольная, присела на краешек нар и со смущенной улыбкой спросила:

- Можно я поспиваю? - и тут же поторопилась объяснить, как бы оправдываясь. - Мне завсегда хочется петь, когда хорошо на душе. А куда же еще лучше? Я еду, а не торчу на вокзале, ребята вы все такие добрые да приветливые. И с Васильком, братиком своим, все уже порешила: пока у добрых людей оставлю, а вернусь до части, буду просить, чтобы воспитанником взяли, или в Суворовское училище направили, чтобы, как и батько, в армии нашей был командиром. Кроме того ж, победа, и войне той проклятущей насовсем конец.

И Оксана запела:

Стоит горы высокая,
А пид горою гай...

Голос у нее был густой, задушевный, полный той невыразимой проникновенности, один из тех голосов, которые бывают, наверное, только на Украине. Охотников послушать Оксану набралось много: люди понабились к нам в вагон чуть не со всего эшелона. Слушали, подхватывали песню хором и опять слушали с величайшим вниманием и признательностью.

А голос Оксаны звучал то грустно и задумчиво, то весело, то лукаво. Мы все до единого, наверное, были в этот момент в отношении ее настроены одинаково: для нас она была олицетворением всех женщин, которых мы любили, держали в сердце, о которых так истосковались. И пение ее одинаково действовало на всех: уносило в прошлое, оставшееся за гранью войны, щемило душу незабытых потерь, радовало и волновало близким, светлым будущим, в которое верилось каждому из нас в минуты тяжких испытаний.

Мы не знали еще, что едем не по домам, а очень далеко на Восток, через всю страну, объятую победным ликованием, чтобы там, на туманных сопках Маньчжурии разметать последний завал на пути к миру. И что нашей милой певунье не суждено добраться до своего родного Лисичанска и увидеть брата.

А поезд мчал нас сквозь весеннюю ночь мимо разбитых станций, приветливо мигавших вслед редкими огоньками фонарей, торопливым перестуком колес вспугивал дремлющую тишину. Давали о себе знать леса: в вагон, одолевая аромат сирени, врывались тугие волны свежести. Пахло молодыми листьями, болотом и милой с детства, щемящей сердце воспоминаниями, грибной прелью. А в редкие минуты, когда поезд приостанавливался и стихала песня, из леса доносилось хрустальное пощелкивание соловья.

И вдруг, ночной, неразличимый в темноте наш мирный лес, полный запахов и соловьиного перезвона, зловеще дохнул на нас смертью. Весеннее, задумчивое безмолвие леса вдребезги раскололось от грохота выстрелов. Пулеметная очередь свинцовым бичом хлестнула по вагонам. На полуслове оборвалась песня. Это была засада, трусливо устроенная в лесу одной из банд националистов, которых немало наоставляли на советской территории гитлеровцы.

Похватав оружие, мы высыпали из эшелона. Завязался бой. За всем этим мы как-то забыли о нашей спутнице: успели заметить, как она вместе со всеми кинулась из вагона. А когда спустя полчаса после прочесывания леса, мокрые от росы, разгоряченные схваткой, вернулись, Оксаны уже не было в живых. Раненых в эшелоне оказалось человек пятнадцать, а убита она одна.

Девушка лежала на траве лицом вверх, и командир взвода связи лейтенант Прокопчик, которому она перевязывала плечо, стоя возле нее на коленях, не скрывая своих слез, пытался осторожно высвободить кончик бинта из ее пальцев, успевших взяться восковой желтизной.

Хоронили Оксану тут же, вблизи железнодорожной насыпи, когда уж начал заниматься день. На свежий глинистый холмик сложили всю сирень: она еще не успела завянуть.

Нам не хотелось оставлять могилу безымянной, и на ошкуренном, слезившемся березовым соком столбике лейтенант Прокопчик одной рукой, перочинным ножом вырезал имя девушки, фамилии мы ее не знали. Как-то так вышло, что и документов ее не оказалось под руками: наверное, их успел взять кто-то из работников штаба, чтобы сообщить о гибели санитарки по месту службы. И лейтенант Прокопчик, с молчаливого согласия всех, вывел после имени Оксана - Соловей... Потом подумал и, вспомнив, видимо, украинские песни, добавил еще один слог: Соловейко.

...Эхо прощального залпа долго перекатывалось над лесом, рождая отзвуки, дробилось, множась и печально аукая вдали. И едва оно смолкло - защелкал соловей. Сначала один и несмело, словно понимая печаль. Потом к нему присоединился второй, третий... Голоса их окрепли, и вскоре лес весь уже звенел трелями.

Удивительные это существа - соловьи военных лет. Они не покидали мест, где шли бои: лишь смолкали с началом сражения и снова принимались за свой концерт, как только стихали выстрелы. Пение их было неистребимо, как сама жизнь.

ТРОФЕИ СТАРШИНЫ БАРАБАНОВА

То была удивительная весна - первая весна мира, тишины. Природа словно хотела подчеркнуть торжество жизни. Из-под каждого камня развалин, из каждой расщелины, снарядной воронки неудержимо лезла зелень. В садах неистовствовали соловьи. В городе, в порту с его застывшими горбатыми кранами, по всей земле поверженного врага шла пора цветения. Сначала цвели сливы и сирень, затем - яблони и акации и после всего - каштаны: за одну ночь их точно увешали снизу доверху белыми канделябрами. Каштанов в этом старинном приморском городе было много. Окраинная улица, где стояла наша часть, так и называлась - Аллея каштанов.

Рота моя занимала двухэтажный каменный особняк с садом, в котором рос, главным образом, крыжовник. Старшина роты Барабанов почему-то сразу взял сад под строгий надзор и даже переселился в небольшой застекленный домик садовника вместе со всем своим старшинским имуществом. Впрочем, последнее не очень удивляло: человек он был по натуре замкнутый, предпочитал уединение.

До войны старшина Барабанов работал в колхозе бригадиром, имел еще с тех давних времен орден за высокие урожаи льна. Год назад у него погибла семья в одном из районов Белоруссии: расстреляли фашистские каратели за связь с партизанами. Я сам отпускал его домой: деревня оказалась почти в полосе нашего наступления. Барабанова как будто подменили за день отлучки: лицо потемнело, гуще засеребрились сединой виски, и в глазах появилось выражение, незаметное раньше. Это был огонь гнева, жгучей непреоборимой ненависти к врагу. Два солдатских ордена Славы прибавилось с тех пор на

его гимнастерке, прибавилась красная с золотом полоска за ранение, а огонек неугасимо тлел в сосредоточенных глазах старшины.

Незачем повторять, какое это было счастье - окончание войны... В роте то и дело взрывался веселый хохот, звучали песни. Во время войны тоже и смеялись, и пели, но не так. Я не узнавал своих людей, всех точно подменили. И только старшина Барабанов оставался прежним: не сделался разговорчивым, не оттаял и не повеселел. Казалось, победе даже не радовался. Во всяком случае, внешне он этого никак не выражал. Ему словно мешал не вылитый до конца гнев к врагу, неутоленная жажда расплаты. Все так же, молча, копался он в своем деревянном, наверное, еще из дому захваченном сундучке с большим навесным замком. Никто не знал, что у него в нем. Полагали, что трофеи. Но вот какие именно, не удавалось выведать даже многоопытным ротным разведчикам. Старшина держал сундучок на таком же крепком запоре, как и свою душу.

Жили мы ожиданием новых радостных перемен. Чувствовалась уже атмосфера близкой демобилизации. Солдаты отдыхали после тяжких ратных трудов. Кто постарше, готовились домой: чеботарили, портняжничали, приводили в порядок несложный солдатский багаж. Остальные на досуге бродили по городу, по местам недавних боев, обследовали, любопытства ради, каждый уголок вокруг. Не оставался без внимания и сад. Крыжовник был еще зелен, но его все равно рвали. Рвали не для того, чтобы есть, а из удовольствия, как бы стараясь лишний раз убедиться в том, что вернулась мирная жизнь и можно делать что угодно, даже вот так, по-ребячьи, забраться в сад. Смешно и трогательно было смотреть, как взрослые люди, ходившие не один раз под пулями, теперь с пилотками в руках, как мальчишки, крались между кустами крыжовника, торопливо срывали недозрелые ягоды, озираясь, не увидел бы старшина, а потом весело показывали друг другу, кто сколько успел нарвать.

Старшина отучил от сада: одних наругал, вторым сделал внушение, третьим пригрозил нарядом вне очереди. Помогло. Но вот с настоящими ребятишками ничего не мог поделать. Это были немецкие дети, пережившие ужасы войны, начатой их отцами. Ягоды служили для них своего рода подножным кормом. Стоило грозному «рус фельдфебелю» (так называли немцы нашего старшину) отлучиться из своего стеклянного домика, как сад немедленно подвергался нападению.

...Эхо прощального залпа долго перекатывалось над лесом, рождая отзвуки, дробилось, множась и печально аукая вдали. И едва оно смолкло - защелкал соловей. Сначала один и несмело, словно понимая печаль. Потом к нему присоединился второй, третий... Голоса их окрепли, и вскоре лес весь уже звенел трелями.

Удивительные это существа - соловьи военных лет. Они не покидали мест, где шли бои: лишь смолкали с началом сражения и снова принимались за свой концерт, как только стихали выстрелы. Пение их было неистребимо, как сама жизнь.

ТРОФЕИ СТАРШИНЫ БАРАБАНОВА

То была удивительная весна - первая весна мира, тишины. Природа словно хотела подчеркнуть торжество жизни. Из-под каждого камня развалин, из каждой расщелины, снарядной воронки неудержимо лезла зелень. В садах неистовствовали соловьи. В городе, в порту с его застывшими горбатыми кранами, по всей земле поверженного врага шла пора цветения. Сначала цвели сливы и сирень, затем - яблони и акации и после всего - каштаны: за одну ночь их точно увешали снизу доверху белыми канделябрами. Каштанов в этом старинном приморском городе было много. Окраинная улица, где стояла наша часть, так и называлась - Аллея каштанов.

Рота моя занимала двухэтажный каменный особняк с садом, в котором рос, главным образом, крыжовник. Старшина роты Барабанов почему-то сразу взял сад под строгий надзор и даже переселился в небольшой застекленный домик садовника вместе со всем своим старшинским имуществом. Впрочем, последнее не очень удивляло: человек он был по натуре замкнутый, предпочитал уединение.

До войны старшина Барабанов работал в колхозе бригадиром, имел еще с тех давних времен орден за высокие урожаи льна. Год назад у него погибла семья в одном из районов Белоруссии: расстреляли фашистские каратели за связь с партизанами. Я сам отпускал его домой: деревня оказалась почти в полосе нашего наступления. Барабанова как будто подменили за день отлучки: лицо потемнело, гуще засеребрились сединой виски, и в глазах появилось выражение, незаметное раньше. Это был огонь гнева, жгучей непреоборимой ненависти к врагу. Два солдатских ордена Славы прибавилось с тех пор на

его гимнастерке, прибавилась красная с золотом полоска за ранение, а огонек неугасимо тлел в сосредоточенных глазах старшины.

Незачем повторять, какое это было счастье - окончание войны... В роте то и дело взрывался веселый хохот, звучали песни. Во время войны тоже и смеялись, и пели, но не так. Я не узнавал своих людей, всех точно подменили. И только старшина Барабанов оставался прежним: не сделался разговорчивым, не оттаял и не повеселел. Казалось, победе даже не радовался. Во всяком случае, внешне он этого никак не выражал. Ему словно мешал не вылитый до конца гнев к врагу, неутоленная жажда расплаты. Все так же, молча, копался он в своем деревянном, наверное, еще из дому захваченном сундучке с большим навесным замком. Никто не знал, что у него в нем. Полагали, что трофеи. Но вот какие именно, не удавалось выведать даже многоопытным ротным разведчикам. Старшина держал сундучок на таком же крепком запоре, как и свою душу.

Жили мы ожиданием новых радостных перемен. Чувствовалась уже атмосфера близкой демобилизации. Солдаты отдыхали после тяжких ратных трудов. Кто постарше, готовились домой: чеботарили, портняжничали, приводили в порядок несложный солдатский багаж. Остальные на досуге бродили по городу, по местам недавних боев, обследовали, любопытства ради, каждый уголок вокруг. Не оставался без внимания и сад. Крыжовник был еще зелен, но его все равно рвали. Рвали не для того, чтобы есть, а из удовольствия, как бы стараясь лишний раз убедиться в том, что вернулась мирная жизнь и можно делать что угодно, даже вот так, по-ребячьи, забраться в сад. Смешно и трогательно было смотреть, как взрослые люди, ходившие не один раз под пулями, теперь с пилотками в руках, как мальчишки, крались между кустами крыжовника, торопливо срывали недозрелые ягоды, озираясь, не увидел бы старшина, а потом весело показывали друг другу, кто сколько успел нарвать.

Старшина отучил от сада: одних наругал, вторым сделал внушение, третьим пригрозил нарядом вне очереди. Помогло. Но вот с настоящими ребятишками ничего не мог поделать. Это были немецкие дети, пережившие ужасы войны, начатой их отцами. Ягоды служили для них своего рода подножным кормом. Стоило грозному «рус фельдфебелю» (так называли немцы нашего старшину) отлучиться из своего стеклянного домика, как сад немедленно подвергался нападению.

Барабанов сердился. Воришки при поспешном бегстве ломали кусты, а хозяйственная душа старшины этого не выносила. Он ругался сердито, грозил палкой, обещая кого-нибудь из них поймать и проучить, и поймал-таки. Я как раз шел к Барабанову в каптерку, когда из зарослей крыжовника стаей испуганных воробьев поднялись ребятишки и кинулись к забору. Минута - и сад опустел. Только качались потревоженные ветки да, удаляясь, звучал топот ног. Перед старшиной, который в этот раз устроил засаду, осталась одна маленькая девочка с ржавой консервной банкой в руках. То ли она поздно заметила опасность, то ли ее попросту парализовал вид старшины, появившегося внезапно перед ней, но она стояла, не делая никаких попыток к бегству, и лишь судорожно прижимала к груди банку с ягодами, нарванными второпях вместе с листьями. Даже на расстоянии чувствовались это напряжение маленькой руки и полный отчаяния взгляд девочки, устремленный на старшину. Так смотрят люди, ожидая самое страшное.

Барабанов молча вытряхнул ягоды на землю, закинул консервную банку, потом взял девочку за руку и так же молча, пугая своей замкнутостью, повел ее по узкой песчаной дорожке к каптерке. Невольно встревожившись, поспешил туда и я. Но шагах в трех остановился. Сквозь застекленные стены каптерка просматривалась насквозь: шестиугольная небольшая комнатушка, забитая ротным добром. Мне хорошо было видно, как старшина с девочкой вошел. Я мог теперь разглядеть лицо девочки: до прозрачности бледное, с сероватым налетом от недосдания и долгого сидения в подвале без свежего воздуха. Гитлеровцы с упорством обреченных целый месяц отстаивали город, цепляясь за каждую улицу, за каждый дом, особенно в центре. Девочке на вид было лет семь-восемь. Видимо, она не имела родителей: была плохо одета, не причесана. Босые, давно не мытые ножонки кровоточили, исцарапанные о кустарник.

Я следил за старшиной. Барабанов, войдя в каптерку, выпустил руку девочки, с минуту пристально рассматривал свою маленькую пленницу, словно решая, как поступить с ней дальше, потом взял из-под газеты на столике большой армейский сухарь и протянул ей. Глаза и бледное испуганное лицо девочки озарились на миг радостью и тут же погасли. Многие в роте постигали чужой язык, даже сносно уже объяснялись с жителями. А Барабанов из принципа не хотел запоминать ни одного слова.

Видя, что девочка боится, старшина отвернулся к столу, взял остальные сухари, прибавил к ним пачку гречневой каши-концентрата, несколько кусков сахару. Хотел сначала завернуть все это в газету, но передумал, неторопливо, как мне показалось, с еще более суровым видом, чем обычно, сложил в белую наволочку от подушки и подал девочке:

- На, держи... Это тебе. Ешь. Да не лазай больше в сад. Поняла? Них ферштейн? Или как там, по-вашему? Зеленые ягоды. Нельзя.

Девочка, наверное, больше из страха, чем сознательно, подчинилась. Взяла обеими руками узел, и первый раз на лице у нее появилось живое выражение. Губы ее дрогнули, видимо, хотела что-то сказать, и не смогла. Она глазам своим не верила: страшный «рус фельдфебель» не только ничего ей не сделал, но приказал взять продукты. И он не закрыл двери, путь к бегству свободен. Можно шмыгнуть в двери, затем в густые заросли, а там и до спасительного забора рукой подать. Но девочка не побежала, все еще удерживаемая чувством страха, только оглянулась на солнечный проем двери. Старшина смотрел на ее босые исцарапанные ноги. Вдруг он нагнулся, достал из-под топчана, на котором спал, свой сундучок, в карманчике брюк нашарил ключик, отомкнул замок, положил его на плащ-палатку, заменявшую одеяло, и поднял крышку. И тут я первым в роте увидел трофеи старшины Барабанова. В сундучке, тщательно обернутом ветошью, лежал плотницкий инструмент и поблескивали всевозможных размеров гвозди. Новые, уложенные в пачки, как патроны, смазанные для предохранения от ржавчины. Барабанов по-своему готовился к демобилизации, готовился возвратиться в свою деревню, несмотря на то, что там у него уже не было семьи. И возвратиться не с пустыми руками. Он ехал во всеоружии, чтобы строить дома, поднимать из руин село, в котором жил.

Неторопливо, как, наверное, не раз до этого, выкладывал Барабанов на пол каптерки содержимое сундука, пока не извлек откуда-то, с самого низа, небольшую плотную картонную коробку. Инструмент и гвозди сложил обратно, навесил замок, затолкал сундучок с трофеями под кровать и только после всего этого открыл коробку. В ней лежали туфли, простенькие, коричневого цвета, детские туфельки, с дырочками, прошитые по ранту крепкой белой дратвой, какие обычно покупают ребятишкам к лету. Вытащив их, старшина снова посмотрел на ноги девочки, потом перевел взгляд на туфли,

как бы прикидывая, подойдут ли они ей, и как-то на миг весь поник. На один миг.

Для кого он их берег эти детские туфельки? Для дочки или сына, скошенных огненной струей из немецкого автомата... Сколько времени возил с собой он их на дне солдатского сундучка как самую дорогую вещь? И вот теперь расстается, отдает и кому? Немецкому ребенку, отец которого, быть может, сам посылал автоматные очереди в русских детей. Он не сказал: «Бери», «Носи», ничего не произнес, протянул молча. Но этот молчаливый жест значил больше слов: он открывал душу.

Мне стало неловко за свои опасения, и я незаметно ушел.

ПОДАРОК С ТИГРОВОЙ СОПКИ

Я не знаю, где сейчас сержант Жумабаев: жизнь раскидала однополчан по всему свету. И уже не помню китайского названия деревни, где стояла моя батарея под первый после войны Новый год. Но память о щедрости человеческого сердца держится крепко.

Декабрь был на исходе, с обычной предпраздничной суматохой, с генеральной уборкой в казарме и во дворе. Мне позвонили из штаба полка:

- Комбат, с наступающим!

По легкому покашливанию, по чуть уловимой одышке я узнал замполита. Год назад в белорусских болотах он перенес воспаление легких, с тех пор глуховатость в его голосе, это сдерживаемое покашливание.

- Готовимся к празднику?

- Так точно, товарищ майор, подтягиваемся: чистим-блистим!

- К офицерскому вечеру - тоже?

Готовились мы и к вечеру: товарищеской встрече за столом. Он все знал, этот пожилой, спокойный человек - заместитель командира полка по политчасти.

- Да, - отвечаю, - есть такое намерение. Просим вас в гости.

- Елка будет?

- Нет, елка не стоит в плане.

- А, может, надумаете? Тем более что елки от вас близко...

Не понимал я, о каких елках идет речь? Кругом по сопкам дубняк да орешник карликового роста. А майор свое:

- Есть, - говорит, - елки. Из окна у тебя видно. Вглядись-ка.

В полукилометре от нас, за деревней, был какой-то сад. И я впервые обратил внимание на темные пики нескольких елей, торчавших из-за невысокой глинобитной ограды.

- Что-то вижу. Похоже на них.

- Так вот, - в голосе майора зазвучали строгие нотки, - не вздумайте срубить. Там кладбище, хотя и старое. Людей обидите.

- Да мы и не думали.

- А это я на всякий случай, чтобы имел в виду.

Я положил трубку.

«Елки, - подумал я, - на кой они нам? Кто додумается?» Но приказ есть приказ. Вызвал я старшину, предупредил, чтобы никто и помыслов не смел держать насчет елки. А сам пошел в сад проверить: вдруг да додумались, чем черт не шутит. Может быть, майор и не зря звонил. Но нет. Все в порядке. Накануне снежок выпал, на нем ни одного следа. Пересчитал я елки: семь штук. И такие красивые, с дымчатым отливом, на пушистых лапах - снег.

Урал вспомнился. Там елки толпятся вдоль железной дороги: любую вноси в комнату. Потянуло домой, на родину. С трудом развеялся среди солдат: посмотрел, как идет уборка. И только вернулся к себе, является старшина. Встревоженный.

- Товарищ комбат, а там с елкой...

- С какой елкой? Кто?

- Жумабаев елку притащил.

Меня так и кольнуло: срубил-таки. И не кто-нибудь, а Жумабаев. За него было особенно досадно. Колхозный пастух, сержант Болат Жумабаев, провел на моих глазах половину войны. Был образцовым солдатом и отличным наводчиком орудия. Привыкшие к степному простору, по орлиному зоркие глаза моего земляка не знали промаха. Я сам два раза прикалывал к его гимнастерке боевые награды. Понятия - дисциплинированность и сержант Жумабаев - были неотделимы. И вот - пожалуйте!..

- Где он?

- Да тут. Привел его...

Второпях я даже одеться забыл. Мне казалось, что старшина путает. Но все было так. Жумабаев стоял на крылечке в

мокрой по пояс шинели, в шапке, сдвинутой набок, и в руках у него была елка. Настоящая елка, наискосок срезанная у комля перочинным ножом.

Завидев меня, сержант подтянулся, опустил елку к ноге, как винтовку. Неловко козырнул. От взмаха рукой полы шинели разошлись, обнажив мокрое, измазанное глиной колено. Выглядел он как после трепки. Во всей его невысокой, крепко сбитой фигуре чувствовалась усталость. На смуглом, остроскулом лице блестел пот.

- Приведи себя в порядок. В какую сторону у тебя звездочка? - сердито сказал я, подбирая в уме слова для «разноса». Жумабаев торопливо поправил шапку темной от смолы рукой. Старшина вытянул у него сучок из-под смятого погона с желтой сержантской лычкой.

- А теперь говори.

- Елку доставал, товарищ комбат. Мало-мало грязный. Старшина ругает. Ничего, посушим. Порядок будет, - расплылся Жумабаев в смущенной белозубой улыбке. Но это было смущение не за свой поступок, а просто за то, что пришлось предстать перед командиром в таком неприглядном виде. Меня прорвало. «Натворил дел и рассчитывает отделаться улыбкой!»

- Значит по-пластунски пятьсот метров от кладбища и сюда? Молодец, ничего не скажешь. Но ты думаешь, старшина поругал и на этом все?

В черных, как переспелая вишня, с узковатым разрезом глазах сержанта мгновенное недоумение сменилось выражением протеста: понял.

- Зачем кладбище, товарищ комбат? Нет кладбища. Там взял. Тигровой сопка. На самой вершина. Очень высоко. Два часа взбирался.

Теперь удивились мы со старшиной. Тигровая сопка! Ее продолговатая громада вздымалась среди гор, обступивших извилистую долину-падь. Снег полосами лежал на ней, и она, рыжая от зарослей дубняка, в самом деле походила на гигантского тигра, припавшего к земле перед прыжком. До тигровой сопки от деревни было километров восемь по меньшей мере. И сержант этот путь проделал. Вот почему у него мокрая одежда и такой усталый вид.

- Так ты оттуда принес елку?

- Оттуда, товарищ комбат.

Впрочем, я и сам уже разглядел, что елка не такая, как на кладбище. Каменистая, открытая всем ветрам горная вершина, не очень щедро питала ее соками: ствол в толстых наростах коры, на ветках - узлы, длиннее и жестче хвоя. Лапы ее не покажутся мягкими, если тронуть - уколют. Ярко-зеленая, грубоватая, выносливая дикарка - такой была елка, которую принес с далекой сопки сержант Жумабаев. Но для чего принес?

- Болат, зачем тебе елка?

- Мне не надо. Подарок сделать хочу, - ответил он, улыбаясь смущенно. - Жао Ю подарок...

Вот оказывается в чем дело: подарок Жао Ю! Шестилетнюю девочку-китаянку знал каждый в нашей батарее. Отец ее заготавливал для нас дрова в сопках. Худенькое, бледное существо с подрезанными челкой черными волосами, с доверчивой улыбкой, Жао Ю днями просиживала возле окна фанзы, на канах, застланных циновкой из стеблей гаоляна. Неизлечимая болезнь лишила ее ног: это был полиомиелит, как потом узнали мы от нашего врача. Девочка подружилась с солдатами, охотно брала у них сахар и побитый морозом кисло-сладкий виноград, которого было много по сопкам. От своих взрослых друзей в серых шинелях она легко перенимала русские слова и мило выговаривала их с китайским акцентом: вместо «русский» - «лусский», вместо «очень хорошо» - «оцено холосо». Забавнее всего звучало в ее произношении слово «нет» - «недуга». «Папа недуга, дылова ходи рубить...» Жао Ю росла без матери. Бабушка - сухонькая, сгорбленная старушка, с ногами пятилетнего ребенка (по древнему обычаю в Китае ступни девушек стискивали в колодках, чтобы не росли) едва успевала готовить пищу. Предоставленная самой себе, девочка росла как чахлый цветок в неволе. И вот чужой человек, почти из неведомого ей мира, чуть ли не весь день провел в горах, добывая маленькое деревцо, чтобы доставить Жао Ю радость.

Мне стало неловко перед сержантом за свои подозрения.

- Ну, ладно, - сказал я, стараясь спрятать свои чувства за обычным грубовато-командирским тоном. - За брюки и штаны перед старшиной отчитаешься. И за самовольную отлучку - тоже. А елку можешь отдать. Только ты узнал, есть у них этот обычай - елку на Новый год? А может, и нет? И Новый год в другое время.

- Не узнал, товарищ комбат, - виновато признался Жумабаев. - Думал: у нас елка, у всех других - елка.

- Вот видишь...

Тут и старшина, изрядно обескураженный, подал свой голос:

- А потом, Болат, что это одна елка, голая? Без всего... Игрушки нужны. Как без игрушек?

- Не знаю, - произнес еще более виновато Жумабаев.

- Что же делать?

Мы стояли несколько минут, занятые все трое одним вопросом: что делать? Как быть с елкой?

Я начал мерзнуть в одной гимнастерке. На улице было свежо. Похоже, начиналась метель.

- Сделаем так, - сказал я, - насчет Нового года в Китае - узнаем, позвоним замполиту. Но даже если и нет обычая с елкой, - ничего страшного. Елку девочке надо подарить. А с украшениями...

- Есть выход, товарищ комбат, - вмешался старшина. - Мобилизуем девчат-связисток. Они в этих вещах лучше нас понимают, что к чему. Сделают!

Довольный своей находчивостью, старшина даже каблуками прищелкнул, и ладонь его привычно взметнулась к козырьку щегольски сдвинутой на бок артиллерийской фуражки. Службистом он был большим, старшина нашей батареи.

БОЦМАН НЕМО

Утром, часов в семь, с моря наплывает туман; обрывистый берег, парк, розовые корпуса санатория тонут в непроглядной сырой мгле. Сквозь ватные пласты тумана море едва угадывается. Его совсем не слышно, только на лодочной станции, под дощатым настилом пристани, чуть плещет вода.

Пузатые днища шлюпок, перевернутых вверх килями, источенные соленым прибоем камни - все в седой изморози влаги. Отдыхающие - кто в полосатой пижаме, кто в легких брюках и майке, с полотенцами через плечо - ждут лодки, томятся, курят, нетерпеливо поглядывают на часы.

Невозмутим один лодочник. Он сидит на корточках перед сторожкой, где хранятся весла и прочее имущество, и узловатыми пальцами спокойно распутывает мокрую сеть. Перед ним на досках улов: крупные остроперые морские окуни, головастые бычки, серебристые, похожие на осколки зеркала ставридки, медлительные крабы с желто-зелеными панцирями.

Работает лодочник молча и только изредка, если кто-нибудь из отдыхающих берет краба, с грубоватой лаконичностью предупреждает:

- Не тронь, руку повредите.

Голос у него хриплый, неприятный. Продубленное солнцем морщинистое лицо кажется вырезанным из плавника. Маленькие колючие глазки прячутся глубоко под выступами надбровий. Седые обкуренные усы затеняют рот, придавая лицу суровое, отчужденное выражение. Лодочник для отдыхающих - натура загадочная. Никто не знает ни его возраста, ни фамилии. Все называют его в глаза и за глаза боцманом Немо. Из всего многочисленного коллектива работников санатория лишь это, пожалуй, самое официальное. Он не признает ни шуток, ни отступлений от правил. С диктаторской суровостью хозяйничает на лодочной станции.

Многие отдыхающие недовольны им. Один из них, истомленный ожиданием, не выдерживает и раздраженно говорит:

- Слушайте, боцман, или как вас... Сколько же нам торчать тут? У меня предписание врача - лечебная гребля. А я теряю время по вашей милости. В конце концов, никто из нас не думает воспользоваться плохой видимостью и не махнет за море. Не бойтесь...

- Туман, - спокойно отвечает старик, - сигнала с маяка нет. Выдавать шлюпки не имею права.

Но вот наконец, туман начинает оседать. Из белой пелены выступают сначала пирамидальные верхушки кипарисов, затем кромка берега, потемневший брезентовый тент купальни. Клочья тумана тают над бухтой, как пар над котлом. С отдаленного мыса, где чуть виден серый цилиндр маяка, докатывается глухой удар колокола. Отдыхающие приходят в движение, достают курортные книжки.

Лодочник тоже встает, куском ветоши тщательно обтирает руки.

- Прошу, товарищи, ознакомиться с правилами пользования лодками.

Правила эти написаны краской на большом фанерном щите, и каждый их знает. Но боцман требует перечитывать их всякий раз, перед тем как выдать лодку. Потом он берет курортные книжки, прячет в сторожку и выносит весла. Шлюпки, одна за другой, постукивая уключинами, отходят от берега.

Море совсем очистилось от тумана, облитая солнцем маслянисто-зеркальная поверхность бухты едва колышется. Вода

у причала прозрачная, мелкая, чуть отливает зеленью. На дне, между трепетными нитями водорослей, дрожат солнечные блики.

Вооружившись картонным мегафоном, боцман Немо стоит босыми жилистыми ногами на теплых досках и зорко следит за сверкающей далью. Метрах в трехстах от берега покачиваются на якоре железные баллоны с флажками - буйки. Это граница зоны. Стоит какой-нибудь из лодок пересечь ее, как над водой разносится усиленный рупором боцманский окрик:

- Эй, на шлюпке! Вернись в зону. Немедленно вернитесь в зону!

Лодки возвращаются, отдыхающие уходят на завтрак. Берег пустеет.

В калитку боком протискивается садовник Кузьмичев, толстый, одноногий старик в короткой брезентовой куртке. Садится на камень, тяжело отдувается и вымазанными зеленью пальцами скручивает цигарку.

- Ну и пекет, беда. К дождю, однако. А тебя главврач спрашивал, - говорит он, протягивая лодочнику кисет, - «Крестница» твоя обиделась. Жаловаться на тебя ходила...

Лодочник отрывает клинышек газеты, сыплет на него махорку. На исколотых рыбой, шершавых ладонях у него волдыри свежих мозолей.

...Вчера, в беззвучный полдень, с гор внезапно сорвался шквал. Темная рябь кругами побежала по стеклянной глади бухты. Море вскипело пенными барашками. Почуяв опасность, лодки поспешно собрались к пристани. Среди разворошенной и вспаханной ветром бухты одиноко билась шлюпка. Она давно уже миновала линию буев, и шквал стремительно относил ее в открытое море. Крылом чайки мелькала в волнах белая женская кофточка.

Боцман Немо вскочил в лодку и изо всех сил погнал ее от берега.

Возвращался он, взяв шлюпку с перепуганной курортницей на буксир. Обе лодки кидало во все стороны. Пока добирались до пристани, лодочник промок и до крови стер руки. Он так умаялся, что даже не сделал женщине обычного выговора. Все могло обойтись хорошо, если бы не сама пострадавшая. Оправившись от пережитого страха, она отвела лодочника в сторону и протянула ему деньги.

- Возьмите: здесь сто рублей.

Старику изменило привычное спокойствие, он вспылил и устроил женщине настоящий разнос за все сразу: и за деньги, и за потерянное ею весло, и за то, что она сумела взять лодку без курортной книжки. И потом долго не мог успокоиться: уединившись в сторожке, ворчал, сердито раздувая гребенку седых усов.

При мысли о вчерашнем происшествии суровое лицо лодочника мрачнеет еще больше. Он молчит, хотя садовник Кузьмичев ждет. Спокойно выкуривает цигарку, и через несколько минут оба старика взбираются по каменистой дорожке наверх, к санаторию.

Поравнявшись с главным корпусом, боцман останавливается:

- Зайду. А ты возьми-ка вот, отнеси ребятишкам. - Он сует в руки садовнику ведерко с рыбой.

В просторном кабинете главврача зеленый полумрак от подступавших к окну платанов. На полу - резная тень лапчатых листьев. Тюлевые шторы чуть шевелятся. Прохладно. Пахнет розами.

Главврач в белоснежном халате что-то пишет за столом, склонив набок светловолосую, начинающую лысеть голову. Это еще молодой, но преждевременно располневший человек, с маленьким, по-мальчишечьи румяным лицом, которое не подходит к его грузной фигуре. Поэтому он постоянно хмурит пушистые брови, морщит лоб и разговаривает с подчиненными подчеркнуто строго. Наедине, за письмом, он забылся - вид у него веселый, добродушный. Но, услышав стук в дверь, он сгоняет с лица улыбку и с трудом собирает складку на лбу. С минуту продолжает писать, стараясь вспомнить фамилию лодочника: не то Китько, не то Бутько. Так и не вспомнив - в подчинении у него добрая сотня человек, - он кладет ручку и кивает на кожаное глубокое кресло перед столом.

- Прошу садиться.

Боцман Немо стоит у порога, мнет в руках выгоревшую на солнце кепчонку. В его позе, в выражении лица нет ничего почтительного, заискивающего, и это задевает главврача: «Странный тип. Нет ничего удивительного, если такой морской волк и обругает женщину». Главврач морщится, вспомнив вчерашнюю жалобу на лодочника. Черт знает, какой случай! До него и раньше доходили слухи, что лодочник угрюм и не отличается вежливостью, но тут официальное заявление, со слезами. И от кого? От жены министра. Не прими сейчас

меры, хлопот не оберешься. Напишет, наговорит - потом оправдывайся. Пятно на весь санаторий.

Приоткрыв ящик стола, главврач роется в бумагах, раздумывая, с какой стороны приступить к разговору. В нем нарастает чувство раздражения против лодочника. Вид-то, вид: штаны, как из железа, на ногах сапожищи в пуд весом. И это в санатории, где все должно радовать глаз, успокаивать нервы. Но главврач берет себя в руки, спокойно спрашивает:

- Скажите, пожалуйста, как у нас обстоят дела на лодочной станции? Шлюпок хватает для всех?

- Согласно назначению врачей всех обеспечиваем. Претензий пока не имеется, - отвечает боцман Немо и хрипло покашливает в кулак.

- Так, значит, претензий нет?

- Не поступало.

- В таком случае, вот что... Я хочу спросить: вам, в вашем возрасте, не трудна работа, которую вы выполняете? Ведь приходится лодки вытаскивать на берег и все прочее. Большая физическая нагрузка...

- Пока справляюсь. Ничего. Хватает силенок.

- Ну да, конечно. Вы крепкий. Однако годы... Это такая вещь... Словом, чтобы не дожидаться каких-то неприятных симптомов, сделаем так: лодки я вас попрошу сдать помощнику, а мы тем временем подыщем вам занятие по вашим силам. Что-нибудь стариковское, полегче...

Главврач откидывается на спинку стула, выжидательно умолкает. Самое трудное он сделал, неприятно только, если старик начнет возражать, просить. Но лодочник молчит. На его окаменевшем лице - никаких чувств, лишь седые брови глубже надвинулись на глаза. Он тяжело переступает с ноги на ногу, нахлобучивает на голову кепку и, повернувшись, неловко толкает дверь. Молоденькая сестра, входившая в кабинет со стопкой бумаг, едва успевает отступить в сторону, удивленно взметнув подщипанные бровки, она провожает взглядом ссутулившуюся фигуру старика.

К вечеру погода портится. Холодный северо-восточный ветер - «привет с полюса», как называют его отдыхающие, - разводит в бухте волну. Над зазубренной гранью маячного мыса тревожно горит багровый закат.

Жизнь на берегу замирает. Даже самые заядлые купальщики ушли. На лодочной станции один боцман Немо, он убирает на ночь шлюпки, прячет весла и долго копается в своей сто-

рожке. У него все готово для передачи, но помощник - молодой паренек - ушел с утра в город и до сих пор не вернулся. Старик беспрестанно дымит цигаркой. На душе у него весь день тяжело и смутно, и когда он, закончив дела, в темноте поднимается по знакомой тропинке, его вдруг начинает мучить одышка. Выбравшись наверх, он долго стоит, пережидая частые, тревожные удары сердца.

На «пятачке» - маленькой площадке в центре парка, где по вечерам собираются отдыхающие, - тихо и безлюдно. Все в кино. Сквозь створчатые стеклянные двери столовой видно, как между рядами столов ходят официантки и расставляют стаканы с молоком - «второй ужин». В погребке, сводчатой комнате, пропитанной терпким запахом вина, всего один посетитель - высокий незнакомый мужчина в плаще. Продавец, разбитная девица, хорошо знает лодочника, по его молчаливому знаку ставит перед ним бутылку «Массандры». Осушив один за другим два стакана, боцман Немо морщится, надкусывает пластик сыра и, бросив на прилавок деньги, тяжело поднимается по гранитной лестнице.

Выйдя из погребка, он останавливается возле решетки, ограждающей «пятачок». Из-под обрыва упруго бьет влажный ветер. Далеко внизу, за темной гущей кипарисов, приглушенно гудит море. Плывут, удаляясь, разноцветные точки - огни корабля. Иногда доносится мерное гудение турбин. «Сторожевик», - определяет лодочник.

- Огонька одолжите.

Мужчина в плаще, тот, что был в погребке, стоит рядом, мнет в пальцах папиросу.

Взяв протянутый коробок, незнакомец, чуть отвернувшись от ветра, долго чиркает спичкой, потом возвращает старику коробок и, роняя искры, говорит озабоченно:

- А море-то расходилось не на шутку. Заштормит, пожалуй. Как по-вашему?

Ему хочется завязать разговор, но боцман Немо что-то бурчит в усы и отворачивается. Простояв минут десять у оградки, боцман снова опускается в погребок, молча допивает бутылку и после этого, уже нигде не задерживаясь, идет домой.

Как большинство рабочих и служащих санатория, он живет в большом каменном доме за парком, где раньше, до революции, помещалась контора московского купца, владевшего территорией курорта, а в подвалах были винные погреба. Соседи еще не спят. На крылечке сидят женщины, беседуют. Шофер

хлебовоза Красиков подогнал машину к окнам своей квартиры и возится с мотором.

Лодочник обычно никогда не проходил мимо соседей, подсаживался и, посасывая мундштук, слушал разговоры. На его залепленные рыбьей чешуей колени смело взбирался двухлетний внучонок Кузьмичева, шарил по карманам, рассыпал из банки табак, иногда добирался до щетинистых седых усов. Старик только ухмылялся и откуда-то доставал то красиво отшлифованную морем гальку, то высушенного морского конька.

Сегодня он изменяет привычке: чуть приподняв в знак приветствия кепку, не задерживаясь, проходит по коридору в свою комнатушку, отгороженную переборкой от квартиры Кузьмичевых. Сразу ложится в постель. Но заснуть не может. От выпитого вина побаливает голова, чего никогда с ним не бывало. И снова тяжело на сердце. Отчего тяжело?

«Подыщем занятия по вашим силам...» Значит, с лодочной станции его долой. От берега подальше. Так сказал главврач. А что значит для него море - главврач не знает. И не спросил.

А ведь эта бухточка с лодочной станцией для него не просто бухта. Здесь он штурмовал берег, прыгая с поднятым над головой автоматом с десантного катера в ледяную воду, навстречу огненным струям немецких пулеметов. В парке, на обрыве, под скромной гранитной плитой спят трое матросов - трое его друзей. Лежит здесь и санинструктор Варвара Бутко, Варя - его жена. Берег был уже очищен от врага, когда, спрятавшись в подвале электростанции, егерский фельдфебель трусливо швырнул в нее гранату. Каждый день, спускаясь к морю, старик проходил возле братской могилы и мысленно как бы встречался с бывшими товарищами и женой. Война дорого ему обошлась. Взяла у него все: сначала детей, а потом и жену. Люди об этом знают. Знает шофер Красиков, Кузьмичевы знают. Другие в доме. Но главврач не знает. Ему все равно. Его дело сказать: подыщем другую работу. Для него, чтобы не было жалоб от отдыхающих.

...Тяжело. Сердце так и давит. А может, это от старости? Подошла. И спать не дает, и мысли нагоняет всякие.

Лодочник ворочается, скрипит кроватью, хрипло покашливает. Жена Кузьмичева, собравшись спать, в халате и в тапочках на босу ногу, заглядывает в дверь, обеспокоенно спрашивает:

- Не плохо ли уж тебе, Сафоныч? Маешься чтой-то. Может, надо чего?

Старуха ухаживает за ним, готовит обед, стирает белье. Лодочнику неловко, он говорит, что с ним все хорошо, ничего не надо, и старается больше не ворочаться и не кашлять, чтобы не беспокоить соседей.

В доме давно уже тихо. Темная, беззвездная ночь липнет к окошку. Шумит море. Старик начинает думать о лодках - хорошо ли он закрепил их, не разбило бы штормом. Тревога растет и, подталкиваемый ею, он встает с кровати, выходит во двор и идет по темному парку в сторону моря.

На обрыве валит с ног ветер. Снизу отчетливо доносится тяжелое, размеренное уханье прибоя. Секундное затишье означает накат волны. За это время неразличимая во тьме водяная гора растет, вскипает пеной и всей тяжестью обрушивается на берег; бурлящий поток с шипеньем расплескивается по пляжу, фонтанами брызг взлетает вокруг скал. А море, кинув на берег вал, торопится вобрать его в себя, отступая, с шорохом и стуком тянет за собой камни, точно по берегу волочится огромная сеть. И снова делается тихо, потом опять удар, клокотанье воды и шорох песка.

На лодочной станции - потоп. Всюду вода. Через кромку причала тяжело перекатываются волны. Из решетчатого настила вырвано несколько досок.

Подставив лицо ветру и брызгам, боцман Немо стоит на пристани, смотрит на море. Далеко, в темном кипении волн, вспыхивает зеленая звездочка, бьется трепетным светлячком и гаснет. «Катер... или померещилось?»

Разувшись и скинув куртку, боцман принимается перетаскивать лодки на самый верх причала - в безопасное место.

Мокрый, усталый, он сидит потом в сторожке, выбирая в темноте из карманов куртки рассыпавшуюся махорку. Вдруг он настораживается: за стеной слышатся шаги и приглушенный голос. Кто-то осторожно трогает цепь, которой связаны лодки. Фанерная дверь сторожки приоткрывается, и тонкий, как шнурок, лучик карманного фонаря, скользнув по стене, ударяется в глаза лодочнику, тотчас чья-то сильная рука надавливает ему на плечо, мешая встать.

- Вот так. Без шума, без лишних движений. Так и договоримся.

Фонарик гаснет, но рука продолжает давить на плечо. На незнакомце непромокаемый плащ остро пахнет резиной.

- А ну, бросьте шутки! - сердито говорит старик и двигает плечом. - Что нужно?

- Спокойно, папаша. Отдыхающий. Требуется лодка на недолгое время.

- Какие сейчас лодки? Да пустите же!

- Неотложное дело, сердечное... - сами понимаете - курорт.

- Нельзя. И вообще, прошу предъявить курортную книжку и удалиться отсюда.

- Это ваше условие?

Холодное острие ножа прижимается к горлу чуть пониже левой скулы. Жестко, сквозь зубы, незнакомец командует:

- Ключи! И больше ни слова. Ключи от лодок!

Поборов чувство страха, лодочник молчит, глядя в упор на темную фигуру в плаще. - Где он слышал этот глуховатый, напряженный голос? Погребок, человек в плаще, разговор о погоде. Потом зеленый огонек в волнах... Морзянка! Неужели?.. На мгновение приходит мысль - отдать ключи. Кто узнает? Шторм, сказать, что шлюпку угнало волнами. Поверят.

Лезвие все сильнее нажимает на горло - ночной гость торопит.

- Хорошо, - соглашается боцман Немо, и голос его звучит спокойно и строго, точно ничего не произошло и перед ним обычный отдыхающий. - Ключи я отдам, раз такое дело. Только вы со своей шуткой поосторожней.

Подтянув к себе куртку, он медленно достает из кармана связку ключей, нарочно позвякивая ими. И вдруг, резко откачнувшись в сторону, бьет незнакомца головой в живот и швыряет ключи в дверь. Человек от толчка валится сначала на столик, а затем в угол, на сложенные там весла. Путь к отступлению оказывается открытым. И хотя ясно, что человек в плаще не один и кто-то еще есть за сторожкой, старик бросается к двери.

Его подводит куртка. Запутавшись в ней, он успевает сделать шаг и со всего размаху падает грудью на ребристый выступ порога. В глазах вспыхивают искры. Стопудовая тяжесть перехватывает дыхание. Но именно в этот миг рождается догадка: колокол! Сигнальный колокол, что висел перед сторожкой в бездействии, потому что суда в бухту никогда не заходили, - дотянуться до него, поднять тревогу. Где-то поблизости сторож, на веранде спят отдыхающие. Услышат!

От двери до колокола не больше метра. Но как трудно пошевелиться... Все же, преодолев оцепенение, лодочник при-

поднимается на локте, ведет ладонью вверх по шершавым граням кронштейна. Еще немного, чуть-чуть, несколько сантиметров... Боль, невыносимая, слепящая, стремительно входит в спину, пронизывает все тело. «Не выйдет у вас!.. Не-ет!» - гневно, с торжеством хрипит боцман Немо и, уже теряя сознание, из последних сил дергает за веревку.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ЗАСЛОН

- Комбата-три - к командиру полка!

- Капитана Шортанова - в голову колонны!

Абу распекал старшину за потерянный в дороге батарейный термос, когда команда, повторенная несколькими голосами, достигла его. Капитан наскоро смахнул пыль с брезентовых, сшитых из плащ-палатки сапог, кинул через плечо планшетку и, поправляя на ходу кобуру с трофейным «парабеллумом», заспешил вдоль вытянувшейся на шоссе вереницы «зисов» с пушками на прицепе.

Командиры батарей и начальники служб были уже в сборе. Командир полка, подполковник Писарев, смуглый от природы, а за время наступления вовсе почерневший, осунувшийся, но неизменно подтянутый, строгий, вполголоса беседовал с начальником штаба майором Бобошко, поставив ногу на подножку «Виллиса» и держа на колене открытый планшет с картой. Судя по брызгам болотной грязи на ветровом стекле машины и отдающему бензиновым жаром радиатору, командир полка только что вернулся из дивизии, куда его вызывали утром.

Едва запоздавший комбат-три подбежал, Писарев оборвал разговор с начальником штаба, коротко кинул:

- Взять всем карты!

Защелкали кнопки планшетов, захрустела бумага.

- Прошу отметить наше местонахождение. Слушайте боевую задачу, - голос подполковника, негромкий и чуть глуховатый, зазвучал жесткими, волевыми нотами. - Под ударами наших войск противник продолжает откатываться на запад. Мы, после ночного броска, оказались в тылу немцев. Есть данные, что крупные силы противника вот-вот хлынут по шоссе, где мы сейчас находимся. Нам приказано оседлать дорогу и держать ее до подхода главных сил, но, - Писарев сделал паузу, - отходящий противник может воспользоваться и другой

дорогой: дорогой на Здолбновичи. Верхний квадрат на карте. Поэтому полк придется разделить...

Подполковник, оторвавшись от своего планшета, обвел взглядом офицеров, и Абу почему-то сразу подумал, что командир полка сейчас обратится к нему, и не ошибся.

- Капитан Шортанов, - сказал Писарев, - доложите состояние батареи.

- В строю три орудия. Боеприпасов два боекомплекта.

- Люди?

- Полностью.

- Настроение?

- Боевое, товарищ подполковник. Готовы к выполнению любой задачи.

- Дорога на Здолбновичи - за вами, комбат. Перехлестнете ее вот здесь, - острие карандаша ткнулось в карту, - на подготовку - пятнадцать минут. Оперативное время, - Писарев приподнял руку с часами, - тринадцать тридцать. Прошу сверить часы. Объясните людям ответственность задачи. Помните: тыл противника, а значит, возможность любых неожиданностей. Но чтобы ни случилось - на шоссе быть. И держаться, зубами держаться...

- Ясно.

- Действуйте.

Сухощавая, смуглая ладонь подполковника вскинулась к козырьку фуражки, потом коротко стиснула такую же смуглую ладонь комбата, заставив того невольно подтянуться и проглотить на мгновенье вставшую в горле сухость. Абу знал, что если уж Писарев напутствует своих подчиненных рукопожатием, то дело предстоит нелегкое наверняка.

На подготовку к маршу ушло ровно пятнадцать минут. На шестнадцатой минуте марш начался. Колонна разворачивалась, пропуская батарею вперед. Абу, стоя на подножке головной машины, дождался, пока расчеты съехали с шоссе, сел в кабину и, положив на колени перед собой развернутый планшет с картой, кивнул шоферу:

- Газуй!

Это была лесная, не очень широкая и еще не совсем просохшая после недавнего дождя дорога. Высоченные, медноствольные сосны подступали почти вплотную к песчаной, перевитой корневищами колее. Зеленый полумрак щекотал ноздри крепким настоем хвои и грибной прели.

Следы войны давали о себе знать и здесь, в лесной глухомани. Тусклой глазницей пялилась воронка от авиабомбы, залитая дождевой водой. Краснел ржавчиной измятый, искореженный кузов «эмки» - не с лета ли сорок первого! А вот другая автомашина, немецкая: голая, без резины ступица колеса, мертво задранные вверх обгорелые ребра кузова... Партизаны.

Абу напряженно следил за каждым изгибом дороги. Время от времени он высовывался из кабины, оглядывая свою небольшую колонну. Оба «зиса» шли сзади с заданным интервалом. Пушки, утыканные ветками маскировки, беззвучно подпрыгивали на ухабах.

Больше часа ехали спокойно, без задержек. Лес по-прежнему теснил с обеих сторон дорогу и как только в одном месте чуть расступился, открыв продолговатую поляну с речушкой посредине, уставленную копнами почернелого давно, наверно, всеми забытого, лесного сена, тишину вспорол раскатистый треск автоматных очередей.

Две первые машины успели пересечь поляну и уже въезжали в лес, но третья приотстала и, выглянув из кабины, Абу успел заметить, что она остановилась у мостика, перекинутого через речку.

«Началось, - с горечью подумал комбат, - не успели!» - и рванул дверцу.

- К бою!

Басовитый перестук ДШК заглушил его голос: это пулеметчики открыли огонь с машин. Вмиг оба расчета оказались на земле. Полетели ветки с орудий. Но стрелять не понадобилось. Автоматные очереди вдруг оборвались. Прогремев напоследок, смолкли пулеметы. Тишина ударила в уши. Дробилось, глохло, убегая вдаль, пугливое эхо.

Выждав немного, Шортанов распорядился прочесать поляну и пошел к мосту, узнать, что с машиной.

Командир второго взвода лейтенант Мацук, не успевший согнать бледности с веснушчатого мальчишечьего лица, доложил:

- Убитых нет, товарищ комбат. Один ранен, легко. Но задний баллон пробили, сволочи, - лейтенант показал на кузов, грузно осевший на один бок. - Мы только успели въехать на мостик, и тут они полоснули. Выбрали момент...

Абу стала понятна бледность молодого лейтенанта. В боковом стекле кабины лучилась звездой пулевая пробоина. Шо-

фер, морщась от боли, индивидуальным пакетом сам бинтовал себе поцарапанный лоб.

Вернулся с бойцами после прочески поляны старший сержант Кочегаров, сбросил с плеча куцый, отливавший тускло невороненой сталью автомат.

- Убитый там... За стогом. Гражданский, в пиджаке и в шляпе. Не иначе, бендеры. Построчили и драпу дали.

С комбата словно гора свалилась: не немцы, слава богу.

Офицеры отошли в сторонку посоветоваться.

- Придется тебе, Федя, остаться, - сказал, покусывая в досаде губы, Шортанов. - Ждать не можем. Чинись поскорее и жми следом. Да смотрите в оба.

- Есть, понятно.

- Ну, бывай...

Абу дружески подтолкнул лейтенанта.

Через несколько минут батарея, сразу уменьшившаяся на одну треть своего состава, двинулась дальше. И опять потянулась лесная дорога. Теперь у комбата к мыслям о предстоящей задаче прибавилось беспокойство за оставленный на поляне расчет.

В нем еще жила боль тяжелых потерь, понесенных недавно батареей. Тогда, в начале наступления, от прямого попадания авиабомбы погибла половина второго взвода.

Абу делил свое напряженное внимание между стеной леса, набегавшего на машину, картой и счетчиком, показывающим наличие бензина. Белая, игольчатая стрелка на круглом циферблате падала заметно, вселяя тревогу в душу комбата.

- Бензин какой-то чудной, как будто испаряется, - уловив озабоченный взгляд капитана сказал шофер, - боюсь, не дотянем.

- Жми давай.

- Я жму. Синичкин вон расчихался. Дымит как самовар.

- А ну стой.

Машины остановились. Подошел командир первого взвода лейтенант Трешкин, расстроенный.

- Выдохлись, товарищ капитан. Что делать?

Шортанов с досады выругался.

- Лейтенант, занять круговую оборону. Остаток горючего слить нам.

И второй расчет остался на дороге.

Теперь посерьезнели все. Солдаты в кузове напряженно молчали, даже не курил никто. Еще бы. Грозная неизвестность и одна-единственная пушка! Не развеселишься.

А дорога как бы продолжала напоминать, что впереди - война. Попался опрокинутый пушечный передок, разбитая двуколка с позеленелыми снарядными гильзами.

Потом разметанный взрывом некогда роскошный командирский "Опель-капитан".

Валявшаяся разбитая вражеская техника против обыкновения не привлекала внимания даже такого заядлого трофейщика, как старший сержант Кочегаров. Впрочем, трофеями Кочегаров интересовался в чисто практических целях. Вещмешок у него гремел и звякал, как литавры, натолканным туда «про запас» металлом.

Никто в полку искуснее Кочегарова не мог сделать наборный мундштук из кусочков меди и прозрачного плексиглаза, смастерить зажигалку с потайным механизмом или замысловатый перочинный нож. Все офицеры, вплоть до начальника штаба, пользовались ложками и вилками, сделанными Кочегаровым из алюминиевой обшивки сбитых немецких самолетов. И естественно, мастер должен был постоянно запасаться сырьем, подчас с немалым для себя риском.

Но тут старший сержант изменил явно своему правилу и ни разу не остановил взгляда на обочине, настолько серьезным был момент: он-то уж знал по опыту двух войн, что значило держать заслон на шоссе одним орудием.

Будто нарочно и окружающая местность подчеркивала суровость обстановки. Великаны-деревья вплотную сомкнули свои вознесенные ввысь зеленые кроны над дорогой, делая и без того не очень яркий июльский день совсем сумеречным... Что стоило полоснуть из чащи очередью по одинокой машине и этим поставить точку на всей операции.

Но вот впереди как-то вдруг посветлело, сосны расступились. И тут мотор захлебнулся.

- Все, товарищ капитан. Амба! - сказал шофер, дергая рычаг сцепления.

Шортанов и сам видел, что все: злополучная стрелка давно обессиленно лежала на нулевом делении.

- Глуши. Сюда дотянул, и на том рахмет.

Абу вылез из кабины, сориентировался. Все сходилось: впереди была дорога на Здолбновичи.

- Орудие - на руки!

Солдаты подхватили команду с полуслова. Звякнул шкворень, соединявший станину пушки с буксирным крюком. Из кузова по рукам пошли продолговатые, увесистые ящики со снарядами.

Пушку покатили напрямик, продираясь сквозь густой подлесок.

Шоссе оказалось ближе, чем думалось комбату. Но еще удивительнее, что его в этом месте пересекала железная дорога. За опушкой леса, сразу внизу, под песчаным откосом, поблескивали рельсы, яично желтели свежие шпалы на невысокой насыпи; колея, плавно загибаясь, уходила вглубь леса.

Абу недоуменно разглядывал карту: железной дороги на ней не было обозначено. Видимо, гитлеровцы проложили ее недавно. Две дороги вместо одной... Значит, и держать придется ту и другую.

Комбат подавил в себе тревогу, захлопнул планшет.

- Твое мнение, старший сержант?

Стоявший рядом Кочегаров сдвинул на глаза пилотку, озадаченно поскреб в затылке.

- Тут надо обмозговать. Положеньице у нас ненамного лучше губернаторского.

- Думай скорей.

- А вон, - Кочегаров показал на штабелек запасных шпал. - Немножко поразмять мускулы...

- Солай, - поняв его, одобрил по-казахски Шортанов. - Зови сюда своих джигитов.

Расчет успел подкатить пушку. Оставив Кочегарова с частью людей оборудовать огневую, комбат с остальными спустился вниз. Вскоре баррикада из смолистых бревен выросла на рельсах. И, едва уложив последнюю шпалу, вернулись, из леса донесся приглушенный свисток паровоза: шел поезд. За сосновым мысом вспух белый султан дыма и показался паровоз, тянувший состав.

Артиллеристы замерли возле орудия, приведенного в боевую готовность. Паровоз двигался медленно, будто прощупывая каждый метр пути. На изгибе колеи эшелон как бы разламывался на сочленения, постепенно подставляя обзору маслянистые бока цистерн: одной, второй, третьей... Горючее!

Абу взволнованно подтолкнул локтем Кочегарова.

- Смотри!

- На ловца и зверь, - отозвался тот, делая предупреждающий жест наводчику, ефрейтору Хижняку, сломившему в привычной позе свою долговязую фигуру над панорамой. - Ветка к какому-то складу, не иначе. Но в хвосте-то вагоны, кажется.

- Сейчас остановятся. Разглядим.

С паровоза заметили препятствие. В окошке мелькнула голова машиниста. Поезд сбавил ход и чуть двигался, пока не замер в нескольких метрах от завала. С минуту царило безмолвие, нарушаемое лишь шипеньем пара. Не было видно ни машиниста, ни кондуктора, видимо, в поезде почуяли неладное и выжидали.

- А ведь эшелончик с "пассажирами", - сказал Кочегаров, оказавшись зорче всех. - Чуете, зашевелились?

Теперь и Шортанов видел, как дверь одного из вагонов отодвинулась и на землю спрыгнул гитлеровец с автоматом. Жаркая волна на мгновенье будто приподняла комбата и схлынула, оставив в теле ощущение холодной собранности: так всегда бывало с ним перед боем. В самый раз было сейчас ударить по эшелону. Но Абу предостерегающе поднял руку: не стрелять.

Немец между тем постоял возле вагона, огляделся и направился в голову поезда, вероятно, чтобы выяснить причину остановки. Судя по всему это был человек не из очень робкого десятка. Он, хотя и настороженно посматривал по сторонам, но трусости в нем не чувствовалось. И оружие свое он держал со спокойной уверенностью. Вот он миновал одну, вторую цистерну, приближаясь к паровозу. Теперь немец был почти напротив того места на опушке леса, где затаились артиллеристы, и если бы не пыхтение паровоза, можно было бы даже услышать шорох гальки под его подошвами.

Это был рослый, даже высокий, пожилой, крупной кости человек, чуть сутуловатый, какими бывают грузчики да еще шахтеры, привыкшие сгибаться в тесных штреках, в травянистого цвета кургузой униформе и в сапогах с широкими, как ведра, голенищами. Из-под нахлобученной пилотки торчали, давно не знавшие ножниц редкие, соломенного цвета волосы. Видно было лицо немца: белобровое, в складках морщин, угрюмое и замкнутое лицо пожилого ополченца, привыкшего к превратностям своей военной судьбы, быть может, даже равнодушного к ней. И не потому ли именно он послан в разведку, не сулившую ему ничего хорошего?

Шортанов, не отрывая от гитлеровца сузившегося в щелку взгляда, кинул вполголоса:

- Витькина ко мне!

Боец подполз, придерживая сползавшие с носа очки в металлической стариковской оправе.

- По вашему приказанию...

- Профессия в гражданке, Витькин? - перебил комбат.

- Так мы же коллеги, товарищ капитан. Учитель...

- Предмет свой не забыл?

- Да нет, вроде.

- Будешь говорить от имени всей победоносной нашей Советской Армии с противником. Понял? Объясни-ка вон тому арийцу обстановку. Почему-то мне кажется, что он способен выслушать. Скажи, у нас тут пушки, и если фрицы попрутся дальше - разнесем их эшелон к едреной бабушке.

- Но я же владею литературным языком. С разговором может ничего не выйти, товарищ капитан. В Германии - разные наречия...

- Выйдет. Действуй. Да не высовывайся особенно: с дыркой в голове можешь не дотянуть до победы.

- Есть!

Боец отполз к сосне, свесившей корни с обрыва, крикнул по-немецки:

- Внимание! Не стрелять! Только слушать! Говорит представитель Красной Армии!

Немец не то что вздрогнул, а как-то выпрямился, словно очнулся от своей угрюмой сосредоточенности, замер, повернувшись на звук голоса.

- Внимание, слушать! - повторил боец. Гитлеровец покорно склонил к земле ствол автомата, показывая, что готов слушать. Витькин передал все, что велел комбат. Немец после долгой паузы ответил.

- Ну, что? - не вытерпел Абу. - Куда шайтан их несет?

- Это охрана склада горючего. В пяти километрах отсюда - склад в лесу. Узнали, что Красная Армия близко, отходят. Их - целый батальон во главе с офицерами. Что еще сказать?

- Скажи... - Шортанов чуть задумался. - Пусть сдаются в плен. Скажи, чтобы не вздумали артачиться.

- Сказал.

- Еще скажи, что у нас тут батарея. Нет, полк. Артиллерийский! А что такое советская артиллерия - они знают.

Перекрикивание возобновилось.

- Ну?

- Говорит, доложит командиру батальона. На его усмотрение.

В подтверждение своих слов немец повернулся, зашагал вдоль эшелона назад. Поравнявшись с вагоном, немец что-то сказал, ему протянули оттуда руки и он исчез за дверью.

На несколько минут все стало снова так, как было при подходе поезда: нигде ни души. Только попыхивал паром локомотив.

- Пропал фриц, - сказал Кочегаров, подтягивая к себе автомат. - Совстуются. Начнут сейчас концерт, будет нам полк...

- Гвардейцы как дерутся? Вспомни, - отозвался комбат, кося одним глазом на циферблат своих большущих, как блюдце, наручных кировских часов, а второй не отрывая от дверей вагона.

- Подерешься тут... Хоть бы еще одну пушченку, для пропорции и четного числа.

- Вон он! - взволнованно воскликнул Витькин, больше других переживавший из-за немца. От напряжения переводчик даже вспотел и не мог никак водрузить на место съезжавшие с переносицы очки.

Из вагона, вслед за знакомым уже гитлеровцем, выпрыгнул еще один.

- Офицер, - определил Кочегаров. - По выправке вижу. Ишь, напетушился, как на парад перед фюрером.

Автоматчик на ходу замахал рукой, давая знак к продолжению переговоров.

- Ахтунг! Я привел лейтенанта.

- Он говорит, - выслушав теперь уже офицера, перевел Витькин, - что командир караульного батальона майор Штауфер... Штауфенбергмайер... Черт, язык сломаешь. Запрашивает условия капитуляции. Надеется, что она будет почетной. В частности, чтобы за ним оставили вагоны, в которых они сейчас находятся.

- Торгуется, вот гад! - возмутился Кочегаров. - Вагоны ему оставь. С комфортом. А на своих-двоих, полусогнутых не хочет дранг нах остен в Сибирь, поближе к свежему воздуху?

- Пусть сдается в плен и никаких гвоздей, - отрезал Шортанов. - Переведи.

- Майор, говорит, может, согласиться, но только после личной встречи с представителем советского командования. Для какой-то гарантии, что ли? Непонятное слово, - Витькин в затруднении прижал пальцем очки. - В общем, для переговоров. Причем со старшим офицером. Если мы не против, он сюда придет.

Абу задумался, соображая, что могло это означать: личная встреча. Нет ли какой-нибудь уловки со стороны врага?

- Согласен, - махнул он рукой, - переговоры так переговоры.

В нем уже зашевелилась диковатая, быть может, оставшаяся от далеких степных предков удаль, не раз выручавшая и не подводившая комбата-три.

Выслушав ответ, немец-офицер козырнул и отправился докладывать своему начальству.

- Буду парламентером, только вот ранг маловат. - Шортанов критически покосился на свои изрядно потрепанные полевые капитанские погоны. - Что если фриц разбирается в наших звездочках? Как по-твоему, Кочегаров?

Командир орудия сначала было озаботился, но тут же вскинул на комбата, загоревшиеся азартом, плутоватые глаза.

- Беда поправимая, капитан. Сообразим что-нибудь. Иванцов! Мой сидор. Быстро!

Практичный мастеровой умудрялся при любых обстоятельствах держать недалеко от себя свое фронтовое имущество. Минута - и увесистый, остро выпиравший углами вещмешок старшего сержанта оказался в руках хозяина. Кочегаров быстро распутал лямку, наощупь порылся в содержимом и деловито извлек пару отливавших золотом выходных майорских погон.

- Откуда? - изумился Шортанов.

- Совпадение обстоятельств, товарищ капитан. Майор Бобошко попросил подложить пластинки, чтобы не гнулись. Я еще брать не хотел: целлулоида не было. А вот, пригодились.

- Предлагаешь воспользоваться? Давай. Самовольно перескочим через одно звание ради общей пользы. - Абу торопливо потянул с себя гимнастерку.

- Погоди, комбат, - удержал его Кочегаров. - Чего это принижаться перед всяким недобитым хенде хохом: быть одинаковым с ним по званию. Уж если идти, так по-солидному. Пусть, гад, козыряет.

- Что ты хочешь?

- Сейчас...

Кочегаров выдернул звездочки с майорских погон. Потом быстро отыскал в мешке латунную пластинку, ножницы и, в мгновенье ока выкроив полдюжины крупных, жарко отливающих блеском звездочек, подогнутыми кончиками пришпилил их к погонам.

- Пожалуйста, товарищ полковник.

Абу не нашел что возразить. Покоренный окончательно ловкостью рук своего подчиненного, взял погоны, прикрепил вместо своих, капитанских. И вовремя.

Из вагона показался пожилой сухопарый офицер в фуражке с высокой тульей и двинулся по насыпи вдоль эшелона в сопровождении знакомого лейтенанта.

Абу пружинисто поднялся с земли, одернул решительным жестом гимнастерку. Коротко кинул:

- Витькин - со мной! Старший сержант Кочегаров - за меня! - и шагнул вниз, успев подосадовать на свои далеко не щегольские, выпачканные в дороге грязью брезентовые сапоги. Краем уха поймал сзади команду старшего сержанта, сумевшего оценить обстановку:

- Картечь! Прямая наводка по эшелону! Всем приготовить оружие и гранаты!

По пути Абу боялся единственно за свои погоны и все поглядывал с тревогой, не отвалилась ли "полковничьи" звезды, пока шел от опушки леса до насыпи. Но Кочегаров его не подвел: звезды держались.

Немец-майор действительно-таки разбирался, видимо, в воинских званиях противника: он первым, перед тем как представиться, вскинул руку в кожаной перчатке к козырьку фуражки. Что касается лейтенанта, - то тот держался в почтительной позе чуть ли не с момента появления советского "полковника".

Абу, отвечая на приветствие, кивнул бойцу:

- Переводи.

- Не надо, - довольно правильно по-русски сказал майор. - Я жил в Петербурге в старое время. С кем имею честь?

«Врать так до конца» - мысленно благословил себя комбат.

- Командир артполка, полковник Шортанов.

На слове "полковник" Абу все же с непривычки чуть споткнулся, но тут же овладел собой и твердо сказал:

- Перед вами авангард победоносно наступающих советских войск. Мои орудия наведены на дорогу, господин майор. Не вздумайте сопротивляться. Условия сдачи я сообщил.

Немец слегка склонил небритый подбородок в подтверждении того, что знает.

- Со мной в эшелоне ценный груз, - сказал он. - Могу ли я иметь гарантию, что груз попадет в надежные руки? И будет

известно вашему командованию, что сдал его добровольно именно я, Курт Штауфенбергмайер?

- А яснее?

- Мне нужен документ, господин полковник. Расписка...

- Что за груз?

- Здесь, - немец кивнул на цистерны, - горючее особого качества. Бензин. Совершенно секретной марки. Я не счел возможным оставлять его на произвол судьбы на объекте, который доверено было охранять моему подразделению.

- И горите желанием пожертвовать им в пользу противника непременно от своего имени. Не так ли?

- Владеть - право сильного.

- Своя шкура дороже байской шубы. Ясно...

- Что вы сказали, простите?

- Никаких расписок, герр майор, - резко сказал Шортанов. - Просто сдача, без оговорок. Оружие сложить. Вам оставаться на месте, пока батальон не разоружился.

Немец, видя, что добиться ничего нельзя, отдал по-немецки распоряжение лейтенанту и сам протянул Шортанову свой пистолет.

- Я приказал батальону сложить оружие, - поспешил он перевести свою команду.

В другое время Абу, питавший мальчишескую слабость к оружию, не преминул бы рассмотреть трофейный револьвер, а тут даже не глянул, с подчеркнутым равнодушием сунул в карман, успев ощутить ладонью холодноватую шероховатость рукоятки.

Между тем команда майора возымела действие. Из вагонов, как картошка из мешка, сыпанули немцы. Абу, не меняя позы, повел взглядом на своего разведчика: пальцы у того, сжимавшие автомат, побелели, глаза за очками холодно сузились в тревоге. И было отчего. Перед вагонами кишел серо-зеленый муравейник. Сколько их было, немцев: сотни три, наверное, не меньше. Триста и десять, плюс пушка. Соотношение не обнадеживало явно.

Шортанов почувствовал на спине озноб, будто воды холодной плеснули за шиворот. Он немало повидал пленных немцев за время наступления. Но чтобы с оружием и так близко - видел впервые. Лица молодые и пожилые, знаки различия на одежде, голоса команд, брязцание амуниции - целая воинская часть в короткой суматохе построения, готовая к действию.

Но вот все угомонилось: строй, вытянувшийся вдоль насыпи, почти достигал правым флангом того места, где стояли офицеры: представители двух враждебных армий, двух противоположных миров. Лейтенант, повернувшись, козырнул. Шортанову показалось, как будто пальцами немец коснулся его сердца: так оно у него напряглось, завыстукивало. А что, если немцы раскусили, какой перед ними полк и какой полковник?

Офицеру стоит кивнуть - и не успеешь выстрелить...

Но последовала команда сложить оружие. Все разом зашевелились: в песок полетели автоматы, подсумки, гранаты с длинными деревянными рукоятками. Каждый словно был рад поскорее избавиться от оружия. Минута-другая и перед изломавшимся строем в песчаной канаве под насыпью выросла груда металла. Видать, слухи о грозном и неотвратимом приближении советских войск сделали свое дело, основательно подвымочили боевое настроение караульного батальона.

Абу, едва сдержав вздох облегчения, повернулся к своим, крикнул:

- Старший лейтенант Кочегаров, выделить автоматчиков для приема пленных!

Двое батарейных разведчиков тотчас сбежали вниз. Это все, что Кочегаров мог выделить. Там, на опушке леса, в «полку», оставалось шестеро, включая шофера.

- Господин майор, в эшелоне есть еще оружие? - спросил Шортанов, повернувшись к немцу.

- Да, тяжелые пулеметы.

- Прошу сдать.

Вынесли из вагона четыре крупнокалиберных пулемета, похожих на обгорелые безобразные коряжины. Дождавшись, пока и их бросят в кучу с остальным оружием, Абу приказал отвести пленных от поезда. По знаку командира батальона лейтенант отвел солдат метров на пятьдесят в сторону, усадил на песчаном склоне. Разведчики встали между ними и опустевшим составом.

Шортанов продолжал действовать. Первым делом он решил воспользоваться горючим для нужд батареи. Посланный им к орудию переводчик Витькин быстро вернулся вместе с шофером: оба с объемистыми трофейными канистрами в руках. Немец, покуривавший до этого с равнодушным видом сигарету, понимающе кивнул:

- Вы сомневаетесь в ценности горючего?

- Для анализа, господин майор, - усмехнулся Абу. - Нужно доверять и проверять. Надеюсь, немцы, не отрицают этот принцип?

- О, да, разумеется...

Набрали бензин. В записке Абу велел Кочегарову немедленно отвезти горючее отставшим машинам.

Надо было что-то делать с поездом: он мешал обзору шоссе. Шортанов позвал машиниста. Тот оказался поляком, свободно говорившим по-русски. Обороту событий машинист был явно рад.

Абу приказал ему отогнать состав подальше, предупредив, что он отвечает за сохранность паровоза и всего поезда как советского теперь уже имущества. Потом повернулся к немцу.

- Господин майор, - можете отправляться к своим подчиненным. Я вас больше не задерживаю.

- Какие будут приказания на дальнейшее?

- Вас отправят в тыл... Через некоторое время. Как всех пленных. А пока ждите. И чтобы никаких эксцессов. Надеюсь, вы поняли меня?

На лице немца отразилась борьба чувств: видно было, что его волнует какой-то вопрос. Но офицер сдержался.

- Яволь! - забывшись, ответил он на своем языке, козырнул и с достоинством отошел.

Машинист поспешил к паровозу. В тишине лязгнули буферные тарелки, утробным гулом отозвались на толчок цистерны. Поезд медленно двинулся, пятясь и постепенно заворачивая за выступ леса.

А Шортанов уже смотрел в другую сторону, чутко вслушиваясь в нарастающий гул на шоссе. Это был звук моторов. Сомнений не оставалось: приближался враг.

На огневой заметили противника. Хобот пламягасителя, поднявшись над щетинистыми сосенками, описал стремительный полукруг: это наводчик орудия ефрейтор Хижняк работал маховиками, придавая стволу нужный угол.

Почуяли, видимо, опасность и немцы. Они теперь уже без команды сначала повскакивали на ноги, а потом вдруг хлынули толпой вверх по скату в лес, как вспугнутая овечья отара.

- Товарищ комбат! - крикнул один из разведчиков, - смотрите! - куда они? Удерут паразиты!

- Пусть... Никуда не денутся, - Шортанов отмахнулся. - К орудию! Быстро! - скомандовал он сквозь накатывавшийся металлический гул и рокот.

Все трое не успели еще достичь огневой, когда на повороте шоссе показалась голова колонны немцев: тупоносые бронетранспортеры вперемешку с грузовиками.

Абу показалось, что расчет медлит.

- Кочегаров, огонь!

Грохот выстрела заглушил его слова. Над сосняком блеснул желтый кинжал огня. Мгновенье, и черный дымный смерч вырос на шоссе в потоке машин, вспятил их, разметал. А звук нового выстрела уже слился с первым.

Шортанов одним махом преодолел оставшееся расстояние до опушки леса и тут столкнулся с лейтенантом Трешкиным. Бойцы его взвода выкатывали на прямую наводку второе орудие. Бой начался...

Вечерело, когда на батарее Шортанова появилась машина командира полка. Прыгая по раскиданным гильзам, объезжая воронки, "Виллис" подкатил прямо к обрыву.

Абу, сидя на станине орудия, запаленно глотал воду из котелка, и в этот момент Кочегаров, первый заметивший начальство, крикнул:

- Батарея, смирно!

Котелок полетел под ноги. Куда подевалась смертельная усталость, боровшая комбата. Шортанов вскочил перед командиром полка: вытянулся, готовый отрапортовать. Но Писарев взглядом указал на сидевшего рядом с ним незнакомого генерала: докладывать ему.

Генерал выслушал рапорт молча, вылез из машины, прошел к обрыву, с минуту стоял, глядя на шоссе, загроможденное разбитыми, исковерканными машинами врага, чадившими удушливой гарью.

- Не пропустили, значит, комбат?

- Не пропустили, - подтвердил Шортанов, стараясь незаметно поправить сползавший из-под фуражки на ухо бинт.

- Ранен ?

- Чуть-чуть...

- Сколько времени они на вас перли?

- Два часа, товарищ генерал... - Абу запнулся, не видя генеральских звезд под плащ-накидкой.

- Мое звание генерал-лейтенант, - сказал генерал, угадав его затруднение, и слегка повернулся к офицеру. - А ваше, комбат?

Абу обмер. Только теперь он вспомнил о полковничьих погонах на своих плечах.

Жестом отчаяния Абу попытался их сорвать и не смог: до того крепко погоны держались. Тогда он, в совершенном уже замешательстве, принялся лихорадочно выколупывать ногтями звездочки, на совесть всаженные Кочегаровым.

- Не все, - сказал генерал, глядя на его усилия, - не все срывайте. За такой бой можно, пожалуй, по одной оставить ему. Как вы считаете, товарищ Писарев?

Командир полка в знак согласия поднес ладонь к козырьку фуражки, и скупая улыбка тронула его обветренные губы. Писарев улыбался редко и, главным образом, когда был чем-нибудь очень доволен.

БЕКЕША НАЧДИВА

Перелистывая свой дневник военных лет, я наткнулся на отрывочную запись: "Командировка в деревню. Живые свидетели гражданской войны. Чапаев как человек".

Не знаю, что в то время помешало мне расшифровать эти короткие фразы. Но память выручила, и я довольно легко припомнил, о чем шла речь.

...Было начало 1944 года. Наша часть стояла на переформировке и пополнении в небольшом приволжском городке, возле Саратова. В середине февраля нас - нескольких офицеров - вызвали в политотдел.

- Скоро годовщина Красной Армии. Сельские товарищи просят выступить с докладами, поговорить с народом. Словом, помочь им в организации агитационной работы. Нет возражения на недельку-другую съездить в деревню?

Служба есть служба. Начальник политотдела хотя и спрашивал нашего согласия, но это был приказ.

Нам, троим, достался отдаленный Духовницкий район, километрах в ста двадцати вверх по Волге.

До места мы добрались на попутной машине ранним морозным вечером. В райкоме партии нам сказали:

- Поедете по колхозам. Но это - завтра, а пока отдыхайте, отогревайтесь.

Не помню, была ли в райцентре гостиница. Возможно, и была. Только нас отвели ночевать на квартиру. Хозяева дома, старики, оказались людьми радушными. Нас тут же усадили за стол, напоили чаем. Не было конца разговорам о войне, расспросам.

Среди ночи я слышал, как в горнице, где нам постелили, кто-то тихо ходит, осторожно открывает дверцу печки и поправляет наше одеяло. Утром бабка озабоченно спросила:

- Старый-то мой, небось, помешал вам? Потревожил? Холодно ему показалось, вот он голландку и проверял, - и как бы извиняясь, добавила: - Рад он посторонним-то людям. Наскучал. Мы ведь все одни и одни с ним. Летом агроном на квартире стоял, а теперь нет никого. Просим дежурных в райкоме, ежели приезжим негде устроиться, чтобы к нам приводили. Но ныне и приезжих что-то мало.

Я поинтересовался, есть ли у них дети.

- Были. Да еще в ту войну похоронили, в гражданскую...

Бабке некогда было рассказывать. Вернулся дед, ездивший за водой, и она заспешила на кухню:

- Самовар поставлю.

Уехать нам в тот день не удалось. Разыгрался буран. Ураганный ветер гудел над Волгой, в снежной мгле потонули голубые заречные холмы. Мы потолкались без дела в райкоме, постояли на обрыве под слепящими ударами метели и вернулись на квартиру.

Вечером бабка водрузила на стол большущий пирог со щукой, а старик, заговорщически ухмыляясь в бороду, достал поллитровку водки, которую, наверное, бог знает, с какого времени берег. Хозяин не скрывал приподнятого настроения: явно доволен был непогодой и нашей задержкой.

- Ну, выпьем за победу, - взялся он за граненый стаканчик, скромно недолитый для себя на палец. - За то, чтобы Гитлера добить, и вам всем домой живыми-здоровыми вернуться. И дома вот так же выпить с родными да с семьей!

Выпили. Поговорили. Я спросил опять, сколько у них было детей и почему они умерли.

- Давно это было. Чего там, - старик на мгновение поник, тронутый отболевшей утратой, - в девятнадцатом, никак, году убиты...

- В восемнадцатом. Чего ты, отец? Уж и забыл, - с мягким укором сказала бабка. - Под осень. К Покрову как есть. Утренники были холодные. Хорошо помню: Паше сапоги твои велела надеть, перед тем как к стаду идти. Пастушки они у нас были, общественный скот пасли. Паше, старшенькому, по пятнадцатому годку шло, а Феде - двенадцать минуло. Играть бы им обоим по возрасту да в школу бегать. Утром бужу чуть свет, сердце заходится жалостью: спросонья рубашенку

надеть не могут, тычутся головой, как слепые кутята. - Бабка скорбно вздохнула. - Время было, не дай бог. Сам из германского плена не вернулся, неизвестно жив-нет? А тут война. Поле не пахано. Лошаденку отобрали последнюю. Чем жить? - Она задумалась, помолчала, мысленно уйдя в прошлое. - В тот день, как несчастью случиться, бой как раз и начинался. Будто гроза шла: гремит далеко, ухает. Я их не пускала. Сами они: пойдем да пойдем. А тут и люди настаивают: война-войной, а коров пасти надо. И пошли. Не успели стадо за село выгнать - стрельба поднялось. Соседка мне из-за плетня кричит: «Прячься в погреб!». А я стою...

- Ты чего про стрельбу рассказываешь? Офицеры ее больше нас с тобой наслушались, теперешняя стрельба пострашнее прежней, - недовольно перебил старик, явно стараясь этой суровостью замаскировать свое неравнодушие к рассказу.

- Говорю, как было. Стою на дворе и места не нахожу: что там с парнишками? Не вытерпела, пошла. К тому времени стихло вроде.

А тут скачет верховой, вооруженный, на груди кумачовый бант. И ко мне:

«Не скажете, говорит, где здесь живет такая-то... Мать пастушков, что стадо стерегли?» - и мою фамилию называет.

"Я, говорю, она и есть", - а у самой сердце зашлось: и беду почуяла, и его боюсь: кто знает, что за человек?...

- А чего бояться, красный он боец, не беляк, раз бант на нем кумачевый, - не вытерпел опять старик.

Смотрит он на меня, - продолжала бабка, не обратив внимания на реплику, - видит, как я обмерла, да стою перед ним как неживая, и жалко, видать стало. С коня слез.

«Ты, говорит, мамаша, возьми себя в руки и ступай к ветряку: там твоих сынков поранило...»

Не помню, как я туда добежала, что делала, а только когда очнулась, вижу: народ кругом и кто меня утешает, а кто о коровах своих печалится. Побило их штук с десяток, тем же снарядом, что и моих ребят. В стадо как есть и угодил...

Бабка поднесла кончик горошчатого платка к глазам, умолкла на минуту и стала рассказывать дальше:

- Привезла я их домой, своих сыночков. Обмыла в корыте, и что делать не знаю: хоронить надо, а как одной? У соседей тоже только бабы да ребятишки. И тут опять тот боец, что на улице меня встретил, приезжает. Зашел в избу.

«Ступай-ка, говорит, мать, тебя наш командир к себе требует. В штабе он, недалеко тут, в поповском доме».

Прихожу я. Сидит за столом мужчина с усами. В ремнях. Оружие разбирает. Посмотрел на меня строго, заставил сесть.

«Это твоих, спрашивает, парнишек убили беляки снарядом?»

«Моих», - отвечаю.

«Чего ж ты, говорит, отпустила их из дому, разве не видишь, что бой? Пушки бьют да пулеметы строчат. Думаешь, в бирюльки тут играем? Забава? Война это, да такая, что никогда похожей не было. А ты детей не уберегла».

Что сказать? Плачу. А он уже потеплел. Из-за стола встал, руку мне положил на плечо:

«Ладно, говорит, мать, слезами горю не поможешь. Будут еще сыновья. А в похоронах мы поможем. Дал я распоряжение: могилу вырыть, гробики сделать. Своих бойцов хоронить будем, тех, что пали возле вашей деревни, и твоих сынов похороним, как красноармейцев. Муж-то у тебя где?» - спрашивает. Рассказала ему: так то и так, уходил на германскую, а жив или нет - неизвестно.

«Фронтовик, значит? А не в белых где? Может, так же вот стреляет по мирному населению да по ребятишкам?»

«А не знаю, говорю, может и в белых. Кто теперь разберет. Сколько времени ни слуху, ни духу».

«Ну, вернется, говорит, пусть к нам идет, за сынов расплачиваться с врагами. Ко мне в отряд. Скажешь к Чапаеву. Запомнишь?»

- Погоди. Как он сказал: к Чапаеву или к Чапаю? Василь Иваныч себя Чапаем называл, - остановил жену старик, заметно оживившись.

- А запамятовала. Знаю только: сказал. Ну, он помог, правда, царство ему небесное, - бабка перекрестилась. - Не успела я домой вернуться, а там уже люди, им присланные: доски привезли. И материла нового дали, и пуд муки, чтобы обед сделать. На кладбище сам пришел, речь говорил. На медных трубах играли, будто и вправду Федюшка с Пашей бойцами были. А потом, как все стали расходиться, а я одна на могилке осталась, подошел ко мне:

«Погорюй, говорит, мать, поплачь и за своих сыновей и за тех, чьи матери далеко и которые полегли здесь в землю. Да не простудись, смотри. Холодно. Осень близко».

И вправду, к тому времени, запасмурнело. Ветер сорвался, дождик накрапывает. На мне платок один - от горя одеться забыла.

«Вот, говорит, накинься», - а сам бекешу с себя снял и мне подает.

Отказывалась я. «Не надо, говорю, дойду до дому. А как вам раздетому?».

«Бери, говорит, да Чапаева поминай. А за меня не беспокойся. Раздетым не останусь. Да и некогда мерзнуть: бой впереди. Беляков-то отогнали всего на семь верст, а еще гнать тыщу, аж до самого Каспия. Согреемся». С тем он сел на коня и ускакал. Ходила я потом в штаб, хотела вернуть одежину, да не застала никого: ушел отряд...

Бабка умолкла, пригорюнилась от воспоминаний.

- А ты скажи, как дальше. Дальше как? - затормошил ее старик. - Про то, как подарок, вроде, как бы снова вернулся к Василию Иванычу. Ну, тут уж я сам... Встретился с Чапаем первый раз, говорю:

«Бекеша-то с твоего плеча на мне, Василь Иваныч, не признаешь? Жена наказывала вернуть при встрече. Возьми. А я уж как-нибудь в шинелишке, поскольку привычный».

«Взял бы, говорит, штука на войне удобная. Но уж коль ты разыскал меня, к отряду моему прибился - пусть у тебя останется. Носи на здоровье. Только гляди, чтобы белячки пулей тебе ее не продырявили, или того хуже, чтобы какой-нибудь казара шашкой не потрогал. Уж лучше ты им одежу порти: у них се много, буржуи им из-за моря везут. Верю, говорит, воевать будешь, как надо и до полной победы над всеми нашими врагами доживешь».

- И видал ты, так и вышло. Угадал Василь Иваныч: до сих пор живу. Один раз всего под Гурьевом и зацепило малость. И бекешу выносил. Гражданскую всю в ней проходил и после. Мех уж больно добрый попался, с романовской овечки.

Мы попросили показать нам бекешу начдива.

- А нету, - ответил старик. - Нету ее. Как начали тут у нас прошлой осенью теплые вещи собирать для фронта, так мы ее со старухой и отнесли. Верх новый поставили и отнесли. Может, кому и пригодилась на фронте. Уж больно мех теплый. И счастливая бекеша... Ну, выпьем за помин дорогого Василия Ивановича, за успехи наши над фашистами, за всех, кто с врагами бьется, - и хозяин бережно разлил остаток водки по рюмкам.

САДЫ ЦВЕТУТ

Цветут сады... Празднично приоделся и небольшой садик перед нашим домом, беспокойный ветер Приморья качает за окном пушистую ветку белой яблони. Я люблю задумчиво смотреть на эту ветку: она сквозь полузакрытые ресницы кажется мне крылом белой чайки. Глядя на нее, забываюсь я, отдавая себя во власть неуемным мыслям. И всем существом, всей жизнью переношусь в прошлое.

Юность моя... Кому из всех нас, смертных, не бывает жаль тебя? Кто из нас не пел грустных песен о тебе, кто не жалел твою, так незаметно минувшую пору?

Между листов старого немецкого журнала, который хранится на дне моего чемодана, лежит засушенная ветка цветущей яблони. Я перебирал сегодня вещи и нашел ее. Она напомнила мне едва уловимым ароматом последнего друга моей юности, погибшего год назад на моих глазах...

Это было 9 мая, в прошлом году, в день окончания войны. Наша часть добивала остатки вражеского гарнизона в одном маленьком чехословацком городке. Фашисты укрывались за толстыми, зелеными от древности стенами замка времен гуситских войн. Он стоял в центре парка, на окраине городка, и в силу печальных обстоятельств, служил последним убежищем врагов потомков Яна Жижки, по указанию которого был построен. Наша пехота несколько раз штурмовала замок и каждый раз, как морская волна во время прибоя, откатывалась назад от каменных бастионов цитадели. Тогда командование решило разрушить замок огнем артиллерии. Высокие столбы черного дыма днем, и дрожащее зарево ночью, стояли целые сутки над зубчатыми исковерканными башнями крепости.

Смерть и разрушение бешено метались над землей, а земля, изрытая и израненная, по-весеннему была нарядна. На ровных квадратах крестьянских полей, огороженных заборами, изумрудно зеленела трава, могучие дубы и вязы задумчиво шелестели узорчатой листвой над дорогами, цвели сады... Особенно роскошно и буйно цвели сады. Городок, за освобождение которого от фашистов мы дрались, весь утопал в душистой пене цветущих груш, слив и яблонь, так что красные черепичные крыши домов плавали в этом цветном прибое, словно опрокинутые в морскую бушующую пучину лодки. Деревья, словно негодуя на безумие разрушителей, засевших в замке, стыдливо прикрывали собой развалины. Ветви их торчали, свисали и

теснились повсюду, где только можно было: в проломах стен, у заборов, между исковерканных прутьев садовых решеток, во дворах, как будто это были живые существа, которые век свой томились в неволе и теперь вдруг были пущены на свободу все сразу. Сладкий аромат, смешиваясь с гарью и запахом пыли, медленным облаком плыл над городом. В парке, где стоял замок, было также много деревьев. Снаряды кромсали и коверкали деревья, и белый вихрь сорванных листьев, долго не оседая, носился в воздухе, словно снежный буран. Жалко было смотреть на гибель в своем расцвете деревьев. У всех нас на далекой родине были такие сады в палисадниках, и мы помнили милые с детства запахи цветущих яблонь, слив, груш. Но больше всех страдал мой друг Костя, последний из оставшихся в живых моих товарищей детства и юности. Все остальные в разное время сгинули на войне, и я не знаю до сих пор, в каких уголках земли нашей покоятся их буйные головы. Мы были сведены с Костей случайностью фронтовой судьбы совсем недавно, и я, как никогда до этого, дорожил этим счастливым обстоятельством.

Наша дружба для меня была какой-то особенной, чистой: Костя был для меня не просто другом, с которым приходилось делить тяготы военной жизни, а порой и олицетворением самой жизни, последней связью с юностью и прошлым. Его душа, душа ученого-лесовода, переполнялась жалостью к погибающим деревьям, не могла вынести боли за них. Ужасы войны оказались бессильны вытеснить из его души, души русского человека, преданность своему делу, и она, в конце концов, подчинила Костю себе. Кириллов отправился к генералу за разрешением взорвать крепость. Взяв с собой несколько саперов и обвязав себя для маскировки ветками яблонь, он ушел через парк к стенам крепости.

Я не смог ни отговорить его от этого опасного дела, ни пойти вместе с ним: у меня были люди, которыми я должен был руководить, которых нельзя было бросить. Костя взорвал замок, но увидеть его мне больше не удалось. После штурма я бросился искать его и не нашел: он погиб во время взрыва.

Будучи тяжело раненым и, наверное, зная, что ему обратно не вернуться, он сумел поднять потухший бикфордов шнур, поджег его и, не имея сил двигаться, продержал шнур в своей руке до самого взрыва...

Долго, печально бродил я по развалинам замка, и все, что удалось найти мне после товарища, была маленькая, помятая

ветка яблони. Она лежала на земле, в стороне от места взрыва, и на ее лепестках алели капельки свежей крови. Я поднял ветку и со слезами думал о друге.

Погиб мой друг, но не безумие погубило его: гибелью своей сохранил он жизни многим боевым соратникам. За несколько часов до Победы он не пожалел своей юности. Едва смолкли последние выстрелы над обломками поверженного в прах убежища врагов, пришла весть - закончилась война. Я еще стоял на месте гибели Кости Кириллова, когда услышал эту весть. Он вместе со мной ждал этого дня, в него верил и не дождался. Не было моего друга, а сады цвели, и горячий после боя воздух был полон их сладким ароматом.

На то место, где Костя держал в руке конец гибельного шнура, медленно падали розово-белые лепестки яблонь...

Я ночью ушел с развалин замка и на память о друге унес маленькую ветвь цветущей яблони с капельками крови. Сейчас она мертва, не видно на ней крови, и лепестки ее осыпаются, как прах, при малейшем прикосновении, но для меня она свежа и ароматна, как живая ветвь яблони за окном. Она дорога для меня как память о друге моей юности.

Завтра - День Победы, он будет для меня самым дорогим и вместе с тем самым печальным днем. Я нарву завтра большой букет яблоневых веток и поставлю его на столе. Пусть их аромат навевает на меня печаль и грустные раздумья о последнем дне моего друга.

Я вспомню всех друзей моей юности, погибших за Отчизну. Вас нет, мои друзья, но не зря оборвалась и канула в вечность юность ваша. Вы отдали ее, чтобы цвели сады на земле вашей юности. И они цветут. Цветут сады, дорогие мои боевые товарищи!

ДАША И ГЕНЕРАЛ

«...Насчет стиля работы. Опыта... Что сказать? Трудимся... Текучка давит, если честно признаться. Чтобы по-настоящему сосредоточиться, посидеть... Капитально над вопросом каким-нибудь пораздумать не хватает времени. Без конца люди: не один, так второй, не пятый, так десятый. Все в рабочком. И каждый требует: дай, сделай! Колесо... За день - голова кругом. Сами убедитесь. Да, вот, кажется, и подтверждение», - Кужилин с трудом шевельнул забинтованной шеей - мучили

фурункулы - недовольно покосился на дверь. - «Так и есть. Пять минут не дали побыть...».

Сидевший с краю стола инструктор облсовпрофа в расстегнутом пальто, с блокнотом, приготовленном для записей, тоже оглянулся.

В кабинет вошла женщина, невысокого роста, смуглолицая, в теплом платке и спецовке, обрызганной известью. Остановилась на середине комнаты, вполголоса поздоровалась, явно смущенная присутствием постороннего человека.

- А, Бычкова, - узнал ее Кужилин. - Давно не виделись. Ко мне?

- К вам, - кивнула женщина, подняв руку и чуть ослабляя кончики платка на шее, - вчера забегала: вас не было. И сегодня перед сменой... Верочка видела, - женщина показала на девушку в оранжевой шерстяной кофточке, счетовода рабочкома, сидевшей за отдельным столиком, в углу, возле сейфа.

- А нечего бегать, - перебил Кужилин. - С утра я на отделениях, каждый день. Должна знать. Ну, что у тебя? А то некогда. Небось, опять по квартирному вопросу?

- По квартирному.

- Ну, тебе же объясняли: нет свободных квартир. Жди. Говорили, нет?

- Говорили.

- Я бы не просила, Алексей Петрович, - женщина прикусила губы, сдерживая волнение. - Но Ванюшка письмо прислал, к Новому году обещается приехать. А у нас повернуться негде. И холодно. Дров не напасусь: выдувает все. А парень еще и с другом хочет приехать. Служат вместе. Пишет, тракторист, на целине надумал обосноваться. Из Белоруссии сам, - женщина торопливо сунула руку в карман куртки с намерением показать письмо, но Кужилин жестом остановил ее:

- Верю. Рад за тебя, что сын приезжает. Но сделать ничего не могу. Я же сказал, квартир нет. Придется ждать.

Кужилин, морщась, подтянул к себе бумаги, давая понять, что разговор окончен. Но женщина не тронулась с места, стояла, поправляя подрагивающей рукой платок.

- Алексей Петрович...

- Ну?

- Как же теперь? Может, завтра зайти или когда?

- Ну, что ты за человек, Бычкова? - Кужилин развел руками. - Как тебе втолковать? Я и завтра тебе то же самое скажу. И послезавтра... Не могу. Не получается. Думаешь, только одно

твое заявление? С жильем - проблема номер один... Строим - и все не хватает.

- Николай Григорьевич... Парторг... сказал, что можно. И велел к вам зайти.

- Николай Григорьевич... Он - добрый человек. Он готов всем помочь. Но вот беда: квартиры не лежат в моем столе, так же, как и у Николая Григорьевича, чтобы сразу тебе дать.

- Но другим же даете?

- Кому - другим?

- Хижнякам дали. А у них хата своя...

- Дали, да. А кто такие Хижняки, ты знаешь? Ветераны совхоза, с первого колышка. Можно сказать, династия механизаторская. Покорители целины, в полном смысле. А ты в совхозе - третий год. По человеку смотрят... Да Хижняк, если посчитать, сколько он своими руками земли вынянчил, не квартиры заслуживает, а памятника. Одна биография чего стоит, - Кужилин, более уже для инструктора облсовпрофа, чем для женщины, взялся было описывать механизатора, но ему помешала счетовод Верочка.

- Кто-то приехал! - объявила она, вытягивая шею и глядя в окно, за которым пофыркивали автомашины. - Начальство какое-то. Две «Волги» и «Газик». Ой, военные!

Кужилин тяжело, всем корпусом, повернулся в кресле. А в коридоре уже стучали сапогами, гудели голоса. Бухала входная дверь.

- В партком, к Николаю Григорьевичу, - по шуму определила Верочка.

- Гости... Без гостей не обходимся, - сказал Кужилин, возвращаясь к бумагам и за нарочито равнодушным тоном стараясь скрыть любопытство: пошел бы и сам в партком, узнать, не будь представителя. А тут еще эта...

- Ну, все, все, Бычкова, - сказал он с откровенным неудовольствием. - Заявление твое будем иметь в виду. Жди.

- Может быть, попытаться что-то выкроить? За счет резерва, - сказал инструктор облсовпрофа, не желая остаться безучастным и чуть досадуя в душе на эту помеху в его беседе с председателем рабочего комитета.

Кужилин не успел ответить. Из коридора донеслись торопливые шаги. В дверь заглянул секретарь парткома.

- А, ты здесь, Бычкова! А мы тебя ищем. Принимай-ка гостей, Дарья Васильевна!

Секретарь парткома распахнул дверь, весело сказал в коридор:

- Здесь она, товарищи! Нашлась! Заходите.

Первым шагнул через порог плотный, пожилой военный в генеральской папахе. За ним двое офицеров, майор и подполковник, райвоенком с помощником, женщина-секретарь райкома партии.

Генерал, войдя, вскинул руку к папахе, здороваясь со всеми, и остановился, пристально вглядываясь в лицо женщины.

- Даша! - сказал он дрогнувшим, не генеральским голосом. - Конечно же, она! Дашенька, дорогая!

Женщина в изумлении растерянно моргала.

- Товарищ командир...Товарищ генерал?

- Он самый! Только генерал в отставке. И не генерал, а просто Иван Михайлович. Ну-ка, дай я тебя обниму сначала, а потом - разгляжу.

- Ой, я же в таком виде. Прямо с работы. Одежда грязная.

- Ничего. Рабочая одежда, не грязь. Да и на мне шинель, а она не боится грязи.

Генерал сгреб смущенную женщину в охапку, прижал к себе, чмокнул в щеку.

- А вот теперь устрою тебе смотр. Какая ты стала через двадцать лет. Или больше прошло?

- Двадцать три.

- Неужели? - генерал чуть отстранил ее от себя, не выпуская из рук, оценивающе прищурился, - что тебе сказать?

- А и не говорите. Состарилась...

- Не очень. Не скажу очень, потому что про себя придется говорить, сознаваться, что старик. А я этого не люблю. Ну, рассказывай, как живешь, Даша?

- Живу... Вы как, Иван Михайлович? Как нога?

- Зажила. Разве не заживет, если лечила сама Дарья Швыдко, то есть Бычкова. Извини за плохую память. Знакомьтесь, товарищи, - генерал повернулся к своим спутникам, - это и есть Даша, партизанский доктор, которую многие хлопцы до сих пор добрым словом поминают. Если бы не ее умелые руки да доброе сердце, скрипеть бы генералу сейчас протезом да стучать костылями. А тут, хоть танцуй.

- Уж и танцуй, - возразила женщина. - А в валенках вон. Можжит, наверное?

- Заметила... Это оттого, что дорога. Вынужден надеть. До тебя же не доберешься. Вон куда заехала. Петро завез?

- Петро, - кивнула женщина сквозь навернувшиеся слезы. - Завез и оставил...

- Знаю. Фашистские пули укоротили-таки ему век. Ну, царство небесное Петру, за все его боевые подвиги. Пусть будет земля пухом, - генерал снял папаху, обнажив короткий, густо присыпанный сединой ежик. - Беспокойный был человек, Петр, как и подобает партизанскому разведчику. И таким до конца остался. Смена батьке есть?

- Сыны, Иван Михайлович. Двое. Старший в армии.

- Добро. Я так и знал, что в центре он не останется, Петро. Ему подавай, что потруднее да неразведаннее. И как узнал, что ты жива, стал искать по дальним краям. И, видишь, разыскал.

- Ой, как же я рада вам, Иван Михайлович. Глазам не верится: неужто вы?

- Но, наверное, не больше, чем моим глазам не верилось тогда, как во время боя за разъезд, ты целый километр тянула меня на себе, такого борова. Да еще потом трех хлопцев вынесла из-под огня, раненых.

- Та где ж там километр, Иван Михайлович. Не будет.

- Измерял я по карте: километр еще и с гаком. А худенькая была. Откуда силы брались. Да, ты с тех пор, смотрю, и не растолстела. Не обижают тебя тут, часом?

Генерал вопросительным взглядом обвел присутствующих: с сопровождавших его офицеров перевел взгляд на секретаря парткома, потом на Кужилина, поднявшегося по солдатской привычке из-за стола.

- Да нет, - успокоила женщина. - Не успели обидеть. Мы же из того совхоза, где с Петром жили, переехали... Чтоб не так напоминало... Не могла я... - она смахнула ладонью слезы, повисшие на ресницах, и этим жестом словно вернула на свое лицо улыбку. - Ну, до чего ж день у меня сегодня радостный! Откуда только взялись вы, Иван Михайлович!

- А я не с пустыми руками явился: орден тебе привез, Даша, - сказал генерал. Ждал он тебя аж с сорок четвертого года, с весны. Готовь дырку для него на платье. Будем вручать награду.

- Ой, ну чего ж мы стоим? - спохватилась женщина, смущенная и порозовевшая. - Иван Михайлович, ко мне пойдемте.

- Пойду, - согласился генерал. Как же не пойти: в гости к тебе специально приехал. Должен посмотреть, как живешь, по долгу бывшего командира. Давай, веди.

В конторе все уже узнали о приезде знаменитого партизанского генерала, в коридоре теснились люди, заглядывали в распахнутую дверь.

На улицу вывалила толпа вслед за гостями. Выскочила вместе со всеми и счетовод Верочка. Председатель рабочкома с инструктором облсовпрофа остались вдвоем в комнате. Кужилин стоял за столом с обескураженным видом: гости в совхозе, людей собирают в клуб, а ему - ни слова, оставили как постороннего.

- Генерал у Бычковой... Где это она его примет, интересно? - сказал он, в недоумении вздергивая белесые, щетинистые брови. - И орден ей... Смотри ты... Медсестра, партизанка. И ведь помалкивала. Никому об этом ни слова. И в трудовой книжке не упомянуто. До чего же скрытная. Ну, люди. - Кужилин покачал головой, придерживая повязку на горле, грузно опустился в кресло, налег грудью на кромку стола. - Ну, так на чем мы с вами остановились? О стиле работы рабочкома...

- А, знаете, - вежливо перебил его инструктор облсовпрофа, пряча записную книжку в карман пальто. - Давайте, потом... После как-нибудь встретимся.

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА КОМБАТА

Мозглое январское утро едва начинало брезжить, когда комбат Матвеев был вызван на командный пункт командира корпуса. Генерал сказал:

- Впереди, в полосе наступления армии - город Блендув, сильно укрепленный узел обороны противника. От взятия его зависит продвижение частей, успех наступления. Ваш батальон, - продолжал генерал, - назначается в передовой отряд. Придается танковая рота, артиллерийский и минометный дивизионы. Задача - овладеть городом до прихода основных сил. Я поручаю эту операцию вам, надеясь на ваш боевой опыт. Задача ясна?

- Так точно, товарищ генерал!

Комбат, невысокого роста, подтянутый, гордый доверием, четко вскинул ладонь к козырьку фуражки.

Генерал не ошибался, говоря о его боевом опыте. Война началась для Матвеева 22 июня 1941 года, на западной границе, где он командовал взводом броневиков в мотомеханизирован-

ном полку. В тот же день лейтенант принял первое крещение огнем и вскоре был ранен.

В санбате он не улежал. Гнев к врагу не давал покоя. И лейтенант Матвеев, воспользовавшись тем, что началась эвакуация раненых и суматоха в санбате, достал обмундирование и вернулся на передовую, в свою часть.

Потом дважды его ранило и оба раза он оставался в строю. Только после четвертого ранения пришлось полтора месяца проваляться в госпитале.

А в скольких боях участвовал он со своим батальоном - трудно сосчитать. После Сталинграда - битва на Курской дуге, потом форсирование Днепра и освобождение Киева, бои на Днестре и Пруте и, наконец, Польша, опоясанная с трех сторон огнем, Мангушевский плацдарм на западном берегу Вислы. Два боевых ордена сияли на груди за его подвиги.

И вот новое задание предстоит ему выполнить.

...К четырем часам утра батальон был у цели. Подошли тихо, оставив танки позади, чтобы грохотом не привлечь внимание немцев.

Всю дорогу озабоченность не покидала комбата. В ушах звучали слова генерала: «От взятия города зависит успех наступления...». Ошибка, малейший просчет, просто заминка - и может все сорваться, полягут зря люди.

Начало светать. В серой предутренней мгле на фоне холодного неба чуть вырисовывались пики костелов. Проступали смутно-темные черепичные крыши. Блендув... Чем встретит их это безмолвное скопление домов по обе стороны асфальтированного шоссе?

Комбат сделал знак рукой:

- Лейтенант Паршин!

- Я здесь!

- Давай.

Разведчики в камуфлированных плащ-палатках призраками скользнули в темноту. Сердце отстукивало время. Минута, пять минут, десять. Полчаса! Тишина. Ни звука. Наконец, командир взвода разведки как из-под земли вырос перед комбатом.

- Все в порядке. Не ждут фрицы, дрыхнут по домам. Надеются - фронт далеко. Но укрепились здорово. Перед въездом в город - два дзота. Проволока...

Комбат выслушал. Зеленая ракета взвилась в воздухе: атака! Батальон бесшумно кинулся к городу. В первых домах гит-

леровцев захватили сонными: ошалелые, они в одном белье выбегали на улицу. Но вот к знакомому треску наших автоматов прибавился басовитый стук немецкого пулемета, заухали ручные гранаты. Гитлеровцы начали приходить в себя.

- Товарищ комбат, впереди проволочное заграждение и огонь из дзота!

- За мной!

Разгоряченный боем, комбат сам возглавил блокирующую группу. На обледенелую, ощетинившуюся стальными колючками проволоку полетела шинель с капитанскими, защитного цвета погонами. Дзот блокировали и взяли. Гранатами и огнем сопровождавших пушек были подавлены другие огневые точки на перекрестках улиц. Стрельба гремела по всему городу. Но все тише и тише. Сопротивление врага ослабло. Вот и западная окраина города. За пустырем, километрах в двух, горбились шиферные кровли ангаров, различались силуэты самолетов, распластанных на летном поле. Аэродром! Немедленно туда! Не дать самолетам взлететь. Комбат с прикипевшим к руке пистолетом вскочил на подножку подоспевшей автомашины. В кузов кинулись солдаты.

- Гони напрямик! Быстро!

К семи часам утра все было кончено: город взят. Путь наступающим войскам расчищен. Комбат, в брошенной ему кем-то из солдат на плечи чужой шинели, сидел на ящике из-под снарядов и принимал донесения: разгромлены два полка противника, уничтожено двести пятьдесят гитлеровцев, полторы сотни захвачены в плен, в том числе четырнадцать офицеров и два генерала. Среди трофеев - два полковых знамени, 18 боевых самолетов, пушки, автомашины, большое количество боеприпасов.

Испуганные, угрюмые пленные офицеры стояли, сбившись в кучу, и смотрели на темноволосого молодого русского капитана, который, как после тяжелой работы, по-мужицки просто отирал рукавом потное, разгоряченное лицо и щурился на солнце, всплывавшее в небо большим косматым диском.

Вскоре подъехал член военного совета армии генерал Латышев. Комбат вскочил, подтянулся, готовый доложить о выполнении боевой задачи по всей форме. Но член Военного Совета остановил его и по-отечески обнял.

- Знаю, комбат. Все знаю. К Герою представим тебя. К Золотой Звезде. Молодцы!

...Золотую Звезду Матвееву вручил командующий танковой армией генерал Регланов, будущий маршал. Перед строем генерал прикрепил ее к походной гимнастерке комбата, потом обнял и поцеловал его.

- Желаю новых подвигов!

Победа была уже близка. Впереди, широко расплескавшийся в весеннем половодье свинцово мерцал Одер - последний водный рубеж перед фашистским логовом. А там - дорога была на Берлин!

Штурм Берлина батальон Матвеева начал с северной окраины. И все девять дней в полном смысле шел сквозь огонь. Бой за каждую перегороженную баррикадами улочку, за каждый дом и этаж. Гитлеровцы сопротивлялись с упорством обреченных. Но впереди был конец войны, и наши бойцы двигались неудержимо. Выкуривали врага из всех щелей.

Для комбата словно перестала существовать смена дня и ночи. И когда второго мая смолкли выстрелы, он, казалось, первый раз увидел солнце, по-настоящему его разглядел. Солнце сквозь тучи дыма и мглы сияло над поверженным городом, над широкой, загроможденной развалинами Унтер ден Линден, над мрачной от копоти громадой здания с колоннами посреди площади, где вознесенное высоко вверх над ребристым выгоревшим куполом багряно рдело Знамя Победы, водруженное советскими солдатами.

- Товарищ комбат, рейхстаг!

Но он и сам узнал это здание, куда спешили со всех сторон, теперь уже во весь рост солдаты и офицеры, завершившие великий ратный подвиг. Рейхстаг! Пуп разгромленного «тысячелетнего» фашистского рейха. Вот где кончился для Матвеева долгий, тяжкий солдатский путь, начавшийся для него росным июньским утром сорок первого года в небольшом украинском городке. Почти четыре года назад!

Комбат, весь продымленный, в фуражке, пробитой фашистским снайпером, еще не стряхнувший с себя напряжения боя, сунул пистолет в кобуру, поправил ремень на гимнастерке и отдал команду:

- Старшинам рот - проверить наличие людей!

Служба продолжалась...

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ КАПИТАНА КАЛАШНИКОВА

Пока Варя читала письмо, капитан Калашников ничем о себе не напомнил. Высокий, бледный после госпиталя, в шинели с чужого плеча, с вещмешком, стоял он посреди комнаты, опираясь на палку, и с тяжелой душой, молча смотрел в окно, за которым хлопьями падал снег. Может быть, впервые в своей жизни он смалодушничал, не смог сказать этой незнакомой молодой женщине, что ее мужа уже нет в живых и то письмо он взял из полевой сумки друга, после того как их обоих - одного тяжело раненного, а второго бездыханного - доставили вместе в санбат. У них был уговор: тот, кто останется в живых, навестит родственников погибшего.

И капитан Калашников его выполнил: по пути из госпиталя завернул в чужой город, чтобы принести сюда, на одну из окраинных улиц, горькую весть. Но вошел в дом, увидел, что жена товарища ничего еще не знает, и решительность его покинула. Достал и отдал ей письмо, которое столько времени хранил.

Капитан пока не представлял, как держать себя дальше, и был только рад, что женщина занята письмом и не обращает на него внимания. Но вот она пробежала последние строчки и, прижимая ладонью сердце, облегченно перевела дыхание.

- Славу богу! Наконец-то дал о себе знать! А я так переживала. Столько всего передумала. Это же хуже всего - неизвестность. Вечно предположения, вечно боязнь... Ой, да что вы стоите, - спохватилась женщина и вскинула на офицера глаза, застланные счастливыми слезами. - Как я могла забыть? Проходите, пожалуйста. Раздевайтесь. И, пожалуйста, извините меня. Она виновато сунула было письмо в кармашек платья, но тут же раздумала, положила на комод, на самом виду, и стала помогать гостю раздеваться. Взяла у него вещмешок, сама отнесла на вешалку шинель и шапку.

Капитан Калашников подчинился, прошел к столу, одергивая на себе застиранную гимнастерку с орденом Красной Звезды над красно-золотой полоской за ранение и чувствовал себя как преступник.

- Вы не очень-то старайтесь, - сказал он, видя, как хозяйка быстро сменила на столе скатерть и достает из буфета посуду. - Я ведь ненадолго. У меня поезд в шестнадцать тридцать...

- Так скоро! И не посидите? Вы же устали. Да я еще заставила стоять, - виновато отозвалась женщина. - Вы домой спешите, конечно? И это далеко?

- Порядочно.

- Вам дали отпуск?

- Да. На две недели.

- Вы сильно ранены?

- Не очень. Терпимо. Видите, бегаю. Правда, с помощью «союзника», но ничего, - капитан шутливо приподнял палку, боясь, что женщина будет расспрашивать про госпиталь, и, узнав, что он там валялся целых три месяца, поймет его обман с письмом.

- Вас дома ждет семья? - спросила Варя, поставив на стол тарелки с копченой колбасой и ломтиками темного военного хлеба.

- Сынишка.

- А жена?

- Жена умерла зимой сорок первого в Ленинграде, - глухо сказал капитан Калашников.

- Простите, - смутилась женщина. - Желаю вам счастливой встречи с сыном. Он у родственников?

- Нет. В детском доме. На Урале.

- Ой, а мне казалось, тяжело ждать. Да разве это самое тяжелое - ждать? У людей горя больше. И чего только не наделала война! Каких не принесла бед, - опечалившись, и, словно испытывая неловкость за свое относительное счастье, Варя собрала на стол: поставила две тонконогие хрустальные рюмки и выбежала на минуту из комнаты, вернулась с заиндевевшей поллитровкой в руках.

- На карточки получила еще летом и все берегла, - как бы оправдываясь, и в то же время немного торжественно сказала она и рассмеялась. - Мужчины предлагали сменить на сахар: в цехе у нас все так делают. А я отказалась. Как знала, что самой пригодится. И вот пригодилась.

- Ну, давайте, за все хорошее... - У меня такое настроение, что и я выпью, - снова рассмеявшись, Варя подняла рюмку, зажмурилась, сделала глоток и тут же поперхнулась: замахала рукой, закашляла.

Капитан Калашников подал ей ломтик хлеба, посоветовал:

- Понюхайте, перебьет.

То ли с непривычки, а скорее всего, наверное, от настроения, но и ему самому водка показалась горькой, как никогда.

С трудом жевал колбасу, не ощущая вкуса, но старался делать вид, что целиком занят едой.

Женщина захмелела с одного глотка. Смуглое, утомленное лицо взялось легким румянцем, глаза, долго прятавшие печаль, посветлели. Капитан Калашников не знал, на каком заводе она работает, но, вероятно, ей мало приходилось спать. Нетвердым движением руки Варя ловила падавшую на щеку прямую прядь, придвинула гостю закуску.

- Извините, горячего ничего нет. Скоро закипит чайник. Сегодня должны выдавать мясо, но я занялась уборкой и не успела отоварить карточки. Вы ешьте, пожалуйста. И расскажите, как он себя чувствует, Вася. Хотя это, наверное, не то слово? Спрашивать о самочувствии на войне, когда кругом такие ужасы, - глупо, конечно...

Варя помолчала, поборола волнение, и тем неопределенно-грустным, полным тревоги и надежды тоном, который выработался у людей за войну в разговоре о близких, не подающих о себе вестей, сказала:

- Раньше он отвечал почти на каждое письмо. В прошлом году, правда, был перерыв, больше месяца. Но потом пришло четыре письма сразу. А теперь уже столько времени - и ничего нет. Может быть, опять что-то с почтой? Ведь могут задерживаться письма, правда?

Она задавала вопрос за вопросом, не дожидаясь ответов. Или тут же отвечала сама, как будто думала вслух. И капитана Калашникова это спасало: молчать все же было ему легче, чем говорить неправду.

- Странно, но я почему-то верю, - продолжала Варя, улыбаясь сквозь выражение печали, - верю, что мы вот так еще будем сидеть здесь за столом, все трое. Хотя ведь всякое может случиться, правда? В нашем цехе уже столько похоронок пришло женщинам...

- Может, - с той же поспешностью опять кивнул капитан. - Война... Но надо верить в лучшее. Без веры трудно жить.

- Простите, я не спросила. Вы его начальник там, на передовой? Часто видитесь, разговариваете... Друзья, наверное? Конечно же, иначе бы он не отдал письмо. Скажите, Вася говорил вам что-нибудь обо мне, о дочке?

- Да, и очень часто. На фронте делятся вестями из дому. Читают письма товарищам....

- Я боялась, что война сделает его замкнутым. И уже не представляю даже, какой он теперь. Вы говорите, он расска-

зывал о нас? Но почему так долго нет от него писем? Мысли всякие лезут в голову. И отгоняю, а все равно. Светланка истомилась: все спрашивает, написал папа или нет. Вот обрадуется! Хотите ее посмотреть? - Варя показала на большую любительскую фотографию девочки над комодом: темноволосая, как мать, в летнем цветастом платьице и с мячом в обнимку. Фотограф, наверное, не очень опытный, усадил ее на солнце: девочка щурилась, наморщив носик, и широкой светлой улыбкой поразительно напоминала отца.

- Мы папке посылали такую карточку, маленькую. Светланка сама подписала. Это было в мае месяце, она кончила первый класс, - сказала Варя, переводя взгляд с фотографии дочери на гостя. - А вы после отпуска опять на фронт? Я все допытываюсь...

- Опять, - кивнул утвердительно капитан Калашников, вспомнив своего сына, и уже совершенно не зная, как поддерживать дальше этот тяжелый и непростительный для него разговор с женщиной.

- И в ту же часть?

- Не знаю. Вряд ли. Не всегда это удается. Но буду проситься, конечно.

- Значит, увидите его? Передайте привет. Скажите, живем хорошо. Пусть не беспокоится. А может, я напишу и передам с вами? Вы подождете? Хотя у вас нет времени. Уже четвертый час. Тогда выпейте еще, пожалуйста. И вы ничего не едите. - Варя наполнила рюмку капитана, долила свою и вскочила на призывное дребезжанье чайника, вскипевшего на электроплитке.

- Я сейчас! У меня есть варенье, ежевичное. Оно кисловатое и будет приятно с чаем.

Повозившись на кухне, женщина вернулась к столу с чайником и стеклянной поллитровой банкой варенья. Поставила стаканы.

- Вот, пожалуйста. Но сначала давайте подымем еще один тост... За Васю. За вас. И за всех, кто на фронте.

Они подняли рюмки и выпили. Варя половину, а капитан Калашников всю, но еще с бо́льшим трудом, чем первую. Чувствовал он себя плохо от притворства и от того, что вдруг больно заныла почти уже не беспокоившая его простреленная нога. И готов был сознаться в своем обмане. Но посмотрел на женщину, верившую в свое счастье, перевел взгляд на девочку, светло улыбавшуюся с фотографии, и снова не нашел

в себе решимости. Правду они узнают, но не от него и не сегодня. Пусть сегодняшний день будет для них радостным до конца.

Варя вышла проводить его, накинув на себя шаль. Возле калитки они простились. Капитан Калашников поспешил отпустить маленькую, выпачканную какой-то краской, ладонь женщины и, вскинув на спину вещмешок, зашагал прочь. Он шел один, посредине узкой пустой в этот дневной час улице рабочего поселка, сердито вонзая палку в мягкий, только что выпавший снег, и никто бы не подумал, пожалуй, что этому сутулому, обросшему серебристой щетиной, хромому человеку в поношенной шинели всего тридцать лет.

ОРЛИНЫЙ КАМЕНЬ

Художник Ларионов весну напряженно работал над картиной для заводского Дворца культуры, устал, прихворнул и с наступлением тепла взял отпуск. Он отказался от путевки в Дом отдыха, которую предлагали ему в местном отделении художественного фонда, а запасся удочками и с младшим, десятилетним сынишкой махнул в Камнегорск к сестре, клятвенно пообещав, что не возьмет там в руки не только кисть, но и карандаш.

Ларионов наскучал по родным местам и сразу после приезда отправился на озеро - главную достопримечательность города. К озеру вела хорошая, грейдированная дорога, но Ларионов нарочно выбрал кружной путь через лесистый отрог сопки, чтобы сверху глянуть на окрестности. Забраться бы на самую сопку, что вздымает в небо, мохнатую, похожую на верблюжий горб, вершину - вот откуда вид! Да сердце мешало. Подводить стало в последнее время сердце художника.

Ларионов любил свой щедро украшенный природой озерный «сопочный» край и хотел привить это чувство сыну. Мальчик прогулкой был доволен: прыгал козленком с камня на камень, носился по лесу, напитанному смолистым запахом сосен. То и дело раздавались его восторженные восклицания:

- Папа, смотри: птичье гнездо!

- Муравьи, сколько муравьев!..

Сам Ларионов чувствовал себя не намного спокойнее. Он словно не по скату горы спускался, а шагал со ступеньки на ступеньку - вниз, в прошлое, к своей юности, к детству... Все тут было ему памятно и мило. Вот крошечный родничок в ло-

щинке: из него они мальчишками любили пить прозрачную до синевы, ломившую зубы, воду. Просека, которую он только что сейчас миновал, служила для них зимой трассой лыжного слалома. А вон на ту скалу, что впереди, взбирались на спор, с риском сорваться...

Сынишка уже ее заприметил, стоял у подножья, звал:

- Папа, иди сюда! Башня!..

Скала называлась «Орлиный камень», и в самом деле формой напоминала башню средневекового замка: такая же круглая, почти отвесная. Вся она словно руками человека была сложена из огромных гранитных глыб, самая верхняя из которых походила на птицу, окаменевшую в момент взлета: края глыбы выступали, как изогнутые крылья. Скала высоко вздымалась над окружавшими ее соснами, похожая на гигантский сталагмит.

Взобраться на Орлиный камень можно было лишь с одной стороны, ступая в расщелины и держась за обомшелые неровности гранита. Под конец надо было ухватиться за кромку «орлиного крыла», подтянуться на руках, как на турнике, и только потом уже оказаться на вершине.

Вот этот последний момент - подтягивание на руках над обрывом и смущал их, мальчишек, главным образом, а вдруг да «сыграешь» вниз? И он, Ларионов, однажды чуть не «сыграл», правда не без причины: подвело ведерко с краской. Он тоже на спор похвалился, что распишется масляной краской на груди у «орла» и выспорил, крупно вырисовав свою фамилию белилами: другой краски не нашлось. Потом он проявил снисхождение и добавил рядом фамилии приятелей, державших с ним пари: но пониже и менее броско. И, оказывается, промахнулся. Его автограф, начертанный аршинными буквами, начисто стерт влагой и ветром. А вот фамилии приятелей держались; их и теперь еще, хотя и с трудом, но можно разобрать.

«Мартемьянов Иван, Асылбеков Исхак, Кириллов Николай». Трое его самых закадычных дружков...

Ларионов, дальнозорко вглядываясь снизу в полуразмытые буквы, погрустнел. Имена друзей на камне остались, да самих их давным-давно нет в живых: с начала войны.

Первым погиб на западной границе в Белостоке Николай. От Исхака Асылбекова он, Ларионов, уже на фронте успел получить письмо откуда-то из-под Смоленска. Коротенькое, написанное второпях, оно обрывалось словами: «Атака немцев, пятая за день. Бегу к пулемету...».

И все трое они вдруг встали перед глазами Ларионова так зримо, с такой поразительной яркостью, как бывает, наверное, только у художников, привыкших мыслить в красках, и будто самого его увели за собой в минувшее и подняли над гранью времени.

Мальчик уже не рад был, что обратил внимание отца на эту одинокую скалу-башню. Внизу, сквозь деревья, совсем близко просвечивала сизая гладь озера, манила прохладой, а отец стоял у скалы, как завороженный. И когда, наконец, двинулся дальше, все оглядывался назад и сделался каким-то молчаливым и скучным, на вопросы отвечал невпопад.

Вечером, дома, Ларионов попросил зятя показать ему военные награды. Зять, дядя Костя, бывший танкист, а теперь механик автобазы, не скрывая недоумения от подобного рода просьбы, долго рылся по ящикам комода в поисках своих регалий и, наконец, высыпал их пригоршней на стол.

- Одну медаль ребятишки затаскали, не нашел, - сказал он, смущенно ероша свои, густо пересыпанные сединой, цыганские кудри. - Да чего это ты вдруг наградами заинтересовался? На свои не насмотрелся?

- Чужие интереснее. Носишь хоть их?

- А кто их носит теперь? Не в моде. Вроде, чудаковато даже. Надевал на 9 Мая в прошлом году.

- Чудаковато... В представлении тех, кто не нюхал кое-что. Тебе, вот, думаю, они не за так просто достались? Каждая...

- Да чего там... Пришлось хватить и горячего, и горького: все было. Если вспомнить...

- Ты оставь мне все это на ночь, - попросил Ларионов, осторожно перебирая пестрые ленточки потускневших медалей и орденов.

- Бери хоть на неделю, - согласился механик, не став допытываться зачем. Мысленно он махнул рукой на шурина: художник, что тут удивляться?

А утром Ларионов странно повел себя теперь уже в глазах сына. Нарушив уговор пойти рыбачить, он сначала долго расспрашивал тетю Наташу, где и какие у них магазины, а потом один ушел в город и пропадал там чуть не до вечера. И уж совершенно сбило мальчика с толку то, что он сделал на следующий день. На следующий день отец исчез вообще, не сказав куда. Проснувшись поздно утром, мальчик увидел возле себя аккуратно заправленную раскладушку отца и на столе завтрак: тарелку с оладьями и запотевшую в погребе крынку молока.

Огорченный мальчик поел и отправился во двор играть с собакой, все еще не теряя надежды на то, что отец вот-вот вернется. Но кончился мучительно долгий день, солнце скатилось за щетинистый горб сопки, а отца не было.

Только уже в сумерках, после того, как по улице прогнали из табуна коров, возле дома затарахтел мотоцикл, и в калитке показался отец. Но в каком виде! Измученный, бледный, он с трудом шел, сбоку его поддерживал дядя Костя без кепки, с сосновыми иголками, застрявшими в седой шевелюре.

- Ну-ка, хозяйка, принимай своего гостя да скажи спасибо дождичку, который наделал грязи и заставил меня поехать на озеро, купать «коня» трехколесного. А то бы ночевать художнику под открытым небом, на свежем воздухе! - весело говорил дядя Костя, явно, чтобы успокоить не на шутку испугавшуюся жену. Он завел Ларионова в комнату, внес следом хозяйственную сумку, звякавшую какими-то банками, залпом выпил из бочки в сенях ковшик холодной воды и укатил в аптеку, за лекарствами.

...У Ларионова оказалось не только плохо с сердцем, но сильно поцарапано плечо, и он три дня провалялся в постели, отделываясь шутками от настойчивых расспросов сынишки, куда он исчезал, и что с ним такое случилось. Мальчику, истомившемуся сиденьем дома, хотелось узнать, скоро ли они пойдут и пойдут ли теперь вообще на рыбалку, но он подумал, что не следует тревожить отца, и промолчал.

На четвертый день - это было воскресенье, мальчик проснулся, когда солнце еще не успело заглянуть в комнату. Отец стоял возле кровати одетым, с удочками в руках и осторожно тормошил его за плечо. - Вставай, едем ловить окуней!

Обрадованный мальчик вскочил с постели, не понимая спросонок, почему это отец сказал «едем» на рыбалку, а не «идем». Но тут же ему все стало ясно, едва он выглянул в окно. Перед домом стоял мотоцикл дяди Кости и сам он, сдвинув на лоб марсианские очки-окуляры, сидел на корточках и звякал гаечным ключом, что-то подкручивая.

На озеро поехали по шоссе, еще безлюдном и прохладном от подступающих к обочинам сосен. Всю дорогу Ларионов странно волновался, и в момент, когда они, одолев крутой подъем, очутились перед свертком к берегу, - попросил дядю Костю остановиться. Выбравшись из люльки мотоцикла и словно вдруг помолодев от затеплившейся в глазах улыбки, Ларионов смущенно и немного приподнято сказал сынишке:

- Ну, вот, смотри...

Мальчик, счастливый до предела поездкой, с готовностью оглянулся в ту сторону, куда показывал отец и в восхищении замер. Слева под зелеными пиками сосен высоко вздымалась знакомая скала-башня. Солнце только взошло, и его первые косые лучи золотили утес, на вершине которого, напоминавшей каменного орла, горел и сиял красками орден Отечественной войны. Он был так крупно и отчетливо выписан со всеми своими гранями, чередованием оттенков, что казался сделанным из металла и неведомо каким образом прикреплен к камню на головокружительной высоте. А рядом с орденом, тоже крупная и отчетливо различимая издали, алела надпись краской: «В память героев-кампегорчан, погибших в боях за Родину». И значились три фамилии.

Мальчик привык к тому, что отец рисует, гордился его профессией, но еще ни разу с такой глубиной не осознал, что он у него художник, и смотрел на его картину на скале, почти не веря, что так он мог нарисовать. Ему мало казалось похвалить отца. Сейчас бы подбежать, броситься к нему на шею, прильнуть молча губами к его колючей от проступившей щетины щеке, или что-нибудь шепнуть на ухо ласковое. Но мальчик не сделал ничего этого, побоявшись, как бы отец, и особенно дядя Костя, за спиной которого он восседал на продавленной пружинной подушке, не посчитали его за маленького. Поэтому он только перевел свой заслезившийся от восхищения взгляд с картины на отца и сказал дрогнувшим голосом:

- Здорово, папа!

И чуть оправившись с волнением, уже тверже, тоном взрослого, добавил:

- А знаешь, я не скажу, пожалуй, маме, что ты ушиб руку, что у тебя было плохо с сердцем и ты рисовал. Нет, что рисовал, скажу... Но скажу, что всего один раз и что это было очень... очень нужно.

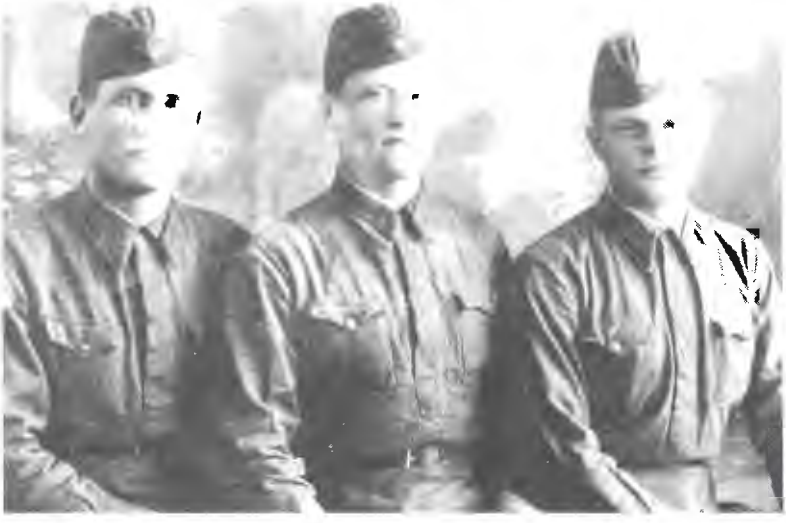
Семья Петровых. Нижний ряд справа налево: мать Агафья Захаровна Петрова, отец Николай Тимонович Петров, Борис Николаевич Петров, Галина Николаевна. В верхнем ряду: Прасковья Николаевна и Елена Николаевна. Щучинск, 1940 год.

Призывник Борис Петров. Бердск, ноябрь 1940 года.

Фронт, 1943 г.

Б. Петров в действующей армии (первый слева).
Бердск, 1940 год.

Б. Петров с армейскими друзьями
(первый слева в нижнем ряду).



Первые дни на фронте. 1941 год. Б. Петров – первый слева.

Тот же 1941. Б. Петров с другом (справа).

Б. Петров (слева) – участник разгрома милитаристской Японии. Маньчжурия, август-сентябрь 1945 года.

Б. Петров с супругой Марией Яковлевной. Спасск-Дальний, 1946 год.

Б. Петров после демобилизации. Петропавловск, 25 октября 1948 года.

Б. Петров у полки личной библиотеки. Петропавловск, 1960 год.

Б. Петров, И. Шухов и Б. Яшин
в квартире по ул .Пушкина, 1960 год.

Б. Петров проводит заседание литобъединения
в Щучинске (второй слева), 1962 год.

Б. Петров сопровождает украинских писателей Василя Большака, М. Руденко, В. Кочевского в поездке по целинным совхозам. С. Полтавка Северо-Казахстанской области, 1962 год.

В одиой из поездок по области Б. Петрова - писателя, журналиста, 1963 год.

Б. Петров у подъезда дома по ул. Пушкина, 76, в котором жнл с 1958 года по 1971 год, 1963 год.

Встреча в совхозе «Боровском» Костанайской области с членами литературного объединения. Б. Петров сидит в центре в первом ряду, 14 июля 1964 года.

Семья Петровых (1965 год).
Нижний ряд: мать Агафья Захаровна Петрова,
Борис Николаевич и Мария Яковлевна Петровы.
Верхний ряд: сын Владимир, дочери Людмила и Валентина.

Б. Петров с первым внуком Михаилом Чернышовым
(1969 год) на балконе своей квартиры.

Б. Петров за работой в личном кабинете (Пушкина, 76), 1970 год.

Б. Петров на балконе своей квартиры по ул. Пушкина, 76, 1970 год.

**Б. Петров в день 50-летия с матерью Агафьей Захаровной,
супругой Марией Яковлевной,
сыном Владимиром Борисовичем
и дочерью Валентиной Борисовной, 6 августа 1970 года.**

СОДЕРЖАНИЕ

В. Петрова. "...Я все время хотел писать о войне." 5

Воскресный наряд. (Роман) 11
Маньчжурский дневник 204
Голубая падь. (Повесть) 290

РАССКАЗЫ

Соловейко.....313
Трофеи старшины Барабанова.....316
Подарок с тигровой сопки.....320
Боцман Немо.....324
Артиллерийский заслон.....333
Бекеша начдива 348
Сады цветут.....353
Даша и генерал 355
Золотая звезда комбата 360
Нерешительность капитана Калашникова 364
Орлиный камень 368

800т сбо

Петров Борис Николаевич - член Союза писателей СССР. Родился в 1920 г. в г. Щучинске Кокшетауской, ныне Акмолинской области. Участник Великой Отечественной войны и разгрома империалистической Японии. С 1946 по 1971 жил и работал в Петропавловске, посвятив городу и его людям десятки очерков, рассказов и публицистических статей. С 1959 по 1965 гг. возглавлял межобластное отделение Союза писателей Казахстана. Писать и печататься начал со школьной и студенческой скамьи в г. Щучинске и Омске, в армейские годы в газетах "Социалистический труд", "Красная звезда", сборнике "Винтовка и песня". Первые крупные произведения: повести "Голубая падь", "Светлый край", "Пятая ферма" вышли в журнале "Сибирские огни" в 1948-1953 гг., в коллективных сборниках Новосибирского книжного издательства: "Первый рейс" (1950 г.) и "Молодые силы" (1951 г.). С 1956 года сотрудничал с казахскими издательствами, где выходили повести и рассказы "Вьюжная неделя", "Живое слово", "Огни Аксуата", "Листопад", "Березовые острова", роман "Воскресный наряд". Печатался в коллективных сборниках, союзных, республиканских газетах и журналах. Умер 3 ноября 1971 года. Посмертно изданы три книги: "Живет рядом коммунист" (1973 г.), "Утро" (1975 г.), "Я, конечно, вернусь..." (2001 г.), его произведения из литературного наследия печатаются в журналах "Нива", "Провинция", "Магжан", коллективных сборниках, областных газетах. Именем Бориса Петрова названа улица в г. Петропавловске.